



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>









161



**В Ъ Л Ъ С А Х Ъ.**



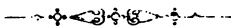
1111111111, 1111

# ВЪ ЛѢСАХЪ.

РАЗСКАЗАНО

**АНДРЕЕМЪ ПЕЧЕРСКИМЪ.**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.



**МОСКВА**

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ (КАТКОВЪ И К<sup>о</sup>),  
на Страсбургскомъ бульварѣ.

**1875.**

У.

PG 3337

1745 V.2

v. 1

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ

Государю Наслѣднику

ЦЕСАРЕВИЧУ И ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ

**АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ**

съ благоговѣніемъ посвящаетъ

вѣрно преданный

*Павелъ Мельниковъ.*





## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Верховое Заволжье — край привольный. Тамъ народъ досужій, бойкій, смышленный, и ловкій. Таково Заволжье съ верху отъ Рыбинска въ низъ до устья Кѣрженца. Ниже не то: пойдетъ лѣсная глушь, Луговая Черемиса, Чуваши, Татары. А еще ниже, за Камой, степи раскинулись, народъ тамъ другой: хотъ русскій, но не таковъ какъ въ Верховьѣ. Тамъ новое заселенье, а въ заволжскомъ Верховьѣ Русь изстари усѣлась по лѣсамъ и болотамъ. — Судя по людскому нарѣчному говору — Новгородцы въ давнія Рюриковы времена тамъ поселились. Преданья о Батиевомъ разгромѣ тамъ свѣжи. Укажутъ и „тропу Батиеву“ — и мѣсто невидимаго града Китижа на озерѣ Свѣтломъ Ярѣ. Цѣль тотъ городъ до сихъ поръ — съ бѣлокаменными стѣнами, златоверхими церквами, съ честными монастырями, съ княженецкими узорчатыми теремами, съ боярскими каменными палатами, съ рублеными изъ кондѣваго, негниющаго лѣса домами. Цѣль градъ, но невидимъ. Не видать грѣшнымъ людямъ славнаго Китижа. Сокрылся онъ чудесно, Божьимъ повелѣньемъ, когда безбожный царь Батый, разоривъ Русь суздальскую, пошелъ воевать Русь китижскую. Подошелъ татарскій царь ко граду

Великому Китижу, восхотѣлъ домъ огнемъ спалить, мужей избить либо въ полонъ угнать, женъ и дѣвицъ въ наложницы взять. Не допустилъ Господь басурманскаго поруганья надъ святыней христіанскою. Десять дней, десять ночей Батыевы полчища искали града Китижа, и не могли сыскать, ослѣпленные. И досель тотъ градъ не видѣмъ стоитъ, — откроется передъ страшнымъ Христовымъ судилищемъ. А на озерѣ Свѣтломъ Ярѣ, тихимъ, лѣтнимъ вечеромъ видѣются отраженныя въ водѣ стѣны, церкви, монастыри, терема княженицкіе, хоромы боярскіе, дворы посадскихъ людей. И слышится по ночамъ глухой, заунывный звонъ колоколовъ китижскихъ.

Такъ говорятъ за Волгой. Старая тамъ Русь, исконная, кондѣвая. Съ той поры какъ зачиналась земля Русская, тамъ чуждыхъ насельниковъ не бывало. Тамъ Русь съ изстари на чистотѣ стоитъ — какова была при прадѣдахъ, такова хранится до нашихъ дней. Хорошая сторона, хоть и смотреть сердито на чужанина.

Въ лѣсистомъ Верховомъ Заволжѣ деревни малыя, за то частыя, одна отъ другой на версту, на двѣ. Земля холодна, неродима, своего хлѣба мужику развѣ до Масленой хватить, и то въ урожайный годъ. Какъ ни бейся на надѣльной полосѣ, сколько страды надъ ней не принимай, круглый годъ трудовымъ хлѣбомъ себя не прокормишь. Такова сторона!

Другой на мѣстѣ Заволжанина давно бы съ голоду померъ, но онъ не лежебокъ, человѣкъ досуужій. Чего земля не дала, умѣньемъ за дѣло взяться беретъ. Не побрѣлъ заволжскій мужикъ на заработки въ чужу-дальнюю сторону, какъ сосѣдъ его Вязниковецъ, что съ пуговками, съ тесемочками и другимъ товаромъ кустарнаго промысла шагаетъ на край свѣта семьѣ хлѣбъ добывать. Не побрѣлъ Заволжанинъ по бѣлѣ свѣту плотничать, какъ

другой сосѣдь его Галка \*). Нѣтъ. И дома сумѣлъ онъ приняться за выгодный промыселъ. Варегн зачалъ вязать, поярокъ валять, шляпы да сапоги изъ него дѣлать, шапки шить, топоры да гвозди ковать, вѣсовыя коромысла чуть не на всю Россію дѣлать. А коромысла-то какія! Хоть въ аптеку бери—сдѣланы вѣрно.

Лѣса Заволжанина кормятъ. Ложки, плошки, чашки, блюда Заволжанинъ точитъ да краситъ; гребни, донца, веретена, и другой щепной товаръ работаетъ, ведры, ушаты, кадки, лопаты, коробыя, весла, лейки, ковши, все, что изъ лѣсу можно добыть, рукъ его не минуетъ. И смолу съ дегтемъ сидитъ, а заплативъ попенныя, рубить лѣсъ въ казенныхъ дачахъ и сгоняетъ по Волгѣ до Астрахани бревна, брусъ, шесты, дрючки, слегы и всякій другой лѣсной товаръ. Волга подъ бокомъ, но Заволжанинъ въ бурлаки не хаживалъ. Последнее дѣло въ бурлаки идти! По Заволжью такъ думаютъ: „честнѣй подъ оконьемъ Христовымъ именемъ кормиться чѣмъ бурлацкую лямку тянуть“. И правда.

Живетъ Заволжанинъ хоть въ трудѣ, да въ достаткѣ. Съ изстари за Волгой мужики въ сапогахъ, бабы въ котахъ. Лаптей видѣмъ не видано, хоть слыхѣмъ про нихъ и слыхано. Лѣсу вдоволь, лыко непочемъ, а въ рѣдкомъ домѣ кочедыкъ найдешь. Развѣ гдѣ такой дѣдушка есть, что съ печки ужъ лѣтъ пятокъ не слѣзаетъ, такъ онъ, скуки ради лапотки иной разъ ковыряетъ, нищей братѣ подать, либо самому обуться, какъ станутъ его въ домовину обряжать. Таковъ обычай: лѣтомъ въ сапогахъ, зимой въ валенкахъ, на тотъ свѣтъ въ лапоткахъ....

Заволжанинъ безъ горячаго спать не ложится, по воскреснымъ днямъ хлѣбаетъ мясное, изба у него пятистѣнная, печь съ трубой; о черныхъ избахъ да соломенныхъ крышахъ

---

\*) Крестьяне Галицкаго и другихъ уѣздовъ Костромской губерніи.

онъ только слыхалъ, что есть такія гдѣ-то „на Горахъ“. \* А чистота какая въ заволжскихъ домахъ!... Славятъ Нѣмцевъ за чистоту, Русскаго корятъ за грязь и неряшество. Побывать бы за Волгой тѣмъ славильщикамъ, не то бы сказали. Кто знакомъ только съ нашими степными да черноземными деревнями, въ голову тому не придетъ какъ чисто, опрятно живутъ Заволжане.

Волга рукой подать. Чтò мужикъ въ недѣлю наработаетъ, тóчасъ на пристань везетъ, а полѣнился—на сосѣдній базаръ. Большихъ барышей ему не нажить; и за Волгой не всякъ въ тысячники вылѣзетъ, за то, какъ ни плоха работа, какъ работниковъ въ семьѣ ни мало, Заволжанинъ вѣкъ свой сытъ, одѣтъ, обутъ, и податныя за нимъ не стоятъ. Чего жъ еще?... И за то слава Тѣ Господи!... Не всѣмъ же въ золотѣ ходить, въ рукахъ серебро носить, хоть и каждому русскому человѣку такую судьбу мамки да няньки напѣваютъ, когда еще онъ въ колыбели лежитъ.

Не мало за Волгой и тысячниковъ. И даже очень не мало. Плохо про нихъ знаютъ по дальнимъ мѣстамъ потому что Заволжанинъ про себя не кричитъ, а если деньжонокъ магу толику скопить, не въ банкъ кладетъ ее, не въ акціи, а въ родительску кубышку, да въ подпольѣ и зароетъ. Милліонщиковъ за Волгой нѣтъ, тысячниковъ много. Они по Волгѣ своими пароходами ходятъ, на своихъ паровыхъ мельницахъ сотни тысячъ четвертей хлѣба перемалываютъ. Много за Волгой такихъ, что десятками тысячъ капиталы считаютъ. Они больше скупкой „горящины“ \*\* да деревянной посуды промышляютъ. Накупятъ того, другаго у сосѣдей, да и плаваютъ весной въ Понѣ-

---

\* „Горами“ зовутъ правую сторону Волги.

\*\* Горящиной называется крупный щепной товаръ: обручи, дуги, лопаты, оглобли и т. п.

зовье. Барыши хорошіе! На иныхъ акціяхъ, пожалуй, столько не получишь.

Одинъ изъ самыхъ крупныхъ „тысячниковъ“ жилъ за Волгой въ деревнѣ Осиповкѣ. Звали его Патапомъ Максимычемъ, прозывали Чапуринымъ. И отецъ такъ звался, и дѣдушка. За Волгой и у крестьянъ родовыя прозванья ведутся и даже свои родословныя есть, хотя ни въ шестиxъ, ни въ другихъ книгахъ онѣ и неписаны. Край старорусскій, кондѣбой, коренной, тамъ родословныя прозвища встарѣ, бывали, и теперь въ обиходѣ.

Большой, недавно построенный домъ Чапурина стоялъ середь небольшой деревушки. Домъ въ два жилья, съ лѣтней свѣтлицей на вышкѣ, съ четырьмя боковушами, двумя свѣтлицами по сторонамъ, съ моленной въ особой горницѣ. Ставленъ на каменномъ фундаментѣ, окна створчатыя, стекла чистыя, бѣлыя, въ каждомъ окнѣ занавѣска миткалевая съ красной бумажной бахромкой. На улицу шесть оконъ выходило. Бревна лицевой стѣны охрой на олифѣ крашены, крыша краснымъ червлякомъ. На свѣсахъ ея и надъ окнами узорчатая прорѣзь выдѣлана, на воротахъ двѣ маленькія расшивы и одинъ пароходъ ради красы поставлены. Въ домѣ прибрано все на купецкую руку. Полъ крашеный, — олифа своя, не занимать стать; печи-голландки кафельныя съ горячими лежанками; по стѣнамъ, въ рамкахъ краснаго дерева, два зеркала да съ подюжины картинъ за стекломъ повѣшено. Стулья и огромный диванъ краснаго дерева, крыты малиновымъ трипомъ, три клѣтки съ канарейками у оконъ, а въ углу заботливо укрыты платками клѣтки: тамъ курскіе пѣвуны — соловьи; до нихъ хозяинъ охотникъ, денегъ за нихъ не жалѣетъ.

По краямъ дома пристроены свѣтелки. Тамъ хозяйскія дочери проживали, молодыя дѣвушки. Въ передней поло-

винѣ горница хозяина была, въ задней моленная съ иконостасомъ въ три тѣбла. Канонница съ Керженца при той моленной жила, по родителямъ „негасимую“ читала. Внизу стряпущая, подклѣтъ да покои работниковъ и работницъ.

У Патапа Максимыча по рѣчкамъ Шишинкѣ и Чернущкѣ восемь токарень стояло. Посуду круглую: чашки, плошки, блюда въ Заволжьѣ на станкахъ точать — одинъ работникъ колесо вертитъ, другой тѣчить. Къ такому станку много рукъ надо, но смысленный Заволжанинъ придумалъ какъ дѣлу помочь. Его сторона мѣсто ровное, лѣсное, болотное, рѣчекъ многое множество. Большихъ нѣтъ, да нѣтъ и такихъ, что „на Горахъ“ водятся: весной корабли пускай, въ межень курица не напьется. Въ песчаныхъ ложахъ заволжскихъ рѣчекъ воды круглый годъ вдѣсталь, есть такія, что зимой не мерзнуть: — лѣтомъ въ нихъ вода студеная, рука не терпитъ, зимой паръ отъ нея. На такихъ-то рѣчкахъ и настроили заволжскіе мужики токарень: поставить у воды избенку вѣнцовъ въ пять въ шесть, запрудить рѣченку, водоливное колесо приладить, приводъ веревочный пристегнуть, и вертитъ себѣ такая меленка три-четыре токарныхъ станка заразъ. Работа не въ примѣръ спорѣ. Такихъ токарень у осиповскаго „тысячника“ было восемь, на нихъ тридцать станковъ стояло; да кромѣ того, дома у него, въ Осиповкѣ, десятка полтора ручныхъ станковъ работало. Была своя красивая посуду красить, на пять печей; чуть не круглый годъ дѣло дѣлала. Работниковъ по сороку и больше Патапъ Максимычъ держалъ, да по деревнямъ еще скупалъ крашону и некрашону посуду. Горящиной самъ въ Городцѣ торговалъ. Двѣ крупчатки у него въ Красной Рамени было, одна о восьми, другая о шести поставкахъ. Расшивы свои по Волгѣ ходили, изъ Балакова да изъ Новодѣвичья пшеницу возили, на краснораменскихъ круп-



чатках Чапуринъ ее перемалывалъ. Мукой въ Верховьѣ онъ торговалъ: славная мука у него бывала — чистая ровно пухъ; покупатели много довольны ей оставались.

У Макарья Патапъ Максимычъ двѣ лавки снималъ, одну въ щепаномъ, другую въ мучномъ ряду. Вотъ ужъ тридцать лѣтъ, какъ онъ каждый годъ выправляетъ торговое свидѣтельство и давно слыветъ „тысячникомъ“. Денегъ въ мошнѣ у него никто не считалъ, а намолвка въ народѣ ходила, что не одна сотня тысячъ есть у него. И въ казенны подряды пускался Чапуринъ, но большаго припену отъ нихъ не видалъ. Говаривалъ подчасъ пріятелямъ: „радъ бы бросилъ окаянныя эти подряды, да больно ужъ я затянулся; а помирать Богъ приведетъ, крѣпко-на-крѣпко дочерямъ закажу, ни впредь, ни послѣ съ казной не вязались бы, а то не будь на нихъ родительскаго моего благословенья.“

Почетъ Патапу Максимычу ото всѣхъ былъ великій. По Заволжью никто его безъ поклона не миновалъ; окольные мужики, у которыхъ Чапуринъ посуду скупалъ, въ глаза и за глаза звали его „нашъ хозяинъ“. Довѣріе имѣлъ не въ одномъ крестьянствѣ, но и въ купеческомъ обществѣ. Да вотъ какой случай разъ приключился. Мостилъ Чапуринъ въ городѣ мостовую, подрядъ не малый, одного залогу десять тысячъ было представлено имъ. Кончилъ работу, сдалъ какъ слѣдуетъ, и поѣхалъ въ городъ за работанную плату да залогъ получать. Дорогой узнаетъ, что на завтра торги на перевозку казенной соли въ Рыбинскъ назначены. Посчиталъ, посчиталъ, раскинулъ умомъ-разумомъ, видитъ, — поставка будетъ съ руки: расшива безъ дѣла, бурлаки не дѣлаютъ, паводокъ девять четвертей. Приѣхалъ въ городъ, прямо на торги. Соляные чиновники такъ и ахнули, увидавъ Патапа Максимыча, — знали его. „Вотъ чортъ принесъ незваннаго-непрощённаго“, тихонько

межь собой поговориваютъ, — а дѣло-то у нихъ съ другими было полагено. Провѣдали однакожь соланные, что денегъ у Чапурина въ наличности нѣтъ, упростили пріятелей въ строительной комиссіи залоговъ ему не выдавать, пока на соль переторжка не кончится. Пошли въ строительной водить Патапа Максимыча за ность, водятъ день, водятъ другой: ни отказу, ни приказу: „завтра да завтра, то да сѣ, подожди, да повремени; надо въ ту книгу вписать, да изъ того стола справку забрать.“ Извѣстно дѣло!... Чапурину не въ терпежь... Дотянули строительные до того, что часъ одинъ до переторжки остается, а денегъ не выдаютъ. Смекнулъ Чапуринъ каверзы; видитъ, хотятъ его въ дураки оплести. „Такъ врешь же баринъ“, думаетъ себѣ „ты у меня погоди“. Да отвѣсивъ поклонъ строительнымъ, вонъ изъ присутствія. Тѣ: „куда, да зачѣмъ, да постой“; а онъ ломитъ себѣ, да прямо въ гостинный дворъ. Тамъ короткой рѣчью сказалъ рядовичамъ въ чемъ дѣло, да рассказавши, снялъ шапку, посмотрѣлъ на всѣ четыре стороны и молвилъ: „порадѣйте, господа купцы, выручите!“ Получаса не прошло, семь тысячъ въ шапку ему накидали. „Будеть, будетъ“!.. кричитъ Патапъ Максимычъ, „спаси васъ Христосъ“. Духу не переводя, поскакалъ на переторжку. Тамъ ему первымъ словомъ:

— Залогн?

— Вотъ они! молвилъ Патапъ Максимычъ.

Отдалъ деньги, и пошелъ цѣну сносить. Снесъ, чуть не половину, а четыре копѣйки нашилъ на рубль. Очень недовольны соланные остались.

Патапъ Максимычъ съ семьей старинки придерживался, расколнничалъ, но закосяблымъ изувѣромъ никогда не бывалъ. Не держался правила: „съ бритоусомъ, съ табашникомъ, щепотникомъ и со всякимъ скобленнымъ риломъ не

молись, не водишь, не дружишь, не бранишь“. И раскольник-началь-то Патапъ Максимычъ потому больше что за Волгой издавна такой обычай велся, отъ людей отставать ему не приходилось. Притомъ же у него расколомъ дружба и знакомство съ богатыми купцами держались, кредиту отъ раскола больше было. Да кромѣ того, во время отлучекъ изъ дому, по чужимъ мѣстамъ жить въ раскольникскихъ домахъ бывало ему привольнѣй и спокойнѣй. На Низъ ли поѣдетъ, въ Верховы ли города, въ Москву ли, въ Питеръ ли, вездѣ и къ мало знакомому раскольнику идетъ онъ какъ къ родному. Всячески его успокоять, все приберегутъ, все сохранять и всѣмъ угодять. И то льстило Патапу Максимычу, что послѣ родителя, былъ онъ попечителемъ Городецкой часовни, да не такимъ, что только по книгамъ значатся, для видимости полиціи, а „листовымъ“, кореннымъ. Отъ часовеннаго общества за то ему почетъ былъ великій. А почетъ Чапуринъ любилъ.

Семья была у него небольшая, самъ съ женой да двѣ дочери. Богоданная дочка была еще, Груня-сиротка съ измѣлства Чапуринымъ призрѣнная — та ужъ за мужъ выдана была въ деревню Вихорево за тысячника. Родныя дочери тоже на возрастѣ были: старшей, Настасьѣ, восемнадцать минуло, другая, Прасковья, годомъ была помоложе. Только что воротились онѣ въ родительскій домъ отъ тетки родной, матери Манеи, игуменьи одной изъ Комаровскихъ обителей. Гостили дѣвушки у тетки безъ мала пять годовъ, обучались божественному писанію и скитскимъ рукодѣльямъ: бисерны лѣстовки вязать, шелковы кошельки да пояски ткать, по канвѣ шерстью, да синелью вышивать, и всякому другому бѣлоручному мастерству. Отецъ „тысячникъ“ выдастъ замужъ въ домъ богатые, не у квашни стоять, не у печки дѣвицамъ возиться, на то будутъ работницы; оттого на бѣлой работѣ да на книгахъ больше

онѣ и сидѣли. Настя да Параша въ обители матушки Манефы и „Часовникъ“, и всѣ двадцать каѳизмъ „Псалтыря“ наизусть затвердили, отеческія книги читали бойко, безъ запинки, могли справлять уставную службу по „Миней Мѣсячной“, пѣть по крюкамъ, даже „разводъ демественному и ключевому знамени“ разумѣли. Выучились уставомъ писать, и живя въ скиту, не мало „Цвѣтниковъ“ да „Сборниковъ“ переписали и передъ великими праздниками посылали ихъ родителямъ въ подаренье. А Патапъ Максимычъ любилъ на досугъ душеспасительныхъ книгъ почитать и куда какъ любо было сердцу его родительскому перечитывать „Златоструи“ и другія сказанья, съ золотомъ и киноварью переписанныя руками дочерей-мастерицъ. Какія „заставки“ рисовала Настя въ зачалѣ „Цвѣтниковъ“, какіе „финики“ по бокамъ золотомъ выводила—любо-дорого посмотреть!

Настя съ Парашей, воротясь къ отцу, къ матери, расположились въ свѣтлицахъ своихъ, а разукрасить ихъ отецъ не поскупился. Вечеркомъ, какъ онѣ убрались, пришелъ къ дочерямъ Патапъ Максимычъ поглядѣть на ихъ новоселье, и взялъ рукописную тетрадку, лежавшую у Насти на столикѣ. Тутъ были „стихи объ Іоасафѣ царевичѣ“, „объ Алексѣѣ Божьемъ человѣкѣ“, „Древнянъ гробъ сосновый“ и рядомъ съ этой псалмой „Похвала пустыни“. Она начиналась словами:

Я въ пустыню удаляюсь  
Отъ прекрасныхъ здѣшнихъ мѣстъ.  
Сколько горести напрасно  
Я въ разлуцѣ съ милымъ должна снести.....

Перевернулъ Патапъ Максимычъ листокъ, тамъ другая псалма:

Сизенькій голубчикъ,  
Армейскій поручикъ.

Поморщился Патапъ Максимычъ, сунуль тетрадку въ карманъ, и ни слова не сказавъ дочерямъ, пошелъ въ свою горницу. Говорить женѣ:

— Ты, Аксинья, за дочерьми-то приглядывай.

— Чего за ними Максимычъ, приглядывать? Дѣвки тихія, озорства никакого нѣтъ, отвѣчала хозяйка, глядя удивленными глазами на мужа.

— Не про озорство говорю, сказалъ Патапъ Максимычъ,—а про то, что дѣвки на возрастѣ, стало-быть, отъ грѣха на вершокъ.

— Что ты, Максимычъ! Бога не боишься, про родныхъ дочерей что городишь! И въ головоньку имъ такого мотыжничества не приходило; птенчики еще, какъ есть слетышки!

— Гляди имъ въ зубы-то! Нашла слетышковъ! Настасья-то девятнадцатый годъ, глянь-ка ей въ глаза-то—такъ мужа и просятъ.

— Полно грѣшить-то, Максимычъ, возвысила голосъ Аксинья Захаровна. — Чтойто ты? Родныхъ дочерей забижать!... Клепешь на дѣвку!... Какой ей мужъ?... Обѣ ничегохонько прѣ эти дѣла не разумѣютъ.

— Держи карманъ!... Не разумѣютъ!... Въ Комаровѣ-то поди, всякіе виды видали. Въ скитахъ завсегда грѣхъ со спасеньемъ пососѣдски живутъ.

— Да полно жъ грѣшить-то тебѣ!.. еще больше возвысила голосъ Аксинья Захаровна. Какъ возможно, про честныхъ старицъ такую рѣчь молвить? У матушки Манеонъ въ обители споконъ вѣку худаго ничего не бывало.

— Много ты знаешь!... А мы видали виды.... Зачѣмъ исправникъ-отъ въ Комаровъ каждую недѣлю наѣзжаетъ.... Даромъ что ли?... Въ Московкиной обители съ бѣлицами-то онъ отъ писанья что ли бесѣдуетъ?... А Домнѣ

головщицѣ за что шелковы платки дарить?... А купчики московскіе зачѣмъ къ Глафиринымъ ѣздить?... А?...

— Полно тебѣ, старый хрѣнъ, хульные словеса нести, съ озлобленьемъ вскричала Аксиныя Захаровна. — Слушать - то грѣхъ!... Совсѣмъ обмірщился!... Аль забылъ, что всяко праздно слово на послѣднемъ судѣ взыщется?... Повелся съ табашниками-то!... Вотъ и скружился. На святныя обители хулу нести!... А?... Бога-то видно въ тебѣ не стало... Знамо дѣло, зачѣмъ въ Комаровъ люди ѣздить: на могилку къ честному отцу Іонѣ отъ зубной скорби помолиться, на поклоненіе могилкѣ матушки Маргариты. Мало ль въ Комаровѣ святыни!... Ей христіане и пріѣзжаютъ поклоняться?... А по лѣсу сколько святыхъ мѣстъ на старыхъ скитахъ, разоренныхъ?

— Ужъ исправникъ-отъ не тѣмъ ли святымъ мѣстамъ ѣздить поклоняться? усмѣхаясь спросилъ жену Патапъ Максимычъ. — Домашка головщица что ли ему въ лѣсу-то каноны читаетъ?... Аль за тѣ каноны Семень-отъ Петровичъ шелковы платки ей дарить?

Не вытерпѣла Аксиныя Захаровна, плюнула и вонъ пошла. Сама за Чапурина изъ скитовъ „уходомъ“ бѣжала, и къ келейницамъ сердце у ней лежало всегда.

Поспоръ эдакъ Аксиныя Захаровна съ сожителемъ о мірскомъ, былъ бы ей окрикъ, пожалуй и волосникъ бы у ней Патапъ Максимычъ поправилъ. А насчетъ скитовъ да лѣсовъ и всего эдакого духовнаго — статья иная, тутъ не мужъ, а жена голова. Тутъ Аксинына воля; за хульные словеса можетъ и лѣстовкой мужа отстегать.

Такъ изстари ведется. Расколъ бабами держится, и въ этомъ дѣлѣ баба голова, потому что въ какомъ-то писаніи сказано: „мужъ за жену не умолитъ, а жена за мужа умолитъ“.

Сѣлъ за столъ Патапъ Максимычъ. Хотѣлъ счесть за

годъ подводить, но счеты не шли на умъ. Про дочерей раздумывалъ.

„Хоть и жалъ разставаться, а лучше къ мѣсту скорѣй, думалъ онъ. — Дочь чужое сокровище: пой, корми, холь, разуму учи, потомъ въ чужи люди отдай. Лучше скорѣй тѣмъ дѣломъ повернуть. Для чего засиживаться?... Мнѣ же Данило Тихонычъ намеренъ насчетъ сына загадку загануль... Что жъ?... Домъ хорошій, люди богобоязные, достатокъ есть.... Отчего не породниться?... Настасья съ Прасковьей не безприданницы; съ радостью возьмутъ. Женихъ, какъ-жись, малый складный: и рѣчистъ, и уменъ, дѣло изъ рукъ у него не валится... На Крещенскомъ базарѣ потолкуемъ, и Богъ дастъ порѣшимъ... А долго дѣвокъ дома не держать... Долго ль ло грѣха?“

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Вечеръ Крещенскаго Сочельника ясный былъ и морозный. За околицей Осиповки молодыя бабы и дѣвки собирали въ кринки чистый „крещенскій снѣжокъ“ холсты бѣлить да отъ сѣрока недуговъ лѣчить. Поглядывая на ярко блиставшія звѣзды, молодежи заключали, что новый годъ бѣлыхъ ярокъ породить, а дѣвушки межъ себя толковали: „звѣзды къ гороху горять, да къ ягодамъ; вдоволь уродится, то-то загуляемъ въ лѣсахъ, да въ горохахъ!“

Стары старухи и пожилыя бабы домовничали; съ молитвой клали онѣ мѣломъ кресты надъ дверьми и надъ окнами ради отогнанія нечистаго и такую думу держали: „батюшка Микола милостивый, какъ бы къ утрею-то оттеплѣло, да туманъ бы палъ на святую Ердань, хлѣбушка бы тогда вдоволь намъ уродилось!“ Мужики вкругъ лошадей возились: извѣстно,



кто въ Крещенскій Сочельникъ у коня копыты почистить, у того конь весь годъ не будетъ хромать и не случится съ нимъ иной болѣсти. Но вѣря своей примѣтѣ, мужики, не довѣряли бабьимъ обрядамъ, и ворча себѣ подъ носъ, копались середь дворовъ въ навозъ, глядя, не осталось ли тамъ огня послѣ того какъ съ вечера старухи пуки лучины тутъ жгли, чтобъ на томъ свѣтѣ родителямъ было теплѣе. Въ избахъ у краснаго угла толпились ребятишки. Притаивъ дыханье, глазъ не спускали они съ чашки, наполненной водою и поставленной у божницы: какъ наступитъ Христово Крещенье, сама собой вода колыхнѣтся, и небо растворится; глянь въ раскрытое на единъ мигъ небо и помолись Богу: чего у Него ни попросишь, все подастъ.

— Пусти насъ, мамынька, съ дѣвицами снѣжокъ пополють, просилась меньшая дочь у Аксины Захаровны.

— Въ умѣ ль ты, Паранька? строго отвѣтила мать набожно кладя надъ окнами мѣломъ кресты. — Приѣдетъ отецъ да узнаетъ, чтѣ тогда?

— Да вѣдь мы не однѣ! Всѣ дѣвицы за околицей.. И мы бы пошли, замѣтила старшая, Настасья.

— Пущу я васъ ночью, съ дѣвками!.. Какъ же!.. Съ ума своротила, Настѣнка! Ваше ль дѣло гулять за околицей?

— Другія пошли же.

— Другія пошли, а вамъ не слѣдѣ. Худой славы что ли захотѣла?...

— Какой же славы, мамынька? приставала Параша.

— А вотъ какъ возьму лѣстовку, — да ради Христова праздника, отстегаю тебя, съ притворнымъ негодованьемъ сказала Аксиныя Захаровна, такъ и будешь знать какал слава!... Ишь чтѣ вздумала!.. Пусти ихъ снѣгъ полють за околицу!.. Да теперь, поди чай, парней-то туда что навалило: и своихъ, и изъ Шишинки, изъ Назаровой!... Долго ль

до грѣха?... Дѣвки вы молоды, дочери отецкія: слѣдъ ли вамъ по ночамъ хвосты мочить?

— Да пошли же другія, настаивала Настя. Очень ей хотѣлось поиграть съ дѣвками за околицей.

— Коли пошли, такъ туда имъ и дорога, отвѣтила мать.— А вамъ съ деревенскими дѣвками себя на ряду считать не доводится.

— Отчего жъ это мамынька?.. Чѣмъ жъ мы лучше ихъ?.. спросила Настасья.

— Тѣмъ и лучше, что хорошаго отца дочери, сказала Акинья Захаровна.— Связываться съ тѣми не слѣдъ. Сядь-тека лучше, да „Псалтирь“ ради праздника Христова почитайте. Отецъ скоро съ базара пріѣдетъ, утрени будемъ стоять; помогли бы лучше Евпраксеюшкѣ моленну прибрать... Дѣло-то не въ примѣръ будетъ праведнѣе чѣмъ за околицу бѣгать. Такъ-то.

— Да, мамынька.... заговорила-было Настя, — намъ бы къ дѣвушками посмѣяться, на морозцѣ поиграть.

— Сказано не пушу, крикнула Акинья Захаровна. — Изъ головы выбрось снѣгъ полоть!.. Ступай, ступай въ моленну, прибирайте къ утрени!... Эки безстыжія, эки вольныя стали — матери не слушаютъ!... Нѣтъ, дѣвки, приберу васъ къ рукамъ.... Чтѣ выдумали!... За околицу!.. Да отецъ-отъ съѣстъ меня какъ узнаетъ, что я за околицу васъ ночью пустила.... Пошли, пошли въ моленную!

Помялись дѣвушки, и со слезами пошли въ моленную.

— Ишь чтѣ баловниці выдумали!... ворчала Акинья Захаровна, оставшись одна и кладя мѣловые кресты надъ входами и выходами: — Ишь чтѣ выдумали—снѣгъ полоть!... Статочно ли дѣло?... Свѣдаютъ что Патапа Максимыча дочери по ночамъ за околицу бѣгаютъ, чтѣ въ городѣ скажутъ по купечеству?.. Срамъ одинъ... Просто срамъ... Долго ль дѣвкамъ на вѣкъ ославиться?... Много недоб-

рыхъ-то людей... Какъ пить дадутъ—наплетутъ, намочалать не вѣсть чего!... И что имъ, глупымъ, захотѣлось за околицу?... Чего не видали?... Снѣгъ полоть, холсты бѣлить!... Да придется развѣ имъ холсты-то бѣлить?... Слава Богу, всего припасено, не безприданницы.... А теперь, поди, у дѣвокъ за околицей смѣху-то, балованья-то что!... Была и я молода, хаживала и я подъ Крещенье снѣжокъ полоть.... Точимъ баясы до вторыхъ пѣтуховъ; парни придутъ съ балабайками... Прибаутками со смѣху такъ и морять... И чего то, чего не бывало!... Охъ, согрѣшила я, грѣшница!... А хочется дѣвонькамъ за околицу... Ну, да имъ нельзя, хорошаго отца дѣти; нельзя!... Охъ дѣвичья пора!... Веселья все хочется, воли.. Дѣвоньки, мои дѣвоньки!... и пустила бѣ я васъ, да какъ самъ-отъ пріѣдетъ, какъ самъ-отъ узнаетъ.... Тогда что?...

Въ то время гурьба молодежи валила мимо двора Патапа Максимыча съ кринками, полными набраннаго снѣгу. Раздалась веселая пѣсня подъ окнами. Пѣли „авсень“, величая хозяйскихъ дочерей:

Среди Москвы  
Ворота пестры,  
Ворота пестры,  
Верей красны.  
Ой Авсень, Таусень!

У Патапа на дворѣ,  
У Максимыча въ дому  
Два теремышка стоятъ,  
Золотые терема.  
Ой Авсень, Таусень!...

Какъ во тѣхъ во теремахъ  
Красны дѣвицы сидятъ,  
Свѣтъ душа Настасьюшка.  
Свѣтъ душа Прасковьюшка.  
Ой Авсень, Таусень!...

— О, чтобъ васъ тутъ, непутные!... вздрогнувъ отъ первыхъ звуковъ пѣсни, заворчала Аксиныя Захаровна, хотъ величанье дочерей и было ей по сердцу. По старому обычаю, это не малый почетъ. — О, чтобъ васъ тутъ!... И святъ вечеръ не почитаютъ грѣховодники!... Вечоръ нечистаго изъ деревни гоняли, сегодня опять за жѣсни... Страху-то нѣтъ на васъ, окайнные!

Гурьба парней и дѣвокъ провалила. Какой-то отсталой хриплымъ, несгройнымъ, голосомъ запѣлъ подъ окнами:

И тетерьку гоню,  
Полевую гоню;  
Она подъ кустъ,  
А я за хвостъ!  
Авсень, Таусень!  
Дома ли хозяйинъ?

— Мать Пресвята Богородица! всплеснувъ руками, вскрикнула Аксиныя Захаровна. — Микешка безпутный!... Его голосъ!... Господи! Да что жъ это такое?...

Пьяный голосъ слышенъ былъ у воротъ. Кто-то стучался. Сбѣжавъ въ подклѣтъ, Аксиныя Захаровна показывала работникамъ не пускать на дворъ Микешку.

— Хоть замерзни, въ домъ не пущу. Не пущу, не пущу! кричала она.

Заскрипѣлъ снѣгъ подъ полозьями. Стали сани у двора Патапа Максимыча.

— Пріѣхалъ, весело молвила Аксиныя Захаровна, и засуетилась. — Матренушка, Матренушка!... собирай поскорѣй самоварчикъ!... Патапъ Максимычъ пріѣхалъ!

Въ горницу хозяйинъ вошелъ. Жена торопливо стала распоясывать кушакъ, повязанный по его лисей шубѣ. Прибѣжала Настя, стала отряхивать заиндевѣлую отцовскую шапку, межъ тѣмъ Параша снимала вязанный изъ шерсти

шарфъ съ шеи Патапа Максимыча. Ровно кошечки, ластились къ отцу дочери, спрашивали:

— Привезъ, гостинцу съ базару, тятенька?

— Тебѣ, Параня, два привезъ, шутилъ Патапъ Максимычъ, — одну плетку ременную, другу шелковую... Котору прежде пробовать?

— Нѣтъ, тятенька, ты не шути, ты правду скажи.

— Правду и говорю, отвѣчалъ улыбаясь отецъ. — А ты, Параня, пока плеткой я тебя не отхлысталъ, поди-ка вели работницѣ чайку собрать.

— Сказано, ужъ сказано, перебила Акинья Захаровна и пошла было въ угловую горницу.

— Ты, Акинья, погоди, молвилъ Патапъ Максимычъ. — Руки у тебя чисты?

— Чисты. А что?

— То-то. На, прими, сказалъ онъ, подавая женѣ закрытый буракъ, но увидя входившую канонницу, отдалъ ей, примолвивъ: — Ей лучше принять, она святѣ человѣкъ. Возьми-ка, Евпраксеюшка, воду богоявленскую.

Акинья Захаровна съ дочерью и канонница Евпраксія съ утра не ѣли, дожидаясь святой воды. Положили началъ, прочитали тропарь, и наливъ въ чайную чашку воды, испили понемножку. Послѣ того Евпраксія, еще три раза перекрестясь, взяла буракъ и понесла въ моленну.

— Въ часовнѣ, аль на дому у кого воду-то святили? сядя на диванъ спросила у мужа Акинья Захаровна.

— У Михайла Петровича у Галкина, въ деревни Столбовой, отвѣтилъ Патапъ Максимычъ.

— Кто святилъ? Отецъ Аѳанасій, что ли? спросила Акинья Захаровна?

— Изъ острога что ли придетъ? молвилъ Патапъ Максимычъ? Чай не пустать?... Новый попъ святилъ.

— Какой же новый попъ? съ любопытствомъ спросила Аксиныя Захаровна?

— Матвѣя Корягу знаешь?

— Какъ не знать Матвѣя Корягу? Начитанный старикъ, силу въ писаніи знаетъ.

— Онъ самый и святилъ.

— Какъ же святить ему, Максимычъ? съ удивленьемъ спросила Аксиныя Захаровна.

— Какъ святятъ, такъ и святилъ. На Николинъ день Коряга въ попы поставленъ. Великимъ постомъ пожалуй и къ намъ пожалуетъ... „Исправляться“ у Коряги станемъ, въ моленной обѣдню отслужить, съ легкой усмѣшкой говорилъ Патапъ Максимычъ.

— Ума не приложу, Максимычъ, что ты говоришь. Право ужъ я и не знаю, разводя руками и вставая съ дивана, сказала Аксиныя Захаровна. — Кто жъ это Корягу въ попы-то поставилъ?

— Епископъ. Развѣ не слыхала, что у насъ свои архіереи завелись? сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Австрійскіе-то, что ли? Сумнительны они, Максимычъ. Обливанцы, слышь, молвила Аксиныя Захаровна.

— Пустаго не мели. Ты что ли ихъ обливала?... сказалъ Патапъ Максимычъ.

— У насъ въ Комаровѣ инныя обители австрійскихъ готовы принять, вмѣшалась въ разговоръ Настя:—Глафирины только сомнѣваются, да еще Игнатьевы, Анфисины, Трифинины, а другія обители всѣ готовы принять; и Оленевскія, и въ Улангерѣ, и въ Чернухѣ — вездѣ, вездѣ по скитамъ.

— Изъ Москвы, изъ Хвалыни, изъ Казани пишутъ про епископа, что онъ какъ есть совсѣмъ правильный, молвилъ Патапъ Максимычъ.—Всѣ мои покупатели ему послѣдуютъ. Не ссориться съ ними изъ-за такихъ пустяковъ.... Какъ

они, такъ и мы. А что есть у иныхъ сумнѣніе, такъ это правда, точно есть. И въ Городцѣ не хотятъ Матвѣя въ часовню пускать, зазоренъ дескать, за деньги что хочешь сдѣлаетъ. Про епископа Софронія то же толкуютъ.... Кто ихъ разберетъ?... Ну ихъ къ Богу—чайку бы поскорѣй...

Какъ утка переваливаясь, толстая работница Матрена втащила ведерный самоваръ и поставила его на прибранный Настей и Парашей столъ. Семья усѣлась чайничать. Позвали и канонницу Евпраксию. Пили чай съ изюмомъ, потому что Сочельникъ, а сахаръ скороментъ; въ него-де кровь бычачью кладутъ.

Патапъ Максимычъ дѣла свои на базарѣ кончилъ ладно. Новый заказъ, и большой заказъ, на посуду онъ получилъ, чтобъ къ веснѣ непременно выставить на пристань тысячъ на пять рублей посуды, кромѣ прежде заказанной; долгъ ему отдали, про который и думать забылъ; письма изъ Балакова получилъ: прикащикъ тамъ сходно пшеницу купилъ, будутъ барыши хорошіе;—вечерню выстоялъ, новаго попа въ служеніи видѣлъ, со Снѣжковымъ встрѣтился, насчетъ Настиной судьбы толковалъ; дѣло, почитай, совсѣмъ порѣшили. Такой ладный денекъ выпалъ, что рѣдко бываетъ.

Удачно проведя день, Чапуринъ былъ въ духѣ, и за чаемъ, шутки шутилъ съ домашними. По этому одному видно было, что съѣздилъ онъ по-добру по-здорову, на базарѣ сдѣлалъ оборотъ хорошій, и все у него клеилось, шло какъ по маслу.

— Ты, Аксинья, къ себѣ на именины жди дорогихъ гостей. Обѣщались пироги ѣсть у именинницы.

— Кого звалъ? вскинувъ на мужа глазами, спросила Аксинья Захаровна.

— Скорняковъ Михайло Василичъ съ хозяйкой обща-



лись, кумъ Иванъ Григорьичъ съ Груней, Данило Тихоньчъ съ сыномъ, Снѣжковъ прозывается.

— Не знаю такого. Чтò за Снѣжковъ? сказала Аксинья Захаровна.

— Не знала, такъ узнаешь, молвилъ Патапъ Максимъчъ. — Пріятель мой, дружище, одно дѣльце съ нимъ заведено: подай Господи хорошаго совершенья.

— Откуда самъ-отъ?

— Самарскій. — Мужикъ богатый: свои гурты изъ стѣпи гоняетъ, салотопленный заводъ у него въ Самарѣ большущій, въ Питеръ сало поставляетъ. Капиталу ста четыре тысячъ цѣлковыхъ, а не то и больше; купецъ, съ медалью; хорошій человекъ. Сегодня вмѣстѣ и вечерню стояли.

— Такъ онъ изъ нашихъ, изъ христіанъ? спросила Аксинья Захаровна.

— Извѣстно. Чужаго развѣ пустилъ бы Михаилъ Петровичъ на освященіе воды? Старинные старообрядцы: и дѣды, и прадѣды жили по древнему, благочестію... Съ сыномъ Данило Тихоньчъ пріѣдетъ; сынъ парень умный, изъ себя видный, двадцать другой годъ только пошелъ, а отцу ужъ помощь большая. Вотъ и теперь посылаетъ его въ Питеръ по салу, недѣли черезъ двѣ воротится, какъ разъ къ твоимъ именинамъ. Хорошенько надо изготопиться; не ударъ лицомъ въ грязь на угощеніѣ. Ну-ка, дѣвки-грамотейницы, книжныя келейницы, смекните, въ какой день материны именины придутся? Въ скромный, аль въ постный?

— Хоть въ среду, да на сплошной, отвѣтила Настя.

— Ну, и ладно. Мяснымъ, стало-быть потчивать станемъ. А рыбки все-таки надо подать. Безъ рыбы нельзя. Изъ скитовъ ждешь кого?

— Матушка Манеѳа общалась, отвѣтила Аксинья Захаровна.

— Значить, и мясное надо, и рыбное. Стряпка одна не управится? Пошли въ Ключову за Никитишной, знатно стряпаетъ, что твой Московскій трактиръ. Подруги, чай, тоже приѣдутъ изъ Комарова къ дѣвкамъ-то?

— Марья Гавриловна общалась, сказала Аксиныя Захаровна,—да еще Фленушка.

— Эту бы, пожалуй, и не надо. Больно озорна.

— Ахъ, тятенька, что это ты? Фленушка дѣвица во всемъ самая распрекрасная, вступилась за пріятельницу Настя.

— Ладно, знаемъ и мы что-нибудь, молвилъ Патапъ Максимычъ.—Слухомъ земля полнится.

— Полно, батко, постыдись, вступилась Аксиныя Захаровна. — Про Фленушку ничего худого не слышно. Да и стала бы развѣ матушка Манеѳа съ недоброй славой ее въ такой любви, въ такомъ приближеніи держать? Мало ль чего не мелятъ пустые языки! Всѣхъ рѣчей не переслушаешь; а тебѣ, старому человѣку, дѣвицу обижать грѣхъ: у самого дочери ростутъ.

— Да я ничего, молвилъ Патапъ Максимычъ.—Пусть ее приѣзжаетъ. Только ужъ, споръ ты, Аксиныя, не споръ, — а келейницей Фленушка не глядитъ.

— А по-твоему дѣвицамъ бирюкомъ надо глядѣть, слова ни съ кѣмъ не смѣть вымолвить? Чай вѣдь и онѣ тоже живой человѣкъ, не деревянные, вступилась Аксиныя Захаровна.

— Ну, ты ужъ зачнешь, сказалъ Патапъ Максимычъ.—Дай только волю. Лучше бъ еще по чашечкѣ налила.

— Кушай, батюшка, на здоровье, кушай, воды въ самоварѣ много. Свѣженькаго не засыпать ли? молвила Аксиныя Захаровна.

— Засыпъ, пожалуй, сказалъ Патапъ Максимычъ.—А къ именинамъ надо будетъ въ городѣ цвѣточнаго взять, рублей такъ отъ шести. Важный чай!

— Отъ ярманки шестирублеваго-то осталось, сказала Аксиныя Захаровна.

— Свѣжаго купимъ. Гости хорошіе, надо чтобъ все по гостямъ было. Таковы у насъ съ тобой, Аксиныя, будутъ гости, что не токмо цвѣточнаго чаю, дѣтища роднаго для нихъ не пожалѣю. Любую дѣвку отдамъ! Вотъ оно какъ!

Дѣвушки переглянулись межъ собой и съ матерью. Канонница глаза потупила.

— Ужъ что ни скажешь ты, Максимычъ, сказала Аксиныя Захаровна. — Про родныхъ дочерей неподобныя слова говоришь! Бога-то побоялся бы, да людей постыдился бы.

— Что сказалъ то и сдѣлаю, когда захочу, рѣшительно молвилъ Патапъ Максимычъ. — Перечить мнѣ не смѣетъ никто.

Настя, ласкаясь къ отцу, съ притворнымъ страхомъ спросила.

— Что жъ ты съ нами подѣлаешь, тятенька?

— Тебя ожарить велю, сказалъ смѣясь Патапъ Максимычъ, — а Параша тебя пожирнѣй, ее во щи. И стану вами гостей угощать!

— Пожалѣешь, тятенька, не исжаришь.

— А вотъ увидишь.

— Полно-ка вамъ вздоръ-отъ молоть, принимаясь убирать чайную посуду, сказала Аксиныя Захаровна. — Не пора ль начинать утреню? Ты бы, Евпраксеюшка, зажигага пока-мѣстъ свѣчи въ моленной-то. А вы, дѣвицы, ступайте-ка помогите ей.

Канонница съ хозяйскими дочерьми вышла. Аксиныя Захаровна мыла и прибирала чашки. Патапъ Максимычъ зачалъ ходить взадъ и впередъ по горницѣ, заложивъ руки за спину.

— Братецъ-отъ любезный, Никифоръ-отъ Захарычъ, опять въ нашихъ мѣстахъ объявился, сказалъ онъ въ полголоса.

— Объявился, батюшка Патапъ Максимычъ, точно что объявился, горькимъ голосомъ отвѣтила Аксинья Захаровна...—Слышала я давеча подъ окнами голосъ его непутный... Охъ грѣхи, грѣхи мои!... продолжала она, вскидывая ея мужа полные слезами глаза.

— Пѣснями у воротъ меня встрѣтилъ, молвилъ Патапъ Максимычъ.—Кому Сочельникъ, а ему все еще Святки.

— И не говори, батюшка!... Чтò мнѣ съ нимъ дѣлать-то?... Ума не приложу.... Не братъ, а врагъ онъ мнѣ... Вѣкъ бы его не видала. Околѣлъ бы гдѣ-нибудь, прости Господи, подъ оврагомъ.

— Пустаго не мели, отрѣзалъ Патапъ Максимычъ. — Мало пути въ Никифорѣ, а пожалуй и вовсе нѣтъ, да все же тебѣ братъ. Своя кровь — изъ роду не выкинешь.

— Охъ, ужъ эта родня!... Одна сухота, плачущимъ голосомъ говорила Аксинья Захаровна.—Навязался мнѣ на шею!.. Одна ошудъ въ домѣ. Хоть бы ты его хорошенько поначалилъ, Максимычъ.

— Не училъ отецъ смѣлоду, зятю не научить, какъ въ коломенску версту онъ вытянулся, сказалъ на то Патапъ Максимычъ.—Мало я возился съ нимъ? Ну, да чтò поминать про старое? Приглядывать только надо, опять бы чего въ кабакъ со двора не стащилъ.

— Батюшка ты мой!... Сама буду глядѣть, и работникамъ закажу чтобъ глядѣли, вопила Аксинья Захаровна.—А ужъ лучше бы, кормилецъ, заказалъ ты ему путь къ нашему дому. Иди, молъ, откуда пришелъ.

— Не дѣло говоришь, Захаровна. Великъ передъ Богомъ грѣхъ: роднаго человѣка изъ дому выгнать, молвилъ Патапъ Максимычъ.—Отъ людей зазорно, роду-племени покоръ! У добрыхъ людей такъ не водится. Славу Богу, насъ не обѣсть. Лишь бы не дурилъ да хмѣльнымъ дѣломъ по-

меньше зашибался. Парень онъ не дуракъ, руки золотыя, рыло-то на бѣду погано. По нашимъ мѣстамъ, думаю я, Никифору въ жизнь не справиться, славы много; одно то, что „волкомъ“ былъ; всѣ знаютъ его вдоль и поперекъ, ни отъ кого вѣры нѣтъ ему на полушку. А вотъ послушай-ка, Аксиныя, что я вздумалъ: сегодня у меня на базарѣ дѣльце выгорѣло — пшеницу на Низу въ годы беру; землю, то-есть, казенную на сроки хочу нанимать. Старые пріятели Зубковы, сняли на годы въ Узеньяхъ казенныя земли, пшеницу сѣять. Набрали дѣла черезъ силу, хочу я у нихъ хутора два годовъ на шесть взять. По веснѣ пожалуй самому сплыть туда придется, осмотрѣть все, хозяйство завести. Кого прикащикомъ послать—придуманно. У того прикащика на другомъ хуторѣ будетъ ему подначальный. И пало мнѣ на умъ: въ подначальные то Никифора. Отъ того хутора, гдѣ думаю посадить его, кабака кругомъ верстъ на сорокъ нѣтъ. А Никифоръ, какъ не пьетъ, золото. Такъ я и рѣшилъ его въ Узени. Чтѣ скажешь на это?

— Что тебѣ, Максимычъ, слушать глупыя рѣчи мои? молвила на то Аксиныя Захаровна.—Ты голова. Знаю, что ради меня, не ради его непутнаго, Микешку жалѣешь. Да сколь же еще изъ-за него паскуднаго мнѣ слезъ принимать, глядя на твои къ нему милости? Ничто ему, пьяницѣ, ни въ прокъ, ни въ толкъ нейдетъ. Совсѣмъ, отятой, сбился съ пути. Охъ, Патапушка, голубчикъ ты мой, кормилецъ ты нашъ, не кори за Микешку меня горемычную. Возрадовалась бы я во гробу его видючи, въ бѣломъ саванѣ...

— Нишкни. Пустыхъ рѣчей не умножай. Грѣхъ! Кто тебя, глупую, корить? такъ заговорилъ Патапъ Максимычъ.—Эхъ Аксиныя, Аксиныюшка! Не знаешь развѣ, что за брата сестра не отвѣтчица?... Хоть и пьяница Ники-

оръ, хоть и воровъ приличился, хоть „волкомъ“ по деревнямъ водили его, все же онъ тебѣ братъ. Чтò ни дѣлай, изъ родни не выкинешь. Значить, не чужу остуду на себя беру, своего рода сухоту на плеча кладу. Лишняго толковать нечего; пошлемъ его въ Узени. Все хорошей рукой облажу; и толковать про то больше не станемъ.... А я тебѣ, Аксиньюшка, вотъ какое еще слово молвлю: не даромъ дѣвкамъ-то загадку я загнулъ, что ради гостя дорогаго любой изъ нихъ не пожалѣю. Съ Данилой Тихоннычемъ Снѣжковымъ мы совсѣмъ, почитай, рѣшили.

— Чтò рѣшили? спросила Аксинья Захаровна, пристально глядя на мужа.

Онъ остановился передъ ней у стола и сказалъ:

— Насчетъ судьбы Настиной.

У Аксиньи руки опустились. Жаль ей было разставаться съ дочерями, и не разъ говоривала она мужу, что Настя съ Парашей не перестарки, годика три-четыре могутъ еще въ дѣвкахъ посидѣть.

— Не раненько ль задумалъ, Максимычъ? сказала.— Надоѣла что ль тебѣ Настасья али объѣла насъ?

— Пустаго не говори, а что не рано я дѣло задумалъ, такъ помни, что дѣвкѣ пошелъ девятнадцатый, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Пожалѣй ты ее голубушку! молила Аксинья Захаровна.

— Чего жалѣть-то! Худа что ли отецъ-отъ ей хочетъ? рѣзко и громко сказалъ Патапъ Максимычъ. Слушай: у Данилы Тихонныча четыреста тысячъ на серебро капитала, oprичъ домовъ, заводовъ и пароходовъ. Два сына у него, да три ли, четыре ли дочери, двѣ-то замужемъ за казанскими купцами, за богатыми. Старшему сыну Михайлѣ Данилычу, жениху-то, отецъ капиталъ отдѣляетъ и домъ даетъ, хочешь съ отцомъ живи, хочешь свое

хозяйство правъ. Стало-быть, Настасья ни свекрови со свекромъ, ни золовокъ съ деверьями бояться нечего. Захочетъ, сама себѣ хозяйкой заживетъ. А Михайло Данилычъ — парень добрый, разсудливый, смывденный, хмелемъ не зашибается, художествъ никакихъ за нимъ нѣтъ. А изъ себя видный, шадровить маленько, оспа побила, да съ мужнина лица Настасья не воду пить: мужъ-отъ приглядится, Богъ дастъ, какъ поживетъ съ нимъ годикъ-другой....

— Охъ, батюшка Патапъ Максимычъ, повремени хоть маленько, твердила свое Аксиныя Захаровна. — Скорбно мнѣ разставаться съ Настѣнкой. Повремени, кормилецъ!

— И повременю, молвилъ Патапъ Максимычъ. — Въ нынѣшнемъ масоѣдѣ свадьбы сыграть не успѣть, а съ весны во все лѣто, до осенней Казанской, Снѣжковымъ некогда да и мнѣ недосугъ. Раньше Михайлова дня свадьбы сыграть нельзя, а это чуть не черезъ годъ.

— Такъ зачѣмъ же сговоромъ-то торопишься? Время бы не ушло, сказала Аксиныя Захаровна.

— Кто тебѣ про сговоръ сказалъ? отвѣтилъ Патапъ Максимычъ. — И на разумъ мнѣ того не приходило. Приѣдутъ въ гости къ именинницѣ — вотъ и все. Ни смотришь, ни сговора не будетъ; и про то чтобъ невѣсту пропить не будетъ рѣчи. Поглядятъ другъ на дружку, повидаются, поговорятъ кой о чемъ, и ознакомятся, оно все-таки лучше. Ты покамѣстъ Настасья ничего не говори.

Узнавъ, что не близка разлука съ дочерью, Аксиныя Захаровна успокоилась, и прибравъ чайную посуду, пошла въ моленную утреню слушать.

Патапъ Максимычъ взялъ счеты и долго клалъ на нихъ.

„Работниковъ пятнадцать надо принанять, — а то не управисься“, подумалъ онъ, кладя на полку счеты.

Потомъ взялъ свѣчу и пошелъ на заднюю половину

Богу молиться. Едва вышелъ въ сѣни, повалился ему въ ноги какой-то человѣкъ.

— Не оставь ты меня паскуднаго отеческой своей милостью, батюшка ты мой, Патапъ Максимычъ!... Какъ Богъ, такъ и ты — дай теплый уголь; дай кусокъ хлѣба!... Такъ говорилъ тотъ человѣкъ хриплымъ голосомъ.

Онъ былъ въ оборванной шубенкѣ, въ истоптанныхъ валенкахъ, голова всклокочена.

— Встань, Никифоръ, встань! Полно валяться, строго сказалъ ему Патапъ Максимычъ.

Никифоръ поднялся. Красное отъ пьянства лицо было все въ синякахъ.

— Гдѣ, непутный, шатался? спросилъ Чапуринъ.

— Гдѣ ночь, гдѣ день, батюшка, Патапъ Максимычъ, И самъ не помню, отвѣчалъ Никифоръ.

— Ахъ ты непутный, непутный! качая головой, укорялъ шурина Патапъ Максимычъ. — Гляди-ка рожу-то какъ тебѣ отдѣлали!... Ступай, проспись... Изъ дому не гоню съ уговоромъ, брось ты, пустой человѣкъ, это проклятое винище, будь ты хорошимъ человѣкомъ.

— Кину, батюшка, Патапъ Максимычъ, кину, безпремѣнно кину, сталъ увѣрять зятя Никифоръ. — Зарокъ дамъ... Не оставь только меня своей милостью. Чего вѣдь я не натерпѣлся — и холодно... и голодно....

— Ладно, хорошо. Ступай покамѣсть въ подклѣтъ, проспись хорошенько, завтра приходи — потолкуемъ. Можетъ статься, пригодишься, молвилъ Чапуринъ.

— Радъ тебѣ по гробъ жизни служить, кормилецъ ты мой!... заплакалъ Никифоръ. — Только вотъ — сестра лиходѣйка... Заѣсть меня...

— Ну, ступай, ступай — проспись... Да ступай же!.. прикрикнулъ Патапъ Максимычъ, замѣтивъ, что Никифоръ и не думаетъ выходить изъ сѣней.



Мыча что-то подьяность, слегка покачиваясь пошелъ Никифоръ въ подклѣтъ, а Патапъ Максимычъ въ моленну къ богоявленской заутрени. За нимъ туда же пошли жившіе у него работники и работницы, потомъ старики со старухами, да изъ молодыхъ богомольные. Сошлись они изъ Осиповки и сосѣднихъ деревень. Чапуринъ на большіе праздники пускалъ къ себѣ въ моленну и постороннихъ. На то онъ попечитель Городецкой часовни, значитъ, ревнитель. Когда собрались богомольцы, и канонница, замолитвовавъ, стала съ хозяйскими дочерьми править по „Минеи“ утрению, Акинья Захаровна торопливо вышла изъ моленной и въ сѣняхъ подозвавъ дюжого работника старика Пантелея, что смотрѣлъ за дворомъ и за всѣми живущими по найму, тревожно спросила его:

— Заперъ ли, Пантелеюшка, ворота-то? Поставилъ ли на задахъ караульныхъ-то?

— Не безпокойся, матушка, Акинья Захаровна, отвѣчалъ Пантелей.—Все сдѣлано какъ слѣдуетъ—не впервые. Слава тѣ Господи, пятнадцать лѣтъ живу у вашей милости, порядки знаю. Да и бояться теперь, матушка, нечего. Кто посмѣетъ тревожить хозяина, коли самъ губернаторъ знаетъ его?

— Не говори, Пантелеюшка, возразила Акинья Захаровна.—„Не надѣйтесь на князи и сыны человѣческіе“. Безпремѣнно надо стѣрожимъ быть... Долго ль до грѣха?... Ну какъ насъ на службѣ-то накроютъ... Суды пойдутъ, расходы. Сохрани, Господи, и помилуй!

— Ничего такого статься не можетъ, Акинья Захаровна, успокоивалъ ее Пантелей.—Никакого вреда не будетъ. Сама посуди: кто накроетъ?... Исправникъ, аль становой?... Свои люди. — Невыгодно имъ, матушка, трогать Патапа Максимыча.

— Нѣтъ, Пантелеюшка, не говори этого, родимой, воз-

разила хозяйка, и понизивъ голосъ, за тайну стала передавать ему.—Свибловскій попъ, приходскій-то здѣшній, Сушилу знаешь?—больно сталъ злобствовать на Патапа Максимыча. Безпремѣнно, говорить, накрою Чапурина въ моленной на службѣ, нонѣ-де старовѣрамъ воля отошла; поѣду, говорить, въ городъ и докажу, что у Чапуриныхъ въ деревнѣ Осиповѣ моленна, посторонни люди въ нее на богомолье сходятся. Накроютъ-де, потачки не дадутъ. Пускай-дескать Чапуринъ поминаетъ шелковый сарафанъ, да парчевый холодникъ!

— Какой сарафанъ, какой холодникъ? спросилъ Пантелей.

— А видишь ли, Пантелеюшка, отвѣчала хозяйка.—Прошлымъ лѣтомъ Патапъ Максимычъ къ Макарью на ярманку ѣхалъ, и попались ему попъ Сушило на дорогѣ. Слово за слово, говорить попъ Максимычу: „Ѣдешь ты, говорить, къ Макарью — привези моей попадѣ шелковый, гарнитуровый сарафанъ да хорошій парчевый холодникъ.“ А хозяинъ и отвѣтъ ему:—„Не жирно ли, батъко, будетъ? Тебѣ и то съ меня не мало идетъ уговорнаго; со всего прихода столько тебѣ не набрать.“ — Осерчалъ Сушило, пригрозилъ хозяину: „Помни, говорить, ты это слово, Патапъ Максимычъ, а я его не забуду, — такое дѣло состряпаю, что бархатный салопъ на собольемъ мѣху станешь дарить попадѣ, да ужь поздно будетъ, не возму.“ Съ той поры онъ и злобится. „Безпремѣнно, говорить, накрою на моленъ Чапуриныхъ. Въ острогъ засажу“, говорить.

— Въ острогъ-отъ не засадить, съ усмѣшкой молвилъ Пантелей, — а покрѣпче приглядывать не мѣшаетъ. Потому — можетъ напугать, помѣшать.... Пойду-ка я двоихъ на задахъ-то поставлю.

— Ступай, Пантелеюшка, поставь двоихъ, а не то и

троихъ, голубчикъ, вѣрнѣе будетъ, говорила Акинья Захаровна. — А нашъ-отъ хозяинъ больно ужъ безстрашенъ. Смѣется надъ Сушилой да надъ сарафаномъ съ холоднокомъ. А долго ль до грѣха? Самъ посуди. Захочетъ Сушило, пройметъ не мытьемъ, такъ катаньемъ!

— Это такъ. Это отъ него можетъ статья, замѣтилъ Пантелей, и направляясь къ лѣстницѣ, молвилъ: — троихъ поставлю.

— Поставь, поставь, Пантелеюшка, подтвердила Акинья Захаровна, и медленною поступью пошла въ моленную.

Тревога была напрасна. Помолились за утреней какъ слѣдуетъ, и часы, не расходясь, прочитали. Патапъ Максимычъ много доволенъ остался пѣніемъ дочерей, и потому чуть не цѣлый день заставлялъ ихъ пѣть тропари Богоявленью.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Верстахъ въ пяти отъ Осиповки, среди болотъ и перелѣсковъ, стоитъ маленькая, дворовъ въ десятокъ, деревушка Поромово. Проживалъ тамъ удѣльный крестьянинъ Трифонъ Михайловъ, прозвищемъ Лохматый. Исправный мужикъ былъ: промыселъ шелъ у него ладно, залежныхъ деньжонки водились. По другимъ мѣстамъ за богатѣя пошелъ бы, но за Волгой много такихъ.

Было у Трифона двое сыновей, одинъ работникъ матѣрой, другой только что вышелъ изъ подростковъ, дочерей двѣ дѣвки. Хоть разумомъ тѣ дѣвки отъ другихъ и отстали, хоть болтали про нихъ непригожія рѣчи, однакожь онѣ не послѣдними невѣстами считались. Въ любой домъ съ радостью бѣ взяли такихъ спорыхъ, проворныхъ работниковъ. Дѣвки молодыя, сильныя, здоровенныя: на жнитвѣ,

на сѣнокосѣ, въ токарнѣ, на овинѣ, аль въ избѣ за гребнемъ, либо за тканьемъ, дѣло у нихъ такъ и горитъ; одна за двухъ работаетъ. Лохматый замужъ дѣвокъ отдавать не торопился, самому нужны были. „Не перестарки“, думаль онъ, „пустъ годъ, другой за родительскій хлѣбъ на свою семью работаютъ. Успѣють въ чужихъ сѣмьяхъ нажитья“.

Старшій сынъ Трифова, звали Алексѣемъ, парень былъ лѣтъ двадцати съ небольшимъ, слылъ за перваго искутника по токарной части. И красавецъ былъ изъ себя. Росту чуть не въ косую сажень, стоитъ бывало середь мужиковъ на базарѣ, всѣхъ выше головой; здоровый, бѣлолицый, румянецъ во всю щеку такъ и горитъ, а кудрявые темнорусые волосы такъ и вьются. Такимъ молодцомъ смотрѣлъ, что не только крестьянскія дѣвки, поповны на него заглядывались. Да что поповны! Была у становаго свояченица, и та по Алешѣ Лохматомъ востосковалась... Да такъ востосковалась, что любовную записочку къ нему написала. Ту записку становой перехватилъ, свояченицу до грѣха, въ другой уѣздъ, къ теткѣ отправилъ, Трифону грозилъ:

— Быть твоему Алёшкѣ подъ красной шапкой, не миновать, подлецу, бритаго лба.

— Да за что жь это, ваше благородіе? спросилъ Трифонъ Лохматый. — Кажись, за сыномъ дурныхъ дѣлъ не видится.

— Хоть дурныхъ дѣлъ не видится, да не по себѣ онъ дерево клонить, — говорилъ становой.

Не разгадалъ Трифонъ загадки, а становой больше и говорить не сталъ. И злобился послѣ того на Лохматыхъ, и быть бы худу, да по скорости, его подъ судъ уехали.

Бывало, по осени, какъ супрядки начнутъ, деревенскія дѣвки ждутъ не дождутся Алёши Лохматаго; безъ него и пѣсенъ не играютъ, безъ него и веселья нѣтъ. И уменъ же Алёша былъ, разсудливъ не по годамъ, каждо дѣло по

крестьянству не хуже стариковъ могъ разсудить, къ тому же грамотой Господь его умудрилъ. Хоть за Волгой грамотей издавна не въ диковину, но такихъ какъ Алексѣй Лохматый и тамъ водится немного: oprичъ божественныхъ книгъ, читалъ гражданскія и до нихъ большой былъ охотникъ. Деньгу любилъ, а любилъ ее потому что хотѣлось въ довольствѣ, въ богатствѣ, во всемъ изобиліи пожить, славы, почета хотѣлось... Не говаривалъ онъ про то ни отцу, съ матерью, ни другу пріятелю; одинъ съ собой думу такую держалъ.

Жилъ старый Трифонъ Лохматый да Бога благодарилъ. Тихо жилъ, смирно, съ сосѣдами въ любви да въ совѣтѣ добрая слава шла про него далекѡ. Обиды отъ Лохматаго никто не видалъ, каждому человѣку онъ по силѣ своей радъ былъ сдѣлать добро. Пуще всего не любилъ мірскихъ пересудовъ. Терпѣть не могъ, какъ иной разъ дочери, набравшись вѣстей на супрядкахъ аль у колодца, зачнутъ языками косточки кому-нибудь перемывать.

— Расшумѣлись, какъ воробьи къ дождю? крикнетъ бывало на нихъ.—Люди врутъ, а вы вранье разносить?... Потараторьте-ка еще у меня, сороки, сниму плетъ съ колка, научу уму-разуму.

Дѣвки ни гугу. И никогда, бывало, ни единой сплетни или пересудовъ изъ Трифиновой избы не выносилось.

Безъ горя, безъ напасти человѣку вѣка не прожить. И надъ Трифономъ Лохматымъ сбылось то слово, стряслась и надъ нимъ бѣда, налетѣла напасть неожиданно, нежданно. На самое Воздвиженье токаря у него сторѣла съ готовой посудой ста на два рублей. Работали въ токарнѣ до сумерекъ, огня и въ заводахъ не было. Въ самую полночь вспыхнула. Стояла токаря на рѣчкѣ, въ полуверстѣ отъ деревни—покуда проснулись, покуда прибѣжали—вся въ огнѣ. Въ одно слово рѣшили мужики, что лихой че-

ловѣкъ Трифону краснаго пѣтуха пустилъ. Долго Лохматый умомъ-разумомъ по міру раскидывалъ, долго гадалъ кто бы таковъ былъ лиходѣй, что его обездолилъ. Никого, кажись, Трифонъ не прогнѣвалъ, со всѣми жилъ въ ладу да въ добромъ совѣтѣ, а токарню подпалили. Гадалъ, гадалъ Трифонъ Михайлычъ, не надумалъ ни на кого, и гадать пересталъ.

— Подавай становому объявленіе, говорилъ ему удѣльнаго приказа писарь Карпъ Алексѣичъ Морковкинъ. — Произведутъ слѣдствіе, сыщутъ злодѣя.

Ни слова Трифонъ не молвилъ на отвѣтъ писарю. На міру потомъ такую рѣчь говорилъ:

— Ни за что на свѣтѣ не подамъ объявленія, ни за что на свѣтѣ не наведу суда на деревню. Судъ найдетъ, не одну мою копѣйку потянетъ, а міру и безъ того туго приходится. Лучше жъ я какъ-нибудь, съ Божьей помощью, перебыюсь. Сколочусь по времени съ деньжонками, нову токарню поставлю. А злодѣю, что меня обездолилъ, — суди Богъ на страшномъ Христовомъ судищѣ.

Любовно принялъ міръ слово Трифоново. Урядили, положили старики, если объявится лиходѣй, что у Лохматаго токарню спалилъ, потачки ему, вору, не давать: изъ лѣтъ не вышелъ — въ рекруты, вышелъ изъ лѣтъ — въ Сибирь на поселеніе. Такъ старики порѣшили.

Съ одной бѣдой трудовому человѣку немного хитро справиться. Одну бѣду заспать можно, можно и съ хлѣбомъ съѣсть. Но бѣда не живетъ одна. Такъ и съ Лохматымъ случилось. Съ самаго пожара пошелъ ходить по бѣдамъ: на Покровъ пару лошадей угнали, на Казанскую воры въ клѣтъ залѣзли. Разбили злодѣи укладку у Трифона, хорошу одѣжу всю выкрали, все годами припасенное дочерямъ приданое да триста цѣлковыхъ наличными, на которыя думалъ Трифонъ къ веснѣ токарню поставить. Обообрали

бѣднягу, какъ малинку, согнуло горе старика, не глядя бы на вольный свѣтъ, бѣжалъ бы куда изъ дому: жена воетъ не своимъ голосомъ, убивается; дочери ревутъ, причитаютъ надъ покраденными сарафанами, ровно по покойникамъ. Сыновья какъ ночь ходятъ. Чтò дѣлать, какъ бѣдѣ пособить? Денегъ нѣтъ, перехватить развѣ у кого-нибудь? Но Трифонъ въ жизнь свою ни у кого не займовалъ, зналъ, что деньги занять—остуду принять.

— Прихвати, Михайлычъ, сколько ни-на-есть деньжонокъ, говорила жена его, Оекла, баба тихая, смиренная, внезапнымъ горемъ совсѣмъ почти убитая.— И токарню вѣдь надо ставить, и безъ лошадокъ нельзя....

— Радъ бы прихватилъ, Абрамовна, да негдѣ прихватить-то; ни у котораго человѣка теперь денегъ для чужаго кошелька не найдешь. Хоть проси, хоть нѣтъ—все едино.

— Да вотъ хоть бы у писаря, у него деньги завсегда водятся, подхватила Оекла,—покутиться бы тебѣ у Карпа Алексѣича. Дастъ.

Молчитъ Трифонъ, лучину щеплетъ, Оекла свое.

— Чтò жъ, Михайлычъ? Заемъ дѣло вольное, любовное: безчестья тутъ никакого нѣтъ, а намъ, самъ ты знаешь, безъ токарни да безъ лошадокъ не прожить. Подъ, поклоняйся писарю, говорила Оекла мужу, утирая рукавомъ слезы.

— Не пойду, отрывисто, съ сердцемъ молвилъ Трифонъ и нахмурился.—И не говори ты мнѣ, старуха, про этого міроѣда, прибавилъ онъ, возвысивъ голосъ, — не вороти ты душу мою... Отъ него, отъ паскуднаго, весь міръ сохнетъ. Знаться съ писарями мнѣ не рука.

— Да чтò же не знаться-то?... Чтò ты за „тысячникъ“ такой?... Ишь гордыня какая налѣзла, говорила Оекла.— Чѣмъ Карпъ Алексѣичъ не человѣкъ? И денегъ въ волю, и начальство его знаетъ. Глянь-ка на него, человѣкъ моло-

дой, мірскимъ захребетникомъ былъ, а теперь передъ нимъ всякъ шапку ломить.

— Ну и пусть ихъ ломаютъ, а я, сказано, не пойду, такъ и не пойду, молвилъ Трифонъ Лохматый.

— А я что говорила тебѣ, то и теперь скажу, продолжала Оекла. — Какъ бы вотъ не горе-то наше великое, какъ бы не наше разоренье-то, онъ бы сватовъ къ Паранькѣ заслалъ. Давно про нее заговаривалъ. А теперь, знамо дѣло, безприданница, побрезгуешь...

Прасковья, старшая дочь Трифона, залилась слезами и начала причитать.

— Плети захотѣла? крикнулъ отецъ.

Смокла Прасковья, оглядываясь и будто говоря: „да вѣдь я такъ, я пожалуй и не стану ревѣть“. Вспомнила что корову доить пора и пошла изъ избы, а меньшая сестра слѣдомъ за ней. Оекла ни гугу, перемиываетъ у печи горшки, да Ісусову молитву творить.

Нащепавъ лучины, обратился Трифонъ къ старшему сыну, что во все время родительской перебранки молча въ углу сидѣлъ, оттачивая токарный снарядъ.

— Алѣха! Неча, парень, дѣлать, надо въ чужі люди идти, въ работники. Сказываютъ, Патапъ Максимычъ Чапуринъ большой подрядъ на посуду снялъ. Самому, слышь, управиться сила не беретъ, такъ онъ токарей пріискиваетъ. Порядись съ нимъ на лѣто, аль до зимняго Никола. Десятковъ пять, шесть Богъ дастъ заработаешь, къ тому жъ и съ харчей долой. У Чапурина можно и впередъ денегъ взять, не откажетъ; на эти деньги токарню по веснѣ справили бы, на первое время хоть не больно мудрящую. А Саввушку, думаю я, Оекла, въ Хвостиково послать, онъ мастеръ ложкарить. Заработаетъ сколько-нибудь. А сами, Богъ милостивъ, какъ-нибудь перебьемся.

— Я, батюшка, всей душой радъ послужить, за твою



родительскую хлѣбъ-соль заработать, сколько силы да умѣнья хватить, и дома радѣхонекъ, и на сторонѣ — гдѣ прикажешь, сказалъ красавецъ Алексѣй.

— Спасибо, парень. Руки у тебя золотыя, добывай отцу, молвилъ Трифонъ.— Саввушка, а Саввушка! крикнулъ онъ, отворивъ дверь въ сѣни, гдѣ младшій сынъ рѣзалъ изъ баклушъ ложки.

— Чего, тятенька? весело, тряхнувъ кудрями, спросилъ красивый подростокъ, лѣтъ пятнадцати, входя въ избу.

— Избынмъ тепломъ, сидя возлѣ материна сарафана, умень не будешь, Саввушка. Знаешь ты это? спросилъ его отецъ.

— Знаю, бойко отвѣтилъ Саввушка, вопросительно глядя на отца.

— Поживя въ чужихъ людяхъ, умнѣе будешь. Такъ али нѣтъ?

— Ты, тятя, лучше меня знаешь, отвѣчалъ Саввушка, ясно и любовно глядя на отца.

Бросила горшки свои Оекла; сѣла на лавку, и ухватясь руками за колѣна, вся вытянулась впередъ, зорко глядя на сыновей. И вдругъ стала такая блѣдная, что краше во гробъ кладутъ. Чужимъ тепломъ Трифоновы дѣти не грѣлись, чужаго куса не ѣдали, родительскаго дома отродясь не покидали. И никогда у отца съ матерью на мысли того не бывало, чтобъ когда-нибудь ихъ сыновьямъ довелось на чужой сторонѣ хлѣбъ добывать. Горько бѣдной Оеклѣ. Глядѣла, глядѣла старуха на своихъ сокольниковъ, и заревѣла въ источникъ голосъ.

— Чего завывла? Не покойниковъ провожаешь? сердито попрекнулъ ей Трифонъ, но въ суровыхъ словахъ его слышалось что-то плачевное, горестное. А не задать бабѣ окрику нельзя, не плакать же мужику, не бабиться.—Оекла, сказалъ Трифонъ женѣ поласковѣй, — подь-ка помолись.

И Оекла покорно пошла въ заднюю, гдѣ была у нихъ небольшая моленна. Взявши въ руку лѣстовку, стала за налой. Читая канонъ Богородицѣ, хотѣлось ей забыть новое, самое тяжкое изъ всѣхъ постигшихъ ее горе.

— Ужъ вы пораdѣйте, ребятки, пособи́те отцу, говорилъ Трифонъ. — Пустилъ ли бы я васъ въ чужіе люди, какъ бы не бѣда наша, не послѣднее дому раззоренье? Ужъ вы пораdѣйте. А живите въ людяхъ умненько, не балуйте, работайте путемъ. Не знаю какъ въ Хвостиковѣ у ложкарей, Саввушка, а у Чапурина въ Осиповкѣ такое заведеніе, что если который работникъ, окромѣ положенной работы, лишковъ наработаетъ, за тѣ лишки особая плата ему сверхъ ряженой. Чапуринъ — человѣкъ добрый, обиды никому не сдѣлаетъ. Служи ему, Алексѣй, какъ родному отцу; онъ тебя и впередъ не покинетъ. Пораdѣй же хорошенько, Алексѣюшка, постарайся побольше денегъ заработать. Справиться бы намъ поскорѣе! Тебѣ же подходить пора и законъ совершить, такъ надо тебѣ, Алексѣй, объ отцѣ съ матерью пораdѣть.

Долго толковалъ Трифонъ съ сыновьями какъ имъ работу искать. Порѣшили Алексѣю завтра жъ идти въ Осиповку рядиться къ Патапу Максимычу, а въ среду, какъ на сосѣдній базаръ хвостиковскіе ложкари пріѣдутъ порядить и Саввушку.

Спать улеглись, а Оекла все еще клала въ моленной земные поклоны. Кончивъ молитву, вошла она въ избу и стала на колѣна у лавки, гдѣ, разметавшись, крѣпкимъ сномъ спалъ любимецъ ея Саввушка. Бережно взяла она въ руки сыновнюю голову, припала къ ней и долго, чуть слышно рыдала.

Рано поутру, еще до свѣту, на другой день Алексѣй собрался въ Осиповку. Это было какъ разъ черезъ недѣлю послѣ Крещенья. Помолившись со всею семьей Богу,

простившись съ отцомъ, съ матерью, съ братомъ и сестрами, пошелъ онъ радиться. Къ вечеру надо было ему назадъ къ отцу въ Поромово придти, повѣстять на чемъ въ рядѣ сошлись. Былъ слухъ, что Чапуринъ цѣны даетъ хорошія, что дѣло у него на спѣхъ, самъ де не знаетъ, успѣетъ ли къ сроку заподряженный товаръ поставить. Всѣ работники, что были по околотку, нанялись ужъ къ нему; кромѣ того, много работы роздано было по домамъ, и задатки розданы хорошіе.

Свѣтало, когда Алексѣй, напутствуемый наставленьями отца и тихимъ плачемъ матери, пошелъ изъ дому. Бѣдя за ворота, перекрестился онъ на всѣ стороны, и поникнувъ головой, пошелъ по узенькой дорожкѣ, проложенной межъ сугробовъ. Не легко человѣку впервые оставлять теплое семейное гнѣздо, идти въ чужіи люди хлѣбъ зарабатывать. Много было передумано Алексѣемъ во время медленнаго пути. Думалъ онъ, что-то ждетъ его въ чужомъ дому, ласковы ль будутъ хозяева, каковы то будутъ до него товарищи, не было бѣ отъ кого обиды какой, не нажить бы ему чьей злобы своей простотой; чужбина вѣдь не податлива,—ума прибавить, да и горя набавить.

Патапъ Максимычъ выходилъ изъ токарнаго завода, что стоялъ черезъ улицу отъ дома, за амбарами, когда изъ-за околицы показался Алексѣй Лохматый. Не доходя шаговъ десяти, снялъ онъ шапку и низко поклонился „тысячнику“. Чапуринъ окликалъ его:

— Здорово, парень! Куда Богъ несетъ?

— До вашей милости, Патапъ Максимычъ, не надѣвая шапки, отвѣчалъ Алексѣй.

— Что надо, парень? Да ты шапку-то надѣвай, студено. Да пойдемъ-ка лучше въ избу, тамъ потеплѣй будетъ намъ разговаривать. Скажи-ка родной, какъ отецъ - отъ у васъ

справляется? Слышалъ я про ваши бѣды; жалко мнѣ васъ... Шутка ли, какъ злодѣи-то васъ обидѣли!..

— Въ раззоръ раззорили, Патапъ Максимычъ, совсѣмъ доконали. Какъ есть совсѣмъ, отвѣчалъ Алексѣй.

— Богу надо молиться, дружокъ, да рукъ не покладывать, и Господь все сызнова пошлетъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.—Ты вѣдь, слыхалъ я, грамотей, книгочей.

— Читаемъ помаленьку, молвилъ Алексѣй.

— А челъ ли ты книгу про Іева многострадальнаго, про того что на гноищи лежалъ? Побогаче твоего отца былъ, да всего лишился. И на Бога не возропталъ. Не возропталъ, прибавилъ Патапъ Максимычъ, возвыся голосъ.

— Это я знаю, читалъ, отвѣтилъ Алексѣй. — Зачѣмъ на Бога роптать, Патапъ Максимычъ? Это не годится; Богъ лучше знаетъ, чему надо быть; любя насъ наказуетъ...

— Это ты хорошо говоришь, дружокъ, по-Божьему, ласково взявъ Алексѣя за плечо сказалъ Патапъ Максимычъ.—Господь пошлетъ; поминай чаще Іева на гноищи. Да... все имѣлъ, всего лишился, а на Бога не возропталъ; за то и подалъ ему Богъ больше прежняго. Такъ и ваше дѣло—на Бога не ропщите, рукъ не жалѣйте, да съ Богомъ работайте, Господь не оставитъ васъ — пошлетъ больше прежняго.

Разговаривая такимъ образомъ, Патапъ Максимычъ вошелъ съ Алексѣемъ въ подклѣтъ; тамъ сильно олифой пахло: крашенная посуда въ печи сидѣла для просухи.

— По какимъ дѣламъ ко мнѣ пришелъ? спросилъ Патапъ Максимычъ, скидая тулупъ и обтирая сапоги о брошенную у порога рогожку.

— Слышно, ваша милость работниковъ наймете... робкимъ голосомъ молвилъ Алексѣй.

— Наймемъ. Работники мнѣ нужны, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Такъ я бы...

Патапъ Максимычъ улынулся.

Самый первый токарь, которымъ весь околотокъ не нахвалится, пришелъ наниматься не званый, не прошенный!... Не разъ подумывалъ Чапуринъ спосылать въ Поромово къ старику Лохматому — не отпустить ли онъ, при бѣдовыѣхъ дѣлахъ, старшаго сына въ работу, да все отдумывалъ... „Ну, а какъ не пустить, да еще послѣ насмѣется, вѣдь онъ говорятъ мужикъ крутой и заносливый“... Привыкнувъ жить въ славѣ и почетѣ, боялся Патапъ Максимычъ подсмѣху отъ какого ни на есть мужика.

— Въ работники хочешь? сказалъ онъ Алексѣю. — Что же? Милости просимъ. Про тебя слава идетъ добрая, да и самъ я знаю работу твою: знаю, что руки у тебя золотые... Да что жъ это, парень? Неужли у васъ до того дошло, что отецъ тебя въ чужи люди посылаетъ? Вѣдь ты говоришь, отецъ прислалъ. Не своей волей ты рядиться пришелъ?

— Какъ же можно безъ родительской воли, Патапъ Максимычъ? Этого никакъ нельзя, сказалъ Алексѣй.

— Такъ сами-то вы развѣ ужъ и подняться не можете?

— Не можемъ, Патапъ Максимычъ; совсѣмъ злые люди насъ обездолили; надо будетъ съ годокъ въ людяхъ поработать, отвѣчалъ Алексѣй. — Родители и меньшаго брата къ ложкарямъ посылаютъ; знатно рѣжетъ ложки: всякую, какую хошь, и касатую, и тонкую, и бѣскую и межеумокъ, и крестовую рѣжетъ. Къ пальмѣ даже приученъ — вотъ какъ бы хозяинъ ему такой достался, чтобы пальму точить...

— Доброе дѣло, перебилъ Алексѣя Патапъ Максимычъ. — Да ты про себя-то говори. Какъ же ты?

— Да какъ вашей милости будетъ угодно, отвѣчалъ Алексѣй. — Я бы до Михайлова дня, а коли милость будетъ, такъ до Николы...

— До Николы такъ до Николы. До зимняго значить? сказалъ Патапъ Максимычъ?

— Извѣстно, до зимняго подтвердилъ Алексѣй.

— А насчетъ ряды, какъ думаешь? спросилъ Чапуринъ.

— Да ужь это какъ вашей милости будетъ угодно, сказалъ Алексѣй. — По вашей добродѣтели бѣднаго человѣка вы не обидите, а я радъ стараться сколько силы хватить.

Такое слово любо было Патапу Максимычу. Онъ назначилъ Алексѣю хорошую плату и больше половины выдалъ впередъ, чтобъ можно было Лохматымъ по-маленьку справляться по хозяйству.

— Молви отцу, говорилъ онъ, давая деньги, — коли нужно ему на обзаведенье, шель бы ко мнѣ — сотню другу-третью съ радостью дамъ. Разживетесь, отдадите, а въ времени ты заработаешь. Ну, а когда же работать начнешь у меня?

— Да по мнѣ хоть завтра же, Патапъ Максимычъ, отвѣчалъ Алексѣй. — Сегодня домой схожу, деньги снесу, въ банѣ выпарюсь, а завтра съ утра къ вашей милости.

— Ну ладно, хорошо. Приходи...

Алексѣй хотѣлъ идти изъ подклѣта, какъ дверь широко распахнулась, и вошла Настя. Въ голубомъ ситцевомъ сарафанѣ съ бѣлыми рукавами и широкимъ бѣлымъ передникомъ, съ алымъ шелковымъ платочкомъ на головѣ, пышная, красивая, стала она у двери, и взглянувъ на красавца Алексѣя, потупилась.

— Тятенька, самоваръ принесли, сказала отцу.

И голосъ у ней оборвался.

— Ладно, молвилъ Патапъ Максимычъ. — Такъ завтра приходи. Какъ бишь звать-то тебя? Алексѣемъ никакъ?

— Такъ точно, Патапъ Максимычъ.

— Молви отцу-то, Алексѣюшка, — нужны деньги, приходилъ бы. Радъ помочь въ нуждѣ.

Помолился Алексѣй, поклонился хозяину, потомъ Настѣ и пошелъ изъ подклѣта. Отдавая поклонъ, Настя зардѣлась какъ маковъ цвѣтъ. Идя въ верхнія горницы, она, перебирая передникъ и потупивъ глаза, вполголоса спросила отца, что это за человѣкъ такой былъ у него?

— Въ работники нанялся, равнодушно отвѣтилъ отецъ.

Возвращаясь въ Поромово, не о томъ думалъ Алексѣй, какъ обрадуетъ отца съ матерью, принеся неожиданныя деньги и сказавъ про обѣщанье Чапурина дать взаимы рублей триста на разживу, не о томъ мыслилъ, что завтра придется ему прощаться съ домомъ родительскимъ. Настя мерещилась. Одно онъ думалъ, одно передумывалъ, шагая крупными шагами по узенькой снѣжной дорожкѣ: „Зародилась же на свѣтѣ такая красота!“

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Къ именинамъ Акинѣи Захаровны пріѣхала въ Осиповку золовка ея, комаровская игуменья, мать Манеѣ. Привезла она съ собой двухъ послупницъ: Фленушку, да Анафролію. Марья Гавриловна, купеческая вдова изъ богатаго московскаго дома, своимъ коштомъ жившая въ Манеиной обители и всѣми уважаемая за богатство и строгую жизнь, не поѣхала въ гости къ Чапуринымъ. Это немного смутило Патапа Максимыча; пріязнью Марьи Гавриловны онъ дорожилъ, родственники ея люди были первостатейные, лестно было ему знакомство ихъ. И по торговлѣ имѣлъ съ ними дѣла.

Молодая, красивая, живая какъ огонь Фленушка, пріятельница дочерей Патапа Максимыча, была дѣвица-бѣлоручка, любимца игуменьи, обительская баловница. Она выросла въ обители, будучи отдана туда ребенкомъ. Вы-

училась въ скиту Фленушка грамотѣ, рукодѣльямъ, церковной службѣ, и хоть ничѣмъ не похожа была на монахиню, а приводилось ей безродной сиротѣ вѣкъ оставаться въ обители. Изъ скитовъ замужъ вѣзавъ не выходятъ — позоромъ пало бы это на обитель, но свадьбы „уходомъ“ и тамъ порой-временемъ случаются. Слюбится съ молодымъ бѣлица, выдастъ ему свою одѣжу и убѣжитъ вѣнчаться въ православную церковь; раскольникій попъ такую чету ни за что не повѣнчаетъ. Матери засуетятся, забѣгаютъ, погони разошлютъ, но дѣла поправить нельзя. Посердятся на бѣглянку съ полгода, иногда и цѣлый годъ, а послѣ смирятся. Бѣглянка послѣ мировой почѣсту гостить въ обители, живетъ тамъ какъ въ родной семьѣ, получаетъ отъ матерей вспоможеніе, дочерей отдаетъ къ нимъ же на воспитаніе, а если овдовѣетъ, воротится на старое пепелище, въ старицы пострижется и станетъ вѣкъ свой доживать въ обители. Такихъ примѣровъ много бывало и Фленушка, поминая эти примѣры, думала было обвѣнчаться „уходомъ“ съ молодымъ казанскимъ купчикомъ Петрушей Самоквасовымъ, но матушки Манеены было жалко ей — убило бы это ея воспитательницу...

Другая послушница, привезенная Манееной въ Осиповку, Анафролія, была простая крестьянская дѣвка. Въ келарнѣ больше жила, помогая матушкѣ-келарю кушанье на обитель стряпать и исправляя черныя работы въ кельяхъ самой игуменьи Манеены. Это была изъ себя больно некрасивая, рябая, неуклюжая какъ ступа, за то, здоровенная дѣвка, работала за четверыхъ и ни о чемъ другомъ не помышляла, только бы сытно пообѣдать да вечеромъ, поужинавъ вплотную, выспаться хорошенько. Въ обители душой считали ее, но любили за то, что сильная была работница и куда ни пошли, что ей ни вѣли, все



живой рукой обдѣляетъ безо всякаго ворчанья. Безотвѣтна была, голосу ея мало кто слыхалъ.

Мать Манеѳу Аксинья Захаровна помѣстила въ задней горницѣ, возлѣ моленной, вмѣстѣ съ домашней канонницей Евпраксіей, да съ Анафроліей. Манеѳа, напившись чайку съ изюмомъ, — была великая постница, сахаръ почитала скоромнымъ и съ роду не употребляла его, — отправилась въ свою комнату и тамъ стала разспрашивать Евпраксію о порядкахъ въ братниномъ домѣ: усердно ли Богу молятся, строго ли посты соблюдаютъ, по сколько каѳизмъ въ день она прочитываетъ; каждый ли праздникъ службу правятъ, приходятъ ли за службу сторонніе, и затѣмъ свела рѣчь на то, что у нихъ въ скиту большое разстройство идетъ изъ-за австрійскаго священства: однѣ обители желаютъ принять епископа Софронія, а другія считаютъ новыхъ архіереевъ обливанцами и слышать про нихъ не хотятъ.

— На прошлой недѣлѣ, Евпраксеюшка, грѣхъ-то какой случился. Не знаю какъ и замолятъ его. Матушка Клеопатра, изъ Жжениной обители, пришла къ Глафириннымъ и стала про австрійское священство толковать, оно-де правильно, надо-де всѣмъ принять его, чтобъ съ Москвой не разорваться, потому-де что съ Рогожскаго пишутъ, по Москвѣ-де всѣ епископа приняли. Измарагдушка заспорила: обливанцы, говорить, они — архіереи то. Спорили матери, спорили, да обѣ горячія, слово за слово, ругаться зачали, другъ съ дружки иночество сорвали, въ косы. Такой грѣхъ — на силу розняли! И пошли съ той поры ссоры да свары промежь обителей, другъ съ дружкой не кланяются, другъ дружку еретицами обзываютъ, изъ одного колодца воду брать перестали. Грѣхъ да и только!

— А вы какъ, матушка, насчетъ австрійскаго священства располагаете? робко спросила Евпраксія.

— Мы бы пожалуй и приняли, сказала Манеёа. — Какъ не принять, Евпраксеюшка, когда Москва приняла? Чѣмъ станемъ кормиться какъ съ Москвой разорвемся? Ко мнѣ же самъ батюшка Иванъ Матвѣичъ съ Рогожскаго писалъ: принимай дескать, матушка Манеёа, безо всякаго сумнѣнья. Какъ же духовнаго отца послушаться?... Какъ наши-то располагають, на чемъ рѣшаются?... По моему и имъ бы надо принять, потому что въ Москвѣ, и въ Казани, на Низу и во всѣхъ городахъ приняли. Раззориться Патапушка можетъ коль не приметъ новаго священства. Никто дѣлъ не захочетъ вести съ нимъ; кредиту не будетъ, разорвется съ покупателями. Такъ-то!

— Патапъ Максимычъ, кажется мнѣ, приѣмлетъ, отвѣчала Евпраксія.

— Думала я поговорить съ нимъ насчетъ этого да не знаю какъ приступить, сказала Манеёа. — Крутенекъ. Не знаешь какъ и подойти. Прямой медвѣдь.

— Онъ всему послѣдуетъ, чему самарскіе, замѣтила Евпраксія. — А въ Самарѣ епископа сказываютъ приняли. Аксиныя Захаровна сумлѣвалась съ первоначала, а теперь кажется и она готова принять, потому что самъ велѣлъ. Я вотъ ужъ другу недѣлю поминаю на службѣ и епископа, и отца Михаила; сама Аксиныя Захаровна сказала чтобъ поминать.

— Какого это отца Михаила? съ любопытствомъ взглянувъ на канонницу, спросила мать Манеёа.

— Михайлу Корягу изъ Колоскова, сказала канонница. — Вѣдь онъ въ попы ставленъ.

— Коряга! Михайло Коряга! сказала Манеёа, съ сомнѣньемъ покачивая головой. — И нашимъ сказывали, что въ попы ставленъ, да вѣры нейметса. Больно до денегъ охочъ. Стяжатель! Какъ такого поставить?

— Поставили, матушка, истинно что поставили, гово-

рила Евпраксія.—На Богоявление въ Городцѣ воду святилъ, самъ Патапъ Максимычъ за вечерней стоялъ и воды богоявленской домой привезъ. Вонъ буракъ-отъ у святыхъ стоитъ. Великимъ постомъ Коряга пожалуй сюда наѣдетъ, исправлять станетъ, обѣдню служить. Ему, слышь, епископъ-отъ полотняную церковь пожаловалъ и одиконъ, рѣкше путевой престолъ Господа Бога и Спаса нашего...

— Коряга! Михайло Коряга! Попомъ! Да что жъ это такое! въ раздумѣ говорила мать Манеѳа, покачивая головой и не слушая рѣчей Евпраксіи.—А впрочемъ и самъ-отъ Софроній такой же стяжатель — благодатью Духа Святаго торгуетъ... Если инаго епископа, благочестиваго и Бога боящагося не поставятъ — Софронія я не приму... Ни за чтò не приму!...

Межъ тѣмъ въ дѣвичьей свѣтлицѣ у Насти съ Фленушкой шелъ другой разговоръ. Настя разспрашивала про скитскихъ пріятельницъ и знакомыхъ, гостя чуть успѣвала отвѣты давать. Про всѣхъ переговарили, про всѣ новости бойкая, говорливая Фленушка рассказала. Разспросамъ Насти не было конца—хотѣлось ей узнать какая бѣлица сарафанъ къ праздникамъ сшила, дошла ль Марья головщица канвовую подушку, отослала ль ту подушку матушка Манеѳа въ Казань, получили ли дѣвицы новые бисера изъ Москвы, выучилась ли Устинья Московка шелковы пояски съ молитвами изъ золота теать? Освѣдомившись обо всемъ, стала Настя Фленушку разспрашивать какъ поживала она послѣ отъѣзда ихъ изъ обители?

— Что моя жизнь! желчно смѣясь отвѣтила Фленушка.—Извѣстно какая! Тоска и больше ничего; встанешь, чайку попьешь,—за часы пойдешь, пообѣдаешь—потомъ къ правильнымъ канонамъ, къ вечернѣ. Ну, вечеркомъ, извѣстно на супрядки сбѣгаешь, придешь домой, матушка, какъ водится, начать зачнетъ, затѣмъ дескать на супрядки

ходила; ну, до ужина дѣло-то такъ и проволочишь. Поужинаешь и на боковую. И слава тѣ, Христе, что день прошелъ.

— А къ заутрени будють?

— Перестали. Отбилась. Лѣнива вѣдь я, Настасья Патаповна, Богу-то молиться. Какъ прежде, такъ и теперь, смѣялась Фленушка.

— А супрядки нонѣшнюю зиму бывали? спросила ее Настя.

— Какъ же! У Жжениныхъ въ обители каждую среду попрежнему. Завела было игуменья у Жжениныхъ такое новшество: на супрядкахъ „Прологъ“ читать, „Житія“ святыхъ того дня. Мало ихъ въ моленной-то читають! Три среды читали, игуменья са масъ дѣвицами сидѣла, чтобы, знаешь, слушали, не баловались. А дѣвицы не промахъ. „Прологъ-отъ“ скрали, да въ подпольѣ и закопали. Смѣху-то что было!.. У Бояркиныхъ по пятницамъ сходились, у Московкиной по вторникамъ, только не каждую недѣлю; а въ нашей обители, какъ и при васъ, бывало,—по четвергамъ. Только матушка Манеѳа съ той поры, какъ вы уѣхали, все грозитъ разогнать наши бесѣды и келарню по вечерамъ запирасть, чтобы не смѣли, говорить, собираться дѣвицы изъ чужихъ обителей. А пѣсенку спѣть либо игру затѣять, — безъ васъ, и думать не смѣй; пой Алексѣя человѣка Божьяго. Какъ племянницы, говорить матушка, жили, да Дуня Смолокурова, такъ я баловала ихъ для того, что дѣвицы онѣ мірскія, черной ризы имъ не надѣть, а вы, говорить, должны о Богѣ думать, чтобы сподобиться честное иночество принять.... Да вѣдь это она такъ только пугаетъ. Каждый разъ поворчитъ, поворчитъ, да и пошлетъ мать Софію, что въ ключахъ у ней ходить, въ кладовую за гостинцами дѣвицамъ на угощенье. Иной разъ и сама придетъ въ келарню. Ну, при ней,

извѣстно дѣло, все чинно, да стройно: стихиры запоемъ, и не едина дѣвица не улыбнется, а только за дверь матушка, дымъ коромысломъ. Смотришь, анъ бѣлицы и „Гусара“ запѣли....

И увлекшись воспоминаньями о скитскихъ сѹпрядкахъ, Фленушка вполголоса запѣла:

Гусаръ, на саблю опираясь....

давно уже проникшій на дѣвичьи бе сѣды въ раскольничьи скиты.

— А у Глафириныхъ сѹпрядковъ развѣ не было? спросила Настя.

— Какъ не бывать! молвила Фленушка.—Самыя развеселыя были бесѣды, парни съ деревень прихаживали... Съ гармоніями.... Да нашимъ туда теперь ходу не стало.

— Какъ такъ? удивилась Настя.

— Да все изъ-за этого австрійскаго священства! сказала Фленушка.—Мы, видишь ты, задумали принимать, а Глафирины не пріемлютъ, Игнатьевы тоже не пріемлютъ. Ну и разорвались во всемъ: другъ съ дружкой не видятъ, общенія не имѣютъ, клянутъ другъ друга. Намедни Клеопатра отъ Жениныхъ къ Глафиринымъ пришла, да какъ сцѣпится съ кривой Измарагдой; бранились, бранились, да въ поволочку! Такая теперь промежь обителей злоба, что смѣхъ и горе. Да вѣдь это однѣ только матери сварятся, мы-то потихоньку выдаемся.

— Гдѣ жъ веселѣй бывало на сѹпрядкахъ? спрашивала Настя.

— У Бояркиныхъ отвѣтила Фленушка.—Насчетъ угощенія бѣдно, больно бѣдно, за то парни завсегда почти. Ну бывали и пріѣзжіе.

— Откудова? спросила Настя.

— Изъ Москвы купчикъ наѣзжалъ, матушка Таисѣи

сродственникъ; деньги въ раздачу привозилъ; развеселый такой. Больно его честили; келейница матушки Таисѣи,— помнишь Дуняшу изъ Кинешмы?—совсѣмъ съ ума сошла по немъ; какъ уѣхалъ, такъ въ прорубь кинуться хотѣла, руки на себя наложить. Еще Александръ Михайлычъ бывалъ, становаго письмоводитель, — этотъ по прежнему больше все съ Серафимушкой; матушка Таисѣя грозитъ ужъ ее изъ обители погнать.

— А изъ Казани гости бывали? съ улыбкой спросила Фленушку Настя.

— Были изъ Казани, да не тѣ на кого думаешь, сказала Фленушка.

— Петръ Степанычъ развѣ не бывалъ? спросила Настя.

— Не былъ, сухо отвѣтила Фленушка и примолвила: — бросить хочу его, Настенька.

— Что такъ?

— Тоска только одна!... Ну его... Другаго полюблю!

— Зачѣмъ же другаго? Это нехорошо, сказала Настя, — надо одного ужъ держаться.

— Вотъ еще! Одного! вспыхнула Фленушка.—Онъ станетъ насмѣхаться, а ты его люби. Да ни за чтò на свѣтѣ! Ваську Шибаева полюблю — такъ вотъ онъ и знай, съ лукавой усмѣшкой, глядя на пріятельницу, бойко молвила Фленушка.

— Какой Шибаевъ? Откудова?

— Эге-ге! вскрикнула Фленушка, и захохотала. — Память-то какая у тебя короткая стала, Настасья Патаповна! Аль забыла того кто изъ Москвы конфеты въ бумажныхъ коробкахъ съ золотомъ привозилъ? Ай да Настя, ай да Настасья Патаповна! Можно чести приписать! Видно у тебя съ глазъ долой, такъ изъ думы вонъ. Такъ что ли?... А?...

— Ничего тутъ не было, потупясь и глухимъ шепотомъ сказала Настя.

— Какъ ничего? быстро спросила Фленушка.

— Глупости однѣ, съ недовольной улыбкой отвѣтила Настя. — Ты же же все затѣвала.

— Ну, ладно, ладно, пушай я причиной всему, сказала Фленушка. — А все-таки скажу что память у тебя коротка стала. Съ чего бы это?... Аль кого полюбила?...

Настя вся вспыхнула. Сама ни слова.

— Что? Зазнобушка завелась? приставала къ ней Фленушка, крѣпко обнявъ подругу. — А?... Да говори же скорѣй — сора изъ избы не вынесемъ... Аль не знаешь меня? Чтѣ сказано, то во мнѣ умерло.

Какъ кумачъ красная, Настя молчала. На глазахъ слезы выступили, и дрожь ее схватывала.

— Да говори, говори же! приставала Фленушка. — Скажи!... Право, легче будетъ. Увидишь!...

Настя тяжело дышала, но крѣпилась, молчала. Не могла однако слезъ сдержать, — такъ и полились онѣ по щекамъ ея. Утерла глаза Настя передникомъ и прижалась къ плечу Фленушки.

— Полюбила... Впрямь полюбила? допрашивала та. — Да говори же, Настенька, говори скорѣй. — Облегчи свою душеньку... Ей-Богу, легче станетъ какъ скажешь... Отъ сердца тягость такъ и отвалить. Полюбила?

— Да, едва слышно прошептала Настя.

— Кого же?... Кого?... допытывалась Фленушка. — Скажи кого? Право легче будетъ... Ну, хоть зовутъ-то какъ? Молчала Настя и плакала.

— Говорять тебѣ, скажи, какъ зовутъ?... Какъ только имя его вымолвишь, такъ и облегчишься. — Разомъ другая станешь. Какъ же звать-то?

— Алексѣемъ! шепотомъ промолвила Настя и зарыдавъ прижалась къ плечу Фленушки...

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

Ведется обычай у заволжскихъ тысячниковъ народу „столы строить“. За такими столами угощаютъ они околныхъ крестьянъ сытнымъ обѣдомъ, пивомъ похмѣльнымъ, виномъ зеленымъ, чтобъ „къ себѣ прикормить“, чтобъ работники изъ ближнихъ деревень домашней работы другимъ скупщикамъ не сбывали, а коль понадобятся тысячнику работники на спѣхъ, шли бы къ нему по первому зову. У Патапа Максимыча столы строили дважды въ году: передъ Троицей, да по осени, когда изъ Низовья хозяинъ домой возвращался. Угощенье у него бывало на широкую руку, мужикъ былъ богатый и тороватый, любилъ народъ угостить, и любилъ тѣмъ поувеличаться. Ста по полутора за столами у него кормилось; да не одни работники, бабы съ дѣвками и подростки въ Осиповку къ нему пить-ѣсть приходили.

На радостяхъ, что на крещенскомъ базарѣ по торгамъ удача выпала, а больше по тому что сватовство съ богатымъ купцомъ наклевалось, Патапъ Максимычъ задумалъ построить столы не въ очередь. И то у него на умѣ было, что забравъ черезчуръ подрядной работы, много тысячъ посуды надо ему по домамъ заказать. Для того и не мѣшало ему прикормить заранѣ работниковъ. Но главный замыселъ не тотъ былъ: хотѣлось ему будущимъ сватушкѣ да зятюку показать, каковъ онъ человекъ за Волгой, какую силу въ народѣ имѣеть. „Пускай посмотритъ“, раздумывалъ онъ, заложивъ руки за спину и расхаживая взадъ и впередъ по горницѣ, „пускай поглядитъ Данило Тихонычъ, каково Патапъ Чапуринъ въ своемъ околоткѣ живетъ, какъ подначальныхъ „крестьянъ“ хлѣбомъ-солью чувствуетъ, и въ какомъ почетѣ мѣръ-народъ его держать.“



Въ той сторонѣ помѣщичьи крестьяне хоть изстари бывали, но помѣщиковъ никогда въ глаза не видали. Заволжскія помѣстья принадлежатъ лицамъ знатымъ, что живя въ столицѣ, либо въ чужихъ краяхъ, никогда въ наслѣдственные лѣса и болота не заглядываютъ. И Нѣмцевъ управляющихъ не знавалъ тамъ народъ. Миловалъ Господь. Земля холодная, песчаная, неродимая, запашку заводить нѣтъ разсчета. Отъ того помѣщики и не сажали въ свои заволжскія вотчины Нѣмцевъ-управляющихъ, отъ того и спасъ Господь милостивый Заволжскій край отъ той саранчи, что русской сельщинѣ-деревенщинѣ во времена крѣпостнаго права приходилась не легче татарщины, ляхолѣтя и длиннаго ряда недородовъ, пожаровъ и моровыхъ повѣтрій. Всѣ крестьяне по Заволжью были оброчные, пользовались всею землею сполна и управлялись излюбленными міромъ старостами. При отсутствіи помѣщиковъ и управляющихъ, такъ-называемые тысячники пользовались большимъ значеніемъ. Вся промышленность въ ихъ рукахъ, всѣ рядовые крестьяне зависятъ отъ нихъ и никакъ изъ воли ихъ выйти не могутъ. Такой тысячникъ, какъ Патапъ Максимычъ, — а работало на него до двадцати околныхъ деревень, — жилъ настоящимъ бариномъ. Его воля — законъ, его ласка — милость, его гнѣвъ — бѣда великая... Силенъ человекъ: захочетъ, всякаго можетъ въ разоръ разорить.

„Ну-ка, Данило Тихонычъ, погляди на мое житье-бытье“, продолжалъ раздумывать самъ съ собою Патапъ Максимычъ. „Спознай мою силу надъ „моими“ деревнями, и не моги забирать себѣ въ голову, что честь мнѣ великую дѣлаешь, святая за сына Настю. Нѣтъ, сватушка дорогой, сами не хуже кого другаго, даромъ что не пишемся почетными гражданами и купцами первой гильдіи, а только государственными крестьянами.“

Полутру на другой день вся семья за ведернымъ самоваромъ сидѣла. Толковалъ Патапъ Максимычъ съ хозяйкой о томъ, какъ и чѣмъ гостей потчивать.

— Безпремѣнно за Никитишной надо подводу гнать, говорилъ онъ. — Надо чтобъ кума такой столъ состряпала, какіе только у самыхъ наибольшихъ генераловъ бывають.

— Справится ли она, Максимычъ? молвила Авсинья Захаровна. — Мастерница-то мастерница, да прихварываетъ, силы у ней противъ прежняго въ половину нѣтъ. Какъ въ послѣдній разъ гостила у насъ, повозится-повозится у печи, да и приляжетъ на лавочкѣ. Скажешь „полно, кумушка, не утруждайся“, не слушается. Насчетъ стряпни съ ней сладить никакъ невозможно: только пріѣхала, и за стряпню, и хоть самой не можется, стряпка къ печи не смѣй подходить.

— Помаленьку, какъ-нибудь справится, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ. — Никитишнѣ изъ праздниковъ праздникъ какъ столъ урядить ее позовутъ. Вотъ чтò я сдѣлаю: поѣду за покупками въ городъ, заверну въ Ключову, позову куму и на счетъ того потолкую съ ней, чтò искупить, а воротясь домой, подводу за ней пошлю. Да вотъ еще чтò, Аксиньюшка: не запамятуй послѣзавтра спосылать Пантелея въ Захлыстино, стягъ свѣжины на базарѣ купилъ бы, да двѣ либо три свинныя туши, баранины, солонины....

— На чтò такая пропасть, Максимычъ? спросила Аксинья Захаровна.

— Столы хочу строить, отвѣтилъ онъ. — Пусть Данило Тихонычъ поглядить на наши порядки, пушай посмотреть какъ у насъ, за Волгой, народъ угощаютъ. Вѣдь по ихнимъ мѣстамъ, на Низу, такого заведенья нѣтъ.

— Не напрасно ли задумалъ, Максимычъ? сказала

Аксинья Захаровна. — На Михайловъ день столы строили. Развѣ не станешь на Троицу?

— Осень—осенью, Троица—Троицей, а теперь само по себѣ. — Не въ счетъ, не въ урядъ... Сказано: хочу, и дѣлу конецъ—толковать попусту нечего, прибавилъ онъ, возвыся нѣсколько голосъ.

— Слышу, Максимычъ, слышу, покорно сказала Аксинья Захаровна. — Дѣлай какъ знаешь, воля твоя.

— Безъ тебя знаю, что моя! слегка нахмурысь, молвилъ Патапъ Максимычъ. — Захочу, не одну тысячу народу сгоню кормиться... Захочу, всю улицу столами загорожу, и все это будетъ не твоего бабьяго ума дѣло. Ваше бабье дѣло молчать, да слушать, что большакъ приказываетъ!... Вотъ тебѣ... сказъ!

— Да чтой-то, родной, ты ни съ того, ни съ сего расходился? тихо и смиренно вмѣшалась въ разговоръ мужа съ женой мать Манеѳа. — И слова сказать нельзя тебѣ, такъ и закипишь.

— А тебѣ тоже бы молчать, спасѣнная душа, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ сестрѣ, взглянувъ на нее изъ подлобья. — Промежъ мужа да жены совѣтницъ не надо. Не люблю, терпѣть не могу!... Слушай же, Аксинья Захаровна, продолжалъ онъ, смягчая голосъ: — скажи стряпухѣ Аринѣ, взяла бы двухъ бабъ на подмогу. Коли нѣтъ изъ нашихъ работницъ ловкихъ на стряпню, на деревняхъ искала бы. Да вотъ Анафролю можно прихватить. Вѣдь, она у тебя больше при келарнѣ? обратился онъ къ Манеѳу.

— Келарничаетъ, отвѣчала Манеѳа: — только вѣдь кушанья-то у насъ самыя простыя, да постныя.

— Пускай поможетъ; авось не осквернитъ рукъ скромятиной. Аль грѣхъ по-вашему?

— Какой же грѣхъ, сказала мать Манеѳа, — лишь бы

было заповѣданное. И у насъ порой на мірскихъ людей мясное стряпаютъ, бѣлицамъ тоже ину пору. Спроси дочерей, сажались ли онѣ у меня за обѣдъ безъ курочки, аль безъ говядины во дни положенные.

— Не бойсь, спасѣна душа, шутливо сказалъ Патапъ Максимычъ, — ни зайцевъ, ни давленныхъ тетерекъ на столъ не поставлю; христіане будутъ обѣдать. Значить, твоя Анафроль не осквернится.

— Ужь какъ ты пойдешь, такъ только слушай тебя, промолвила мать Манеѳа. — Налей-ка, сестрица, еще чайку-то, прибавила она, протягивая чашку къ сидѣвшей за самоваромъ Аксиныѣ Захаровнѣ.

— Слушай же, Аксиныя, продолжалъ Патапъ Максимычъ, — народу чтобъ вдоволь было всего: студень съ хрѣномъ, солонина, щи со свѣжиной, лапша со свиной, пироги съ говядиной, баранина съ кашей. Все чтобъ было сготовлено хорошо и всего было бы вдосталь. За виномъ спосылать, ренскаго непьющимъ бабамъ купить. Пантелей обдѣлаетъ. — Заѣдокъ дѣвкамъ да подросткамъ купить: рожковъ, орѣховъ кедровыхъ, жемковъ, пряниковъ городецкихъ. Съ завтрашняго дня брагу варить, да сыченые квасы ставить.

— Пряниковъ-то да рожковъ и дома найдется, посы-  
лать не для чего. Отъ Михайлова дня много осталось, сказала Аксиныя Захаровна.

— Коли дома есть, такъ и ладно. Только смотри у меня, чтобы не было въ чемъ недостатка. Не осрами, сказалъ Патапъ Максимычъ. — Не то, знаешь меня — гости со двора, я за расправу.

— Не впервые, батко, столы-то намъ строить, порядки знаемъ, отвѣчала Аксиныя Захаровна.

— То-то держи ухо востро, ласково улыбаясь, продолжалъ Патапъ Максимычъ. — На славу твои именины спра-

вимъ. Танцы заведемъ, ты плясать пойдешь. Такъ али нѣтъ? прибавилъ онъ, весело хлопнувъ жену по плечу.

— Никакъ ошалѣлъ ты, Максимычъ! вскрикнула Акси́нья Захаровна. — Съ ума что ли спятилъ?... Не молоденькій, батюко, заигрывать... Прошло наше время... Убирайся прочь, непутный!

— Ничего, сударыня, Акси́нья Захаровна, говорилъ, смѣясь, Патапъ Максимычъ. — Это мы такъ, шутку, значить, шутимъ. Авось плечо-то у тебя не отломится.

— Нашелъ время шутки шутить, продолжала ворчать Акси́нья Захаровна. — Точно я молоденькая. Вонъ дочери выросли. Хоть бы при нихъ-то постыдился на старости лѣтъ безчинничать.

— Чего ихъ стыдиться-то? молвилъ Патапъ Максимычъ. — Обожди маленько, и съ ними мужья станутъ заигрывать еще не по-нашему. Подъ-ка сюда, Настасья!

— Чтò, тятенька? сказала Настя, подойдя къ отцу.

— Станешь серчать, коли мужъ заигрывать станетъ? А? спросилъ у нея Патапъ Максимычъ.

— Не будетъ у меня мужа, сдержанно и сухо отвѣтила Настя, перебирая конецъ передника.

— Анъ вотъ не угадала, весело сказалъ ей Патапъ Максимычъ. — У меня женишокъ припасенъ. Любо-дорого посмотрѣть!.. Вотъ на материныхъ имянинахъ увидишь... первый сортъ. Просимъ, Настасья Патаповна, любить его да жаловать.

— Не пойду за него, сквозь зубы проговорила Настя. Краска на щекахъ у ней и выступила.

— Знамо, не сама пойдешь, спокойно отвѣчалъ Патапъ Максимычъ. — Отецъ съ матерью вживѣ, — выдадутъ. Не вѣкъ же тебѣ въ дѣвкахъ сидѣть... Вамъ съ Паранькой не хлѣбъ-соль родительскую отрабатывать, — засиживаться нечего. Эка, подумаешь, дѣвичье-то дѣло какое, прибавилъ онъ,

обращаясь къ женѣ и къ матери Манеѣ:—у самой только и на умѣ, какъ бы замужъ, а на рѣчахъ: „не хочу“ да „не пойду“.

— Не приставай къ Настасѣѣ, Максимычъ, вступилась Аксиныя Захаровна.—И безъ того дѣвкѣ плохо можется. Погляди-ка на нее хорошенько, ишь какая стала, совсѣмъ извелась въ эти дни. Безъ малаго недѣля, бродить какъ очумѣлая. Отъ ѣды откинуло, невеселая такая.

— Кровь въ дѣвкѣ ходитъ, и вся недолга, замѣтилъ Патапъ Максимычъ,—увидитъ жениха, хворь какъ рукой сниметь.

— Да полно жъ тебѣ, Максимычъ, мучить ее понапрасну, сказала Аксиныя Захаровна.—Ты вотъ послушай-ка что я скажу тебѣ, только не серчай, коли молвится слово не по тебѣ. Ты всему голова, твоя воля, дѣлай какъ разумѣешь, а по моему глупому разумѣнью, деньги-то, что на столы изойдутъ, нищей бы братіи раздать, ну, хоть ради Настина здоровья да счастья. Доходна до Бога молитва нищаго, Максимычъ. Самъ ты лучше меня знаешь.

— Развѣ заказано тебѣ одѣлять нищую братію? Нишіе нищими, столы столами, сказалъ Патапъ Максимычъ.—Слава Богу, у насъ съ тобой достатковъ на это хватитъ. Подай за Настю, пожалуй, чтобъ Господь послалъ ей хорошаго мужа.

— Заладилъ себѣ, какъ сорока Якова: мужъ да мужъ, молвила на то Аксиныя Захаровна.—Только и рѣчей у тебя. Хоть бы пожалѣлъ маленько дѣвку-то.—Ты бы лучше вотъ послушалъ, что матушка Манеѣа про скитскихъ „сиротъ“ говорить. Про тѣхъ что межъ обителѣй особнякомъ по своимъ кельямъ живутъ. Старухи старыя, хворыя; пить-ѣсть хотятъ, а взять не откуда.

— Да, вступилась мать Манеѣа,—въ нынѣшнее время куда какъ тяжело приходится жить сиротамъ. Дороговизна!..

Съ каждымъ днемъ все дороже да дороже становится, а подаянья сиротамъ, почитай, нѣтъ никакого. Масленица на дворѣ—ни гречневой мучки на блины, ни маслица достать имъ негдѣ. Такая бѣдность, такая скудость, что единъ только Господь знаетъ какъ онѣ держатся.

— Сколько у васъ сиротскихъ дворовъ? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Тридцать пять, отвѣчала Манеѳа.

— Вотъ тебѣ тридцать пять рублей, молвилъ тысячникъ, вынимая десятирублевую и отдавая ее Манеѳѣ.— Деньги счелъ по старинѣ, на ассигнаціи. Раздай по рублю на дворѣ,—примолвилъ сестрѣ.

— Спаси ты Христосъ, сказала Манеѳа, перекрестясь и завязывая бумажку въ уголокъ носоваго платка.

— Ну, вотъ и слава Богу, весело проговорила Аксинья Захаровна.—Будутъ сироты съ блинами на Масленицѣ. А какъ же бѣдныя-то обители, Максимычъ? продолжала она, обращаясь къ мужу.—И тамошнимъ старицамъ блинковъ тоже захочется.

— За нихъ, судариня моя, не бойся, съ голоду не помрутъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.—Блины-то у нихъ маслянѣй нашихъ будутъ. Пришипились только эти матери, копни ихъ хорошенько, пошарь въ сундукахъ, сколь золота да серебра сыщешь. Нищатся только, лицемѣрятъ. Такое ужъ у нихъ заведеніе.

— Ахъ, нѣтъ. Празднаго слова, братецъ, не говори, вступилась Манеѳа.— Въ достаточныхъ обителяхъ точно — деньжонки кой-какія водятся, говорить про то нечего, а по бѣднымъ не богаче сиротъ живутъ. Вотъ хоть у насъ въ Комаровѣ взять: на лицо осталось двѣнадцать обителей, въ семи-то, дай богъ здоровья благодѣтелямъ, нужды не терпимъ, грѣхъ на Бога роптать. А въ пяти остальныхъ такая, братецъ, скудость, такая нищета, что—

вѣрь ты не вѣрь моему слову—ничѣмъ не лучше сиротскихъ дворовъ. Напольныхъ взять, Марѣиныхъ, Зарѣчныхъ, покойницы матушки Солоникии, Разсохиныхъ... Чѣмъ питаются, единъ Господь вѣдаетъ. Совсѣмъ не стало пмѣ теперь подавня. Оскудѣла рука христіанъ, стали больше о суетѣ думать, чѣмъ о душеспасеньѣ. Такъ-то, родной. Съ тѣхъ какъ на Керженцѣ у Тарасія да въ Осиновскомъ у Трифины старцы да старицы отъ старой вѣры отшатнулись, благодѣющая рука христіанъ стала неразогбенна. Зачали, слышь ты, на Москвѣ всѣ наши заволжскія обители въ подозрѣнны держать, всѣ-де мы за Керженцомъ да за Осинками въ это единовѣріе послѣдуемъ. Заподозрили и присылать перестали. Вотъ оно чтò, а ты еще говоришь: лицемѣрять. Какое тутъ лицемѣріе, какъ ѣсть-то нечего. Хоть нашу обитель взять. Ты не оставляешь, въ Москвѣ и въ Питерѣ есть благодѣтели, десять канонницъ по разнымъ мѣстамъ негасиму читаютъ, три сборщицы по городамъ ѣздятъ, ну, покуда Богъ грѣхамъ терпитъ, живемъ и молимся за благодѣтелей Бояркины тоже, Жженины, Глафирины, Игнатьевы, Московкины, Таисеины, всѣ благодѣтелями не оставлены. А другія совсѣмъ до конца дошли. Говорю тебѣ: пить-ѣсть нечего. Разсохиныхъ взять; совсѣмъ захудала обитель, а какая въ стары годы была богатая. Матушка Досиѣея, ихня игуменья, съ горя да съ заботъ въ разсудѣкъ инда стала мѣшаться...

— Запоемъ, слышь, пьетъ, замѣтилъ Патапъ Максимычъ.

— Не грѣши напрасно, братецъ, возразила Манеѣя.— Мало ль чего люди не наплетутъ! Какое питье, когда жевать нечего, одѣться не во чтò!

— Зачала Лазаря! сказалъ, смѣясь, Патапъ Максимычъ.— Ужь и Разсохинымъ нечего ѣсть! Эко слово, спасѣная душа, ты молвила!... Да у нихъ, я тебѣ скажу, денегъ куча; лопатами, чай, гребутъ. Обитель-то ихняя первыми бога-



чами строена. У васъ въ Комаровѣ они и хоронились, и постригались, и какихъ за то вкладовъ не надавали! Пошарь-ка у Досиеи въ сундукахъ, много тысячъ найдешь.

— Оно точно, братецъ, въ прежнее время Разсохиныхъ обитель была богатая, это правда и по всему христіанству извѣстно, сказала Манеѳа.—Однѣхъ инокинѣ бывало у нихъ по пятидесяти, а бѣлицъ по сотнѣ и больше. До пожара часовня ихняя по всеѣмъ скитамъ была первая; своихъ поповъ держали, на Иргизъ за каждаго попасотъ по пяти платили. Да вѣдь такое пространное житіе было еще при старикахъ Разсохиныхъ. А теперь самъ ты знаешь, каковы молодые-то стали. Стару вѣру покинули, возлюбили новую, брады побрили, вышли въ господа и забыли отчіе да дѣдніе гробы. Какъ есть одна копѣйка, и той отъ нихъ на родительску обитель не бывало. Слава міра обуяла Разсохиныхъ; про обитель Комаровскую, про строенье своихъ родителей, и слышать не хотятъ, гнушаются... Ну, и захудала обитель: бѣднѣть да бѣднѣть зачала. Къ тому жъ Господь дважды посѣтилъ ее—горѣли.

— Сундуки-то чать повытаскали? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Не успѣли, молвила Манеѳа.—Въ чемъ спали, въ томъ и высочили. Съ той поры и началось Разсохинымъ житіе горе горькое. Больше половины обители врозь разбрелось. Остались однѣ старыя старухи и до того дошли, сердечныя, что лампадки на большой праздникъ нечѣмъ затеплить, масла нѣтъ. Намедни, въ Рождественскій Сочельникъ, Спасову звѣзду безъ сочива встрѣчали. Вотъ до чего дошли!

Патапъ Максимычъ подумалъ немного. Молча досталъ бумажникъ, вынулъ четвертную \* и отдавая Манеѳѣ сказалъ:

---

\* Двадцатипятирублевый кредитный билетъ.

— Получай. Дѣли поровну: на пять обителей по пяти цѣлковыхъ. Пускай ихъ ѣдятъ блины на Масленицѣ. Подлей чайку-то, Захаровна. А ты, Фленушка, что не пьешь? Пей, сударыня: не хмѣльное, не вредить.

— Много благодарна, Патапъ Максимычъ, съ ужимочкой отвѣтила Фленушка. — Я ужъ очень довольна, пойду теперь за работу.

— За какую это работу? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Пелену шью, отвѣтила Фленушка. — Матушка приказала синелью да шерстями пелену вышить, къ Масленицѣ надо кончить ее безпремѣнно. Для того съ собой и пальцы захватила.

— Ступай-ка въ самый дѣлѣ, Фленушка, сказала мать Манеѳа, — пошей. Времени-то немного остается: на Сырной недѣлѣ оказія будетъ въ Москву, надо безпремѣнно отослать. На Рогожское хочу пелену-то послать, продолжала она, обращаясь къ Патапу Максимычу. — Да еще хочу къ матушкѣ Пульхеріи отписать, благословить ли она епископу омофоръ вышивать да подушку на чемъ ему въ службѣ сидѣть. Рылась я, братецъ, въ книгахъ, искала на то правила, подобаетъ ли въ шитомъ шерстями да синелью омофорѣ епископу дѣйствовать, — не нашла. Хоть бы единое слово въ правилахъ про то было сказано. Остаюсь въ сумнѣнны парчевые ли только омофоры слѣдуетъ дѣлать, али можно и шитые. Вотъ и отписываю, — матушка Пульхерія знаетъ объ этомъ доподлинно.

Фленушка пошла изъ горницы, слѣдомъ за ней Параша. Настя осталась. Какъ въ воду опущенная, молча сидѣла она у окна, не слушая разговоровъ про сиротскіе дворы и бѣдныя обители. Отцовскія рѣчи про жениха глубоко запаали ей на сердце. Теперь знала она что Патапъ Максимычъ въ самый дѣлѣ задумалъ выдать ее за кого-то незнаемаго. Каждое слово отцовское какъ ножомъ ее по

сердцу рѣзало. Только о томъ теперь и думаетъ Настя, какъ бы избыть грозящую бѣду.

— А тебѣ, Настасья, видно, и въ самомъ дѣлѣ не можется? спросилъ ее отецъ.—Подь-ка сюда.

Опустя голову и перебирая уголь передника, подошла Настя къ дивану, гдѣ сидѣлъ Патапъ Максимычъ.

— Совсѣмъ дѣвка зачала изводиться, вступилась Манеа.—Какъ жили онѣ въ обители, какъ маковъ цвѣтъ цвѣла, а въ родительскомъ дому и румянецъ съ лица сбѣжалъ. Чуднѣе дѣло!

— Ужь пытала я, пытала у ней, замѣтила Акинья Захаровна,—скажи, молъ, Настя, что болитъ у тебя? „Ничего, говорить, не болитъ“... И ни единого слова не могла отъ нея добиться.

— Сядь-ка рядкомъ, потолкуемъ ладкомъ, сказалъ Патапъ Максимычъ, сажая Настю рядомъ съ собой и обнимаю рукою станъ ея.—Что, дѣвка, раскручинилась? Молви отцу. Можетъ, что и присовѣтуеть.

Не отвѣчала Настя. То въ жаръ, то въ ознобъ кидало ее, на глазахъ слезы выступили.

— Чего молчишь? Изропи словечко. Скажи хоть на ушко, продолжалъ Патапъ Максимычъ, наклоня къ себѣ Настину голову.

— Тошнехонько мнѣ, тятя, въ полголоса сказала Настя.—Пусти ты меня, въ свѣтлицу пойду.

— Эту тошноту мы вылѣчимъ, говорилъ Патапъ Максимычъ, ласково приглаживая у дочери волосы. Неплачь, радость скажу. Не хотѣлъ говорить до поры до времени, да ужъ такъ и быть скажу теперь. Жениха жди, Настасья Патаповна. Прикатить къ матери на именины... Слышишь?... Славный такой, молодой да здоровенный, а богачъ какой!... Изъ первыхъ... Будешь въ славѣ, въ почетѣ жить, во всякомъ удовольствіи... Чего молчишь?.. Рада?..

У Насти въ три ручья слезы хлынули.

— Не пойду за него... молвила, рыдая и припавъ къ отцовскому плечу. — Не губи меня, голубчикъ тятенька... не пойду....

— Отецъ велить, пойдешь, нахмурясь строгимъ голосомъ сказалъ Патапъ Максимычъ, отстраняя Настю.

Она встала, и закрывъ лицо передникомъ, горько заплакала. Аксиныя Захаровна бросила перемывать чашки, и сказала, подойдя къ дочери:

— Полно, Настенька, не плачь, не томи себя. Отецъ вѣдь любить тебя, добра тебѣ желаетъ. Полно же, пригожая моя, перестань.

Настя отерла слезы передникомъ и отняла его отъ лица. Изумились отецъ съ матерью, взглянувъ на нее. Точно не Настя, другая какая-то дѣвушка стала передъ ними. Гордо поднявъ голову, величаво подошла она къ отцу и ровнымъ, твердымъ, сдержаннымъ голосомъ, какъ бы отчеканивая каждое слово, сказала:

— Слушай, тятя! За того жениха, что сыскалъ ты, я не пойду.... Рѣжь меня, что хочешь дѣлай.... Есть у меня другой женихъ.... Сама его выбрала, за другаго не пойду... Слышишь?

— Что-о-о? закричалъ Патапъ Максимычъ, вскакивая съ дивана.— Женихъ?... Такъ ты такъ-то!.. Да я разражу тебя! Говори сейчасъ, негодница, какой у тебя женихъ завелся?... Я ему задамъ....

Аксиныя Захаровна такъ и обомлѣла на мѣстѣ. Матушка Манеѳа, сидя, перебирала лѣстовку и творила молитву.

— Не достанешь, тятя, моего жениха, съ улыбкой молвила Настя.

— Кто таковъ?... Сказывай покамѣстъ цѣла, — въ неистовствѣ кричалъ Патапъ Максимычъ, поднимая кулаки.

— Христось, Царь Небесный, отступая назадъ, отвѣчала Настя.—Ему общалась.... Я въ кельи, тятя, иду, иночество приму.

Патапъ Максимычъ на сестру накинулся.

— Твои дѣла, спасенница?... Твои дѣла?... Ты ей въ голову такія мысли набила?

— Никогда я Настасѣй про иночество слова не говорила, спокойно и холодно отвѣчала Манеѳа,—бесѣды у меня съ ней о томъ никогда не бывало. И нѣтъ ей моего совѣта, нѣтъ благословенія идти въ скиты. — Молода еще, голубушка,—не снесешь... Да у насъ такихъ молодыхъ и не постригаютъ.

— А коль я къ воротамъ твоимъ, тетенька, босая приду, да стоя у вереи въ одной рубахѣ, громко, именемъ Христовымъ, зачну молить, чтобы допустили меня къ Жениху моему?... Прогонишь?... Запрешь ворота?... А?...

— Нѣтъ, не могу ворота запереть, отвѣчала игуменья.— Нелзя... Господь сказалъ: „грядущаго ко Мнѣ не изжену“... Должна буду принять.

— Такъ слушай же ты, спасенная твоя душа, закричалъ Патапъ Максимычъ, сестрѣ.—Твоя обитель мной только и дышетъ.... Такъ али нѣтъ?

— Такъ точно, отвѣчала Манеѳа.

— Знаешь ты, какіе строгіе наказы изъ Питера насланы?... Всѣ скиты въ конецъ хотятъ порѣшить, праху чтобы ихняго не осталось, всѣхъ старицъ да бѣлицъ за карауломъ по своимъ мѣстамъ разослать.... Слыхала про это?

-- Какъ не слыжать! спокойно сказала Манеѳа.

— А кто отъ васъ эту бѣду до поры до времени, покуда сила да мочь есть, отводить? продолжалъ Патапъ Максимычъ.—Кто за васъ у начальства хлопочетъ?... Знаешь?...

— Знаю, что ты нашъ заступникъ. Тобой держимся, молвила Манеѳа.

— Такъ помни же мое слово и всѣмъ игуменьямъ повѣсти, кипя гнѣвомъ сказалъ Патапъ Максимычъ:— если Настасья уходомъ уйдетъ въ какой-нибудь скитъ, и твоей обители, и всѣмъ вашимъ скитамъ конецъ... Слово мое крѣпко... А ты, Настасья, прибавилъ онъ, понизивъ голосъ,—дурь изъ головы выкинь... Слышишь?... Ишь какая невѣста Христова проявилась!... Чтобъ я не слыхалъ такихъ рѣчей...

Сказавъ это, Патапъ Максимычъ вышелъ изъ горницы и крѣпко хлопнулъ за собой дверью....

---

На другой день послѣ того у Чапуриныхъ баню топили. Хоть дѣло было и не въ субботу, но какъ же пріѣхавшихъ изъ Комарова гостей въ банькѣ не попарить? Не по-русски будетъ, не по старому завѣту. Да и самъ Патапъ Максимычъ такой охотникъ былъ париться, что ему хотъ каждый день баню топи.

Баня стояла въ ряду прочихъ крестьянскихъ бань за деревней, на берегу Шишинки, для безопасности отъ пожара, и чтобы лѣтомъ, выпарившись въ банѣ, близко было окунуться въ холодную воду рѣчки. Любитъ русскій челоуѣкъ, выпарившись, зимой на снѣгу поваляться, лѣтомъ въ студеной водѣ искупаться. Передъ сумерками пошла париться Аксинья Захаровна съ дочерьми и съ Фленушкой, Матрена работница шла съ ними для послуги. Изъ дому въ баню надо идти мимо токарень, отъ нихъ узенькая тропинка пролежала середисугробовъ къ Чапуринской банѣ. Высокая, бѣлая \*, свѣтлая, просторная, она и снаружи

---

\* Бѣлою называется баня съ дымовою трубой, а не курная, которую зовутъ обыкновенно черною.

смотрѣла дворянскою, а внутри все было чисто и хорошо прибрано. Липовые полки, лавки и самый полъ, по нѣскольку разъ въ году строгались скобелемъ, окна въ банѣ были большія, со стеклами, и чистый передбанникъ прирубленъ былъ.

Фленушка вышла изъ дому послѣдняя, и когда вошла въ передбанникъ, Аксиныя Захаровна съ Парашей ужъ раздѣлись и ушли въ баню, гдѣ Матрена полки и лавки подмывала. Настя еще раздѣвалась.

— Сейчасъ узнала, въ которой токарнѣ чей-то милый дружокъ работаетъ, вполголоса сказала ей вошедшая Фленушка,—вторая съ краю, отъ нея тропинка къ банѣ проложена.

— Зачѣмъ узнавала, Фленушка? спросила Настя.

— Да такъ, на всякій случай. Можетъ-быть, пригодится, отвѣчала Фленушка.—Ну, къ примѣру сказать, вѣсточку какую велишь передать, такъ я ужъ и знаю куда нести.

— Какія вѣсточки? Съ ума ты что ли сошла?

— Да развѣ сохнуть тебѣ? сказала Фленушка.—Надо же васъ свести, жива быть не хочу, коль не сведу. Надо и его пожалѣть. Пожалуй, совсѣмъ ума рѣшится, тебя не выдаючи.

— Можетъ-быть, онъ и думать-то про меня не хочетъ, сказала Настя.

— Дуракъ онъ что ли? отвѣчала Фленушка.—Кто отъ эдакой красоты отворотится? Смотри-ка какая!... прибавила она, глядя на раздѣвшуюся дѣвушку. — Жизнь бы свою Алешка отдалъ, глазкомъ бы только взглянуть теперь на свою сударушку. Ишь какая пышная, сдобная, бѣлая!... Точно атласъ на пуху.

И принялась щекотать Настю.

— Да полно же тебѣ, безумная! крикнула Настя и побѣжала въ баню.

Часа черезъ полтора настали сумерки. Въ токаряхъ зашабашили. Алексѣй остался въ своей, чтобы маленько поизладить станокъ, онъ подводилъ къ нему новый ремень. Провозился онъ съ этимъ дѣломъ долго, всѣ токари по своимъ мѣстамъ разошлись, и токарни были на запорѣ. Когда вышелъ онъ и сталъ запирать свою токарню, почти совсѣмъ уже стемнѣло. Кругомъ ни души. Оглянувшись назадъ, увидѣлъ Алексѣй, что по тропинкѣ изъ бани идетъ какая-то женщина въ шубѣ, укрытая съ головы большимъ шерстянымъ платкомъ, и съ вѣникомъ подъ мышкой. Когда она подошла поближе, онъ узналъ Фленушку. Аксиныя Захаровна съ дочерьми давно ужъ домой прошла.

— Здоровенько ль поживаешь, Алексѣй Трифонычъ? сказала Фленушка, поровнявшись съ нимъ.

— Слава Богу, живемъ помаленьку, отвѣчалъ онъ, снимая шапку.

— Кланяться тебѣ велѣли, сказала она.

— Кто велѣлъ кланяться? спросилъ Алексѣй.

— Ишь какой недогадливый! засмѣясь, отвѣчала Фленушка. — Самъ кашу заварилъ, нагналъ на дѣвку сухоту, да еще спрашиваетъ: кто?... Ровно не его дѣло... Безстыжій ты эдакой!... На осину бы тебя!...

— Да про кого ты говоришь? Мнѣ не въ домекъ, сказалъ Алексѣй, а у самого сердце такъ и забилося. Догадался.

— Некогда мнѣ съ тобой балясы точить, молвила Фленушка. — Пожалуй еще Матрена изъ бани пойдетъ, да увидитъ насъ съ тобой, либо въ горницахъ меня хватятся.... Настасья Патаповна кланяться велѣла. Вотъ кто... Она по тебѣ сокрушается... Полюбила съ перваго взгляда.... Вишь глаза-то у тебя долговязаго какіе непутные, только взглянулъ на дѣвку тотчасъ и приворожилъ.... Велишь что ли кланяться?



— Поклонись, Флена Васильевна, сказалъ Алексѣй, съ жаромъ схвативъ ее за руку.—Самъ я ночи не сплю, самъ отъ ѣды отбился, только и думы, что про ея красоту не-описанную.

— Ну, ладно, молвила Фленушка.—Повидаемся надняхъ; улучу времячко. Молчи у меня, безпремѣнно сведу васъ.

— Сведи, Флена Васильевна, сведи, радостно вскрикнулъ Алексѣй. —Вѣкъ стану за тебя Богу молиться!

Фленушка ушла. У Алексѣя на душѣ стало такъ свѣтло, такъ радостно, что онъ даже не зналъ куда дѣваться. На мѣстѣ не сидѣлось ему: то въ избѣ побудеть, то на улицу выбѣжить, то за околицу поидеть и зальется тамъ громкою пѣсней. Въ домѣ пѣть онъ не смѣлъ, не ровень часъ: осерчаетъ Патапъ Максимычъ.

---

Послѣ этого Алексѣй нѣсколько разъ видался съ Фленушкой. И каждый разъ передавала она ему поклоны отъ Насти и каждый разъ увѣряла его, что Настя до вѣку его не разлюбитъ, и кромѣ его ни за кого замужъ не поидеть.

— Не отдадутъ ея за меня, грустно сказалъ Алексѣй Фленушкѣ, когда заговорила она о свадьбѣ.—У насъ съ Настасьей Патаповной равна любовь, да не равны обычаи. Патапъ Максимычъ и богатъ и спѣсивъ: не отдастъ дѣтище за бѣднаго работника, что у него же въ кабалѣ живетъ... Вѣдь я въ кабалѣ у него, Флена Васильевна, на цѣлый годъ закабаленъ... Деньги отцу моему онъ выдалъ напередъ, чтобы намъ домогъ поправиться: вѣдь сожгли насъ, обокрали, можетъ-быть слыхала?.. А ты сама знаешь, закабаленный тотъ же барскій?.. А какой баринъ за холоповъ дочерей своихъ выдаетъ? Такъ и тутъ: все едино...

Да и захочетъ ли еще Настасья Патаповна себя потерять, выйдя за меня?

— Ради милаго и безъ вѣнца нашей сестрѣ не жаль себя потерять! сказала Фленушка. — Не тужи... Не удасться свадьба „честью“, „уходомъ“ ее справимъ... Будь спокоенъ, я за дѣло берусь, значить, будетъ вѣрно.... Вотъ подожди, придетъ лѣто: бѣжимъ и окрутимъ тебя съ Настасьей... У нея положено, коль не за тебя, ни за кого нейти... И женихъ пріѣдетъ во дворъ, да поворотитъ оглобли какъ несолоно хлебаль... Не вѣшай головы, молодѣцъ, наше отъ насъ не уйдетъ!

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

По приказу Патапа Максимыча зачали у него брагу варить и сыченые квасы изъ разныхъ солодовъ ставить. Вари большія: ведеръ по сороку. Слухъ, что Чапуринъ на Аксинью-полухлѣбницу работному народу задумалъ столы рядить, тотчасъ разнесся по окольнымъ деревнямъ. Всѣ деревенскіе, особенно бабы, не мало раздумывали, не мало языкомъ работали, стараясь разгадать, какихъ ради причинъ Патапъ Максимычъ не въ урочное время хочетъ народъ кормить.

Въ самый тотъ день какъ у Чапуриныхъ брагу заварили, въ деревнѣ Ежовѣ, что стоитъ на рѣчкѣ Шишинкѣ въ полтора верстахъ отъ Осиповки, собрались мужики у клѣтей на улицѣ и толковали межъ собой про столы Чапуринскіе. Кто говорилъ, что видно Патапу Максимычу въ волостныхъ головахъ захотѣлось сидѣть, такъ онъ передъ выборами міръ задабриваетъ, кто полагалъ, не будетъ ли у него въ тотъ день какой-нибудь „помочи“.\*

\* „Помочью“ иначе „толокой“ называется угощение за работу.

Но все это нескладно-неладно придуманное тутъ же ежовскимъ міромъ и осмѣивалось. И въ самомъ дѣлѣ: захотѣлось бы Папапу Максимычу въ головы, давнымъ бы давно безо всякихъ угощеньевъ его цѣлой волостью выбрали, да не того онъ хочетъ; не разъ откупался, ставя на сходѣ ведеръ по пяти зеленá вина для угощенья выборщиковъ. На „тóлоку“ народъ собирать ему тоже не стать: мужикъ богатый, къ тому же тороватый, гордъ, спѣсивъ, любитъ по́четъ: захочетъ ли міромъ одолжаться?... На чтó ему „помочь“, когда въ карманѣ чистоганъ не переводится. Съ добрый часъ протолковали ежовскіе мужики, стоя кучкой у клѣтей, но ничего на дѣло похожаго не придумали. Баба дѣло рѣшила, да такъ мѣтко, будто у Чапурина въ головѣ сидѣла и мысли его читала.

Шла по́ воду тетка Акулина, десятника жена. Поровнявшись съ мужиками, поставила ведра на земь. Какъ не послушать бабѣ про чтó мужики говорятъ.

— Эхъ вы, умныя головы, крикнула она, вслушавшись въ мірскія рѣчи, — толкуютъ, что воду толкутъ, а догадаться не могутъ. Кто чтó ни скажетъ, не подь тотъ уголь клинъ забиваетъ.... Слушать даже тошно.

На бабу, какъ водится, накинулись, осмѣяли, кто-то выругалъ, а мужъ, тутъ же стоявшій, велѣлъ ей идти куда шла и зря не соваться куда не спрашиваютъ.

— Да что вы, лѣшіе, безъ пути зубы-то скалите? крик-

---

Хозяинъ, желающій какое-нибудь дѣло справить разомъ въ одинъ день, созываетъ къ себѣ сосѣдей на работу и ставитъ за нее сытный обѣдъ съ пивомъ и виномъ. „Помочане“ работаютъ и утромъ и послѣ обѣда, и въ одинъ день управляютъ съ дѣломъ. На „помочи“ сзываютъ большей частью крестьяне недостаточные, у которыхъ въ семьѣ мало рабочихъ. Люди богатые, тысячники, не дѣлаютъ „помочей“. У сельскихъ поповъ полевныя работы все больше „тóлокой“ справляются.

нула Акулина. — Стоять, изъ пустаго въ порожнее перекладываютъ, а разгадать ума не хватаетъ. Знаю къ чему Чапурины пиры затѣваютъ.

— Ну, рассказывай, коли знаешь! заговорили мужики.

— У Патапа Максимыча дочери-то заневѣстились, сказала Акулина, — вотъ и сзываетъ онъ купцовъ товаръ показать. — Смотрины будутъ.

— Ай да тетка Акулина! Разсказала какъ размазала! заголосили мужики.

— А баба-то, пожалуй, и правдой обмолвилась, сказалъ тотъ, что постарше былъ. — Намедни „хозяинъ“ при мнѣ на базарѣ самарскаго купца Снѣжкова звалъ въ гости, а у того Снѣжкова сынъ есть, парень молодой, холостой; въ Городцѣ частенько бываетъ. Пожалуй и въ самомъ дѣлѣ не свадьба ль у нихъ затѣвается.

Акулина посмѣялась надъ мужиками и пошла своей дорогой къ колодцу. Тутъ по всѣмъ дворамъ бабамъ ровно повѣстку дали; всѣ къ колодцу съ ведрами сбѣжались и зачали съ Акулиной про Чапуринскую свадьбу растабарывать. Молодица изъ деревни Шишкина случилась тутъ. Выслушавъ въ чемъ дѣло, не заходя къ теткѣ, къ которой было изъ-за двухъ верстъ приходила поклоняться, чтобъ та ей разбитую кринку берестой обмотала, побѣжала домой безъ оглядки, точно съ краденымъ. Какъ прибѣжала, такъ всѣхъ шишкинскихъ бабъ повѣстила, что у Чапуриныхъ смотрины будутъ. Изъ Шишкина бабы, подыма хвосты, по другимъ деревнямъ побѣжали кумушкамъ новость разсказать. И пошелъ говоръ про смотрины по всѣмъ деревнямъ. Вездѣ про Настю рѣчь вели, потому что не статочное, необычное вышло бы дѣло, еслибъ меньшая сестра впередъ старшей пошла подъ вѣнецъ.

Пущенныя Акулиной вѣсти дошли до Осиповки. Въ одномъ изъ мшенниковъ, что цѣлымъ рядомъ стояли про-

тивъ дома Чапурина, точили посуду три токаря, въ томъ числѣ Алексѣй. Четвертый колесо вертѣлъ.

— Слышалъ, Петруха, у хозяевъ-то брагу варять, говорилъ коренастый рыжеватый парень, стоя за станкомъ и оттачивая ставешокъ.

— Какъ не слыжать! отвѣтилъ Петруха, весело вертя колесо, двигавшее три станка. — Столы, слышно, хозяинъ строить задумалъ. Пантелея Прохорыча завтра въ Захлыстино на базаръ посылають свѣжину да вино искупать. Угощенье, слышь, будетъ богатое. Ста полтора либо два народу будутъ кормить.

— Гдѣ жъ столы-то рядить? спросилъ токарь Матвѣй. — Я, парень, что-то не слыхивалъ, чтобъ зимой столы ставили. На снѣгу да на морозѣ что за столованье! Закрутить морозъ, такъ на волѣ-то варево смерзнеть.

— Мало развѣ у хозяина избѣ да подклѣтокъ! замѣтилъ Петруха.

— Все жъ полутора стамъ не усѣсться, молвилъ третій работникъ, Мокеемъ звали—прозвищемъ Чалый.

— Очередь стануть держать, по-скитски, какъ по обителямъ въ келарняхъ странныхъ угощаютъ, отвѣчалъ Матвѣй. — Одни покормятся и вонъ изъ-за столовъ, на ихъ мѣсто другіе.

— Развѣ что такъ, молвилъ Петруха, соглашаясь съ Матвѣемъ. — Городовые купцы, слышь, наѣдутъ, прибавилъ онъ.

— Пиръ готовить зазвонистый, сказалъ Мокей. — Рукобитье будетъ, хозяинъ-отъ старшую дочь пропивать станеть.

Ровно ножомъ полоснуло Алексѣю по-сердцу. Хоть говорила ему Фленушка, что опричь его Настя ни за кого не пойдетъ, но неожиданная новость его ошеломила.

— Въ домъ что ли зятя-то берутъ? спросилъ Петруха.

— Куда, чай, въ домъ! отозвался Чалый.—Пойдетъ такой богачъ къ мужику въ зятяхъ жить! Нашъ хозяинъ, хоть и тысячникъ, да все же крестьянинъ. А женихъ-отъ мало того что изъ стараго купецкаго рода, почетный гражданинъ. У отца у его, слышь, медалей на шеѣ - то что навѣшано, въ городскихъ головахъ сидѣлъ, въ Питеръ ѣздилъ; у царя во дворцѣ бывалъ. Нашъ-отъ хоть и спѣсивъ, да Снѣжковымъ въ версту не будеть.

— Снѣжковыхъ развѣ женихъ-отъ? спросилъ Матвѣй.— Не самарскій ли?

— Самарскіе, по всей Волгѣ купцы извѣстные, отвѣчалъ Чалый.

— Куда жъ ему въ зятя къ мужику идти, сказалъ Матвѣй,—у него, братецъ ты мой, заводы какіе въ Самарѣ, дома, самъ я видѣлъ; былъ вѣдь я въ тѣхъ мѣстахъ въ позапрошломъ году. Пароходовъ своихъ четыре ли, пять ли. Не пойдетъ такой зять къ тестю въ домъ. Своимъ хозяйствомъ поди заживуть. Чтò за находка ему съ молодой женой, да еще съ такой раскрасавицей, въ нашихъ лѣсахъ да въ болотахъ жить!

Сильнѣй и сильнѣй напиралъ Алексѣй острымъ рѣзцомъ на чашку, которую дотачивалъ. Въ глазахъ у него зелень ходенемъ заходила, ровно угорѣлъ, въ ушахъ шумъ стоитъ, сердце такъ и замираетъ. Тогда только и опомнился, какъ рѣзцомъ сквозъ чашку прошелъ.

— Чтò это ты, Алексѣй? съ усмѣшкой спросилъ его вертельщикъ Петруха — Сквозъ прорѣзалъ.

— Сорвалось! сквозъ зубы молвилъ Алексѣй и бросилъ испорченную чашку въ сторону. Никогда съ нимъ такого грѣха не бывало, даже и тогда не бывало, какъ подросткомъ будучи токарному дѣлу учился. Стыдно стало ему передъ токарами. По всему околотку перынь мастеромъ считается, а тутъ гляди-ка дѣло какое.

Зашабашили къ обѣду. Алѣксѣю не до ѣды. Пошелъ было въ подклѣтъ, гдѣ посуду красятъ, но повернулъ къ лѣстницѣ, что ведетъ въ верхнее жилье дома, и на нижнихъ ступеняхъ остановился. Ждалъ онъ тутъ съ четверть часа, видѣлъ какъ пробрела по верху черезъ сѣни матушка Манеѳа, слышалъ громкій топотъ сапоговъ Патапа Максимыча, слышалъ наконецъ голосъ Фленушки, выходившей изъ Настиней свѣтлицы. Уходя она говорила: „Сейчасъ приду, Настенька!“

— Флена Васильевна, отозвался съ лѣстницы Алѣксѣй.

Она взглянула внизъ, опершись грудью о перила и свѣсивъ голову.

— Что ты какой? спросила она въ полголоса — Самъ на себя не похожъ.

— Сойди на минуточку, сказалъ Алѣксѣй. — Здѣсь въ подклѣтѣ нѣтъ никого — всѣ обѣдаютъ.

Фленушка сбѣжала въ подклѣтъ.

— Богъ тебѣ судья, Флена Васильевна, сказалъ Алѣксѣй. — За что же ты надо мной насмѣялась?... Вѣдь этакъ человѣка не долго уморить!

— Съ ума что ли спятилъ? спросила Фленушка. — Чѣмъ я надъ тобой насмѣялась?

— Какія рѣчи ты отъ Настасьи Патаповны мнѣ переносила?... Какія слова говорила?... Зачѣмъ же было душу мою мутить? Теперь не знаю что и дѣлать съ собой — хоть камень на шею, да въ воду.

— Да ты бѣлены обѣлся, али спяну мелешь самъ не знаешь что? сказала Фленушка. — Да какъ ты только подумать могъ, что я тебя обманываю?... Ахъ ты, безстыжая твоя рѣжа!.... За него хлопочутъ, а отъ него вотъ благодарность какая!... Такъ ты думаешь, что и Настя облыжныя рѣчи говорила.... А?....

— Отъ Настасьи Патаповны доселѣва я никакихъ рѣ-

чей не слыхивалъ, молвилъ Алексѣй. — Съ тобой у меня разговоры бывали!... Вспомни-ка что ты мнѣ говорила, а вотъ—готовятъ пиры, жениха изъ Самары ждутъ.

— Только-то? сказала Фленушка и залилась громкимъ хохотомъ. — Ну этихъ пировъ не бойся, молодецъ. Рукобытью на нихъ не бывать! Пусть ихъ теперь праздничаютъ, — а лѣто придетъ, мы запразднуемъ: тогда на нашей улицѣ праздникъ будетъ.... Слушай: брагу для гостей не доварятъ, я тебя сведу съ Настасьей. Какъ отъ самой отъ ней услышишь тѣ же рѣчи, что я переносила, повѣришь тогда?... А?...

— Повѣрю, потупясь отвѣчалъ Алексѣй.

— Меня попрекать, да обманщицей обзывать не станешь?

— Не буду, проговорилъ онъ.

— То-то же. Ступай теперь. Выкинь печаль изъ головы, не томи понапрасну себя, а дѣвицу красну въ пѹщу тоску не вгоняй.

Мало успокоили Фленушкины слова Алексѣя. Сильно его волновало, и не зналъ онъ что дѣлать: то на улицу выйдетъ, у воротъ посидитъ, то въ избу придетъ, за работу возьмется, работа изъ рукъ валится, на палати полѣзетъ, опять долой. Такъ до сумерекъ пробился, въ токарню не пошелъ, сказалъ старику Пантелею, что по ўтру угорѣлъ въ красильнѣ.

— Долго ли въ красильнѣ угорѣть, отвѣчалъ Пантелей. — Ты бы по морозцу безъ шапки походилъ — облегчить.

— И впрямь пойду на морозъ, сказалъ Алексѣй, и на дѣвъ полшубокъ, пошелъ за околицу. Выйдя на дорогу, крупными шагами зашагалъ онъ, понутивъ голову. Прощелъ версту, прошелъ другую, видитъ мостъ черезъ оврагъ, за мостомъ дорога на двѣ стороны расходится. Оглядѣлся Алексѣй, опозналъ мѣсто, и въ раздумѣ по-



стоявъ на мосту, своротилъ налѣво въ свою деревню Пороново.

Громко раздавалась по крытому снѣгомъ полю Алексѣева пѣсня:

Охъ ты горе мое, горе гореваньице,  
Ты печаль моя, тоска лютая,  
Загубила ты добра-молодца,  
Красна дѣвица, дочь отецкая.

Въ каждомъ звукѣ пѣсни слышались слезы и страшная боль тоскующей души.

Послѣ крупнаго разговора съ отцомъ, когда Настя объявила ему о желаньи надѣть черную рясу, она ушла въ свою свѣтелку и заперлась на крюкъ. Не одинъ разъ подходила къ двери Акинья Захаровна; и стучалась, и громко окликала дочь, похныкала даже маленько, авось дескать материны слезы не образумятъ ли дѣвку, но дверь не отмыкалась, и въ свѣтлицѣ было тихо, какъ въ гробу.

„Уснула,“ подумала Акинья Захаровна.—„Пускай ее отдохнетъ.... Эка бѣда стряслась, и не чаяла я такой!... Гляди-ко-съ, въ черницы захотѣла, и что ей это въ головоньку втемяшилось?... На то ли я ее родила да вырастила?... А все Максимычъ!... Лѣзетъ со своимъ женихомъ!...“

Пошла Акинья Захаровна въ другую боковушу, къ Парашѣ. Тамъ Фленушка сидѣла за палцами, вышивая пелену, а Параша на мотовилѣ шерсть разматывала. Фленушка пѣла скитскую пѣсню, Параша ей подтягивала:

Изъ пустыни старецъ  
Въ царскій домъ приходитъ,  
Онъ принесъ съ собою,  
Онъ принесъ съ собою

Прекрасный камень,  
Толь прекрасный, прелюбезный,  
Предрагій.

Иосафъ царевичъ,  
Сынъ царя индѣйскаго,  
Просить купца-старца:  
„Покажи мнѣ каменёкъ,  
Покажи мнѣ дорогой,  
Я увижу и спознаю  
Ему цѣну.“

— „Когда ты возможешь  
Небеса измѣрить,  
Небеса измѣрить,  
Всѣ моря и зѣмли  
Въ горсть свою схватить,  
А все противъ камня  
Ровно ничего.“

— „А! купецъ премудрый,  
Говорить царевичъ,  
Скажи свою тайну,  
Какъ на свѣтъ явился,  
Какъ на свѣтъ явился,  
Гдѣ теперь хранится  
Камень тотъ драгой?“

Отвѣчаетъ старецъ,  
Видъ купца пріавшій,  
Преподобный Варлаамъ:  
— „Камень не хранится,  
Камень не хранится,  
Съ нами пребываетъ  
Онъ навсегда.“

„Пречистая дѣва  
Родила сей камень,  
Въ ясли положила,  
Грудью вскармила,  
Грудью вскармила  
Бога-человѣка,  
Спасителя.“

„Онъ нынѣ пребываетъ  
Выше звѣздъ небесныхъ,  
Солнца со звѣздами,  
А земля съ морями,  
А земля съ морями  
Непрестанно славятъ  
Его всегда.“

— Заперлась, грустно сказала Аксиныя Захаровна, обращаясь къ Фленушкѣ. — И оклика́ла ее, и стучалась къ ней, нишкнетъ голубушка.... А ты что, Параня, какъ смотришь?... Ахъ не жалко сестры-то?... прибавила она, замѣтивъ, что та усмѣхается, поглядывая на Фленушку. Но Фленушка была спокойна и даже тоскливо смотрѣла на Аксиныю Захаровну. Она ужъ и Парашу кое-чему научила: какъ говорить съ отцомъ съ матерью, но той и супротивничать-то лѣнь была.—Спать бы только ей да валяться на мягкомъ пуховикѣ—другой отрады не знавала Параша.

— Не о чемъ ей убиваться-то, мамынька, молвила Параша. — Что въ самомъ дѣлѣ дурь-то на себя накидываетъ?... Какъ бы мнѣ тятя привезъ жениха, а бы, кажись, за околицу навстрѣчу къ нему....

— Ахъ ты срамница, бсзстыдница! крикнула Аксиныя Захаровна.—Гдѣ ты этому научилась, гдѣ такихъ словъ набралась, безпутная голова твоя?... Навстрѣчу!... За околицу!... А вотъ я тебя дубцомъ!... \*

— Да что жъ, мамынька? Коли Настѣ тятенькинъ женихъ не по мысли, отдай мнѣ его, съ радостью пойду.

— Ахъ ты безстыжая!... Ахъ ты безумная! продолжала начинать Парашу Аксиныя Захаровна.—А я еще распиналась за васъ передъ отцомъ, говорила, что обѣ вы еще птенчики!... Ахъ непутная, непутная!... погоди ты у меня, вотъ отцу скажу.... Онъ тѣ шкуру-то спустить.

---

\* Дубецъ—розга.

— Не спустить. Не за что, отвѣчала Параша.

Насилу уняла Парашу Аксиныя Захаровна.

— Фленушка, сказала она, — отомкнется Настя, перейди ты къ ней въ свѣтелку, родная. У ней свѣтелка большая, двоимъ вамъ не будетъ тѣсно. И пальцы перенеси, и ночуй съ ней. Одну ее теперь нельзя оставлять, мало ли что можетъ приключиться... Такъ ты ужь, пожалуйста, пригляди за ней... А къ тебѣ, Прасковья, я Анафролю пришлю чтобъ и ты не одна была... Да у меня дурь-то изъ головы выкинь, не то смотри!... Перейди же туда, Фленушка.

— Слушаю, Аксиныя Захаровна, молвила въ отвѣтъ Фленушка. — Какъ отомкнется, тотчасъ переберусь. Тамъ же мнѣ и вышивать свѣтлѣе, окна-то на полдень.

— Поразговори ты ее, говорила Аксиныя Захаровна, — развесели хоть крошечку. Вѣдь ты бойкая Фленушка, шустрая, и мертвого разсмѣшишь какъ захочешь... Больно боюсь я, родная... Что такое это съ ней подѣлалось — ума не могу приложить.

— Ничего, Аксиныя Захаровна, молвила въ отвѣтъ Фленушка. — Не беспокойтесь: все минетъ, все пройдетъ.

— Дай-ка Богъ, дай-ка Богъ, вздохнула Аксиныя Захаровна и пошла изъ Парашиной боковуши.

Фленушка, подойдя къ Настиней свѣтелкѣ, постучалась и, точно въ кельяхъ, громко прочитала молитву Ісусову. Услышавъ Фленушкинъ голосъ, Настя отомкнулась.

— Я къ тебѣ ровно къ старицѣ въ келью, съ молитвой, смѣясь сказала Фленушка. — Творить ли метанія передъ честною инокиней, просить ли прощенья и благословенья?

— Тебѣ, Фленушка, смѣхъ да шутки, упрекнула ее, обливаясь слезами, Настя. — А у меня сердце на части разрывается. Привезутъ жениха, разлучатъ меня...

— Ну, это еще посмотримъ, разлучатъ ли тебя, нѣтъ ли съ Алешкой, молвила Фленушка. — Всѣхъ проведемъ, всѣхъ

одурачимъ, свадьбу уходомъ сыграемъ. Надѣйся на меня, да слушайся, все по хотѣнью нашему сбудется.

— Ахъ, Фленушка, Фленушка!... и хотѣлось бы вѣрить, да не вѣрится, отирая слезы, сказала Настя. — Вонъ тятенька-то какъ осерчалъ, какъ я по твоему наученью свысока поговорила съ нимъ. Не вышло ничего, осерчалъ только пуще....

— А зачѣмъ черной рясой пугала? возразила Фленушка. — Нашла чѣмъ пригрозить!... Скитомъ да Небеснымъ Женихомъ!... Эка!... Такъ вотъ онъ и испугался!... Какъ же!... Властенъ онъ надъ скитами, особенно надъ нашей обителью. Въ скиту отъ него не схоронишься. Изъ всякой обители выйметъ, ни одна игуменья прекословить не посмѣетъ. Всѣ ему покоряются, потому что — сила.

— И сама не знаю какъ на умъ мнѣ взошло про черничество молвить, сказала Настя.

— А ты вотъ чтò скажи ему, чтобы дѣло поправить, говорила Фленушка. — Только слезъ у тебя и слѣдовъ чтобы не было... Коли самъ не начнетъ говорить, сама зачинай, пригрозь ему да не черной рясой, не иночествомъ....

— Чѣмъ же? спросила Настя.

— Сначала рѣчь про кельи поведи, не замѣтилъ бы что мысли мѣняешь. Не то твоимъ словамъ вѣры не будетъ, говорила Фленушка. — Скажи: если, молъ, ты меня въ обитель непустишь, я, молъ, себя не пожалѣю: либо руки на себя наложу; либо какого ни на есть парня возьму въ полюбовники; да „уходомъ“ за него и уйду... Увидишь какой тихонькій послѣ такихъ рѣчей будетъ... Только ты скрѣпи себя, чтò бъ онъ ни дѣлалъ. Не ровно и ударить: не сробѣй, смѣло говори да строго, свысока.

— Хорошо, сказала Настя, — хоть и жалко мнѣ его, тятеньку-то. Вѣдь онъ добрый, Фленушка.

— А Алешку-то развѣ не жалко? прищуривъ глаза, лукаво спросила Фленушка.

— Ахъ, Фленушка!... И его мнѣ жалко... Рада жизнь отдать за него, сказала Настя.

— То-то и есть, молвила Фленушка.—Коль отца пуще его жалѣешь, выходи за припасеннаго жениха.

— Нѣтъ, нѣтъ, ни за что на свѣтѣ!... съ жаромъ заговорила Настя. — Удавлюсь, либо камень на шею да въ воду, а за тѣмъ женихомъ, что тятя на базарѣ сыскалъ, я небуду....

— Такъ и отцу говори, молвила Фленушка, ободрительно покачивая головою.—Этими самыми словами и говори, да опричь того „уходомъ“ пугни его. Больно вѣдь не любить эти тысячники, какъ имъ дочери такія слова выговариваютъ... Спѣсивы, горды они... Только ты не кипятись, тихимъ словомъ говори. Но смѣло и строго... Какъ разъ проймешь, струсить... Увидишь.

— Сдѣлаю по-твоему, Фленушка, сказала Настя. — Сегодня же сдѣлаю. А его видѣла? прибавила она, понизивъ голосъ.

— Алексѣя-то?

— Да, полупшепотомъ промолвила Настя.

— Видѣла. И онъ тѣмъ же женихомъ беспокоится, сказала Фленушка.—Какъ хочешь, Настенька, а вамъ надо безпремѣнно повидаться, обо всемъ промежь себя переговорить. Да я сведу васъ. Аксинья-то Захаровна велѣла мнѣ въ твою свѣтелку перебраться.

— Въ самомъ дѣлѣ? радостно вскрикнула Настя. — То-то наговоримся....

— Не въ томъ дѣло, отвѣчала Фленушка.—То хорошо, что живучи съ тобой, легче мнѣ будетъ свести васъ. Вотъ я маленько подумаю да все и спроворю.

И прищелкивая пальцами, весело запѣла:

Я у батюшки дочка была, я у тысячника,  
У тысячника.

Приневоливалъ меня родной батюшка,  
Приговаривала матушка  
Замужъ дѣвушкѣ идти,  
Да идти да и замужъ  
Дѣвушкѣ идти.

Во всѣ грѣхи тяжкіе,  
Грѣхи тяжки поступить,  
Тяжки поступить.

Да дождусь я, дѣвка, темной ночи,  
Во полночи уйду въ темный лѣсъ,  
Да и въ лѣсъ.

За обѣдомъ Патапъ Максимычъ былъ въ добромъ расположеніи духа, шутки шутилъ даже съ матушкой Манею. Передъ обѣдомъ долго говорилъ съ ней, и та успѣла убѣдить брата, что никогда не совѣтовала она племянницѣ принимать иночество. Больше всего Патапъ Максимычъ надъ Фленушкой подшучивалъ, но та сама зубаста была и при всей покорности въ долгу не оставалась. Настя молчала.

Отобѣдали, по своимъ мѣстамъ разошлись. Патапъ Максимычъ прошелъ въ Настину свѣтелку и сказалъ Фленушкѣ, чтобъ она подождала, покуда онъ станетъ съ дочерью говорить, не входила бѣ въ свѣтелку.

— Я нарочно пришелъ къ тебѣ, Настя, добрымъ порядкомъ толковать, началъ Патапъ Максимычъ, садясь на дочернину кровать. — Ты не кручинься, не серчай. Давеча я пошумѣлъ, ты къ сердцу отцовскихъ рѣчей не примай. Хочешь бусы хороши куплю?

— Не надо мнѣ, тятенька, подарковъ твоихъ, сухо отвѣтила Настя. — И безъ того много довольна. Не дари меня, только не отнимай воли дѣвичьей.

— Какая это воля дѣвичья? спросилъ улыбаясь Патапъ Максимычъ. — Шестой десятокъ на свѣтѣ доживаю, про

такую волю не слыхивалъ. И при отцахъ нашихъ, и при дѣдахъ про дѣвичью волю не было слышно. Что жъ это за воля такая нонѣ проявилась? Скажи-ка!

— А вотъ такая это воля, тятенька, отвѣтила Настя.— Примѣромъ сказать хотъ про жениха, что ты мнѣ на базарѣ гдѣ-то сыскалъ, Снѣжковъ, что ли, онъ тамъ прозывается. Не лежитъ у меня къ нему сердце, и я за него не пойду. Въ томъ и есть воля дѣвичья. Кого люблю, за того отдавай, а воли моей не ломай.

— Да вѣдь ты еще не видала Снѣжкова, сказалъ Патапъ Максимычъ.— Можетъ, приглянется. Парень молодой, разумный.

— Что молодъ, про то спорить не стану, не видала, молвила Настя.— А разуменъ ли, не знаю.

— Я тебѣ сказываю что разуменъ, возразилъ Патапъ Максимычъ.— Алъ не вѣришь отцу?

— Вѣрю, тятя, молвила Настя.— Только вотъ что скажи ты мнѣ: гдѣ жъ у него былъ разумъ, какъ онъ сваталъ меня? Не выдавши ни разу,—вѣдь не знаетъ же онъ какова я изъ себя, пригожа али нѣтъ,—не слыхавши рѣчей моихъ,—не знаетъ, разумна я, или дура какая-нибудь. Знаетъ одно что у богатаго отца молодыхъ дочери есть, ну и давай свататься. Самъ, тятя, посуди, можно ли мнѣ отъ такого мужа счастья ждать?

— Да онъ не самъ сватался, сказалъ Патапъ Максимычъ.— Мы съ его родителемъ ладили дѣло.

— А! Старики рѣшили, значить! улыбаясь, сказала Настя.— Пускай, дескать, дѣтки живутъ какъ себѣ знаютъ... А скажи-ка мнѣ, тятя, какъ у васъ рѣчь про свадьбу зашла. Ты зачалъ, али Снѣжковъ?

Промолчалъ Патапъ Максимычъ.

— Вѣдь не ты же, тятя, первый зачалъ, продолжала Настя.— Не станешь же ты у богатыхъ купцовъ своимъ



дочерямъ жениховъ вымаливать. Не такой ты человекъ, дочерей не продашь.

Совѣстно стало Чапурину. Всталъ онъ съ кровати и зачалъ крупными шагами снова възадъ и впередъ по свѣтлицѣ.

— Несодѣянное говоришь! зачалъ онъ.— Чтѣ за рѣчи у тебя стали!.. Стану я дочерей продавать!.. Слушай, до самаго Рождества Христова единого словечка про свадьбу тебѣ не молвлю... Цѣлый годъ — одумаешься тѣмъ временемъ. А тамъ поглядимъ да посмотримъ... Не кручинься же, голубка, продолжалъ Патапъ Максимычъ, лаская дочь.— Вѣдь ты у меня умница.

— Прости меня, тятя, голубчикъ, что давеча я тебя на гнѣвъ навела, склонивъ головку на отцовскую грудь, молвила Настя.

— Ну, и меня прости, сказалъ Патапъ Максимычъ, поглаживая волосы Насти и цѣлуя ее въ глаза.

— Только попомни, тятя, мое слово, рѣшительно и твердо проговорила Настя.— Коли вздумаешь меня силой замужь отдать, я надъ собой что-нибудь сдѣлаю.

— Чтѣ сдѣлаешь? вызывающимъ голосомъ спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Въ скитъ уйду, черну расу надѣну, сказала Настя.— А возьмешь изъ обители,—потеряю себя.

— Экъ чтѣ вздумала! вскрикнулъ тревожно Чапуринъ.

— Руки наложу на себя: камень на шею, да въ воду, сверкая очами, молвила Настя.— А не то еще хуже надѣлаю! Замужъ ухodomъ уйду!.. За перваго парня, чтѣ на глаза подвернется, будь онъ хотъ барскій!.. Погоней отобьешь — гулять зачну.

— Чтѣ ты, Настасья? смутясь отъ словъ дочери и понизивъ голосъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.— Въ умѣ ли?.. Да какъ у тебя языкъ повернулся такое слово сказать?

— Къ слову только сказала, сдержанно отвѣтила Настя.

— Не забирай же въ голову пустяковъ, строго, но тихо промолвилъ Чапуринъ, уходя изъ свѣтелки. — Покуда прощай.

Патапъ Максимычъ ушелъ въ свою заднюю, прилегъ уснуть, но сонъ не бралъ его. Настинны слова изъ ума не выходили. „Дѣвка съ норовомъ, думалъ онъ... Съ виду тихоней смотреть, а гляди-ка какая!.. Уходамъ!.. Нѣтъ, ни окрикомъ, ни плетью такую не проймешь!.. Хуже, начудить... Лаской надо, дѣлать нечего... Уходамъ!.. Эко слово сказала!..“

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

„Свадьба уходамъ“ — въ большомъ обыкновеньи у за-волжскихъ раскольниковъ. Это — похищеніе дѣвушки изъ родительскаго дома и тайное вѣнчанье съ нею у раскольникыаго попа, а чаще въ православной церкви, чтобъ дѣло покрѣпче связано было. Вѣнчанье у раскольникыаго попа поди еще доказывай, а въ церкви хотя не по-старому вѣнчапы, хоть не подсолонь вкругъ наложъ вожены, да дѣло выходитъ не въ примѣръ крѣпче: повѣнчаннаго въ великороссійской съ женой не развѣнчаешь, хоть что хочешь дѣлай. Отъ того при „свадьбахъ уходамъ“ раскольники больше и бѣгаютъ къ церковному попу, особенно если бѣдняку удастся подхватить дочь тысячника.

Обычай „крутить свадьбы уходамъ“ изстари за Волгой ведется, а держится больше отъ того, что въ тамошнемъ крестьянскомъ быту каждая дѣвка, живучи у родителей, несетъ долю не радостную. Дѣвкой въ семьѣ дорожать какъ даровою работницей и замужъ „честью“ ее отдаютъ неохотно. Надо, говорить, дѣвкѣ родительскую хлѣбъ-соль

отработать; заработаешь, — иди куда хочешь. А срокъ дочерниныхъ заработковъ длиненъ: до тридцати лѣтъ и больше она повинна у отца съ матерью въ работницахъ жить.

Дѣвки не бойкія, особенно тѣ, кого Богъ красотой обдѣлилъ, засиживаются и старѣютъ въ родительскомъ дому за деннонощной работой. — Минетъ тридцать лѣтъ — куда ей дѣваться? Рѣдко выищется такой человѣкъ, чтобы взять за себя старую; развѣ иная за вдовца-старика на большую семью пойдетъ. Старой дѣвкѣ середь молодыхъ ужь и мѣста нѣтъ — всѣ ея чуждаются... Ни на супрядки зимой, ни въ хороводы лѣтомъ... Молодые парни въ глаза мѣются надъ перестаркой... Куда дѣваться, къ чему у себя пристроить, а умереть отецъ съ матерью, куда приклонить голову?... И принимается дѣвка за „душеспасенье“: въ скитъ пойдетъ, либо выпроситъ у отца кельенку поставить на задворицѣ, и въ ней, надѣвъ черный сарафанъ и покрывъ чернымъ платкомъ голову, въ знакъ отреченья отъ міра, станетъ за Псалтырь заказные сорокоусты читать, да деревенскихъ мальчишекъ грамотѣ обучать, — тѣмъ и кормится. По времени въ келейку ея три-четыре такихъ же старыхъ дѣвокъ наберется, заведутъ онѣ „общезитіе“, — смотришь маленькій скитокъ въ деревнѣ завелся: и моленная въ немъ, и служба всedневная, покуда полиція, провѣдавъ про богомозокъ, не разгонитъ ихъ по своимъ мѣстамъ, откуда которая пришла.

Дѣвка побойчѣй да покрсивѣй не такъ дѣлаетъ. Спознается на супрядкахъ, либо въ хороводѣ съ молодымъ парнемъ, непременно изъ другой деревни, полюбятъ они другъ дружку и станутъ раздумывать, отдадутъ родители дѣвицу „честью“, а въ придется свадьбу „уходомъ“ играть. Нѣтъ надежды на согласье, дѣвушка тихонько сберетъ приданое и всю одѣжу, какая есть у ней, передастъ воз-

любленному, а потомъ и сама на условное мѣсто придетъ. Женихъ кидаетъ невѣсту въ сани и съ товарищами ичтиса во весь опоръ къ попу. Родители, узнавъ про уходъ дочери, тотчасъ лошадей запрягать, въ погоню скакать, родныхъ, сосѣдей на ноги поднимутъ, рассыплутся по всѣмъ сторонамъ бѣглецовъ искать. Случается, что настигаютъ. И тогда зачнутъ у поѣзжанъ „отбивать невѣсту“... Иной разъ тутъ дѣло до крови доходитъ. Но не всегда такъ бываетъ, обыкновенно женихъ съ невѣстой успѣваютъ доскакать до попа и обвѣнчаться. Затѣмъ мужъ везетъ молодую жену къ своимъ родителямъ, тѣ ужъ дожидаются — знаютъ, что сынъ поѣхалъ сноху имъ выкрасть, новую даровую работницу въ домъ привезти, съ радостью встрѣчаютъ они новобрачныхъ. На другой, либо на третій день новобрачный, съ женой, отправляется къ тестю прощенья просить. Тамъ принимаютъ его съ бранью, дочь съ проклятьями. Вся деревня сбѣжится смотрѣть, какъ молодые, поклонясь въ землю, лежатъ, не шелохнувшись, ницъ передъ отцомъ, передъ матерью, выпрашивая прощенья, а отецъ съ матерью ругаютъ ихъ ругательски и клянутъ, и ногами въ головы пихаютъ, а послѣ того и колотить примутся: отецъ плетью, мать сковородникомъ. Наконецъ уходится сердце родительское. За побоями, да за бранью мировая слѣдуетъ, но ужъ кромѣ того что успѣла невѣста жениху передъ уходомъ передать, никакого приданаго ей не дается. Не бываетъ при свадьбѣ уходомъ ни „горнаго стола“, ни подарковъ, все оканчивается двумя обѣдами родителей однихъ у другихъ. Случается, и это бываетъ перѣдко, что родители жениха и невѣсты, если не изъ богатыхъ, тайкомъ отъ людей, даже отъ близкой родни, столкуются межъ себя про свадьбу дѣтей и рѣшаютъ не играть свадьбы „честью“, во избѣжанье расходовъ на пиры и дары. А велятъ дѣт-

камъ самимъ справлять свадьбу какъ знаютъ. При этомъ однакожь весь обрядъ чинъ чиномъ соблюдается: и погоня во всѣ стороны, и брань съ проклятьями при встрѣчѣ, и топанье ногами, и битье плетью и ухватомъ на глазахъ сбѣжавшейся деревни: все какъ слѣдуетъ. Но когда родительское сердце утолится, и руки колотить ново-брачныхъ устанутъ, мирятся, и тѣмъ же ухватомъ, что мать дочку свою колотила, принимается она изъ печки горшки вынимать, чтобы нарочно сострапаннымъ кушаньемъ любезнаго зятюшку потчивать.

---

Крѣпко было слово сказанное Настей. Патапъ Максимычъ не уснулъ отъ него послѣ обѣда. А этого съ нимъ лѣтъ съ пять не случалось, съ тѣхъ самыхъ поръ какъ, прослышавъ про сгорѣвшія на Волгѣ, подъ Свияжскомъ, барки, долго находился онъ въ неизвѣстности: не его ли горящина погорѣла.

Сказавъ женѣ какое слово молвила ему Настя, Патапъ Максимычъ строго-на-строго наказалъ ей глядѣть за дочерью въ оба, чтобъ дѣвка въ самомъ дѣлѣ, забравъ дурь въ голову, бѣдъ не натворила.

— Особенно по веснѣ, какъ дома меня не будетъ, говорилъ онъ, — смотри ты, Аксиныя, за ней хорошенько. Лѣтомъ до грѣха не долго. По грибы аль по ягоды чтобъ обѣ онѣ и думать не смѣли ходить, за околицу однѣхъ не пускай, всяко можетъ случиться.

— Стану глядѣть, Максимычъ, отвѣчала Аксиныя. — Какъ не смотрѣть за молодыми дѣвицами! Только по моему глупому разуму, напрасно ты про Настю думаешь, чтобъ она такое дѣло сдѣлала... Скорѣ ты больно на рѣчи-то, Максимычъ!... Давеча дѣвку на смерть напугалъ.

А съ испугу мало ль какое слово иной разъ сорвется. По глупости, спросту сказала.

— Спросту!... Какъ же!... возразилъ Патапъ Максимычъ. — Нѣтъ, у ней что-нибудь да сидить на умѣ. Ты бы изъ нея повыпытывала, можетъ промолвится. Только не бранью, смотри, не попреками. Видишь какая нравная дѣвка стала, тутъ грозой ничего не подбълаешь.... Ужъ не затѣяно ли у ней съ кѣмъ въ скиту?

— Не грѣши попусту, Максимычъ, сказала Акинья Захаровна. — Не мало я сегодня пытала у матушки Манеи: не видала ль Настасья кого изъ наѣзжихъ, не приглянулся ли кто. „Нѣтъ, говорить, не видывали никого ни Настя, ни Параня.“ Въ строгости вѣдь она держала ихъ. И Фленушка тоже говорить.

— Да что Фленушка! замѣтилъ Патапъ Максимычъ. — Фленушка хоть и знала бы что, такъ покроетъ, а Манею на старости ничего не видитъ. Ты бы другихъ разспросила.

— Спрошу, Максимычъ. Вотъ хоть Анафролюшку.

— Да умненько спрашивай, стороной, да обиняками, шутками больше, дѣвку бы не срамить.

Лишь только вышелъ Патапъ Максимычъ изъ Настиной свѣтлицы, вбѣжала туда Фленушка.

— Ну вотъ, умница, сказала она, взявши руками раскраснѣвшіяся отъ подавляемаго волненія Настины щеки. — Молодецъ дѣвка! можно чести приписать!... Важно отца отдѣлала!... До послѣдняго словечка все слышала, у двери все время стояла... Говорила я тебѣ, что струсить... Помоему вышло...

— Жалко мнѣ тятеньку, Фленушка, совѣстно передъ нимъ, отвѣчала Настя.

— Ужь ты зачнешь хныкать! сказала Фленушка.—Ну, ступай прощенья просить, „прости, молю, татенька, Христа ради, ни впредь, ни послѣ не буду и сейчасъ съ самарскимъ женихомъ подъ вѣнецъ пойду...“ Не дури, Настасья Патаповна... Благо отсрочку дажь.

— Чтò жь изъ того, что отсрочка дана?... Потомъ-то чтò?... сказала Настя.

— Алешкиной женой будешь, молвила Фленушка.

— Какъ же такъ?

— Уходомъ. Ты, Настя, молчи, слезъ не рони, бѣла лица не томи: все живой рукой обдѣлаемъ. Смотри только, построже съ отцомъ разговаривай, а слезъ чтобъ въ заводѣ при немъ не бывало. Слышишь?

— Слышу, сказала Настя.

— Бодрѣй да смѣлѣй держи себя. Сама не увидишь какъ верхъ надъ отцомъ возьмешь. Про мать нечего говорить, ея дѣло хныкать. Слезами ее пронимай.

— Добрая она у насъ, Фленушка, и смиренная, даромъ что покричитъ иной разъ, сказала Настя. — Силъ monkъ не станетъ супротивъ мамыньки идти... Такъ и подмываетъ меня, Фленушка, всю правду ей рассказать.... что я.... ну да про него....

— Сохрани тебя Господи и помилуй!... возразила Фленушка.—Говорила тебѣ и теперь говорю, чтобъ про это дѣло, кромѣ меня, никто не зналъ. Не то быть бѣдѣ на твоей головѣ.

Вечеромъ, послѣ ужина, Настя съ Фленушкой заперлись въ свѣтелѣ.

— Тошнехонько мнѣ, Фленушка, говорила Настя, въ утомленьи ложась на кровать не раздѣтая. — Болитъ мое сердечушко, всю душеньку поворотило. Сама не знаю чтò со мной, дѣлается.

— А я знаю!... бойко подхватила Фленушка. — Да про-

валиться мнѣ на семь мѣстѣ, коли завтра жъ тебя я не вылѣчу, прибавила.

— Нѣтъ, Фленушка, совсѣмъ истосковалась я, сказала Настя. — Чтò ни день, то хуже да хуже мнѣ. Мысли даже въ головѣ мѣшаются. Хочу о томъ, о другомъ пораздумать; задумаю, умъ ровно туманомъ такъ и застелеть.

— Про долговязаго, поди, все думаешь? сказала Фленушка:...

— Да... едва слышно молвила Настя, кинувшись лицомъ въ подушку.

— Повидаться надо, маленько покалякать, сказала Фленушка. — Давеча опять я съ нимъ видѣлась, говорила... Поклонъ отъ тебя сказала.

— Чтò жъ онъ? съ живостью спросила Настя, вскочивъ на кровати. — Да говори же!

— Не стоить говорить, молвила Фленушка.

— Да нѣтъ, скажи, пожалуйста. Милая, голубушка, скажи, приставала Настя, горячо обнимая и порывисто цѣлуя Фленушку.

— Да отстань же, Настя!... Полно!... Ну, будетъ, будетъ, говорила Фленушка, отстраняясь отъ ея ласкъ и поцѣлуевъ. — Да отстань же, говорятъ тебѣ... Ишь привязалась, совсѣмъ задушила!

— Да чтò жъ говорилъ онъ? умоляла Фленушку Настя. — Не мучь!... И безъ того тошно... Скажи поскорѣй.

— Говорилъ чтò въ такихъ дѣлахъ говорится, отвѣчала Фленушка. — Чтò ему безъ тебя весь свѣтъ постылъ, что изсушила ты его, что съ горя да тоски дѣваться не знаетъ куда, и что очень боится онъ самарскаго жениха. Какъ я ни увѣряла, что опричь его ни за кого не пойдешь, — не вѣрить. Тебѣ бы самой надо сказать ему.

— Да какъ же это, Фленушка? потупясь, спросила Настя.



— А вотъ какъ, немножко подумавъ, молвила Фленушка. — Завтра я его сюда приведу.

— Обезумѣла ты!.... А тятенька-то?...

— А какъ самъ тятенька Алешку въ свѣтлицу къ тебѣ пошлетъ?... съ усмѣшкой молвила Фленушка.

— Чего только ты не вздумашь!... Только послушать тебя, сказала Настя. — Статочно ли дѣло, чтобъ тятенька его сюда прислалъ?

— Да помереть мнѣ, съ мѣста не вставши, коли такого дѣльца я не состряпаю, весело вскрикнула Фленушка. — А ты, Настенька, какъ Алешка придетъ къ тебѣ, прибавила она, садясь на кровать возлѣ Насти, — говори съ нимъ умненько, да хорошенько, парня не запугивай... Смотри не обидь его... И безъ того чуть живъ ходить.

— Ты все шутки шутишь, Фленушка, а мнѣ не до нихъ, тяжело вздыхая, сказала Настя. — Какъ подумаю, что будетъ впереди, сердце такъ и замретъ... Научила ты меня какъ съ тятенькой говорить... Ну, смиловался, годъ не хочеть про свадьбу поминать... А черезъ годъ-отъ что будетъ?

— Дѣ году долго ждать, отвѣчала Фленушка. — Весной повѣнчаесть.

— Не мели пустяковъ, молвила Настя. — И безъ того тошно!

— Какъ отцу сказано, такъ и сдѣлаемъ,—уходомъ, отвѣчала Фленушка.—Это ужъ моихъ рукъ дѣло, слушайся только меня да не мѣшай. Ты вотъ что дѣлай: пріѣдетъ женихъ не прячься, не бѣгай, говори съ нимъ какъ водится, да словечко какъ-нибудь и вверни, что я, молъ, въ скитахъ выросла, изъ дѣтства, молъ, желаніе возымѣла Богу послужить, черну рясу надѣтъ.... А потомъ просись у отца на лѣто къ намъ въ обитель гостить, не то матушку Манею упроси, чтобъ она оставила у васъ меня. Это еще лучше будетъ.

— Что жъ изъ того будетъ? спросила Настя.

— А то и выйдетъ, что лѣтомъ какъ тятенька твой на Низъ уѣдетъ, мы свадьбу и скрутимъ. Алексѣй — не робкаго десятка, не побойтся.

— Боязно, Фленушка, молвила Настя. — Сердце такъ и замреть, только про это я вздумаю. Нѣтъ, лучше выберу я времечко, какъ тятенька ласковъ до меня будетъ, повалюсь ему въ ноги, покаюсь во всемъ, стану просить чтобъ выдалъ меня за Алешу.... Тата добрый, пожалѣетъ, не стерпитъ моихъ слезъ.

— Чтобъ отецъ твоихъ слезъ не видалъ, повелительно сказала Фленушка. — Онъ крутъ, такъ и съ нимъ надо быть крутой. Дѣло на хорошей дорогѣ, не испортъ. А про Алексѣя отцу сказать и думать не могу.

— Отчего же? спросила Настя

— Развѣ не слыхала, что теперь по всѣмъ деревнямъ вой идетъ? спросила Фленушка.

— Сказывалъ тятенька, что съ Великаго поста рекрутовъ брать начнутъ, отвѣчала Настя.

— То-то же. Алексѣй-отъ удѣльный вѣдь? спросила Фленушка.

— Да.

— А головой удѣльнымъ кто?

— Михайло Васильичъ.

— Отцу-то пріятель?

— Пріятель.

— Такъ Патапу Максимычу слово стоить сказать ему — „убери, молъ, подальше Алешку Лохматаго“, — какъ разъ забрѣетъ, сказала Фленушка.

— И въ самомъ дѣлѣ, молвила Настя. — Навела ты меня на разумъ... Ну какъ бы я погубила его!

— То-то же. Говорю тебѣ, безъ моего совѣта слова не молви, шагу не ступи, продолжала Фленушка. — Станешь

слушаться, — все хорошо будетъ; по своему затѣешь — и себя, и его сгубишь.... А ужъ жива быть не хочу, коли лѣтомъ не будешь ты женой Алексѣевой, прибавила она бойко притопнувъ ногой.

— А какъ онъ не захочетъ? понизивъ голосъ, спросила Настя.

— Кто не захочетъ?

— Да онъ....

— Алексѣй-отъ? сказала Фленушка и захохотала. — Экъ что выдумала!... Отъ такой крали откажется!... Не бойсь — губа-то у него не дура.... Ишь какую красоту приворожилъ!... А имѣнья-то что!... На голы-то зубы ему твои сундуки не лишними будутъ. Да и Патапъ Максимычъ, посерчаетъ, посерчаетъ, да и смилуется. Не ты первая, не ты послѣдняя свадьбу уходомъ справишь. Извѣстно, сначала взбѣлится, а мѣсяцъ, другой пройдутъ, спѣсь-то и свалится, возьметъ зятя въ домъ, и заживете вы въ добромъ ладу и совѣтѣ. Что расхныкалась? спросила Фленушка, увидя, что Настя, уткнувшись лицомъ въ подушку, опять приналась всхлипывать.

— Не на счастье, не на радость уродилась я, причитала Настя, — счастливыхъ дней на роду мнѣ не писано. Изною я, горемычная, загинуть мнѣ въ горѣ-тоскѣ.

— Да полно же ты! ободряла ее Фленушка. — Чего расплакалась!... Не цоконикъ на столѣ!... Не хнычь, не объ чемъ....

И ставъ передъ Настиной постелей, подперла развеселая Фленушка руки въ боки, и притопывая босой ногой, запѣла:

Охъ ты, Настя, дѣвка красна,  
Не рони слезы напрасно,  
Слезы ронишь — глаза портишь,  
Мила дружка отворишь,  
Отворотится — забудетъ,  
Ину дѣвицу полюбитъ.

— Не робѣй, Настасья Патаповна, готовь платки да ручники. Да, бишь, я и забыла, что свадьбу-то безъ даровъ придется играть. А ужь сидѣть завтра здѣсь Алешѣ Лохматому, цѣловать долговязому красну дѣвицу....

— Полно, Фленушка.

— И въ самомъ дѣлѣ: полно, сказала Фленушка. — Спать пора, кочета \* полночь пѣли. Прощай, покойной ночи, пріятный сонъ. Чтѣ во снѣ тебѣ увидать?..

— Ничего не хочу, отвѣтила Настя.

— Не обманешь, Настасья Патаповна, сказала, ложась въ постель, Фленушка: — Алешку хочется. Ну, увидишь, увидишь.... Прощай.

На другой день, по ўтру, сидѣлъ Патапъ Максимычъ въ подклѣтѣ, съ полу до потолка заставленномъ готовою на продажу посудой. Тутъ были разныхъ сортовъ чашки, отъ крошечныхъ, чтѣ рукой охватить, до большихъ въ полведра и даже чуть не въ цѣлое ведро, по лавкамъ стояли ставешки, блюда, расписные жбаны и всякая другая деревянная утварь. У входа въ подклѣтѣ старшій Пантелей бережно укладывалъ разобранную посуду по щепянымъ коробамъ, въ какихъ обыкновенно возятъ ее по дорогамъ и на судахъ. Алексѣй также въ подклѣтѣ былъ. Онъ помогалъ хозяину разбирать по сортамъ посуду, и на завязанныхъ Пантелеемъ коробахъ писалъ помазкомъ счетъ посуды и какого она сорта. Сортировка деревянкой посуды самое важное дѣло для торговца. Тутъ нужны и вниманье, и вѣрный, опытный глазъ, а главное — точность; безъ того торговецъ какъ разъ можетъ ославиться. Облѣжится какъ-нибудь — и пронесутъ худое слово по

---

\* Пѣтухи.

пристанямъ и базарамъ: у такого-то де скупщика въ первый сортъ всяку дрянъ вѣляютъ.

Прежде Патапу Максимычу въ этомъ дѣлѣ старикъ Савельичъ помогалъ. Прожилъ онъ у него въ дому, не мало, не много, двадцать годовъ и по токарной части во всемъ замѣнялъ хозяина. Вѣрный былъ человѣкъ, хозяйское добро берегъ пуще глаза, работники у него по стрункѣ ходили, на его рукахъ и токарни были, и красильни, иной разъ замѣсто Патапа Максимыча и на торги ѣзжалъ. Души въ немъ не чаялъ Чапуринъ, и въ семьѣ его Савельичъ былъ свой человѣкъ. Да вотъ передъ самымъ Рождествомъ надо же быть такому грѣху, бодрый еще и здоровый, захирѣлъ ни съ того, ни съ сего, да поболѣвъ недѣли три, Богу душу и отдалъ. Много тужилъ по немъ Патапъ Максимычъ, много думалъ кѣмъ замѣстить ему Савельича, но придумать не могъ. Народъ, что у него работалъ, не сподрученъ къ такому дѣлу: иной и вѣренъ былъ и человѣкъ постоянный, да по посуденной части толку не смыслить, а у другаго и толкъ былъ въ головѣ, да положиться на него было боязно. Замѣтивъ, что Алексѣй Лохматый мало что точить посуду какъ никому другому не выточить, но и въ сортировкѣ толкъ знаетъ, Патапъ Максимычъ позвалъ его къ себѣ на подмогу и очень доволенъ остался работой его. Такъ у Алексѣя дѣло спорилось, что пожалуй не лучше ли чѣмъ при покойникѣ Савельичѣ.

Разборка кончалась. Оставалось сотни три-четыре блюдъ перебрать, остальное было разобрано, Пантелеемъ уложено, и работниками вытащено въ сѣни, либо сложено на дровни, чтобъ завтра же, до заревыхъ кочетовъ, въ Городецъ посуду везти.

— Ну, Алексѣюшка, молвилъ Патапъ Максимычъ, — молодецъ ты паря. И въ глаза, и за глаза скажу, такого какъ ты днемъ съ огнемъ поискать. Глядь-ка, мы съ тобой

цѣлу партію въ одно утро обладили. Мастеръ, братъ, неча сказать.

— Спасибо на добромъ словѣ, Патапъ Максимычъ. Что смогу да сумѣю сдѣлать—всѣмъ готовъ служить вашему здоровью, отвѣчалъ Алексѣй.

— А я вотъ что, Алексѣюшка, думаю, съ разстановкой зачалъ Патапъ Максимычъ.—Поговорить бы тебѣ съ отцомъ, не отпустить ли онъ тебя ко мнѣ въ годы. Парень ты золотой, до всякаго нашего дѣла доточный, про токарное дѣло нечего и говорить, вотъ хоть насчетъ сортировки, и всякаго другаго распоряженія.... Я бы тебя въ прикащики взялъ. Слыхалъ, чать, про Савельича покойника? На его бы мѣсто тебя.

— Благодаримъ покорно, Патапъ Максимычъ, отвѣчалъ обрадованный Алексѣй.—Готовъ служить вашей милости со всякимъ моимъ удовольствіемъ.

— Только самъ ты, Алексѣюшка, понимать должонъ, сказалъ Патапъ Максимычъ,—что къ такой должности на одно лѣто приставить тебя мнѣ не съ руки. Въ годы-то отецъ отпустить ли тебя?

— Не знаю, Патапъ Максимычъ, отвѣчалъ Алексѣй,—поговорю съ нимъ въ воскресенье, какъ домой пойду.

— Плату положилъ бы я хорошую, ничѣмъ бы ты отъ меня обиженъ не остался, продолжалъ Патапъ Максимычъ.—Дома ли у отца сталъ бы ты токарничать, въ людяхъ ли, столь тебѣ не получить, сколь я положу. Я бы тебѣ все заведеніе сдалъ: и токарни, и красильни, и запасы всѣ, и товаръ, а какъ на Низъ случится самому сплыть, ахъ куда въ другое мѣсто, я бъ и домъ на тебя съ Пантелеемъ покидалъ. Какъ при покойникѣ Савельичѣ было, такъ бы и при тебѣ. Ты съ отцомъ-то толкомъ поговори.

Вошла Фленушка, смущенная, озабоченная, въ слезахъ.

Мастерица была она, какое хочет лицо соорудить: веселое такъ веселое, печальное такъ печальное.

— Что ты, Фленушка? спросилъ ее Патапъ Максимычъ.

— До васъ, Патапъ Максимычъ, отвѣчала она плаксивымъ голосомъ.—Бѣда у меня случилась, не знаю какъ и пособить. Матушка Манеѣа пелену велѣла мнѣ въ пальцахъ вышивать. На срокъ, къ Масленицѣ поспѣла бы безпремѣнно.

— Знаю, слышалъ, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.

— Въ Москву хочетъ посылать, продолжала Фленушка.

— Да что же случилось-то? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Пяльцы не порядкомъ положила, отвѣтила Фленушка.—Упали, разсыпались.... Боюсь теперь матушки Манеѣы, сердчать станетъ.

— Такъ почини, молвилъ Патапъ Максимычъ.

— Рада бы починила, да не умѣю, сказала Фленушка.—Надо столяра.

— А гдѣ я тебѣ найду его? У меня столяровъ нѣтъ, отвѣтилъ Патапъ Максимычъ.

— Да не можетъ ли кто изъ токарей починить? просила Фленушка.—Не оставьте, Патапъ Максимычъ, не введите въ отвѣтъ. Матушка Манеѣа и не знай что со мной подѣлаетъ.

— Не токарево это дѣло, голубушка, сказалъ Патапъ Максимычъ.—Изъ нашихъ работниковъ врядъ ли такой выищется.... Радъ бы пособить да не знаю какъ. Не знаешь ли ты, Алексѣй? Не сумѣетъ ли кто изъ нашихъ пяльцы ей починить?

— Да я маленько столярничая, отвѣчалъ Алексѣй.—За чистоту не берусь, а крѣпко будетъ.

— Ну вотъ на твоё счастье и столяръ выискался, съ

веселой улыбкой молвилъ Патапъ Максимычъ.—Тащи скорѣй сюда пальцы-то.

— Никакъ ихъ нельзя сюда принести, Патапъ Максимычъ, отвѣчала Фленушка,—здѣсь и олифой, и красками напачкамо, долго ль испортить шитье, цвѣта же на пеленѣ все нѣжные.

— Да ты порожніе пальцы тащи, шитье-то вынь, сказалъ Патапъ Максимычъ.—Эка недогадливая!

— Не знаете вы нашего мастерства, Патапъ Максимычъ, отъ того и говорите такъ, отвѣчала Фленушка.—Никакъ нельзя изъ палецъ вынуть шитья, всю работу испортить, опять-то вставить нельзя ужъ будетъ.

— Ну, неча дѣлать, сходи на верхъ, Алексѣюшк, о сказалъ Патапъ Максимычъ.— Гдѣ пальцы-то у тебя? спросилъ онъ, обращаясь къ Фленушкѣ.

— Въ свѣтлицѣ, у Настеньки, отвѣтила она.

— Проведи его туда. Сходи, Алексѣюшко, уладь дѣло, сказалъ Патапъ Максимычъ,— а то и впрямъ игуменья-то ее на поклоны поставить. Какъ закатить она тебѣ, Фленушка, сотни три лѣстовокъ земными поклонами пройти, спину-то, чай, послѣ не вдругъ разогнешь.... Ступай, веди его... Ты тамъ чини себѣ, Алексѣюшко, остальное я одинъ разберу... А къ отцу-то сегодня сходи же. Что до воскресенья откладывать?

Ровно отуманило Алексѣя, какъ услышалъ онъ хозяйскій приказъ идти въ Настину свѣтлицу. Чего во снѣ не снилось, о чемъ если иной разъ и приходило на умъ, такъ развѣ какъ о дѣлѣ несбыточномъ, вдругъ какъ съ неба свалилось.

— Ты послушай, молодѣцъ, сказала Фленушка, всходя съ нимъ по лѣстницѣ въ верхнее жильѣ дома.— Такъ у добрыхъ людей развѣ водится?

— Что такое? съ смущеннымъ видомъ спросилъ Алексѣй.



— Совѣсть-то есть, аль на базарѣ потерялъ? продолжала Фленушка.— Тамъ по немъ тоскуютъ, плачутъ, убиваются, цѣлы ночи глазъ не смыкаютъ, а онъ еще спрашиваетъ... Ну, парень, была бы моя воля, такъ бы я тебя отдѣлала, что до гроба жизни своей поминать бы сталъ, прибавила она, изо всей силы колотя кулакомъ по Алексѣеву плечу.

— Да ты про что? Право, не въ домекъ, Флена Васильевна, говорилъ Алексѣй.

— Ишь ты! Еще притворяется, сказала она.— Приворожить дѣвку безстыжими своими глазами умѣлъ, а понять не умѣешь.... Совѣсть-то гдѣ?.. Да знаешь ли ты, непутный, что изъ-за тебя вечеръ у нея съ отцомъ до того дошло, что еще бы немножко, такъ и не знаю что бы случилось... Зачѣмъ къ отцу-то онъ тебя посылаетъ?

— Въ прикащики хочеть меня по токарямъ да по красильнямъ рядить, отвѣчалъ Алексѣй,— за работниками да за домомъ присматривать.

— Полно ты? удивилась и обрадовалась Фленушка.

— Право, отвѣчалъ Алексѣй.

— Значить— наше дѣло выгораетъ, сказала Фленушка.— Съ мѣста мнѣ не сойти, коль не будешь ты у Патапа Максимыча въ зятяхъ жить. Ступай, сказала она, отворивъ дверь въ свѣтелку и втолкнувъ туда Алексѣя,— я покараулю.

Въ аломъ тафтяномъ сарафанѣ, съ пышными, бѣлоснѣжными тонкими рукавами, и въ широкомъ бѣломъ передникѣ, въ яркозеленомъ левантиновомъ платочкѣ, накинутомъ на голову и подвязанномъ подъ подбородкомъ, сидѣла Настя у Фленушкиныхъ палецъ, опершись головой на руку. Потускнѣлъ свѣтлый взоръ дѣвушки, спалъ румянецъ съ лица ея, глаза наплаканы, губы пересохли, а все-таки чудно хороша была она. Это была такая красавица, какихъ и за Волгой не много родится: круга да

бѣла какъ мытая рѣпка, алый цвѣтъ по лицу разстиляется, толстыя ровно шелковыя косы висятъ ниже пояса, звѣздистыя очи разсыпчатыя, брови тонкія, руки бѣлыя ровно выточены, а грудь какъ пухъ въ атласѣ. Не взвидѣль свѣта Алексѣй, остановился у притолки. Однако оправился и чинъ чиномъ, какъ слѣдуетъ, святымъ иконамъ три поясныхъ поклона положилъ потомъ Настѣ, низехонько поклонился.

Хоть Фленушка только о томъ Настѣ и твердила, что приведетъ къ ней Алексѣя, но рѣчамъ ея Настя вѣры не давала, думала что шутить она.... И вдругъ передъ ней, какъ изъ земли выросъ,—стоитъ Алексѣй.

Блѣдное лицо Насти багрецомъ подернуло. Встала она съ мѣста, и опираясь о столъ рукою, робко глядѣла на вошедшаго. А онъ все стоитъ у притолки, глядитъ не наглядится на красавицу.

У обоихъ языка не стало. Молчать. Наконецъ Настя маленько оправилась.

— Чтѣ тебѣ надо? спросила она, опустивъ глаза въ землю.

— Патапъ Максимычъ послалъ, тихо отвѣчалъ Алексѣй.

— Тятенька? поднимая голову, сказала Настя. — Тебя тятенька ко мнѣ прислалъ?... Зачѣмъ?...

Сердце у ней такъ и замерло, сама себя не помнитъ, на яву она, а въ снѣ ей грезится.

— Зачѣмъ онъ тебя прислалъ? повторила Настя, едва переводя духъ.

— Пяльцы чинить.

„Такъ вотъ зачѣмъ Фленушка пяльцы-то ломала,“ подумала Настя.

— Чини, коли присланъ, сказала она, отходя къ другому окошку.

— Подошелъ Алексѣй къ пяльцамъ. Смотритъ на по-

ломъ—и ничего не видеть: глаза у него такъ и застила-  
еть, а сердце бьется, ровно изъ тѣла вонъ хочетъ.

Настя, потупившись, перебирала руками конецъ перед-  
ника, лицо у ней такъ и горѣло, грудь трепетно подни-  
малась. Едва переводила она дыханье, и хотъ на душѣ  
стало свѣтлѣе и радостнѣй, а все что-то боязно было ей,  
слезы къ глазамъ подступали.

Быстро распахнулась дверь, вбѣжала Фленушка.

— Пути въ васъ нѣту, зашебетала она.—На молчанки  
что ли я васъ свела?... Слушай ты, молодецъ, дѣвка тебя  
полюбила, а сказать стыдится.... И Алексѣй тебя полю-  
билъ, да боится вымолвить.

И толкнувъ Настю къ Алексѣю, выбѣжала за дверь.

— Неужли правду сказала она? чуть слышно спросилъ  
Алексѣй.

У Насти силы на отвѣтъ неостало. Зарыдала и за-  
крыла лицо передникомъ.

Медленно и робко ступилъ Алексѣй шагъ, ступилъ  
другой, взялъ Настю за руку.

Быстро откинула она передникъ. Сквозь слезы улыба-  
ясь, страстно взглянула въ очи милому и кинулась на  
грудь его....

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Всѣ распоряженья насчетъ угощенья домовыхъ работ-  
никовъ и пришлаго народа были сдѣланы. Старикъ Пан-  
телей съ Захлыстинскаго базара навезъ и говядины, и  
свинины, и баранины, пять ведеръ вина, ренскаго шесть  
бутылокъ молодицъ подбивать и большіе кульки съ дере-  
венскими гостинцами. Дома брагу варили, квасы ставили.  
Аксинья Захаровна въ кладовыхъ да въ стряпущей съ  
утра до ночи возилась: то припасы принимала, то нали-

ка подваривала да по бутылкамъ разливала, то посуду стеклянную и фарфоровую изъ сундуковъ вынимала и отдавала дочерямъ перемыть хорошенько.

Патапъ Максимычъ въ губернской городъ собрался. Это было не очень далеко отъ Осиповки: верстъ шестьдесятъ. Съ дороги своротилъ онъ въ сторону, въ деревню Ключево. Тамъ жила сватья его и крестная мать Насти, Дарья Никитишна, знаменитая по всему краю повариха. Бойкая, проворная, всегда веселая, никогда ничѣмъ невозмутимая, доживала она свой вѣкъ въ хорошенькомъ, чистенькомъ домикѣ, на самомъ краю деревушки.

Дѣтство и молодость Никитишна провела въ горѣ, въ бѣдахъ и страшной нищетѣ. Казались тѣ бѣды нескончаемы, а горе безвыходнымъ. Но никто какъ Богъ, на Него одного полагалась съ-измальства Никитишна, и не постыдилъ Господь надежды ея: послалъ старость покойную: всѣми она любима, всѣмъ довольна, добро по силѣ ежедневно можетъ творить. Чего еще? Доживала старушка вѣкъ свой въ радости, благодарила Бога.

Пяти годовъ ей не минуло, какъ родитель ея, не тѣмъ будь помянуть, въ какихъ-то воровскихъ дѣлахъ приличился и по мірскому приговору въ солдаты былъ сданъ, а мать, вскорѣ послѣ того какъ забили ея сожителя, мудрено какъ - то померла въ оврагѣ за овинами, возвращаясь въ нетопленную избу къ голодному ребенку:

Изъ царева кабака,  
Изъ кружала государева.

Ругался міръ ругательски, посылалъ ко всѣмъ чертямъ Емельянику, гробъ безо дна, безъ покрывки сунилъ ей за то, что и жить путемъ не умѣла, и померла не путемъ: судъ по мертвому тѣлу навела на деревню.... Чтѣ гусей было перерѣзано, чтѣ куръ да барановъ пріѣдено, яичницъ

глазуній настряпано, что дѣвокъ, да молодыхъ къ лѣкарю, да къ стряпчему было послано, что исправнику денегъ было переплачено! И изъ-за кого жъ такая мірская сухота? Изъ - за паскуды Емельяники, что не умѣла съ мужемъ жить, не умѣла въ его дѣлахъ концы хоронить, не умѣла и умереть какъ слѣдуетъ.

Осталась послѣ Емельяники сиротка, пятилѣтняя Дарѣнка. Въ отцовскомъ ея дому давнымъ-давно хотъ шаромъ покати, еще заживо родитель растащилъ по кабакамъ все добро—и свое, и краденое. Мать схоронили Христа ради, по приказу исправника, а сиротка осталась болтаться промежь дворовъ: бывало гдѣ день, гдѣ ночь проведетъ, гдѣ обносочки какіе ей Христа ради подадутъ, гдѣ черствымъ хлѣбцомъ впроголодь покормятъ, гдѣ въ баньку пустиять помыться. Такъ и росла дѣвочка.

Въ сиротствѣ жить—только слезы лить; житье сиротинкѣ что гороху при дорогѣ: кто пройдетъ, тотъ и порветъ. Мало ль щипковъ, да рывковъ, мало ли бою до синяковъ, рванья косъ до плѣшинъ приняла Дарѣнка, волочасъ подъ оконьемъ въ Ключовѣ и по сосѣднимъ деревнямъ. Не царствомъ небеснымъ было ей житье и при матери; бывала ее, и шибко бывала покойница, особенно какъ подъ пьяную руку дѣвочка ей подвернется, да все не какъ чужіе люди. Вѣдь мать хотъ и пьяная и безумная, а высоко руку подыметъ, да не больно спустить, чужой же человѣкъ колотить дитя не разсудя, не велика, дескать, бѣда, хотъ и калѣкой станеть вѣкъ доживать. Бивали Дарѣнку старые, бивали ее малые, отъ деревенскихъ ребятишекъ проходу не было. Только бывало сиротку завидять, тотчасъ и обидать, а пожалуется, не стерпя побоевъ, Дарѣнка, ей же пуще достанется.... Правду люди говорятъ, что пчелки безъ матки — пропація дѣтки. Горько бывало безродной сироткѣ глядѣть, какъ другіе ребятишки отцомъ, матерью

старая, въ эти дѣла вступаться не могу, а ты свекра должна почитать, потому что онъ всему дому голова и тебя поить кормить изъ милости.“ Пришло Никитишино житіе хуже собачьяго, свекоръ колотить, свекровь ругаетъ, деверья смѣются, невѣстки да золовки поѣдомъ ѣдятъ. Терпѣла Дарья такую долю съ полгода, извелась даже вся, на себя стала непохожа. Не хватило терпѣнья, ушла въ чужи люди работой кормиться.

Куда-нибудь подальше хотѣлось ей, чтобъ и вѣстей до нея не долетало ни про сквернаго свекра, ни про лютую свекровь, ни про злыхъ невѣстокъ и золовокъ. Пошла въ городъ Никитишна. Тамъ къ богатому барину пристроилась, въ коровницы нанялась. Съ годъ за коровами ходила, потомъ въ судомойки на кухню ее опредѣлили, на подмогу привезенному изъ Москвы повару. Баринъ того повара у какого-то московскаго туза въ карты выигралъ. Пошелъ поваръ въ тысячѣ рублѣхъ, но знающіе люди говорили, что тузу не грѣхъ бы было и подороже Петрушку поставить, потому что дѣло свое онъ зналъ на рѣдкость: въ Англійскомъ клубѣ учился, самъ Рахмановъ \* раза два его одобрялъ. Проживъ при томъ поварѣ годовъ шесть, либо семь, Никитишна къ дѣлу присмотрѣлась, всему научилась и стала большою помощью Петрушкѣ. Межъ тѣмъ воспитанникъ Англійскаго клуба сталъ запивать, кушанье готовилъ хуже да хуже, кончилъ тѣмъ, что наканунѣ барыниныхъ именинъ сбѣжалъ со двора. Такъ и сгинулъ. Ходили потомъ слухи, будто онъ къ матерямъ въ скиты лыжи наострилъ, тамъ въ стару вѣру перешелъ, и что матери потомъ спровадили его въ надежное мѣсто: къ своимъ, за Дунай. На такія спроваживанья бѣглыхъ

---

\* Извѣстный московскій любитель покушать, проѣвшій нѣсколько тысячъ душъ крестьянъ.

людей за Дунай-рѣку большія мастерицы бывали матери келейницы. Пошлютъ бѣглаго съ письмомъ къ знакомому человѣку, тотъ къ другому, этотъ къ третьему, да такъ за границу и выпроводятъ.

Остался баринъ безъ повара, гости на именины позваны, обѣда готовить некому. Чтò тутъ станешь дѣлать? Принимай срамъ отъ гостей. Но выручила барина Никитишна, такой обѣдъ ему состряпала что самъ Рахмановъ, отвѣдавъ того обѣда, облизалъ бы пальчики. Съ той поры стала Никитишна за хорошее жалованье у того барина жить, потомъ въ другой домъ перешла еще побогаче, тамъ еще больше платы ей положили. И жила она въ поварихахъ безъ малаго тридцать годовъ. А деньгу копить мастерица была: какъ стала изъ силъ выходить, было у нея ломбардными билетами больше трехъ тысячъ рублей на ассигнаціи. „Ну, подумала тогда Никитишна, — будетъ въ чужихъ людяхъ жить, надо свой домишко заводить.“ Хоть родину добромъ поминать ей было нечего, — кромѣ бѣды да горя Никитишна тамъ ничего не вѣдала, — а все же тянуло ее на родную сторону: не осталась въ городѣ жить, пріѣхала въ свою деревню Ключову. Поставила Никитишна домикъ о край деревни, обзавелась хозяйствомъ, отыскала гдѣ-то троюродную племянницу, взяла ее вмѣсто дочери, вспоила, вскормила, замужъ выдала, зятя въ домъ приняла и живетъ теперь себѣ, не налюбуется на маленькихъ внучатъ, привязанныхъ къ бабушкѣ больше чѣмъ къ родной матери.

Хоть ни въ чемъ не нуждалась Никитишна, но всегда не только съ охотой, но съ большою даже радостью ѣзжала къ городovýmъ купцамъ и къ деревенскимъ тысячникамъ столы строить, какіе нужны бывали: именинные, аль свадебные, похоронные, аль поминальные, либо на случай пріѣзда важныхъ гостей. Ызжала Никитишна и къ

матерямъ обительскимъ обѣды готовить, когда, бывало, послѣ Макарья, купцы богатые, скитскіе „благодѣтели“, наѣдутъ къ матерямъ погостить, побаловать, да кстати и Богу помолиться. Привыкнувъ къ стряпнѣ да къ столовымъ хлопотамъ, скучно, бывало, становилось Никитишнѣ, коли долго ее ставить столы никуда не зовутъ.

Изъ всѣхъ знакомыхъ городовыхъ купцовъ, изъ всѣхъ заводскихъ тысячниковъ, ни къ кому у ней сердце такъ не лежало какъ къ Патапу Максимычу. Аксиныя Захаровна какъ-то въ средствѣ приходилась ей, и когда еще Никитишна по чужимъ людямъ проживала, Патапомъ Максимычемъ оставлена не была. Каждый годъ, бывало, онъ ей послѣ Макарья чаю, сахару на цѣлый годъ подарить, да платье хорошее, а иной годъ и шубу справить, либо деньгами не оставить. Добро Никитишна помнила твердо. Пошли за ней Патапъ Максимычъ хоть въ полночь, хоть за полночь, хоть во время вьюги-мятелицы, хоть въ трескучій морозъ, хоть въ распутицу, часа не усидить, мигомъ въ дорогу сберется и покатить къ куманьку любезному. Хоть старымъ костюмъ иной разъ и неможется, отъ послуги Патапу Максимычу ни за что не откажется. И все семейство Чапуриныхъ души не чаяло въ доброй, всегда веселой, разговорчивой Никитишнѣ. Кромѣ нужныхъ случаевъ, когда Никитишнѣ въ Осиповкѣ приводилось столы строить, нерѣдко по недѣлямъ и даже по мѣсяцамъ тамъ она гасчивала. И бывало, во время такихъ гостинъ ужъ никакъ невозможно было уговорить старушку, чтобъ она каждый день обѣда не стряпала. Только что пріѣдетъ, первымъ долгомъ въ стряпущую. Тогда стряпка ужъ прочь ступай; къ печи никого, бывало, не подпустить Никитишна.

Смерклось и вызвѣздило, когда по скрипучей, отъ завернушаго подъ вечеръ морозца, дорогѣ къ дому Ники-



тишины пара добрыхъ коней подкатила сани съ кожанымъ лучкомъ, съ суконнымъ, подбитымъ мурашкинскою дубленкой, фартукомъ и съ широкими отводами. Въ синей суконной шубѣ на лисьемъ мѣху, подпоясанный гаруснымъ кушакомъ, въ мерлушчатой шапкѣ, вылѣзъ изъ саней Патапъ Максимычъ, и оставя при лошадяхъ работника, зачалъ въ ворѣта стучать. На его стукъ, заливаясь визгливымъ лаемъ, отвѣчали со двора собаки, затѣмъ послышались чьи-то шаги по снѣгу, кто-то окликнулъ пріѣхавшаго, и когда Чапуринъ отозвался, ворѣта на оба полотна распахнулись.

— Ахъ, батюшка Патапъ Максимычъ, вскрикнулъ Авдѣй, пріемный сынокъ Никитишны.—Милости просимъ. Пождите маленько, ваше степенство, за свѣчкой сбѣгаю, темненько на дворѣ-то, не зашибитесь бы вамъ ненарокомъ.

— Не надо, Авдѣюшка, дорога знакомая, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ,—а ты вотъ, голубчикъ, коней-то на дворъ пусти, да сѣнца имъ брось. Здорова ль Никитишна?

— Неможетъ, Патапъ Максимычъ, другой день.

— Ой ли? Чтѣ жъ такое съ ней приключилось? спросилъ Патапъ Максимычъ?

— Да Богъ ее знаетъ: то походить, то поваляется. Года ужъ, видно, такіе становятся. Великимъ постомъ на седьмой десятокъ перевалить, говорилъ Авдѣй, провожая гостя.

Дверь изъ горницы отворилась. Авдѣева жена молодая, нустрая бабенка, съ широкимъ лицомъ, вздернутымъ носомъ и узенькими глазками выбѣжала въ сѣни со свѣчкой.

— Патапъ Максимычъ! По добру ль по здорову? Милости просимъ, заговорила она.

— Здравствуй, Татьянушка. Чтѣ тетка?

— Хвораетъ.

Войдя въ горницу, Патапъ Максимычъ увидалъ, однако, что кума любезная, повязанная бѣлымъ платкомъ по головѣ, сама встрѣчаетъ его. Заслышавъ голосъ куманька, не утерпѣла Никитишна, встала съ постели и пошла къ нему на встрѣчу.

— Какими судьбами до нашихъ дворовъ? спрашивала она у Патапа Максимыча.

— Да вотъ, ѣхалъ неподалече и завернулъ, отвѣчалъ нѣ.—Нельзя же куму не навѣдать. И то съ Рождества не видались. Что, Божья старушка, не можется, слышь, тебѣ?

— Помирать время подходить, куманекъ. Кости всѣ разболѣлись. Ломить, тягость такая! говорила Никитишна.—Таня, ставь-ка ты самоваръ, да сбери чайку: куманекъ съ холодку-то погрѣется.

— Рано бы помирать-то тебѣ, кумушка, сказалъ, садясь на лавку, Патапъ Максимычъ.—Пожить надо, внучекъ вырастить, замужь ихъ повидать.

— Тебя только послушай, наскажешь, помаленьку оживляясь, заговорила Никитишна.—Аредовы вѣки что ли прикажешь мнѣ жить? Дѣло наше бабье: слабъ сосудъ.

— Поживемъ еще, кумушка, поживемъ пока Богъ грѣхамъ терпитъ. Выздоровливай. Ну, дѣтокъ твоихъ видѣлъ, внучки-то что? Здоровеньки ли?

— Слава Богу. Аннушку за букварь засадила, молвила Никитишна,—„азъ, ангелъ, ангельскій“ твердить, а Марюша, какъ бы ты видѣлъ, такая забавная стала, что разсказать нельзя. Спать полегли, да вотъ завтра увидишь.

— Нѣтъ, кумушка, до утра у тебя я не останусь, сказалъ Патапъ Максимычъ.—Я къ тебѣ всего на часокъ и коней отпрягать не велѣлъ. Въ городъ ѣду. Завтра къ утру надо быть тамъ безпремѣнно.

— Что-й-то, батько, какой нонѣ спѣсивый сталъ, воз-

разила Никитишна. — Заочевалъ бы, завтра пообѣдалъ бы. Чуть брожу, а для гостя дорогаго знатный бы обѣдецъ состряпала. Наши ключовски ребята лось выслѣдили, сегодня загоняли и привезли. Я бы взяла у нихъ лосинаго мясца, да такое бѣ тебѣ кушанье состряпала, хотъ царю самому на столъ. Рѣдко нонѣ лосей-то стали загонять. Переводятся что-то.

— Спасибо, кумушка, да вѣдь этого звѣря, кажись, по закону ѣсть не заповѣдано, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Чтѣ ты, окстись! возразила Никитишна. — Вѣдь у лоси-то, чай, и копыто раздѣленное, и жвачку онъ отрыгаетъ. Макарія преподобнаго „Житіе“ читалъ ли? Далъ бы развѣ Божій угодникъ лося народу ясти, когда бы святыми отцами не было того заповѣдано.... Да чтѣ же про своихъ-то ничего не скажешь? а я, дура, не спрошу. — Ну, какъ кумушка поживаетъ, Аксиныя Захаровна?

— Ничего, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ. — Клокчетъ себѣ. Дочерей взяли изъ обители, такъ съ ними больше возится.

— Крестница моя чтѣ, Настасьюшка? Какъ поживаетъ?

— Живетъ себѣ. Задурила было намедни.

— Какъ такъ?...

— Да въ кельи захотѣла, смѣясь сказалъ Патапъ Максимычъ. — Иночество, говорить, желаю надѣть. Да ничего, теперъ блажь изъ головы, кажись, вышла. Прежде такая невеселая ходила, а теперъ совсѣмъ другая стала, — развеселая. Замужъ пора ее, кумушка, вотъ чтѣ.

— И то правда, куманекъ, согласилась Никитишна. — Вѣдь ей никакъ восемнадцать годковъ минуло?

— Да. Девятнадцатый пошелъ съ осени, молвилъ Патапъ Максимычъ.

— Такъ... Такъ будетъ, сказала Никитишна. — Другой годъ я въ Ключовѣ-то жила, какъ Аксиныюшка ее родила.

А прошлымъ лѣтомъ двадцать лѣтъ сполнилось, какъ я домою хозяйствую... Да... Сама я тоже подумывала, куманекъ, что пора бы ее къ мѣсту. Не хлѣбъ-соль родительскую ей отрабатывать, а въ дѣвкахъ засиживаться ой-ой нескладное дѣло. Есть ли женишокъ-отъ на примѣтъ, а то не поискать ли?

— Маленько заведено дѣльцо, кумушка, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.

— Изъ какихъ мѣстъ Господь посылаетъ? Здѣшній, али дальній какой? спросила Никитишна.

— Гдѣ по здѣшнимъ мѣстамъ жениха Настасѣй сыскать! спѣсиво замѣтилъ Чапуринъ.—По моимъ дочерямъ жениховъ здѣсь нѣтъ: токари да кузнецы имъ не пара. По купечеству хорошихъ людей надо искать.... Вотъ и выискался одинъ молодчикъ—изъ Самары, купецкій сынъ, богатый: у отца заводы, пароходы, и торговля большая. Снѣжковы прозываются, не слыхала ли?

— Нѣтъ, Снѣжковыхъ не слыхала, отвѣчала Никитишна.—Да вѣдь я низовыхъ-то мало знаю.—Видѣлъ онъ крестницу-то?

— Покамѣсть не видалъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.—Да вотъ бѣда-то, кумушка, что ты расхворалась.

— А чтò?

— Да вѣдь я было затѣмъ и пріѣхалъ, чтобы звать тебя столъ ради жениха урядить, сказалъ Патапъ Максимычъ.—На Аксиньины именины гостить къ намъ съ отцомъ собирается.

— Безпремѣнно буду, живо подхватила Никитишна.—Да какъ же это возможно, чтобы на Настинныхъ смотринахъ да не я стряпала? Умирать стану, а поѣду. Присылай подводу, куманекъ, часу не промѣшкаю.—А вотъ чтò, возьми-ка ты у нашихъ ребятъ лося; знатно кушанье состряпаю, на рѣдкость.

— Пожалуй, молвилъ Патапъ Максимычъ,—только ужъ ты сама сторгуйся и деньги отдай, послѣ сочтемся. Теперь въ городъ за покупками ѣду, послѣзавтра домой ворочусь и тотчасъ за тобой подводу пришлю. Сама приѣзжай и лося вези.

— Ладно, хорошо, сказала Никитишна. — А я все насчетъ крестницы-то. Какъ же это, куманекъ, что-то не въ domeкъ мнѣ: давеча сказалъ ты, что въ монастырь она собираться вздумала, а теперь говоришь про смотрины. Ужъ не силой ли ты ее выдаешь, не супротивъ ли воли?

— Заправскихъ смотринъ не будетъ, и настоящаго сватовства еще нѣтъ, сказалъ, уклоняясь отъ прямого вопроса, Патапъ Максимычъ.—Пуцай парень съ дѣвкой повидаются, другъ на дружку посмотреть. А про сватовство и рѣчи не будетъ. Раньше той зимы свадьбы намъ не играть: и мнѣ времени нѣтъ, и Снѣжковымъ, въ разѣздахъ придется все быть. Настя съ молодцомъ теперь только увидится, а по веснѣ Михайло Данилычъ, женихъ-отъ, еще разъ-другой къ намъ заѣдетъ,—пу помаленьку и ознакомятся... А чтò про скиты-то Настасья заговарила, такъ это она такъ.... Нравная дѣвка твоя крестница.... Да ужъ я тебѣ все разкажу, передъ тобой таиться нечего: своя вѣдь, опять же мать ей крестная.... Сказалъ я напередъ Настасѣ, что женихъ у меня для нея припасенъ. Она въ слезы. Ну, подумалъ я, это еще не велика бѣда; кака дѣвка безъ рёву замужъ выходить?... „Не пойду, говорить, за твоего жениха“. Пошумѣлъ я. У тебя, говорю, воли своей нѣтъ, отецъ съ матерью живы; значить, моя воля надъ дѣтищемъ, за кого хочу, за того и выдамъ. Тутъ она и молвила про обѣщанье, дала, дескать, обѣтъ пѣстригъ принять въ обители. А у меня теперь мать Манеѳа гостить. Думалъ, не она ли дурь въ голову дѣвкѣ набила. Любятъ вѣдь эти игуменьи богатенькихъ родственницъ прилучать.... Да

какъ разузналъ, вижу, Манею тутъ ничѣмъ непричинна. Я опять за Настасью, хотѣлось допытаться, съ чего она постригъ въ голову себѣ забрала. Опять про жениха рѣчь повелъ. А она, кумушка, какъ бракнетъ мнѣ! Такъ и сняла съ меня голову.

— Что такое? спросила Никитишна.

— Коли, говорить, неволить станешь,—„уходомъ“, говорить, съ первымъ встрѣчнымъ уйду.... Подумай ты это, кумушка?.... А?.... Уходомъ?....

— Такъ и сказала? спросила Никитишна, встревожась отъ такихъ вѣстей.

— Такъ и сказала. Уходомъ, говорить, уйду, продолжалъ Патапъ Максимычъ.—Да посмотрѣла бы ты на нее въ ту пору, кумушка. Диву дался, сначала не зналъ какъ и говорить съ ней. Гордая передо мной такая стоитъ, голову кверху, слезъ и въ заводѣ нѣтъ, говорить какъ рѣжетъ, а глаза какъ уголья такъ и горятъ.

— Отцова дочка, усмѣхнувшись замѣтила Никитишна.— Въ тятеньку уродилась... Такъ у васъ, значить, коса на камень нашла. Дальше-то что же было?

— Ужь я лаской съ ней: вижу окрикомъ не возьмешь, сказалъ Патапъ Максимычъ.— Молвилъ что про свадьбу годъ цѣлый помину не будетъ, жениха, молъ, покажу, а годъ сроку даю на раздумье. Смолкла моя дѣвка, только все еще не веселая ходила. А на другой день одумалась, съ утра бирюкомъ глядѣла, къ обѣду такъ и сіяетъ, пышная такая стала, да радостная.

— А ты дѣвку-то не больно ломай, молвила Никитишна.— Лаской больше бери, да уговорами, на упрямое слово не сердчай, на противное не гнѣвайся.

— И то по ней все говорю, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.— Боюсь, въ самомъ дѣлѣ не надѣлала бы чего. Голову, кумушка, сниметъ!... Проходу тогда мнѣ не будетъ

— Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ, успокоивала эго Никитишна.— Много ль гостей-то звалъ?

— Да окромѣ Снѣжковыхъ, Ивана Григорыча съ Груней, удѣльнаго голову, еще кой-кого, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.— Мнѣ всего больше того хочется, кумушка, чтобъ Снѣжковымъ показать, какъ мы въ нашихъ захолустяхъ живемъ. Хоть, дескать, на болотѣ сидимъ, а мохомъ не обросли. Не загордились бы, коли Богъ велить въ родствѣ быть. Такъ ужъ ты поради, такой столъ уряди, какой у самыхъ первыхъ генераловъ бываетъ. Снѣжковъ-отъ Данило Тихонычъ купецъ первостатейный, въ городскихъ головахъ сидѣлъ, у губернаторовъ обѣдывалъ, у самого царя во дворцѣ, сказывается, въ Питерѣ бывалъ. Порядки, стало-быть, знаетъ. Такъ ужъ ты лицомъ въ грязь не ударь. Денегъ не жалѣй, управь только все на самую хорошую руку. Чего въ городѣ покупать? Сказывай, записывать стану.

Сидя за чаемъ, а потомъ за ужиномъ, битый часъ протолковалъ Патапъ Максимычъ съ Никитишной какіе припасы и напитки искупить надо. И про Настю кой-что еще потолковали. Наконецъ, когда все было переговорено и записано, Патапъ Максимычъ поѣхалъ изъ Ключова, чтобъ съ разсвѣтомъ быть въ городѣ.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Шуринъ Патапа Максимыча, Никифоръ былъ дрянъ человекъ. Чтò это былъ за собинка, того довольно сказать, что „волкомъ“ его прозвали, — а хуже, позориѣй такого прозвища въ лѣсахъ за Волгой нѣтъ. Волкъ—это въ конецъ проворовавшійся мужикъ, всенародно осрамленный, опозоренный, котораго по деревнямъ своего околотка водили въ шеурѣ украденной имъ скотины, сопровождая

бранью, побоями, хохотомъ и стукомъ въ печные заслоны и сковороды. Много мірскихъ побоевъ за воровскія дѣла принялъ Микешка, да мало видно бока у него болѣли: полежить недѣлку-другую, поохаетъ, помается, да оправившись, опять за воровской промыслъ да за пьянство. Просто сказать—отятѣй человѣкъ.

А вѣдь, кажется, былъ изъ семьи хорошей. Родители были честные люди, хоть не тысячники, а прожили вѣкъ свой въ хорошемъ достаткѣ. Жили они въ удѣльномъ селѣ Скоробогатовѣ. Отецъ Никифора, Захаръ Колотухинъ, пряжу скупалъ по Ячменской волости, гдѣ не только бабы да дѣвки, но и всѣ мужики по зимамъ за гребнемъ сидятъ. Продавая пряжу въ Пучежѣ да въ Городцѣ, хорошіе барыши онъ получалъ и доволенъ былъ житьемъ-бытьемъ своимъ. Дѣтей у Колотухина всего только двое было, сынъ да дочь — красныя дѣти, какъ въ деревняхъ говорится. Ростили родители Никифора, уму-разуму учили, на всякое добро наставляли какъ слѣдуетъ, да видно ужъ на роду было ему писано, быть не справнымъ хозяиномъ, а горькимъ пьяницей и воровъ отъявленнымъ. Урожается иной разъ у хорошаго отца такое чадушко, что отъ него только горе да безчестье: роду поношенье, всему племени вѣчный покоръ.

Аксинья Захаровна старше брата была. Еще дѣвочкой отдали ее въ Комаровскій скитъ къ одной родственницѣ, бывшей въ одной изъ тамошнихъ обителей головщицей праваго крылоса; жила она тамъ въ холѣ да въ нѣгѣ, думала и на вѣкъ келейницей быть, да подвернулся молодой, красивый парень, Патапъ Максимычъ Чапуринъ... Сошлись, ознакомились, онъ на нее не наглядится, она на него не надышется, рѣшили, что жить розно имъ не приходится, и кончилось тѣмъ, что Патапъ Максимычъ смахнулъ дѣвку, увезъ изъ скита и обвинчался съ нею уходомъ.



Прошло года три, мать Аксины Захаровны померла, въ одночасье остались въ дому отецъ старый вдовецъ, да сынъ холостой молодецъ. Какъ жить безъ бабы?... Никомъ образомъ нельзя, безъ хозяйки весь домъ прахомъ разсыплется... И задумалъ Захаръ Колотухинъ самъ жениться и сына женить. Ужь невѣсты были выбраны, и сваты приготовлены, обѣ сватьбы „честью“ хотѣли справлять, да вдругъ Захаръ занедужился, недѣлку-другую помаялся и отдалъ Богу душу.

Остался Никифоръ надо всѣмъ отцовскимъ добромъ самъ себѣ голова. Не больно жалѣлъ онъ родителя, схоронилъ его, ровно съ поля убрался; живи, значить, теперь на своей волѣ, припѣваючи. Про невѣсту и думать збылъ, житье повелъ пространное, развеселое. Въ городъ поѣхалъ, всѣ трактиры спозналъ, обзавелся друзьями-пріятелями, помогли они ему въ скорости растратить родительски денежки. Прогулявъ деньги, лошадей да коровъ спустилъ, потомъ изъ дому все помаленьку сталъ продавать, да года два только и дѣла дѣлалъ, что съ базара на базаръ ѣздилъ: по субботамъ въ Городецъ, по воскресеньямъ въ Катунки, по понедѣльникамъ въ Пучежъ, такъ цѣлу недѣлю, бывало, и разъѣзжаетъ, а недѣля прошла, другая пришла, опять за тѣ же разъѣзды. Сказывалъ людямъ Никифоръ Захарычъ, что по торговымъ дѣламъ разъѣзжаетъ, а на самомъ-дѣлѣ, изъ кабака въ кабакъ метался, только на разумъ и было что гульба да бразничанье. Впрочемъ, кромѣ сидѣнья въ кабакахъ у Никифора и другія дѣла водились: гдѣ орлянку мечутъ, онъ ужъ тутъ какъ тутъ; гдѣ гроши на жеребьевую выпивку кусаютъ, да изъ шапки вынимаютъ, Никифоръ первый; драка случится, озорство ли какое, безобразье на базарѣ затѣется, первый заводчикъ непременно Никифоръ Захарычъ. До того скоро дошелъ, что и пить стало не на что, при-

шло съ чѣмъ-нибудь на выпивку денегъ добывать. И пошелъ нашъ Никифоръ на сухомъ берегу рыбу ловить: день въ кабакъ, а ночь по клѣткамъ, что плохо лежитъ, то добыча ему. Въ конецъ проворовался, но сколько разъ въ кражѣ его ни примѣчали, все увертывался. Иной разъ только боками отвѣтить, отпустить его мужики еле жива. Почешется, почешется, да опять за чужимъ добромъ. Нельзя же—цѣловальникъ въ долгъ не даетъ.

А душа была у него предобрая. Кто не обижалъ, тому радъ былъ услужить всячески. Пожаръ ли случится, Никифоръ первый на помощь, прибѣжить, бывало, въ огонь такъ и суется, пожитки спасаючи, и тутъ ужъ на него положиться было можно, хоть недѣлю капельки вина во рту не бывало, съ пожару желѣзной пуговицы не снесетъ. Душъ пять на своемъ вѣку изъ огня выхватилъ, да изъ Волги человекъ семь. Бывало, только слышитъ на рѣкѣ крики: „Батюшки, тону! Подайте помощь, православные!...“ мигомъ въ воду... А плавалъ Микешка какъ окунь, подплыветъ бывало къ утопающему, перелобанитъ его кулакомъ что есть мочи, оглушитъ до безпамятства, чтобы руками не хватался и спасителя вмѣстѣ съ собой не утопилъ, да схвативъ за волосы на берегъ. Разъ этакъ спасъ бурлака, что съ барки упалъ, на глазахъ самого губернатора. Губернаторъ велѣлъ Никифора къ себѣ позвать, похвалилъ его, записалъ имя и сказалъ ему:

— За твой человеколюбивый подвигъ, за спасеніе погибающаго, къ серебряной медали тебя представляю.

— А велика ль та медаль, ваше превосходительство? спросилъ Микешка.

— Въ полтинникъ, отвѣчалъ удивленный такимъ вопросомъ генераль.

— Такъ не будетъ ли такой милости, ваше превосходительство, сказалъ Никифоръ, — чтобы теперь же мнѣ

полтинникъ тотъ въ руки, я бы съ „крестникомъ“ выпилъ за ваше здоровье, а то еще жди, пока вышлютъ медаль. А вѣдь все едино—пропью же ее.

Разъ, подъ пьяну руку, женился Никифоръ. Прожи-вала въ селѣ Скоробогатовъ солдатка вдова, Маврой зва-ли ее. Разбитная была, на всѣ руки. Извѣстно дѣло, сол-датка—мірской человѣкъ, кто къ ней въ келью зашелъ, тотъ и хозяинъ. Когда у Никифора еще деньги водились и домъ еще не пропить былъ, связалась она съ нимъ и задумала вокругъ него покорыстоваться. Чѣмъ въ тѣсной кельенкѣ жить на задворицѣ, не въ примѣръ лучше ка-залось ей похозяйничать въ хорошемъ, просторномъ дому. Загулялъ разъ съ ней Микешка, пили безъ просыпу три дня и три ночи, а тутъ въ Скоробогатово „прѣзжающій священникъ“ наѣхалъ, то-есть, попросту сказать, бѣглый раскольничій попъ. Говоритъ Мавра Микешкѣ:

— Соколикъ мой ясный, голубчикъ, Микешенька, возь-ми меня за себя.

— И безъ того со мной живешь, отвѣчалъ Никифоръ.— Будетъ съ тебя.

— Лучше будетъ, венаглядный ты мой... Кусъ ты мой сахарный, уста твои сладкія, золотая головушка, не въ при-мѣръ лучше намъ по закону жить, приставала Мавра.—Те-перь же вотъ и отецъ Онисимъ наѣхалъ, пойдемъ къ нему повѣнчаемся. Зажили бъ мы съ тобой, голубчикъ, припѣва-ючи: у тебя домикъ и всякое заведеніе, да и я не безпри-данница, — тоже безъ ужина спать не ложусь,—кой-что и у меня въ избенкѣ найдется.

— Какое у тебя приданое? смѣясь, сказала солдаткѣ Ни-кифоръ.—Ну такъ и быть, подавай росписи: липовы два котла, да и тѣ сгорѣли до тла, сережки двойчатки изъ ушей лѣсной матки, два полотенца изъ березова полѣнца, да одѣяло стѣгано алаго цвѣту, а ляжешь спать такъ его

и нѣту, сундукъ съ бѣльемъ да невѣста съ бѣльмомъ. Нѣтъ, такихъ мнѣ не надо—проваливай!

— Да полно, голубчикъ ты мой сизокрылый, не ломайся, Микешенька, ублажала его Мавра.—Ужь какъ же мы съ тобой бы зажили!...

— Да поди ты къ бѣсу на повѣть, окаянная, крикнулъ Никифоръ, плюнувъ чуть не въ самую невѣсту.— Ишь, прости Господи, привязалась. Пошла вонъ изъ избы!

— Я бы тебѣ, Микешенька, во всемъ угождала, слушалась бы каждаго твоего словечка; всѣмъ бы тебя успокоила, ты бы у меня какъ сыръ въ маслѣ катался, продолжала уговоры свои Мавра, поднося Никифору Захарычу стаканчикъ за стаканчикомъ.

Не устоялъ Никифоръ Захарычъ сѹпротивъ водки да солдаткиныхъ уговоровъ. Самъ не помнилъ, какъ въ избу сватовья-сосѣди нагрянули и сволокли жениха съ невѣстой къ бѣглому попу Онисиму.

Проснулся по ўтру Никифоръ, Мавра возлѣ него, волосы ему приглаживаетъ, сама приголубливаетъ:

— Сокровище ты мое безцѣнное, муженекъ мой золотой, ясный соколикъ мой!

— Чтò ты, свинья тупорыла! Съ похмѣлья что ль угорѣла? Какой тебѣ мужъ? закричалъ Никифоръ, вскочивъ съ постели.

— Какъ, какой мужъ? молвила Мавра.—Извѣстно какой мужъ бываетъ: вѣнчанный! Богъ да попъ меня вчерась тебѣ отдали.

— Вонъ изъ избы! Чтòбъ духу твоего не было.... Ишь кака жена выискалась!... Уйди до грѣха, не то раскрою. закричалъ еще не еовсѣмъ проспавшійся Никифоръ, схвативъ съ шестка полѣно и замахнувшись на новобрачную.

— Матушки мои!... Голубушки!... Да чтò жь это со мной горькою дѣлается?... зачала во всю ивановскую причитать

Мавра. — Да и чѣмъ же я тебѣ, Микешенька, досадила?... Да и чѣмъ же я тебя, желанный, прогнѣвала?

Хватилъ Никифоръ полѣномъ по спинѣ благовѣрную. Та повалилась и на всю деревню заверещала. Сбѣжались сосѣди, — вчерашніе сваты. Стали завѣрять Никифора, что онъ вѣчоръ прямымъ дѣломъ съ Маврой повѣнчался. Не вѣрять Никифоръ, ругается на чемъ свѣтъ стоитъ.

— Да сходи къ попу, говорятъ сватовья. — Спроси у него, попъ не совреть, да и мы свидѣтели.

Сбѣгалъ Никифоръ къ попу. И попъ тѣ же рѣчи сказываетъ. Дѣлать нечего. Попъ свяжетъ, никто не развяжетъ, а жена не гусли, поигравши ее не повѣсишь. Послалъ за виномъ, цѣло ведро новобрачные со сватами роспили. Такъ и повалились гдѣ кто сидѣлъ.

Проспались. Никифоръ опять воевать. Жену избилъ, и сватовьямъ на калачи досталось, къ попу пошелъ и попа оттрепалъ: „За чѣмъ, говорить, пьяный пьянаго вѣнчалъ?“ Только и стихъ, какъ опять напился.

Желтенькое житѣ Маврѣ досталось. Не ждала она такой жизни, не думала, чтобы силой да обманомъ взятый мужъ такимъ лютымъ сдѣлался. Чтѣдень — то таска, чтѣ ночь — потасовка. Одной печи у Мавры на спинѣ не бывало. Только и отдохнеть, какъ мужъ по дальнимъ кабакамъ уѣдетъ гулять. А изъ дому Никифоръ ея не гналъ. „Что жъ дѣлать, говорилъ, какая ни на есть жена, а все таки Богомъ дана, нельзя жъ ее изъ дому гнать.“ Тогда только ушла отъ него Мавра, какъ онъ и домъ, и все чтѣ въ домѣ до тла прогулялъ, и не стало у него ни кола, ни двора. Сбѣжала Мавра къ цѣловальнику, прежнему пріятелю, сѣла въ кабакъ жареной печенкой торговать.

Скучно какъ-то стало Никифору, что давно жены не колотилъ. Пришелъ въ кабакъ, да не говоря худаго слова,

хватъ Мавру за косы. Та заголосила, ругаться зачала, сама драться лѣзеть. Цѣловальникъ вступился.

— Какъ ты смѣешь, говорить Никифору, — въ казенномъ мѣстѣ буяннить? Какъ ты смѣешь вольну солдатку бить? Она тоже, говорить, — человекъ казенный!

— Какъ такъ казенная? закричалъ Никифоръ. — Она жена моя вѣнчанная. Мое добро, сколь хочу, столько и колочу.

— Да чортъ что ли меня съ тобой вокругъ пенька на болотѣ вѣнчалъ? закричала Мавра, поправляя раскосмаченную голову.

— Не чортъ, а батюшка отецъ Онисимъ, отвѣчалъ озадаченный женскими словами Никифоръ.

— А въ какой это церкви онъ вѣнчалъ меня съ тобой? Въ какомъ приходѣ? кричала Мавра на все село. — Гдѣ свадьба наша записана?... Въ какихъ книгахъ?... Ну-ка, докажи!

— Сама знаешь, что отецъ Онисимъ проѣзжающій былъ.

— А ну-ка, докажи! кричала Мавра. — А ну-ка докажи! Какіе такіе проѣзжающіе попы?... Чтѣ это за проѣзжающіе?... Я церковница природная, никакихъ вашихъ бѣглыхъ раскольничьихъ поповъ знать не знаю, вѣдать не вѣдаю... Да знаешь ли ты, что за такія слова въ острогъ тебя упрятать могу?... Вишь какой мужъ выискался!... Много у меня такихъ мужьевъ-то бывало!... И знать тебя не хочу, и не кажи ты мнѣ никогда пьяной рожи своей!...

Нечего тутъ взять, коли баба и отъ попа отчуралась.

— Ну, крикнулъ Микешка съ горькимъ чувствомъ цѣловальнику, — такъ видно дѣлу и быть. Владѣй Оаддей моею Маланьей!... А чапуруху, своякъ, поставь... Расшибемъ полштофика!... Выпьемъ!... Плачѣ я... Гуляемъ, Мавра Исаевна!... А ну-ка, отрѣжь печенки.... Ишь чортъ какой, дома не бойсь такой не стряпала!... Эхъ, погинула въ конецъ

моя головушка!... Пой пѣсню, Маврушка, ставь вина побольше, своякъ!

Ужь какъ, кажется, не колотилъ Никифоръ жены своей, ужь какъ, кажется, ни постыла она ему была, за то что сама навязалась на шею и обманомъ повѣнчалась съ нимъ, а жалко стало ему Мавры, полюбилась тутъ она ему съ чего-то. Проклятаго разлучника, скоробогатовскаго цѣловальника, такъ бы и пришибъ до-смерти....

Мавръ было все равно. Ей хоть сейчасъ съ Татарининомъ ли, съ Жидомъ ли повѣнчаться, а Микешка по старой вѣрѣ былъ крѣпокъ. Частенько потомъ случалось, что въ надеждѣ на богатаго зятя, Патапа Максимыча, къ нему въ кабакахъ приставали вольны дѣвицы да мірскія вдовицы: обвѣнчаемся, молъ. У Микешки одинъ отвѣтъ на такі рѣчи бывалъ:

— Запросто гулять давай, вѣнчаться нельзя. Попъ вѣнчалъ, а изъ жены душа не вынута.

Съ ломомъ красть ходить, да съ отмычками — дѣло опасливое, разомъ въ острогъ угодишь. Да и то сказать забравшись въ чужу клѣтъ, вору хозяйско добро не оцѣнивать стать. А безъ того умному вору нельзя, коли онъ знаетъ законъ. Хорошо какъ на двадцать на девять цѣлковыхъ подъ руку подвернется, бѣда не велика. По старому закону за это спиной только, бывало, воръ отвѣчаетъ. А какъ, по неопытности, заразъ на тридцать загребеть, да поймають съ поличнымъ: по тому же закону Сибирь, поселенье. И воровать-то надо сноровку знать: занадобилось сто рублей, умному вору чтобъ дома остаться, надо ихъ съ четыре приема красть. Микешка это разумѣлъ и отъ того воровалъ по мелочи. Надоѣли однако мірскіе побои добру молодцу, принялся онъ за „волчій промыселъ“. Тутъ не скоро попадешься.

За Волгой нѣтъ особыхъ пастбищъ и выгоновъ. Скотъ

все лѣто по лѣсу пасется. Конямъ нарочно бѣталы да глухари \* на шею надѣваютъ, чтобъ, когда понадобится лошадь хозяину, по звону ее скорѣй можно было сыскать. Коровы да овцы въ лѣсахъ ужь такъ приучены, что цѣлый день по лѣсу бродятъ, а къ вечеру сами домой идутъ. Пастуховъ за Волгой въ заводѣ нѣтъ. Въ прежнее время слыхомъ не бывало слыхано, чтобы гдѣ-нибудь лошадь угнали, хоть она безпастушно паслась. Дальше на сѣверъ и досель эта добрая старина держится. По Заволжью лошадей тогда только начали красть, какъ учредили особую должность комиссаровъ по пресѣченію конокрадства. \*\* Должно быть, ворами стало совѣстно, что ради ихъ особыхъ чиновниковъ наслали, и они даромъ казенно жалованье берутъ. Не пропадай же, даромъ казна государева — давай и мы лошадокъ красть.

А коровъ да овецъ иной разъ изъ лѣсу воры и прежде уводили. Такихъ воровъ „волками“ народъ прозвалъ. Эти волки съ руками накроютъ бывало въ лѣсу коровенку либо овцу, тутъ же зарѣжутъ, да на возъ и на базаръ. Шкуру соймутъ, особо ее продадутъ, а мясо за-дешево промышленникамъ сбудутъ, тѣмъ, что солонину на бурлаковъ готовятъ. Промыселъ этотъ не въ примѣръ безопаснѣй чѣмъ зюхденъ по чужимъ клѣтамъ да амбарамъ. Рѣдко „волка“ выслѣживали. Но если такого вора на дѣлѣ застанутъ, тутъ же ему мужики расправу чинятъ самосудомъ, по старинѣ.

---

\* Бѣтало въ родѣ деревяннаго колокола, а глухарь или бѣхарь — металлическій полый шаръ, въ который до заклепки кладутъ камешекъ. Это въ родѣ большаго бубенчика.

\*\* Этихъ чиновниковъ (теперь должность комиссаровъ упразднена) обыкновенно звали „конокрадами“. Что въ Заволжѣ конокрадство, дотогѣ неслыханное, началось съ учрежденія этой должности, вовсе для того края не нужной (въ сороковыхъ годахъ), это положительный фактъ.



Выпорютъ сначала розгами, сколько лозановъ влѣзетъ, снимутъ съ зарѣзанной скотины шкуру, отъ крови не омытую, надѣвають на вора и въ такомъ нарядѣ водятъ его изъ деревни въ деревню со звономъ въ сковороды и заслоны, съ крикомъ, гиканьемъ, бранью и побоями. Дѣлается это въ праздничные дни, и за воровъ, которому со времени этой прогулки дается прозвание „волка“, собирается толпа человѣкъ во сто. Послѣ того человѣкъ тотъ на вѣкъ опозоренъ. Какую хочешь праведную жизнь веди, все его „волкомъ“ зовутъ и ни одинъ порядочный мужикъ на дворъ его не пустить.

Пропившійся Никифоръ занялся волчьимъ промысломъ, но дѣла свои и тутъ неудачно повелъ. Разъ его на баранѣ накрыли, въ другорядъ на коровѣ. Послѣдній-то разъ случилось неподалеку отъ Осиповки. Каково же было Патапу Максимычу съ Аксиньей Захаровной, какъ мимо дому ихъ вели братца любезнаго со звономъ, да съ гиканьемъ, а молодые парни „волчью пѣсню“ во все горло припѣвали:

Какъ у нашего волка  
Исколочены бока,  
Его били, колотили,  
Еле жива отпустили.  
А вотъ волка ведутъ,  
Что Микешкой зовутъ.

У! у! у!

Микешкѣ волку  
Будеть на холку!

У! у! у!

Не за то волка бьютъ.  
Что сѣръ родился,  
А за то волка бьютъ,  
Что барана съѣлъ.  
Онъ коровушку зарѣзалъ,  
Свинью горло перегрызъ.

Ой ты волкъ!

Сѣрый волкъ!

Микешкина рожа  
На волка похожа.  
Тащи волка живьемъ,  
Колоти его дубьемъ!

Сколь ни силенъ, сколь ни могучъ былъ въ своемъ околоткѣ Патапъ Максимычъ, не могъ ничего сдѣлать для выручки шурина. Ни грозой, ни просьбой, ни деньгами тутъ ничего не подѣлаешь. Обычай хранить, чинъ справляють—мѣшаться да перечить тутъ нельзя никому.

Раза три, либо четыре Патапъ Максимычъ на свои руки Микешку бралъ. Чего онъ ни дѣлалъ, чтобъ направить шурина на добрый путь, какъ его ни усовѣщевалъ, какъ ни бранилъ, ничѣмъ не могъ пронять. Аксиныя Захаровна даже ненавидѣть стала брата, несмотря на сердечную доброту свою. Совѣстно было ей за него, и часто грѣшила она: просила на молитвѣ Бога, чтобъ послалъ Онъ поскорѣй по душу непутнаго брата.

Съ Крещенскаго Сочельника, когда Микешка вновь принять былъ зятемъ въ домъ, онъ еще капли въ ротъ не биралъ и работалъ усердно. Только работа его не спорилась: руки съ перепоя дрожали. Подъ конецъ взяла его тоска и выпить хочется, и погулять охота, а выпить не на что, погулять не въ чемъ. Укралъ бы что, да по приказу Аксины Захаровны, зорко смотрять за нимъ. На верхъ Микешкѣ ходу нѣтъ. Племянницъ еще не видалъ: Аксиныя Захаровна заказала братцу любезному и близко къ нимъ подходить.

На другой день послѣ отъѣзда Патапа Максимыча въ городъ за покупками, все утро до самаго обѣда бродилъ Микешка изъ мѣста въ мѣсто. Такая на него тоска напала, что хотъ руки на себя наложить. Сосетъ его за сердце винный червякъ. За стаканъ водки руку на отсѣченье бы съ радостью отдалъ. И у того, и у другаго

работника Христа ради просилъ онъ гривенничекъ опохмѣлиться, но отъ Патапа Максимыча было строго-на-строго заказано: ни подѣ какимъ видомъ грошѣ ему не давать. Съ тоски, да съ горя Микешка, самъ не зная зачѣмъ, забрелъ въ нижнее жиле дома, и тамъ въ сѣняхъ, передъ красивымъ подклѣтомъ, завалился въ уголокъ за короба съ посудой. Тамъ лежалъ онъ, въ сотый разъ передумывая какъ бы раздобыться деньжонками, хоть двугривеннымъ какимъ-нибудь, чтобы сбѣгать въ Захлыстинскій кабакъ, и отведя тамъ душу, воротиться, пока не пріѣхалъ еще домой Патапъ Максимычъ.

Обѣдать работники пошли. Въ ту пору никто въ красивый подклѣтъ, кромѣ хозяина, не заглядывалъ, а его не было дома. Фленушка тотчасъ смекнула, что выпалъ удобный случай провести Настѣ съ полчаса вдвоемъ съ Алексѣемъ. Шепнула ему, чтобы онъ, какъ только работники по избамъ обѣдать усядутся, шелъ бы въ красивый подклѣтъ.

Алексѣй долго ждать себя не заставилъ. Только зашабашили работники, онъ сказалъ, что ему, по хозяйскому приказу, надо пересмотрѣть остальные короба съ посудой и засвѣтло отослать ихъ на пристань, и отправился въ подклѣтъ. Фленушка его караулила и дала знать Настѣ. Настя спустилась въ подклѣтъ.

— Настенька моя, красавица! говорилъ Алексѣй, встрѣчая ее крѣпкими объятьями и страстными поцѣлуями. — Давно ль мы, кажись, съ тобой видѣлись, а по мнѣ ровно годы съ той поры прошли. Яблочко ты мое наливчатое, ягодка ты моя красная!

— И я совсѣмъ стосковалась по тебѣ, Алеша, прижимаясь къ милому, молвила Настя. — Только и думы у меня, что про тебя, дружокъ мой.

— Какъ бы вовсе намъ не разставаться, моя ясынька! молвилъ Алексѣй, обнимая Настю.

Длиннымъ, длиннымъ поцѣлуемъ поцѣловала его Настя. Не до разговоровъ было.... Глядя другъ на друга, все забывали они. Вздохи смѣнялись поцѣлуями, поцѣлуи вздохами.

Крѣпко сжималъ Алексѣй въ объятьяхъ дѣвушку. Настя какъ-то странно смѣялась, а у самой слезы выступали на томныхъ глазахъ. Въ сладкой сердечной истомѣ она едва себя помнила. Алексѣй шепталъ свои мольбы, склоняясь къ ней.....

Когда трепетная, поблѣднѣвшая Настя вышла изъ сѣни, ее встрѣтила Фленушка.

— Ну что? спросила она.

Настенька припала къ плечу подруги и заплакала....

— Ну, пойдемъ, пойдемъ, молвила Фленушка.— Здѣсь еще навернется кто-нибудь....

И увлекла ее въ свѣтелку.

Алексѣй оставался нѣсколько времени въ подклѣтѣ. Его лицо сіяло, глаза горѣли. Не скоро могъ онъ успокоиться отъ волненія. Оправившись, пошелъ въ сѣни короба считать.

Передвигая коробъ за коробомъ, увидалъ притаившагося за ними Микешку.

— Что тутъ дѣлаешь? крикнулъ на него Алексѣй. — Развѣ тебѣ мѣсто тутъ?

Микешка всталъ и, глупо улыбаясь, сказалъ Алексѣю:

— Съ праздникомъ поздравить честь имѣемъ.

— Какой тутъ праздникъ за коробами нашелъ? строго сказалъ ему Алексѣй. — Убирайся въ свое мѣсто.

— Мое, братъ, мѣсто всегда при мнѣ, отвѣчалъ Микешка. — Аль не знаешь, какой я здѣсь человекъ? Хозяинскій шуринъ, Аксинѣ Захаровнѣ братъ родной. Ты

не смотри, что я въ отрѣпѣ хожу.... свысока заговорилъ Микешка, и вдругъ понизивъ голосъ и кланаясь, сказалъ: — Дай, Алексѣй Трофимычъ, двугривенничекъ.

— Ступай, ступай, откуда пришелъ, не то Патапу Максимычу скажу, говорилъ Алексѣй, выгоняя изъ сѣней Микешку. — Да ступай же, говорятъ тебѣ.

— Дай двугривенный, такъ сейчасъ уйду, настойчиво сказалъ Микешка.

— Убирайся. Честью тебѣ говорить, а то смотри, я вѣдь и въ зашей.

— Меня въ зашей! Помни же ты это слово!

— Ничего, ладно, проваливай!

— Патапу, а я не забуду, ворчалъ Микешка, уходя на дворъ. — Вишь дѣвушникъ какой! А она-то, спасѣнница-то! Ну, дѣвка! Ай да Фленушка!...

Микешка видѣлъ изъ - за коробовъ какъ въ подклѣтъ входилъ Алексѣй, видѣлъ и Фленушку. Больше ничего не видалъ. Думалъ онъ, что Алексѣй ходилъ съ келейной облицей въ подклѣтъ на тайное свиданье.

Въ домѣ Патапа Максимыча наканунѣ именинъ Аксиньи Захаровны съ ранняго ўтра всѣ суетились. Самого хозяина не было дома; уѣхалъ на сосѣдній базаръ посмотреть не будетъ ли вывезено подходящей ему посуды. У оставшихся дома семейныхъ возни, суетни у каждого было по горло. Аксинья Захаровна съ дочерьми и съ Фленушкой, подъ руководствомъ Никитишны, прибирала переднія горницы къ приему гостей: мебель вощили, зеркала виномъ обтирали, въ окнахъ чистыя занавѣски вѣшали. Наканунѣ изъ города привезли Чапурину двѣ горки краснаго дерева за стеклами, ихъ помѣстили по угламъ.

Аксинья Захаровна вынимала изъ сундуковъ серебряную и фарфоровую посуду, приготовленную дочерямъ въ приданое, Настя и Параша разставляли ее каждая въ своей горкѣ. Патапъ Максимычъ каждый разъ, какъ бывалъ въ Москвѣ или у Макарья, привозилъ дочерямъ цѣнные подарки, и въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ накопилось ихъ довольно. Ожидая въ гости жениха, онъ, бывши послѣдній разъ въ городѣ, купилъ въ мебельной лавкѣ горки, чтобы всѣ свои подарки выставить на показъ. Знали бы дескать Снѣжковы, что дочери у него не безприданницы.

Весело уставляла Настя „свою“ горку серебромъ и фарфоромъ, даже пѣсенку запѣла. Слѣдовъ нѣ было прежней тоски.

Аксинья Захаровна въ суетахъ изъ силъ выбилась.

— Охъ, родная ты моя, говорила она Никитишнѣ, садясь на стулъ и опуская руки,—моченьки моей не стало, совсѣмъ измучилась....

— Да не суетись ты, Аксиньюшка, отвѣчала ей Никитишна.—Вѣдь только такъ, даромъ толчешься, сидѣла бы себѣ въ покоѣ. И безъ тебя все украсимъ какъ слѣдуетъ.

— Какъ же это возможно, отвѣчала хозяйка. — Сама не приглядишь, все шиворотъ-на-выворотъ, да вонъ на тараты пойдеть.... А послѣ за ихнюю дурость принимай отъ гостей срамъ, да окрикъ отъ Патапа Максимыча... Сама знаешь, родная, какіе гости у насъ будутъ!. Надо, чтобы все было прибрано показистѣ.

— Не твое это дѣло, Аксиньюшка. Предоставили мнѣ, одна и управлюсь, тебя не спрошу. Чать, не впервые, сказала Никитишна.

— Такъ-то такъ, ужъ я на тебя какъ на каменну стѣну надѣюсь, кумушка, отвѣчала Аксинья Захаровна. — Безъ тебя хоть въ гробъ ложись. Да нельзя же и мнѣ руки

то сложить. Вотъ умница-то, продолжала она, указывая на работницу Матрену,—давеча у меня всѣ полы перепортила бы, колибъ не доглядѣла я вѣремя. Крашены-то полы дресвой вздумала мыть.... А вотъ что, кумушка, хотѣла я у тебя спросить: на нонѣшній день къ ужину-то что думаешь гостямъ сготовить? Безъ хлѣба, безъ соли нельзя же ихъ спать положить.

— Да что сготовить? съ разстановкой стала говорить Никитишна.—Буженины косякъ, да стерлядокъ разваримъ, индюку жареную, и будетъ съ нихъ.

— А похлѣбку-то?

— Ничегой похлѣбки не надо. Не водится, отвѣчала Никитишна.

— Какъ же это за ужинъ безъ варева сѣсть? Ладно ли будетъ? съ недоумѣньемъ спросила Аксиныя Захаровна.

— Ты ужь не безпокойся, не твое дѣло, отвѣчала Никитишна.

— Такъ-то такъ, родная, да больно боюсь я, чтобъ корить послѣ не стали, говорила Аксиныя Захаровна.— Ну, а наавтра, на обѣдъ-то что ты состряпаешь?

— Уху сварю, отвѣчала Никитишна.—Хорошихъ стерлядокъ добылъ Патапъ Максимычъ, живы еще и теперь у меня въ лохани полощутся. Послѣ ухи кулебяку подамъ, потомъ лося, что изъ Ключова съ собой привезла, осетра разваримъ, рябковъ въ соусъ сготовимъ, жареныхъ индюшекъ, а послѣ всего сладкій пирогъ съ вареньемъ.

— Не маловато ли будетъ? сказала Аксиныя Захаровна.—Ты бы ужь дюжинку кушаньевъ-то состряпала.

— Больше не надо, отвѣчала Никитишна.—Выдай-ка мнѣ напитки-то, я покамѣсть ихъ разберу.

— Пойдемъ, пойдемъ, родная, разбери; тутъ уже я толку совсѣмъ не разумѣю, сказала Аксиныя Захаровна, и повела куму въ горницу Патапа Максимыча. Тамъ на полу

стоялъ привезенный изъ города большой коробъ съ винами.

— Ну, ты поди, управляйся съ полами, сказала Никитишна Аксиныъ Захаровнѣ,—а ко мнѣ крестницу пришли. Мы съ ней разберемъ.

Аксиныъ Захаровна вышла. Весело вбѣжала въ горницу Настя.

— Развязывай коробъ-отъ, Настенька, сказала Никитишна.—Давай разбирать.

Настя развязала коробъ и стала подавать бутылку за бутылкой. Внимательно разсматривая каждую, Никитишна разставляла ихъ по сортамъ.

— Чтой-то съ тобой творится, Настя? Роды ты не въ себѣ? сказала она.

— Ничего, крестинька, весело отвѣчала Настя, но замѣтивъ пристальный взглядъ, обращенный на нее крестной матерью, покраснѣла, смѣшалась.

— Меня, старуху, красавица, не обманешь, говорила Никитишна, смотря Настѣ прямо въ глаза.—Вижу я все. На людяхъ ты рѣзвая, такъ и юлишь, а какъ давеча одну я тебя подсмотрѣла, стоишь грустная да печальная. Отчего это?

— Никакой нѣтъ у меня грусти, крестинька, отвѣчала смущенная Настя.—Тебѣ показалось.

— Не обманывай меня, Настя. Обмануть кресну мать—грѣхъ незамолимый, внушительно говорила Никитишна.—Скажи-ка мнѣ правду истинную, какіе у васъ намеренія съ отцомъ переборы были? То въ кельи захотѣлось, то, гляди-ка-сь, слово какое махнула: „ухожому!“

У Насти отъ сердца отлегло. Сперва думала она, не узнала ль чего крестинька. Межъ дѣвками за Волгой, особенно въ скитахъ, ходятъ толки, что инны старушки, по какимъ-то примѣтамъ, узнають, сохранила себя дѣвущ-



ка, аль потеряла. Когда Никитишна, пристально глядя въ лицо крестницѣ, настойчиво спрашивала что съ ней подѣлалось, пришло Настѣ на умъ, не умѣетъ ли и Никитишна дѣвушекъ отгадывать. Отъ того и смутилась. Но услыхавъ, что крестная рѣчь завела о другомъ, тотчасъ оправилась.

— А! успѣли ужъ пожалобиться! съ досадою сказала она.—А коли ужъ все тебѣ рассказано, мнѣ-то зачѣмъ еще пересказывать?... Жениха на базарѣ мнѣ заготовилъ!... Да я не таковская, замужъ неволей меня не отдашь.... Не пойду за Снѣжкова, хотъ голову съ плечъ. Сказала: уходомъ уйду. Такъ и сдѣлаю.

— Какъ нагонять? молвила Никитишна:—какъ поймають? Отъ твоего родителя мудрено уходомъ уйдти. Подначальнаго народу у него сколь?... Коли такое дѣло и впрямь бы случилось, сколько деревень въ погоню онъ разошлетъ!... Со дна моря вынуть....

— Тогда руки на себя наложу, твердо и рѣшительно сказала Настя. — Ножъ припасу, на тятиныхъ глазахъ и зарѣжусь.... Ты еще не знаешь меня, крестнинька: коль я что рѣшила, тому такъ и быть.—Одинъ конецъ!

— Полно, а ты полно, Настенька, уговаривала ее Никитишна.—Чтой-то какая ты въ самомъ дѣлѣ стала?... А можетъ этотъ Снѣжковъ и хорошій человѣкъ.

— Онъ тятѣ по торговлѣ хорошъ, съ усмѣшкой молвила Настя.—Дѣла, вишь, у него со старикомъ какія-то есть, ради этихъ дѣловъ и надо ему породниться... Выдавай Парашу:—такая же дочь!... А ей все одно: хотъ за попа, хотъ за козла, хотъ за дубовый пенъ. А я не изъ таковыхъ.

— Не гнѣви, Настенька, отца съ матерью. Грѣхъ, сказала Никитишна.

— Ничѣмъ я ихъ не прогнѣвила, сказала Настя. — Во

всемъ покорна, а на счетъ этого—ну, ужъ нѣтъ. Силкомъ за немилаго замужь меня не выдадутъ

— За немилаго! усмѣхнулась Никитишна.—А за милаго пойдешь?

— Еще бы нейти! улыбнувшись, отвѣтила Настя.

— Не завелся ли такой? лукаво поглядывая на крестницу, спросила Никитишна.

— Да ты, крестненька, отъ себя это спрашиваешь? сложивъ на крестъ руки и нахмуривъ брови, спросила Настя.—Аль можетъ тятенька велѣлъ тебѣ мысли мои вывѣдывать?

— Извѣстно, сама отъ себя, отвѣчала Никитишна.—Развѣ я чужая тебѣ? Не носила, не кормила, а все же мать. Жалѣючи тебя, спрашиваю.

Неправду сказала Никитишна. Еще въ Ключовѣ Патапъ Максимычъ просилъ ее выпытать у Насти, не завелась ли у ней зазнобушка. „Въ скиту вѣдь жила, говорилъ онъ, а тамъ дѣвки вольныя, и народу много туда наѣзжаетъ.“

Настя немного подумала и съ твердостью сказала, какъ отрѣзала:

— Коли ты, крестненька, отъ себя спрашиваешь, такъ я одно тебѣ слово скажу: „нѣтъ“. Больше у меня и не спрашивай. А коль велѣно тебѣ мои мысли спознать, такъ скажи имъ вотъ что: вздумаютъ силой замужь отдавать, свяжусь съ самимъ лядящимъ изъ тятинныхъ работниковъ... Сама навязжусь, забуду стыдъ дѣвичій... Не онъ меня выкрадетъ, я его уходомъ къ попу сведу... Самого лядящаго, слышишь?... Такъ и скажи... Кто всѣхъ пьянѣй, кто всѣхъ вороватѣй того и возьму въ полюбовники.... Жаль что съ дядей вѣнчаться нельзя, а то бы вышла я за нашего пропоицу.

— Ахъ, Настенька, Настенька! качая головой, сказала Никитишна.—Въ умѣ ли ты?

— Покуда въ умѣ, отвѣтила Настя.—А пойдутъ супротивъ воли моей, рѣшусь ума и такихъ дѣловъ настрапаю, что только ахнуть... Не то что уходомъ вѣнчаться бѣгу, къ самому паскудному работнику ночевать уйду.... Вотъ что!

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ Осиповкѣ еще огней не вздували. По всей деревнѣ мужики, лежа на палатахъ, сумерничали, бабы, сидя по лавкамъ, возлѣ гребней дремали, ребятишки смолкли, гурьбой забившись на печи. На улицахъ ни души.

А у Патапа Максимыча въ домѣ всѣ на ногахъ. Въ горницахъ и въ сѣняхъ огни горятъ, въ передней, гдѣ гостямъ сидѣть, на каждомъ окошкѣ по двѣ семитки лежатъ, и на каждой курится монашенка \*. Всѣ домашніе разодѣты по-праздничному. Особенно нарядно и богато разодѣта Настасья Патаповна. Въ шелковомъ пунцовомъ сарафанѣ съ серебряными золочеными пуговками, въ пышныхъ батистовыхъ рукавахъ, въ ожерельѣ изъ бурмицкихъ зеренъ и жемчугу, съ голубыми лентами въ косахъ, роскошно падавшихъ чуть не до колѣнъ, она была такъ хороша, что глядѣть на нее не нагладишься.... Но что-то недоброе порой пробѣгало на хмуромъ лицѣ ея. Не суетилась Настя какъ прочіе, но и на мѣстѣ не сидѣла. То къ окну подойдетъ, то въ свѣтлицу сходитъ, то на кресло сядетъ; и все такъ порывисто, какъ бы со зломъ какимъ. Говорятъ ей что-нибудь, не отвѣтитъ, либо скажетъ что невпопадъ. Глядя на дочь, Акинья Захаровна, только руками по поламъ хлопаетъ, а Патапъ Максимычъ изподлобья сурово поглядываетъ, но помня прошлое, себя сдерживаетъ, сло-

---

\* Курительная свѣчка.

вечка не вымолвить, ходить себѣ взадъ да впередъ по горницѣ, поскрипывая новыми сапогами.

Первымъ изъ гостей прикатилъ Иванъ Григорьичъ. Частой, дробной рысцой парочка кругленькихъ, соловыхъ вяткокъ подвезла къ раствореннымъ настежь воротамъ Чапурина уютныя, легкія санки-катунки, казанской работы, промежь расписныхъ вязковъ обитыя нѣмецкимъ желѣзомъ. Въ санкахъ, рядомъ съ сѣдоватымъ кумомъ сидѣла красивая молодая женщина въ малиновой шелковой шубкѣ съ большимъ куньимъ воротникомъ, голова у ней укутана была голубымъ ковровымъ платкомъ. То была жена Ивана Григорьича—Аграфена Петровна, не родная, да и не чужая Патапу Максимычу—дочка его богоданная.

Иванъ Григорьичъ Заплатинъ былъ тоже изъ заволжскихъ тысячниковъ. Верстахъ въ пятнадцать отъ Осиповки, на краю „чищи“, что полосой тянется вдоль лѣваго волжскаго берега, подъ самой „раменью“ \*, проживалъ онъ въ небольшой деревушкѣ домовъ въ двадцать, Вихорево прозывается. Какъ Чапуринъ верховодилъ въ Осиповкѣ, такъ Иванъ Григорьичъ въ своемъ Вихоревѣ. Эта деревня да еще съ дюжину околныхъ круглый годъ на него работали и звали Заплатина своимъ „хозяиномъ“. А занимаются по тѣмъ мѣстамъ дѣломъ валенымъ.

---

\* По лѣвому берегу Волги тянется безлѣсная полоса верстъ въ 20—25 шириной. Здѣсь въ старину былъ лѣсъ; остатки пней мѣстами сохранились, но онъ давно или вырубленъ, или истребленъ пожарами и буреломами. Эта полоса зовется *чищей*. *Раменью* называется окраина лѣсовъ, прилегающихъ къ чищѣ. *Красная рамень*—окраина лѣса хвойнаго: сосны, ели, лиственницы; *черная рамень*—окраина лиственнаго лѣса. Есть за Волгой мѣстности, которымъ свойственны названія Красной рамени и Черной рамени, какъ собственныя имена. Такимъ образомъ, напримѣръ, въ Семеновскомъ уѣздѣ, Нижегородской губерніи, есть большія населенныя пространства, носящія названія Красной и Черной раменей.

У Заплатаина при домѣ было свое заведеніе: въ семи катальныхъ баняхъ десятка полтора наемныхъ батраковъ зиму и лѣто стояло за работой, катая изъ поярка шляпы и валеную обувь. Въ окрестныхъ деревняхъ на него же мягкій товаръ валяли. Кто ѣзжалъ зимней порой по той сторонѣ, тотъ видалъ, что тамъ въ каждомъ дому по скатамъ тесовыхъ кровель, лицомъ къ сѣверу, рядами разложены сотни, тысячи бѣлыхъ валенокъ, а передъ домами стоитъ, множество „суковатокъ“ \* у каждой десятка по два рогулей, и на каждой рогулинѣ по валенку висить. Это мягкій товаръ промораживаютъ, чтобъ бѣло да казисто на покупателя смотрѣлъ. Изъ катальныхъ бань то и дѣло выскакиваютъ босые, съ головы до пояса обнаженные, распотѣлые работники. Прокатится парень кубаремъ по снѣгу, прохладится и назадъ въ баню за работу. А изъ распахнутыхъ настежь дверей каталенъ паръ какъ дымъ пожарный валить, осѣдая по застрехамъ хлопками густой, бѣлой куржевины. За сотню деревень такимъ промысломъ кормятся.

Въ прежнее время Иванъ Григорьичъ больше по шляпной части занимался. Лѣтъ сорокъ тому назадъ заволжскіе катальщики чуть не на всю великорусскую сельщину шляпы работали. Валяли они и тотъ „шляпѣкъ“, что изстари въ ходу по Тверской и Новгородской сторонамъ— съ низенькой прямой тульей, — и ярославскую „верховку“, такую же низенькую, но съ тульей раструбомъ. Въ Суздальскую сторону, на Ветлугу, на Вятку, въ Пермь и на Волжское Низовье работали шляпы гречушникомъ „съ подхватцомъ“ либо, „съ переломомъ“; для Московской стороны „шилѣкъ московскій“, на Рязань, на Тулу и даль-

\* Суковатка—семи-восьмидесятилетняя елка, у которой облуплена кора и окорочены сучья, въ видѣ рогулекъ. Суковатку ставятъ въ сугробъ комлемъ кверху и на рогульки развѣшиваютъ валенки.

ше къ Украинѣ „шпилёкъ ровный“ да „кашники“. Большимъ подспорьемъ шляпной торговлѣ бурлаки въ прежнее время бывали. Для нихъ шляпу на особую стать за Волгой валяли, ни дать ни взять, какъ тѣ низенькія, мягкія лѣтнія шляпы, что теперь у горожанъ въ моду вошли. И Татарамъ за Волгой бѣлыя шляпы валяли. Хоть иной катальщикъ и брезговалъ такой работой: грѣховное дескать дѣло христіанскія руки поганить, катая шляпу на бриту башку бусурманина, но такихъ не много бывало, потому что „татарка“ товаръ сходный, никогда бывало не залежится. Много денегъ за Волгой шляпой добывали, не мало досужихъ работниковъ шляпа въ люди вывела, тысячами поставила. Теперь не то. Все это было да давно и сплыло, а что не сплыло, то быльемъ поросло.

Совсѣмъ подошла теперь шляпа заводская. Хоть брось совсѣмъ. Спросъ малый, сбыту вовсе почти не стало. Годовъ тридцать тому назадъ какой-то Кантауровецъ \* ушелъ на житье въ Тверскую сторону и тамъ, гдѣ-то около Торжка, завелъ родимый свой заводскій промыселъ. Сразу разбогатѣлъ. Новые сосѣди стали у того Кантауровца перенимать валеное дѣло, до того и взяться за него не умѣли; разбогатѣли ли они, нѣтъ ли, но за Волгой съ той поры „шляпка“ да „верховки“ больше не валяютъ, потому что спросу въ Тверскую сторону вовсе не стало, а по другимъ мѣстамъ шляпу тверскаго либо ярославскаго образца ни за что въ свѣтъ на голову не надѣнуть—смѣшно, дескать, и зазорно. Съ легкой руки Кан-

---

\* Кантаурово—село на рѣкѣ Линдѣ, за Волгой верстахъ въ двадцати отъ Нижняго-Новгорода, одинъ изъ центровъ валеночнаго промысла. По имени этого села всѣхъ вообще заводскихъ катальщиковъ, приготовляющихъ шляпы и валеную обувь, нерѣдко зовутъ Кантауровцами.

тауровца и другіе Заволжѣне по чужимъ сторонамъ пошли счастья искать и развезли дѣдовскій промыслъ по дальнимъ мѣстамъ. Спросу на шляпу за Волгой отъ того стало еще меньше. А тутъ пароходы на Волгѣ завелись, убили бурлачество, тогда и бурлацкой шляпѣ пришелъ конецъ. А больше всего бѣдъ надѣлалъ картузь. Вышелъ онъ на Русь изъ Нѣмечины, да не изъ заморской, а изъ своей, изъ той, что лѣтъ сто тому назадъ, мы сами не зная зачѣмъ, развели на лучшихъ мѣстахъ саратовскаго Поволжья. Дешевый картузь вытѣснилъ болѣе цѣнную стародавнюю шляпу, и осталась она лишь праздничнымъ уборомъ молодежи, да еще степенные, сѣдые мужики пока еще не промѣняли дѣдовскихъ шляпъ на нововводный картузь.

Хизнулъ за Волгой шляпный промыселъ, но Заволжанинъ рукъ отъ того не распустилъ, головы не повѣсилъ. Сапоги да валенки у него остались, сталъ калоши горожанамъ работать по нѣмецкому образцу, дамскія ботинки, полусапожки да котики, охотничьи сапоги до пояса, — хорошо въ нихъ на медвѣдя по сугробамъ ходить, — да мало ль чего еще не придумалъ досуужій Заволжанинъ.

Иванъ Григорьичъ вотъ какой промыселъ тогда произвелъ. Разъ, будучи у Макарья, зашелъ по какому-то дѣлу къ знакомому барину. Погода стояла дождливая. Выходя изъ дому вмѣстѣ съ Иваномъ Григорьичемъ, баринъ велѣлъ подать себѣ непромокаемое пальто. Иванъ Григорьичъ полюбопытствовалъ, пощупалъ невиданное имъ дотолѣ пальто, видитъ, дѣло-то валенное, значить, сподручное, спросилъ у барина гдѣ онъ добылъ такую вещь и, по его указанью, купилъ у заѣзжаго на ярмарку чужеземца непромокаемое пальто, далъ чуть ли не четвертную. Воротясь въ Вихорево, принялся Иванъ Григорьичъ по иноземному образцу пальто работать, вышло ничѣмъ не хуже, за то

вшестеро дешевле. Медаль получилъ на выставкѣ. Вихоревскія пальто спервоначалу шибко пошли въ ходъ, только не надолго: зазорно стало господамъ мужицкаго дѣла одѣжу носить — подавай хоть поплосше да подороже, да чтобъ было не свое, а нѣмецкое дѣло... Азямы тогда сталъ работать Иванъ Григорьичъ непромокаемые — эти пошли.

Жилъ Иванъ Григорьичъ, на Бога не жаловался. Всего было у него вдосталь. Скупая валеный товаръ по окрестностямъ и работая въ своемъ заведеніи, каждый годъ онъ его не на одну тысячу сбывалъ у Макарья и кромѣ того самъ на Низъ много валеной обуви сплавлялъ. Въ Нижнемъ у него лавка была, прикащикъ въ ней круглый годъ сидѣлъ, да на ярмаркѣ двѣ лавки навималъ. Мельница-крупчатка на Линдѣ у него стояла, о десяти поставкахъ была. На послѣднихъ годахъ пароходъ кабестанный завелъ: пароходъ звался „Вихоремъ“, забѣжка „Заплатой“. Тысячъ въ семьдесятъ на серебро обошелся.

Съ Патапомъ Максимычемъ Заплатинъ съ малолѣтства дружилъ. Оба изъ одной деревни: старикъ-отъ Заплатинъ тоже былъ осиповскій и въ шабрахъ проживалъ съ Максимомъ Чапуринымъ. Патапушка да Ванюшка ребятишками вмѣстѣ на улицѣ въ козны да въ городки игравали, у желейницы Капитолины вмѣстѣ грамотѣ обучились, вмѣстѣ и въ люди вышли. Схоронивъ отца съ матерью, Иванъ Григорьичъ не пожелалъ оставаться въ Осиповкѣ а, занявшись по валеному дѣлу, изъ рамени въ чищу перебрался, гдѣ было ему не въ примѣръ вольготнѣе, потому что народъ тамъ больше этимъ промысломъ жилъ. Но выселившись изъ Осиповки, въ прежней любви съ Чапуринымъ остался. Жили они послѣ того три десятка лѣтъ ладно и совѣтно; никогда промежъ ихъ сѣрая кошка не пробѣгала. Не разъ другъ друга изъ бѣды выручали, не разъ помощь



въ пору вѣвремя другъ другу подавали. Дай Господи роднымъ братьямъ въ такомъ согласіи жить, въ какомъ жили осиповскій тысячникъ съ вихоревскимъ. И семейные ихъ межъ себя тоже какъ родные были.

Испоконъ вѣку народъ говорить: жена добрая, домовитая во сто кратъ цѣннѣй золота, не въ примѣръ дороже камня самоцвѣтнаго. Правдиво то русское извѣчное слово; правду его Иванъ Григорьичъ на себѣ спозналъ. Хозяйка у него была молодая, всего двадцати двухъ лѣтъ, но такое сокровище, что дай Богъ всякому доброму человѣку. Свѣжая, здоровая, изъ себя пригожая, Аграфена Петровна вотъ ужъ пятый годъ живетъ занимъ замужемъ, и хотъ Иванъ Григорьичъ больше чѣмъ вдвое старше ея, любитъ сѣдаго мужа всей душой, денно и нощно благодаря Создателя за счастливую долю ей посланную. Ясное, веселое лицо Аграфены Петровны вѣрнѣй всякихъ рѣчей говорило, что нѣтъ у нея ни горя на душѣ, ни тревоги на сердцѣ. Тихо и мирно проходила жизнь этой любящей и всѣми любимой женщины. Всегда спокойная, никогда ничѣмъ невозмутимая, краснымъ солнцемъ сіяла она въ мужниномъ домѣ, и куда вчуужѣ ни показывалась, вездѣ ей были рады, какъ свѣтлому гостю небесному. Куда ни войдетъ, всюду внесетъ съ собою миръ, ладъ, согласье и веселье. При ней и мрачные старики, угрюмо на постылый свѣтъ глядѣвшіе, юнѣли, и будто сбросивъ десятокъ годовъ съ плечъ долой, становились мягче, добрѣй и привѣтливѣй. Никогда не слыхать было при ней пересудовъ, ни злыхъ попрековъ, ни лихихъ перекоровъ. Какъ достигла Аграфена Петровна такого вліянія на всѣхъ ею знаемыхъ, сама не знала, и другіе не вѣдали. Какъ-то само собой вышло, а когда началось и съ чего началось, никто бы не сумѣлъ и отвѣта дать. „Такая ужъ молодлица: отъ Бога ей дано“, говорили сосѣди, когда спрашивали у нихъ, отъ

чего при женѣ Заплата ни злословить, ни браниться и ничего недобраго никто сдѣлать не можетъ. Самый вздорный человѣкъ самый охочій до ссоръ и брани стихалъ на глазахъ кроткой разумницы, и потомъ самъ на сторонѣ говорилъ, что при Аграфенѣ Петровнѣ вздорить никакъ не приходится.

Росла она круглой сиротой, но святыи Божій покровъ всегда былъ надъ нею. За молитвы, видно, родительскіе не довелось Грунѣ извѣдать горечи и тяги, неразлучныхъ съ сиротскою долей. Съ младенческой колыбели до брачнаго вѣнца никогда почти не знавала она ни бѣды, ни печалей, а принявъ вѣнецъ, рай въ мужнинъ домъ внесла и царилъ въ немъ. *Почти* не знала бѣды и печалей, но не совсѣмъ же онѣ были ей невѣдомы. Безъ горя, безъ печали, что безъ грѣха, человѣку вѣка не изжить. И надъ Груней, еще дѣвочкой, внезапно грозой разразилась бѣда тяжкая, и пришлось бы она ребенку не подъ силу, еслибы не нашлось добрыхъ людей, что любовью своею отвели грозу и наполнили мирнымъ счастьемъ душу дѣвочки.

Отецъ ея былъ хоть не изъ великихъ тысячниковъ, но все же достатки имѣлъ хорошіе и жилъ душа въ душу съ молодой женой, утѣшаясь, не нарадуясь на подрастающую Груню. Дѣти у нихъ не жили, одну ее сохранилъ Господь, и крѣпко любили родители бѣловудрую дочку свою. Девять годовъ Грунѣ на Купальницу исполнилось, чрезъ мѣсяцъ послѣ именинъ ея поѣхали отецъ съ матерью къ Макарью—тамъ у нихъ въ Щепаномъ ряду на Пескахъ, что у Стрѣлки, лавка была. Взяли они съ собой и маленькую дочку. Такъ они ее любили, что ни за какія блага не покинули бѣ въ деревнѣ съ домовницей, чтобы потомъ, живучи въ ярмаркѣ, день и ночь думать да передумывать, не случилось ли чего недобраго съ ненаглядной ихъ дочуркой.

Годъ былъ тяжелый: смерть по людямъ ходила. Холера на ярмаркѣ залила народъ. У Грунина отца въ одинъ день двое молодцовъ заболѣло, свезли ихъ въ Мартыновскую, оттолъ къ Петру-Павлу \*. Прошелъ день-другой, разомъ у Груни отецъ съ матерью заболѣли, ихъ тоже въ больницу свезли. Одна-одинешенька, середь чужихъ людей, осталась въ лавкѣ девятилѣтняя Груня. Урвавшись какъ-то отъ сосѣднихъ торговцевъ, Христа ради приглядывавшихъ маленько за дѣвочкой, она, не пивши не ѣвши, цѣлый день бродила по незнакомому городу, отыскивая больницу; наконецъ, выбившись изъ силъ, заночевала въ кустахъ Волжскаго откоса. Поутру, чуть еще брезжило, голодная дѣвочка ужъ стояла и плакала у воротъ Мартыновской больницы. Сторожа не пускали ее на дворъ. Долго лежала она подъ солнечнымъ припекомъ, громко рыдая и умоляя пустить ее къ отцу съ матерью. Сторожа для порядка гнали Груню прочь отъ больничныхъ воротъ, и сказали, что ни тятки, ни мамки у ней больше нѣтъ, что до свѣту обоихъ на кладбище стащили. Несмотря на угрозы, бѣдная Груня все-таки прочь отъ больницы не шла....

Тогда взглянулъ Господь на сироту милосерднымъ окомъ и послалъ къ ней добраго человѣка.

Провѣдалъ одинъ ярмарочный торговецъ изъ-за Волги, что въ Щепяномъ ряду выморочная лавка явилась, и въ ней одинъ-одинешенекъ малый ребенокъ остался. Спросилъ у сосѣдей той выморочной лавки куда дѣвалась сирота—никто не знаетъ. Бросилъ свое дѣло добрый человѣкъ и пустился на розыски. Отыскалъ онъ Груню у воротъ больницы и взялъ сиротинку въ домъ свой. Вспоилъ, вскор-

---

\* Городская больница въ Нижнемъ называется „Мартыновскою“ кладбище городское называется „у Петра и Павла“, по церкви тамъ находящейся.

милъ ее и воспиталъ наравнѣ съ родными дочерями, ни на волосъ ихъ отъ богоданной дочки не отличая. И благословеніе Божіе почило на добромъ чловѣкѣ и на всемъ домѣ его:—въ семь лѣтъ, что прожила Груня подъ кровомъ его, седмерицею достатокъ его увеличился, изъ зажиточнаго крестьянина сталъ онъ первымъ богачомъ по всему Заволжью. То былъ осиповскій тысячникъ, Патапъ Максимычъ Чапуринъ.

Двумя-тремя годами Груня была постарше дочерей Патапа Максимыча, какъ разъ въ подружки имъ сгодилась. Выростая вмѣстѣ съ Настей и Парашей, она сдружилась съ ними. Добрымъ, кроткимъ нравомъ, любовью въ подругамъ и привязанностью къ богоданнымъ родителямъ такъ полюбилась она Патапу Максимычу и Аксиньѣ Захаровнѣ, что тѣ считали ее третьей своей дочерью.

— Слушай, Аксинья, говорилъ хозяйкѣ своей Патапъ Максимычъ, — съ самой той поры какъ взяли мы Груню въ дочери, Господь видимо благословляетъ насъ. Сиротка къ намъ въ домъ счастье принесла, и я такъ въ мысляхъ держу: что ни подалъ намъ Богъ, за нее, за голубку, все подалъ. Смотри жъ у меня — не ровень ' часъ, всѣ нодъ Богомъ ходимъ, коли вдругъ пошлетъ мнѣ Господь смертный часъ, и не успѣю я насчетъ Груни распоряженья сдѣлать, ты безъ меня ее не обидь.

— Чего ты только ни скажешь, Максимычъ! съ досадой отвѣтила Аксинья Захаровна. — Ну, подумай, умная ты голова, возможно развѣ обидѣть мнѣ Грунюшку? Во утробѣ не носила, своей грудью не кормила, а все жъ я ей мать, и сердце у меня лежитъ къ ней все едино какъ къ роженнымъ дочерямъ. Всѣ мои три дѣвоньки заодно лежатъ на-сердцѣ.

— Знаю про то, Захаровна, и вижу, продолжалъ Патапъ Максимычъ,—а говорю для того, что ты баба. Стары

люди не съ вѣтру сказали: „баба что мѣшокъ: что въ него положишь, то и несетъ“. И потому что ты ешь баба, значитъ разумомъ не дошла, то какъ меня не станеть, могутъ тебя люди разбить. Мало ль есть въ міру завистниковъ? Впутаются не въ свое дѣло и все вверхъ дномъ подымутъ.

— Да что ты въ самомъ дѣлѣ, Максимычъ, дура что ли я повитая? Послушаюсь я злыхъ людей, обижу я Грунюшку? Да никакъ ты съ ума спятилъ? заговорила возвышая голосъ Аксинья Захаровна, и утирала рукавомъ выступившія слезы. — Обидчикъ ты этакой, право, обидчикъ!... Какое слово про меня молвилъ!... По сердцу ровно ножомъ полоснулъ!... Бога, нѣтъ въ тебѣ!... Право, Бога нѣтъ!...

— А ты горла-то зря не распускай, въ свою очередь возвысивъ голосъ, сказалъ ей Патапъ Максимычъ. — Молчи да слушай... Ну же, не хныкать, покуда не бита, чтобъ я не видалъ бабихъ слезъ!... Слушай что приказывать стану... слова не смѣй проронить; все въ точности исполни!... Богъ дастъ, женихи станутъ къ Грунѣ свататься и къ дочерямъ — приданое всѣмъ поровну. Что Настасьѣ, что Прасковѣ, то и Грунѣ.... Слышишь?... А помремъ мы съ тобой, весь домъ и все добро, что останется, тоже на три доли, всѣмъ поровну... Помни же завѣтъ мой, изъ ума его не выкладывай. Не то моимъ костямъ во гробу покоя не будетъ. Не будь Настасьѣ съ Прасковѣй родительскаго моего благословенія, коли поровну онѣ съ Груней не подѣлятся. Не мое и не ихне добро, что мы нажили: его Богъ ради Груни послалъ. Такъ я въ разумѣ держу, такъ и ты держи, и дочери также пусть держатъ. Помни же слово мое. А коли, послѣ меня, какъ я приказываю, не сдѣлаешь, такъ я тебя.... прибавилъ Патапъ Максимычъ, подымая кверху увѣсистый кулачище....—На

томъ свѣтъ-то.... передъ Богомъ на страшномъ судищѣ поставлю.... И засудить Онъ тебя, засудить,—въ адъ кромѣшный пошлетъ, коли Груню обидишь.... Да, да.... Ты это помни!... А теперь вотъ что, продолжалъ онъ, значительно понизивъ голосъ послѣ окрику:—на той недѣлѣ, наканунѣ Иванова дня, Груня именинница. Возьми канаусъ, что изъ Астрахани привезенъ, сарафанъ именинницѣ справъ, пуговицы были бы серебряныя. Есть тамъ у тебя.... И дочерямъ такіе же сарафаны шей, канаусу на всѣхъ должно хватить....

Понималъ Патапъ Максимычъ, что за безцѣнное сокровище въ дому у него подрастаетъ. Разумомъ острая, сердцемъ добрая, ко всѣмъ жалостливая, права тихаго, кроткаго росла и красой полнилась Груня. Не было человѣка, кто бы, разл-другой увидавши дѣвочку, не полюбилъ ея. Дочери Патапа Максимыча души въ ней не чаяли; хоть и немногимъ была постарше ихъ Груня, однако онѣ во всемъ ея слушались. Ни у той ни у другой никакихъ тайнъ отъ Груни не бывало. Но не судьба имъ была вмѣстѣ съ Груней вырасти.

Только что Груня заневѣстилась, сталъ Патапъ Максимычъ присматривать хорошаго степеннаго человѣка, на руки котораго, безъ страха за судьбу, безъ опасенья за долю счастливую, можно бы было отдать богоданную дочку.

---

На ту пору овдовѣлъ Иванъ Григорьичъ. Покинула ему жена троихъ дѣтокъ малъ-мала меньше. Бѣдовое ему настало время: извѣстно: вдовецъ дѣткамъ не отецъ, самъ круглый сирота. Нѣтъ за малыми дѣтьми ни ухода, ни призору, не отъ кого имъ услышать того добраго, благодатнаго слова любви, что изъ устъ матери струей благо-

творной падаетъ въ самыя основы души ребенка и тамъ сѣменами добра и правды разсыпается. Лежатъ тѣ сѣмена глубоко въ тайникѣ души, дожидаясь поры времени, когда ребенокъ, возмужавъ, выраститъ, выхолить ихъ доброй волей и свободнымъ хотѣньемъ.... И благо тому, кто сумѣетъ взрастить сѣмена посѣянные въ немъ любовью матери — добрый плодъ отъ нихъ выйдетъ. Бѣда, горе великое малымъ дѣткамъ остаться безъ матери, пуще бѣда, чѣмъ пчелкамъ безъ матки. Понималъ это горемычный Иванъ Григорьичъ, и тоской разрывалось сердце его, глядя на сиротокъ.

А тутъ и по хозяйству не попрержнему все пошло: въ дому все постарому, и затворы и запоры крѣпки, а добро рѣкой вонъ плыветъ, домовая утварь какъ на огнѣ горить. Извѣстно дѣло: безъ хозяйки домъ какъ безъ крыши, безъ огорожи: чужая рука не на то чтобы въ домъ нести, а чтобы изъ дому вынести. Скорбно и тяжело Ивану Григорьичу. Какъ дѣлу помочь?... Жениться?

Жениться! Легко слово молвить, а сдѣлать какъ? Жениться не мудрость, и дуракъ сумѣетъ, но какъ вдовцу найти жену добрую, хозяйку хорошую, мать чужимъ дѣтямъ? Гдѣ? въ какомъ царствѣ, въ какомъ государствѣ? Мало что-то такихъ видится... Какъ ни разводилъ Иванъ Григорьичъ разумомъ, какъ ни вскидывалъ мыслями на знакомыхъ вдовъ и дѣвушекъ, ни одной мало-мальски подходящей не обыскалось. Одно гребтить на умѣ бѣднаго вдовца: хозяйку къ дому сыскать не хитрое дѣло, было бы у чего хозяйствовать; на счастье попадется, пожалуй, и жена добрая, совѣтная, а гдѣ, за какими морями найдешь родну мать чужу дѣтищу?... Эхъ житье вдовца горькое, безталанное!... Отъ печалей къ немощамъ, отъ немощей къ печалямъ!... Не подѣ стать Ивану Григорьичу слезы точить: голова ужъ заиндевѣла, а слезы стараго и людямъ

смѣшны, и себѣ стыдны. Крѣпится Иванъ Григорьичъ, а иной разъ непрошенная слеза бѣжитъ да бѣжитъ по сѣдымъ усамъ.

До гробовой доски, до бѣлаго савана думать бы да передумывать бѣдному горюну, еслибы другъ не выручилъ. Тотъ же старый другъ, то же неизмѣнное копье, что и въ прежни года изъ житейскихъ невзгодъ выручалъ, тотъ же Патапъ Максимычъ.

Справивъ сорочины по покойницѣ, сталъ Иванъ Григорьичъ изъ дому по дѣламъ уѣзжать. Еще хуже пошло. Спиридоновна, родственница жены покойницы, старуха хвораая, хозяйствомъ въ дому у него заправляла и за дѣтьми приглядывала. Но не сможетъ она съ домомъ справиться — и хотѣла бы, да не умѣетъ. Дѣтей любила, да по-своему: въ неряшествѣ Спиридоновна бѣды не видала, а тукманки, думала она, дѣтямъ нужны: умѣе растутъ.. Другой хозяйки Ивану Григорьичу негдѣ взять: родни только и есть что Спиридоновна, а чужую въ домъ ко вдовцу зазорно ввести. Не по чину, не по обряду; въ добрыхъ людяхъ такъ не водится.

Заѣхалъ разъ Иванъ Григорьичъ въ Осиповку размыкать тоску свою въ совѣтной бесѣдѣ съ другомъ извѣданнымъ. Пора была вечерняя. Въ передней горницѣ вся семья Патапа Максимыча за чаемъ сидѣла. Обѣ дочери и Груня были на ту пору въ Осиповкѣ; изъ обители, куда въ ученье были отданы, онѣ погостить пріѣзжали.... Патапъ Максимычъ и Аксинья Захаровна при нихъ завели съ гостемъ бесѣду, толковали про трудное, горемычное житье-бытье его. Настя, — тогда ей только что тринадцать лѣтъ минуло, — о чемъ-то пересмѣивалась съ Парашей, а шестнадцатилѣтняя Груня прислушивалась къ рѣчамъ говорившихъ. Отпили чай. Съ громкимъ смѣхомъ Настя съ Парашей прыснули вонъ изъ горницы и побѣжали играть въ



огородъ, клича съ собой и Груню, но Груня не пошла съ ними... Усѣлись кумовья за пуншикомъ, Аксинья Захаровна къ нимъ же подсѣла съ шитьемъ, рядомъ съ ней Груня съ вязаньемъ.

— Вотъ и живу я, кумушка, ровно божедомъ въ скудельницѣ, говорилъ Иванъ Григорьичъ Аксиньи Захаровнѣ.— Одинъ какъ перстъ! Слова не съ кѣмъ перемолвить, умрешь — поплакать некому, помянуть некому.

— Чтò ты, батька, возразила Аксинья Захаровна, — дѣтки по родительской душенькѣ помянники.

— Чтò дѣтки? Малы они, кумушка, еще неразумны, отвѣчалъ Иванъ Григорьичъ. — Пропавшіе они дѣти безъ матери... Нестройно, неукладно въ дому у меня. Не глядѣлъ бы... Все, кажись, стоитъ на своемъ мѣстѣ, попржнему; всѣ, кажется, порядки идутъ какъ шли при покойницѣ, а не то.... Пустымъ пахнетъ, кумушка.

— Это такъ, пригорюнясь, отвѣтила Аксинья Захаровна, — правду говорятъ: безъ хозяйки домъ чтò мертвецъ не схороненный.

— Да чтò домъ! Пропадай онъ совсѣмъ!... молвилъ Иванъ Григорьичъ.— Не домъ крушить меня, — сироты мои бѣдныя. Какъ расти имъ безъ матери!... Ходить за ними Спиридоновна, какъ умѣетъ усердствуетъ, да развѣ мать?... Ни приласкать, ни приголубить.... У отца въ дому а дѣтямъ горькая доля!... Призору нѣтъ: прїѣдешь изъ города, али съ мельницы: дѣти не умыты, не чесаны, грязные, оборванные. При покойницѣ развѣ водилось такъ?... Недавно провѣдалъ, безъ меня иной разъ голодными спать лежатся. Спиридоновна старуха старая, хворая; гдѣ ей за всѣмъ углядѣть?... Рада-радешенька до подушки добратся, а работницы народъ вольный. Спиридоновна на боковую, онѣ на супрядки, дѣти-то одни и остались. Того и гляди, что

грѣшнымъ дѣломъ искалѣчутся.... Горько житье мое, кумушка!

И склонивъ голову на руку, тяжкимъ вздохомъ вздохнулъ Иванъ Григорьичъ. Слезы въ глазахъ засверкали.

Пристально глядѣла на плачущаго вдовца Груня. Жаль ей стало сиротокъ. Вспомнила какъ сама голодная бродила она по чужому городу.

— Жениться надо, кумъ, вотъ что, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Легко сказать, а сдѣлать-то какъ? отвѣчалъ Иванъ Григорьичъ.

— Надо искать. Извѣстно дѣло, невѣста сама въ домъ не придетъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Гдѣ ее сыщешь? печально молвилъ Иванъ Григорьичъ.— Не жену надо мнѣ, мать дѣтямъ нужна. Ни богатства, ни красоты мнѣ не надо, дѣтокъ бы только любила, замѣсто бы родной матери была до нихъ. А такую и днемъ съ огнемъ не найдешь. Не мало я думалъ, не мало на вдовъ да на дѣвокъ умомъ своимъ вскидывалъ. Не единая не подходитъ... Ахъ, сироты вы мои, сиротки горькія!... Лучше ужъ вамъ за матерью слѣдомъ въ сыру землю пойти.

— Что ты?... Христосъ съ тобой!... Опомнись, куманекъ!... вступилась Аксинья Захаровна. — Можно ль такъ отцу про дѣтей говорить?... Молись Богу, да Пресвятой Богородицѣ, не оставять... Самъ знаешь: за сиротой самъ Богъ съ калитой.

Долго толковали про бѣдовую участь Ивана Григорьича. Онъ уѣхалъ; Аксинья Захаровна по хозяйству вышла за чѣмъ-то. Груня стояла у окна и задумчиво обрывала поблекшіе листья розанели. На глазахъ у ней слезы. Патапъ Максимычъ замѣтилъ ихъ, подошелъ къ Грунѣ и спросилъ ласково:

— Что ты, дочка моя милая?

Взглянула Груня на названнаго отца и слезы хлынули изъ очей ея.

— Что ты, что съ тобой, Грунюшка? спрашивалъ ее Патапъ Максимычъ. — О чемъ это ты?

— Сиротокъ жалко мнѣ, тятя, трепетнымъ голосомъ отвѣтила дѣвушка, припавъ къ плечу названнаго родителя. — Сама сирота, разумѣю.... Пошлетъ ли Господь имъ родную мать, какъ мнѣ послалъ? Голубчикъ тятенька, жалко мнѣ ихъ!...

— Господь возлюбитъ слезы твои, Груня, отвѣчалъ тронутый Патапъ Максимычъ, обнимая ее, — святые ангелы отнесутъ ихъ на небеса. Сядемъ-ка, голубонька.

И сѣли рядомъ на диванъ.

— Помнишь, что у Златоуста про такія слезы сказано? винушительно продолжалъ Патапъ Максимычъ. — Слезы тѣ наче поста и молитвы, и самъ Спасъ пречистыми устами Своими рекъ: „никто же больше тоя любви имать, аще кто душу свою положить за други своя“.... Добрая ты у меня, Груня!... Господь тебя не оставитъ.

— Тятенька голубчикъ, какъ бы сиротъ-то устроить? говорила Груня, ясно глядя въ лицо Патапу Максимычу. — Я бы, кажись, душу свою за нихъ отдала....

Молчалъ Патапъ Максимычъ, глядя съ любовью на Груню. Она продолжала:

— Сама сиротой я была. Не долго была по твоей любви да по милости, а все же я помню каково мнѣ было тогда, какова есть сиротская доля. Богъ тебя мнѣ послалъ, да мамыньку, оттого и не спознала я горя сиротскаго. А помню каково было бродить по городу.... Ничѣмъ не заплатить мнѣ за твою любовь, тятя; одно только вотъ передъ Богомъ тебѣ говорю: люблю тебя и мамыньку, какъ родныхъ отца съ матерью.

— Полно, полно, моя ясынька, полно, привѣтная, пол-

но, говорилъ растроганный Патапъ Максимычъ, лаская дѣвушку.—Чего жъ намъ еще отъ тебя?... Любовью своей сторицей намъ платишь.... Ты намъ.... счастье въ домъ принесла,.... Не мы тебѣ, ты добро намъ дѣлала...

— Тятя, тятя, не говори. Не воздать мнѣ за ваши милости.... А если ужъ вамъ не воздать, Богу-то какъ воздать?

Припала Груня къ груди Патапа Максимыча и зарыдала.

— Добрými дѣлами, Груня, воздашь, сказалъ Патапъ Максимычъ, глядя по головкѣ дѣвушку.—Молись, трудись, всего паче бѣдныхъ не забывай. Никогда, никогда не забывай бѣдныхъ, да несчастныхъ. Это Богу угоднѣй всего...

— Слушай, тятя, что я скажу, быстро поднявъ голову, молвила Груня съ такой твердостью, что Патапъ Максимычъ, слегка отшатнувшись, зорко поглядѣлъ ей въ глаза и не узналъ богоданной дочки своей. Новый человѣкъ передъ нимъ говорилъ.—Давно я о томъ думала, продолжала Груня, — еще махонькою была, и тогда ужъ думала: какъ ты меня призрѣлъ, такъ и мнѣ надо сиротъ призирать. Этимъ только и могу я Богу воздать.... Какъ думаешь ты, тятя?... А?...

— Ты это хорошо сказала, Груня, молвилъ Патапъ Максимычъ,—по-божески.

— Жаль мнѣ сиротокъ Ивана Григорьича, сказала Груня, — я бы, кажись, была имъ матерью какую онъ ищетъ.

— Какъ же такъ? едва вѣря ушамъ своимъ, спросилъ Патапъ Максимычъ.—Нешто пойдешь за старика?

— Пойду, тятя, твердо сказала Груня.—Онъ добрый... Да мнѣ не онъ... Мнѣ бы только сиротокъ призрѣть.

— Да вѣдь онъ старый! Тебѣ не ровня, молвилъ Чапуринъ.

— Старъ ли онъ, молодъ—по мнѣ все одно, отвѣчала Груня.— Не за него, ради бѣдныхъ сиротъ...

— Ахъ ты, Грунюшка, моя Грунюшка! говорилъ глубоко растроганный Патапъ Максимычъ, обнимая дѣвушку и нѣжно цѣлуя ее.— Ангельская твоя душенька!... Отецъ твой съ матерью на небесахъ разыграли теперь!... И еще согрѣшили въ чемъ передъ Господомъ, искупила ты грѣхи родительскіе. Старъ я человѣкъ, много всего на вѣку я видалъ, а такой любви къ ближнему, такой жалости къ малымъ сиротамъ не видывалъ, не слыхивалъ... Чистая, святая твоя душенька!...

— Тятя, тятя, что ты? вскрикнула Груня.

Богоданная дочка и названный отецъ крѣпко обнялись.

На другой день рано поутру Патапъ Максимычъ собрался на-скоро и поѣхалъ въ Выхорево. Войдя въ домъ Ивана Григорьича, увидалъ онъ друга и кума въ такомъ гнѣвѣ, что не узналъ его. Возвратясь изъ Осиповки, вдовецъ узналъ, что одинъ его ребенокъ кипяткомъ обваренъ, другой избитъ до крови. Отъ недосмотра Спиридоновны и нянекъ, пятилѣтняя Марѣуша, рѣзвясь, уронила самоваръ и обварила старшую сестру. Спиридоновна поучила Марѣушу уму-разуму: въ кровь избила ее.

— Вотъ, кумъ, посмотри на мое житье! говорилъ Иванъ Григорьичъ.— Полюбуйся: одну обварили, другую избили.... Изъ дому уѣдешь, только у тебя и думы—цѣлы ли дѣти, про дѣла и на умъ нейдетъ.... Просто бѣда, Патапъ Максимычъ, другъ мой любезный, бѣда неизбывная.... Не придумаю что и дѣлать....

— Молчи а ты, весело отвѣчалъ на его жалобы Патапъ Максимычъ.— Я къ тебѣ съ радостью.

— Какія тутъ радости! съ досадою отозвался Иванъ Григорьичъ.— Не до радостей мнѣ.... Думаю не придумаю какую бы старуху мнѣ въ домовницы взять. Спиридонова совсѣмъ никуда не годится.

— Да ты слушай, что говорить стану, сказалъ Патапъ Максимычъ. — Невѣста на примѣтъ.

— Какая тутъ невѣста!... съ досадою отозвался Иванъ Григорьичъ. — Не до шутокъ мнѣ, Патапъ Максимычъ. Побойся Бога: человѣкъ въ горѣ, а онъ съ издѣвками....

— Хорошая невѣста, продолжалъ свое Чапуринъ. — Настоящая мать будетъ твоимъ сиротамъ.... Добрая, разумная. И жена будетъ хорошая, и хозяйка добрая. Да къ тому жъ не изъ бѣдныхъ — тысячь тридцать приданаго теперь получай, да послѣ родителей столько же, коли не больше получишь. Дѣвка молодая, изъ себя красавица писаная.... А ужъ добра какъ, какъ дѣтей твоихъ любить: не всякая, братецъ, мать любить такъ свое дѣтище.

— Полно сказки-то сказывать, отвѣчалъ Иванъ Григорьичъ. — Про какую царевну-королевну рѣчь ведешь? !За моремъ, за Океаномъ что ль такую сыскалъ?

— Поближе найдется: здѣсь же, у насъ, въ лѣсахъ кое-гдѣ.... улыбаясь говорилъ Патапъ Максимычъ.

— Не мути мою душу. Грѣхъ!... съ грустью и досадою отвѣтилъ Иванъ Григорьичъ. — Не на то съ тобой до сѣдыхъ волосъ въ дружбѣ прожили, чтобъ на старости издѣваться другъ надъ другомъ. Полно чепуху-то молоть, про домашнихъ лучше скажи? Что Аксинья Захаровна? Дѣтки?

— Чего имъ дѣлается? И сегодня живутъ по вчерашнему, какъ вечеръ видѣлъ, такъ и есть, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ. — Да слушай же, не съ баснями я пріѣхалъ къ тебѣ, съ настоящимъ дѣломъ.

— Съ какимъ это? спросилъ Иванъ Григорьичъ.

— Да все насчетъ того.... Про невѣсту.

— Про какую? Гдѣ ты ее за ночь-то выкопалъ?

— Да хоть про нашу Груню, молвилъ Патапъ Максимычъ.

— Съ ума ты спятилъ, отвѣчалъ Иванъ Григорычъ.— Хоть бы дѣломъ что сказалъ, а то нятка поди.

— Дѣломъ и говорю.

— Да подумай ты, голова, у насъ съ тобой бороды сѣдья, а она ребенокъ. Сколько годовъ-то?

— Семнадцатый съ Петровокъ пошелъ. Какъ есть загравская невѣста.

— То-то и есть, сказалъ Иванъ Григорычъ.— Ровня что ли? Охота ей за старика на дѣтей идти.

— Безъ ея согласья, извѣстно, нельзя дѣла сладить, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.— Потому хоша она мнѣ и дочка, а все жъ не родная. Будь Настасья постарше, да не крестная тебѣ дочь, я бы разговаривать не сталъ, сейчасъ бы съ тобой по рукамъ, потому она дѣтище мое— куда хочу, туда и дѣну. А съ Груней надо поговорить. Поговорить что ли?

— Да полно тебѣ чепуху-то нести! сказалъ Иванъ Григорычъ.— Статочно ли дѣло, чтобы Груня за меня пошла? Полно. И безъ того тошно.

— А какъ согласна будетъ— женишься? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Пустяшное дѣло, кумъ, говоришь, отвѣчалъ Иванъ Григорычъ.— Охотой не пойдетъ, силѣмъ взять не желаю.

— Ну такъ слушай же, что было у меня съ ней говорено вѣчеръ, какъ ты изъ Осиповки поѣхалъ.

И рассказалъ Патапъ Максимычъ Ивану Григорычу разговоръ свой съ Груней. Во время разсказа Иванъ Григорычъ больше и больше склонялъ голову, и когда Патапъ Максимычъ кончилъ, онъ всталъ, и смотря плачуци-

ми глазами на иконы, перекрестился и сдѣлалъ земной поклонъ.

— Голубушка! сказалъ онъ. — Святая душа!... Ангелъ Господень!... Гришутка, Марѳуша!... Бѣгите скорѣй!

Вбѣжалъ шестилѣтній мальчикъ въ красной рубашонкѣ и Марѳуша съ синяками и запекшимся рубцомъ на щекѣ.

— Молись Богу, дѣти! сказалъ имъ Иванъ Григорьичъ. Кладите земные поклоны, творите молитву за мной: „сохрани, Господи, и помилуй рабу Твою, дѣвицу Агрипину! Воздай ей за добро добромъ, Владыка многомилостивый!“

И самъ вмѣстѣ съ дѣтьми клалъ земной поклонъ за поклономъ

Патапъ Максимычъ стоялъ сзади и тоже крестился.

— Вотъ вамъ отцовскій наказъ, молвилъ дѣтямъ Иванъ Григорьичъ:—по утрамъ, и на сонъ грядущій каждый день молитесь за здравіе рабы Божіей Агрипины. Слышите? И Маша чтобы молилась. Ну, да я самъ ей скажу.

— Какая же это Агрипина, тятя? спросилъ маленькій Гриша.

— Святая душа, что любить васъ, добра вамъ хочетъ. Вотъ кто она такая: мать ваша, сказалъ дѣтямъ Иванъ Григорьичъ.

---

На другой день были смотрины, но не такія какъ бывають обыкновенно. Никого изъ постороннихъ тутъ не было, и свахи не было, а женихъ, увидавъ невѣсту, поступилъ не по старому чину, не по дѣдовскому обряду.

Какъ увидѣлъ онъ Груню, въ землю ей поклонился, и давъ волю слезамъ, говорилъ рыдая:

— Матушка!... Святая твоя душа!... Аграфена Петровна!... Будь матерью моимъ сиротамъ!...

— Буду, тихо, съ улыбкой промолвила Груня.



Черезъ двѣ недѣли привезли бѣглаго попа изъ Городца и въ моленной Патапа Максимыча онъ обвинчалъ Груню съ Иваномъ Григорычемъ.

Засіялъ въ Вихоревѣ сиротѣлый домъ Заплатина. Достатки его удвоились отъ приданаго, принесеннаго молодой женой. Какъ сказалъ, такъ и сдѣлалъ Патапъ Максимычъ: далъ за Груней тридцать тысячъ цѣлковыхъ, опричь одѣжи и разныхъ вещей. Да опричь того выдалъ ей капиталъ, что послѣ родителей ея остался: тысячъ пять на серебро было.

Растить Груня чужихъ дѣтей, растить и своихъ: два ужъ у ней ребеночка. И никакой межъ дѣтьми розни не дѣлаетъ, пасынка съ падчерицами любить не меньше родныхъ дѣтей. А хозяйка какая вышла, просто на удивленіе.

И прошла слава по Заволжью про молодую жену вихоревского тысячника. Добрая слава, хорошая слава!.. Дай Богъ всякому такой славы, такой доброй по людямъ молвы!

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Весело, радостно встрѣтили дорогихъ гостей въ Осиновкѣ. Сначала, какъ водится, уставные поклоны гости передъ иконами справили, потомъ здороваться начали съ хозяевами. Привѣтамъ, обниманьямъ, цѣлованьямъ, казалось, не будетъ конца. Особенно обрадовались Аграфенѣ Петровнѣ дочери Патапа Максимыча.

— Здравствуй, голубушка моя, Настасьюшка, говорила Аграфена Петровна, крѣпко обнимая подругу дѣтства. — Охъ ты моя привѣтная! Охъ, ты моя любезная!.. Да какъ же ты выросла, да какая же стала пригожая!... Здравствуй,

сестрица, здравствуй, Парашенька, продолжала она, обвиняя младшую дочь Патапа Максимыча.—Да какъ же раздобрѣла ты, моя ясынька, чтобъ только не сглазить! Ну, да у меня глазъ-то легкій, не бойся. Да и люблю я васъ, сестрицы, всей душой, такъ съ моего глаза никакого дурна вамъ не будетъ. А раздобрѣла Параня, раздобрѣла... Ахъ вы мои хорошія, ахъ вы мои милыя!... Здравствуй, Фленушка! Каково живешь-можешь? Давно не видались. Тетенька здорова ли, матушка Манееса?

А матушка Манееса какъ разъ сама на лицо. Вышла изъ боковуши, привѣтствуетъ прїѣзжую гостью.

— Здравствуй, Аграфенушка! Иванъ Григорьичъ, здравствуйте! Здорово ли поживаете?

Не отвѣчая словами на вопросъ игуменьи Иванъ Григорьичъ съ Аграфеной Петровной прежде обрядъ исполнили. Сотворили передъ Манеесой уставныя метанія \*, набожно въ полголоса приговаривая:

— Прости матушка, благослови матушка!

— Богъ проститъ, Богъ благословитъ, сказала кланяясь въ поясъ, Манееса, потомъ поликовалась \*\* съ Аграфеной Петровной и низко поклонилась Ивану Григорьичу.

---

\* Метаніе—слово греческое, вошедшее въ русскій церковный обиходъ,—особенно соблюдается старообрядцами. Это малый земной поклонъ. Для исполненія его становятся на колѣни, кланяются, но не челомъ до земли, а только руками касаясь положеннаго впередъ подручника, а за неимѣніемъ его полъ своего платья по полу поставленной.

\*\* У старообрядцевъ монахи и монахини никогда, даже христуясь на Пасхѣ, не цѣлуются ни между собой, ни съ посторонними. Монахи съ мужчинами, монахини съ женщинами только „ликуются“, то-есть щеками прикладываются въ щекамъ другаго. Монахамъ также строго запрещено ликоваться съ мальчиками и съ молодыми людьми, у которыхъ еще усъ не пробился.

— Ну какъ васъ, дорогихъ моихъ, Господь милуетъ? Здоровы ли всѣ у васъ? спрашивала Манеа, сядя на кресло и усаживая рядомъ съ собой Аграфену Петровну.

— Вашими святыми молитвами, отвѣчали заразъ и мужъ и жена.—Какъ ваше спасеніе, матушка?

— Пока милосердый Господь грѣхамъ терпитъ, а впредь уповаю на милость Всевышняго, проговорила уставныя слова игуменья, ласково поглядывая на Аграфену Петровну.

Аксинья Захаровна какъ поздоровалась съ гостями, такъ и за чай. Уткой переваливаясь съ боку на бокъ толстая Матрена втащила въ горницу и поставила на столъ самоваръ; ради торжественнаго случая былъ онъ вычищенъ кислотой и какъ жаръ горѣлъ. На другомъ столѣ были разставлены заѣдки, какими по старому обычаю прежде повсюду, во всѣхъ домахъ угощали гостей передъ сбитнемъ и взварцомъ, замѣненными теперь чаемъ. Этотъ обычай еще сохранился по городамъ въ купеческихъ домахъ, куда не совсѣмъ еще проникли нововводные обычаи, по сѣтамъ, у тысячниковъ и вообще сколько-нибудь у зажиточныхъ простолюдиновъ. Заѣдки были разложены на тарелкахъ и разставлены по столу. Тутъ были разныя сласти: конфеты, пастила, разные пряники, орѣхи грецкіе, американскіе, волошскіе и миндальные, фисташки, изюмъ, урюкъ, винныя ягоды, кіевское варенье, финики, яблоки свѣжія и моченныя съ брусникой, и вмѣстѣ съ тѣмъ икра салфеточная прямо изъ Астрахани, донской балыкъ, провѣсная шема, бѣлорыбица, ветчина, грибы въ уксусѣ, и среди серебряныхъ, золоченыхъ чарочекъ разной величины и рюмокъ бемскаго хрусталя, графины съ разноцвѣтными водками и непремѣнная бутылка мадеры. Какъ Никитишна ни спорила, сколько ни говорила, что не слѣдуетъ готовить къ чаю этого стола, что у хорошихъ людей

такъ не водится, Патапъ Максимычъ настоялъ на своемъ, убѣждая куму-повариху тѣмъ, что „вѣдь не губернаторъ въ гости къ нему ѣдетъ, будутъ люди свои, старозавѣтные, такіе что передъ чайкомъ отъ настоечки никогда не прочь“.

— Ну-ка, куманскъ, передъ чайкомъ-то хватимъ по рюмочкѣ, сказалъ Патапъ Максимычъ, подводя къ столу Ивана Григорыча. — Какой хочешь? Вотъ звѣробойная, вотъ полынная, а вотъ трифоль, а то не хочешь ли сорокатравчатой, чтѣ отъ сорока недуговъ цѣлѣтъ?

— Ну, пожалуй, сорокатравчатой, коли отъ сорока недуговъ она цѣлѣтъ, молвилъ Иванъ Григорычъ, и наливъ рюмку, посмотрѣлъ на свѣтъ, поклонился хозяину, потомъ хозяйкѣ, и выпилъ приговаривая:

— Съ наступающей именинницей!

— Груня, а ты стукнешь по сорокатравчатой, али нѣтъ? спросилъ Патапъ Максимычъ, обращаясь съ усмѣшкой къ Аграфенѣ Петровнѣ.

— Не выучилась, тятенька, весело отвѣчала Аграфена Петровна.

— Ну, такъ мадерцы испей; передъ чаемъ нельзя не выпить, безпремѣнно надо животъ закрѣпить, приставалъ Патапъ Максимычъ, таща къ столу Груню.

— Не мнѣ же первой, постарше меня въ горницѣ есть, говорила Аграфена Петровна.

Къ матушкѣ Манеѣ хозяева съ просьбами приступили. Та не соглашалась. Стали просить хоть пригубить, Манею и пригубить не соглашалась. Наконецъ, послѣ многихъ и долгихъ приставаній и просьбъ, честная мать игуменья согласилась пригубить. Все это такъ слѣдовало — чинъ, обрядъ соблюдался. Послѣ матушки игуменья выпила Никитишна, все-таки увѣряя Патапа Максимыча и всѣхъ кто тутъ былъ, что у господъ въ хорошихъ до-

махъ такъ не водится, никто передъ чаемъ ни настойки, ни мадеры не пьеть. Потомъ выпила и Аграфена Петровна безо всякаго жеманства, выпила и Фленушка послѣ долгихъ отказовъ. Пропустила рюмочку и сама хозяйшка, а за ней и Настя съ Парашей пригубили.

Иванъ Григорьичъ и Патапъ Максимычъ балыкомъ да икрой закусывали, а женщины сладостями. Кумовья, „чтобъ не хромать“, по другой выпили. За тѣмъ усѣлись чай пить. Акинья Захаровна заварила свѣжаго, шестирублеваго.

Патапъ Максимычъ съ кумомъ усѣлся на диванѣ и зачалъ толковать про послѣдній Городецкій базаръ и про взятую имъ поставку. Аграфена Петровна съ Настей да Парашей разговаривала.

— Чтѣ это, сестрица: погляжу я на тебя, ровно ты не по себѣ? спросила она Настю.

— Я?... я ничего, отрывисто отвѣчала Настя и вспыхнула.

— Меня не проведешь — вдоль и поперекъ тебя знаю, возразила Аграфена Петровна. — Либо не можется да скрыть хочешь, либо на умѣ чтѣ засѣло.

— Ничего у меня на умѣ не засѣло, сухо отвѣтила Настя.

— Ну, такъ хвораетъ.

— И хвори нѣтъ никакой... Съ чего ты взяла это, сестрица? молвила Настя, и пересѣла поближе ко Фленушкѣ.

Подойдя къ Акиньѣ Захаровнѣ, спросила ее потихоньку Аграфена Петровна:

— Сказали видно Настѣ про жениха-то?

— Молвилъ отецъ, шепотомъ молвила Акинья Захаровна. — Эхъ, какъ бы знала ты, Грунюшка, чтѣ у насъ въ эти дни дѣялось! продолжала она. — Погоди ужѣ разскажу, ты вѣдь не чужая.

Никому не было говорено про сватовство Сибѣжкова,

но Заплатины были повѣщены. Еще стоя за богоявленской вечерней въ часовнѣ Скорнякова, Патапъ Максимычъ сказалъ Ивану Григорьичу, что Настина судьба, кажется, выходить, и велѣлъ Грунѣ про то сказать, а больше ни единой душѣ. Такъ и сдѣлано.

— Что жъ она? тихонько спрашивала Аграфена Петровна у названной матери. — Не прочь?

— Какое не прочь, Грунюшка! грустно отвѣтила Аксинья Захаровна. — Слышать не хочетъ. Такія у насъ тутъ были дѣла, такія дѣла, что просто не приведи Господи. Ты вѣдь со мной спать-то ляжешь, у меня въ боковушѣ постель тебѣ сготовлена. Какъ улягутся, все разкажу тебѣ.

Настя хмурая сидѣла. Какъ ни старалась притворяться веселой, никакъ не могла. Только и было у ней на умѣ „вотъ, вотъ зазвенять бубенчики, заскрипять у воротъ санные полозья, принесть нелегкая этихъ Снѣжковыхъ. И всѣ-то на мня глядѣть уставятся, всѣ, и свои, и чужіе. Замѣчать стануть какъ на него взглянула я, не проронять ни единого моего словечка. А тутъ еще послѣ ужина Груня, пожалуй, начнетъ приставать, начнетъ выпытывать. Она и то ужъ, кажись, замѣтила.... Разказать развѣ ей всю правду-истину? Она вѣдь добрая, любить меня, что-нибудь хорошее посовѣтуетъ.... А какъ крестному скажетъ, а крестный тятѣ?... Тогда что?... Загубить тятя соколика моего яснаго; Фленушка правду говорить.... Нѣтъ, не надо Грунѣ ничего говорить.... А ея не обманешь.... Охъ, ты, Господи, Господи! мученье какое!... Хоть бы проходили ужъ скорѣй эти пиры да праздники!“... И вдругъ вспомнился Настѣ ея ясный свѣтлоокій соколикъ. „Вотъ, думаетъ, сижу я здѣсь разряженная, разукрашенная на-показъ жениху постылому, сижу съ отцомъ съ матерью, съ гостями почетными, за богатымъ угощеніемъ, вокругъ меня гости бесѣду ведутъ согласную, идутъ у нихъ разговоры весе-

лме.... А онъ-то, голубчикъ, онъ-то, радость моя!... Сидитъ, бѣдняжка, въ своей боковушѣ, ровно въ темницѣ. Сидитъ одинъ-одинешенекъ съ своей думой-кручиной. И взойти-то сюда онъ не смѣетъ, и взглянуть-то на наши гостины не можетъ. Ровно рабу неключимому, нѣтъ ему мѣста на веселомъ пиру. Бѣдный мой, бѣдный соколикъ!... Скучно тебѣ, грустно сидѣть одинокому.... да и мнѣ не легче тебя.... “

— Да не хмурься же, Настенька! шепотомъ молвила крестницѣ Никитишна, наклонясь къ ней будто для того чтобъ ожерелье на шеѣ поправить. — Что-й-то ты, matka, какая сидишь?... Ровно къ смерти приговореная.... Гляди у меня веселѣе!... Ну!...

— Ты знаешь, каково мнѣ, крестненька. Я тебѣ сказывала, шепотомъ отвѣтила Настя.—Высижу вечеръ, и завтра всѣ праздники высижу; а веселой быть не смогу.... Не до веселья мнѣ, крестненька!... Вотъ еще знай: тятенька обѣщалъ цѣлый годъ не поминать мнѣ про этого. Если слово забудетъ, да при мнѣ со Снѣжковыми на сватовство рѣчь сведетъ, такихъ чудесъ натворю, что кромѣ сраму ничего не будетъ

— Полно ты, уговаривала крестницу Никитишна.—Услышать, пожалуй.... Ну, ужъ дѣвка! проворчала она, отходя отъ Насти и покачивая головой.—Кипятокъ!... Бѣдовая!... Вся въ родителя, какъ есть вылита: праву моему перечить не смѣй.

Затѣмъ, сказавъ Аксинѣ Захаровнѣ что-то про ужинъ, отправилась Никитишна къ своему мѣсту въ страпущую.

Межъ тѣмъ у Патапа Максимыча съ Иваномъ Григорьевичемъ шелъ свой разговоръ.

— Каково съ подрядомъ справляешься? спросилъ у кума Иванъ Григорьевичъ.

— По-маленьку справляюсь. Богъ милостивъ—къ сроку поспѣемъ, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ. Работниковъ при-

нанялъ; теперь сорокъ восемь человѣкъ, oprичъ того и деревнямъ роздалъ работу: по своимъ и по чужимъ. Авось управимся.

— Работники-то нонѣ подшиблись, замѣтилъ Иванъ Григоричъ.—Лежебоки стали. Имъ бы все какъ-нибудь деньги за даровщину получить, только у нихъ и на умъ.... Вот хоть у меня по валеному дѣлу—бьюсь, съ ними, куманекъ бьюсь—въ усь себѣ не дують. Вольный сталъ народъ самый вольный! Облѣнился, прежняго радѣнья совсѣмъ и видать.

— Это такъ, это точно, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.—Слабость пошла по народу. Чтѣ прикажешь дѣлать? Кажись и хмѣлемъ не очень запибаются, и никакимъ дурнымъ дѣломъ не заимствуются, а не то какъ въ прежнее время бывало. Правду говоришь, что вольный народъ сталъ,—главное то возьми, что страху Божьяго ни въ комъ не стало. Вотъ чтѣ! Все бы имъ какъ-нибудь, да какъ ни попалъ. Бѣда съ ними, горе одно. У меня еще есть, коли правду сказать, пять-шесть знатныхъ работниковъ—золото, не ребята! А другіе прочіе хоть рукой махни—ничего не стоищіе люди, какъ есть никакого званія не стоищіе!... А вот недавно порядился ко мнѣ паренѣкъ изъ недалнихъ. Н этотъ одинъ за пятерыхъ отслужить.

— Ужь за пятерыхъ! недовѣрчиво сказалъ Иванъ Григоричъ.

— Правду говорю, молвилъ Патапъ Максимычъ.—Чтѣ мнѣ врать-то? Не продаю его тебѣ. Первый токарь и всему околотку. Обойди всѣ здѣшни мѣста, по всемъ Заволжью другаго такого не сыскать. Вотъ передъ истиннымъ Богомъ—право слово.

— Отколь же такого dospѣлъ? спросилъ Иванъ Григоричъ.



— По сосѣдству, изъ деревни Поромовой, отвѣтилъ Патапъ Максимычъ.—Трифона Лохматаго слыхаль?

— Лохматаго? Знаю, отвѣтилъ Иванъ Григорычъ,— добрый мужикъ, хорошій!

— Сынъ его большой, сказалъ Патапъ Максимычъ.— Знатный парень, умница, книгочей и разсудливый. А изъ себя видный да здоровый такой, заглядѣнье. Одно слово: парень первый сортъ.

Настя въ то время говорила съ Аграфеной Петровной, отвѣчая ей невпопадъ. Словечко боялась проронить изъ отцовыхъ рѣчей.

— Какже ты залучилъ его? спросилъ Иванъ Григорычъ.—Старикъ Лохматый не то чтобъ изъ бѣдныхъ. Своя токаря. Какъ же онъ отпустилъ его? Такой парень, какъ ты объ немъ сказываешь, и дома живучи копѣйку доспѣетъ.

— Сожгли ихъ по осени, молвилъ Патапъ Максимычъ.— Недобрые люди токарню спалили. Водятся такіе по нашимъ мѣстамъ. Сами вѣкъ по гулянкамъ, а доброму чело-вѣку зло. Мало что сожгли старика Лохматаго, обокрали на придачу. Чтò ни было залежныхъ—все снесли, и коней со двора свели, и коровенокъ. Отъ того Алексѣй Лохматый и пошелъ ко мнѣ, по бѣдности значить, чтобъ отцу поскорѣе оправиться. А не то—шутъ бы ему велѣлъ въ чужи люди идти. Золото — въ вѣкъ другаго такого не нажить: дѣло у него въ рукахъ такъ и горить.... Разборку посуды по сортамъ тоже знаетъ!... Лучше Савельича, дай Богъ ему царство небесное, даромъ что молодъ... Намедни посуду съ нимъ разбирали, ему только взглянуть, тотчасъ видить куда чтò слѣдуетъ, въ какой значить сортъ, и каждый изъянецъ сразу замѣтитъ. Чаялъ дня въ два разобрать, съ нимъ въ одно утро управился. Золото парень, говорю, просто золото.

— А надолго нанялъ? спросилъ Иванъ Григорьичъ.

— Рядились до зимняго Никола. А теперь другой уго—  
✠ воръ. Порѣшили съ его старикомъ.

— Чтò порѣшили? спросилъ Иванъ Григорьичъ, прихлебывая пуншъ изъ большой золóченой чашки.

— Въ годы взялъ. Въ прикащики. На мѣсто Савельича къ заведенью и къ дому приставилъ, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.—Безъ такого человѣка мнѣ невозможно: перво дѣло за работой глазъ нуженъ, мнѣ одному не угладѣть; опять же по дѣламъ домъ покидаю на мѣсяцъ и на два и больше: надо на кого заведенье оставить. Для того и взялъ молодого Лохматаго.

— Вотъ какъ! молвилъ Иванъ Григорьичъ.—Дай Богъ тебѣ, куманекъ.

— Я рѣшилъ, чтобы какъ покойникъ Савельичъ былъ у насъ, такимъ былъ бы и Алексѣй, продолжалъ Патапъ Максимычъ.—Будетъ въ семьѣ какъ свой человѣкъ, и обѣдать съ нами и все.... Безъ того по нашимъ дѣламъ не возможно.... Слушаться не станутъ работники, бояться не будутъ коль прикащика къ себѣ не приблизить. Это они чувствуютъ.... Матренушка! кликнулъ онъ, маленько подумавъ, работницу, чтò возилась около посуды въ боковой горенкѣ.

Матрена вошла и стала у притолоки.

— Клики Алексѣя Трифонныча, сказалъ ей Патапъ Максимычъ.—Хозяинъ, молъ, велѣлъ скорѣе на верхъ взойти.

Ни жива, ни мертва сидѣла Настя. Аграфена Петровна, заводила съ ней рѣчь о томъ, о другомъ, ничего та не слыхала, ничего не понимала и на каждое слово отвѣчала невпопадъ.

— Да чтò съ тобой, Настенька? сказала наконецъ Аграфена Петровна.—Ровно ты не въ себѣ.

Ни слова не отвѣтила Настя. Аграфена Петровна пристально поглядѣвъ на нее подумала: Это нѣ спроста;

что-нибудь да есть на умѣ. Это не отъ того, что ждетъ жениха, другое что-нибудь тутъ кроется. Чтожь бы это такое?

Вошелъ Алексѣй. Настя поалѣла. Груня взглянула на нее: „Теперь понимаю,“ подумала.

Алексѣй былъ въ будничномъ кафтанѣ. Справивъ уставные поклоны передъ иконами, и низко поклонясь хозяйкамъ и гостямъ сталъ онъ передъ Патапомъ Максимычемъ.

— Кликнуть велѣли меня, молвилъ.

Оглянуль его съ ногъ до головы Чапуринъ, слегка подбоченился, и склонивъ немного голову на сторону, съ важностью спросилъ Алексѣя:

— Въ хорошей компаніи быть умѣешь?

— Какъ въ хорошей компаніи? спросилъ Алексѣй, смутясь неожиданнымъ вопросомъ и не понимая къ чему хозяинъ рѣчь свою клонить.

— Ну, вотъ, примѣромъ сказать, хоть бы съ нами теперь, сказала Патапъ Максимычъ.

— Не приводилось съ такими людьми, наклонивъ покорно голову, молвилъ Алексѣй.

Любо то слово показалось Патапу Максимычу, а вдвое больше по-сердцу пришлись покорный видъ Алексѣя, и рѣчь его почтительная.

— Гм! молвилъ Патапъ Максимычъ.—Одежа хорошая есть?

— Есть.

— Вырядись, приходи.

Алексѣй вышелъ. Аксиныя Захаровна съ удивленьемъ посмотрѣла на мужа. Не ждала она, чтобъ Патапъ Максимычъ на такую короткую ногу и такъ скоро приблизилъ Лохматого. „Правда, поступилъ онъ на мѣсто Савельича: значить его мѣсто, его и честь, думала Аксиныя Захаровна. Но Савельичъ былъ человекъ старый, опять же сколь-

ко годовъ въ дому выжилъ, а этого парня всего полтора недѣли, какъ знать-то зачали. Хорошій паренекъ, услужливый, почтительный, богомольный, а все бы не слѣдъ такъ приближать его. Вѣдь это, значить, съ нынѣшняго дня онъ, какъ Савельичъ, и обѣдать съ нами будетъ, и чай пить, а куда отъѣдетъ Патапъ Максимычъ, онъ одинъ мужчина въ семьѣ останется. Да такой молодой, да красавецъ такой и разумный. Злые люди не знай чего наплетутъ на дѣвонекъ.... Ахъ, батюшки свѣты, не ладно, не ладно!.... А что станешь дѣлать?... Самъ рѣшилъ.... Не переломимъ!....“

Видѣла Настя какъ пришелъ Алексѣй, видѣла какъ вышелъ, и ни слова изъ отцовскихъ рѣчей не проронила.... И думалось ей, что во снѣ это ей видится, а межъ тѣмъ отъ нечаянной радости сердце въ груди такъ и бьется.

Лукаво взглянула Фленушка на пріятельницу, дернула ее тихонько за сарафанъ, и найдя какое-то дѣло вышла изъ горницы.

— Молодецъ изъ себя! замѣтилъ Иванъ Григорьичъ по уходѣ Алексѣя.

— А ты не гляди снаружи, гляди снутри, сказалъ Патапъ Максимычъ.— Умница-то какой!... Все можешь сдѣлать, а ужъ на работу—бѣда!... Такъ я его, куманекъ, возлюбилъ, что, кажись, точно родной онъ мнѣ сталъ. Вотъ и Захаровна то же скажетъ.

— Добрый парень, неча сказать, молвила Аксинья Захаровна, обращаясь къ Ивану Григорьичу,— на всяку посылку по дому ретивый, и скромный такой, ровно красная дѣвка! Истинно, какъ Максимычъ молвилъ, какъ есть родной. Да что, куманекъ, съ глубокимъ вздохомъ прибавила она,—въ нынѣшне время иной родной во сто разъ хуже чужаго. Вонъ меня наградила Господь какимъ чадушкомъ. Братецъ-то родимый.... Напастъ только одна!

— А гдѣ онъ? спросилъ Иванъ Григорьичъ.

— У насъ обрѣтается, сухо промолвилъ Патапъ Максимычъ.—Намедни приволокъся какъ есть въ одной рубахѣ да въ дырявомъ полушубкѣ, растерзанный весь.... Хочу его на Узені по-веснѣ справить, авось уймется тамъ; на сорокъ верстъ во всѣ стороны нѣтъ кабака.

— Эка человѣкъ-отъ пропадаетъ, замѣтилъ Иванъ Григоричъ.—А вѣдь добрый, и парень бы хоть куда... Винище это проклятое.

— Не пьеть теперь, сказалъ Патапъ Максимычъ.— Не даютъ, а пропивать-то нечего.... Знаешь чтò, Аксинья, онъ тебѣ все же братъ, не одѣтъ ли его какъ слѣдуетъ, да не позвать ли сюда? Пусть его съ нами попразднуетъ. Моя одѣжа ему какъ разъ по плечу. Синяки-то на рожѣ прошли, человѣкомъ смотрить. Какъ думаешь?

— Какъ знаешь, Максимычъ, сдержанно отвѣтила Аксинья Захаровна.—Не начудилъ бы при чужихъ людяхъ чего, не осрамилъ бы насъ. Самъ знаешь, каковъ во хмѣлю.

— Не въ кабакѣ, чай, будетъ не передъ стойкой, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.—Напитъся не дамъ. А то, право, не ладно, какъ Снѣжковы послѣ провѣдаютъ, что въ самое то время, какъ они у насъ пировали, родной дядя на запорѣ въ подклѣтѣ, ровно какой арестантъ, сидѣлъ. Такъ ли кумъ, говорю? прибавилъ Чапуринъ, обращаясь къ Ивану Григоричу.

— Точно что не совсѣмъ оно ладно, замѣтилъ въ свою очередь Иванъ Григоричъ:

— И чтò жъ, въ самомъ дѣлѣ, это будетъ, мамынька! молвила Аграфена Петровна. — Пойдетъ тутъ у васъ пированье, работникамъ да странному народу столы завтра будутъ, а онъ, сердечный, одинъ, какъ оглашенный какой, въ заперти. Коль ему мѣста здѣсь нѣтъ, такъ ужъ въ самомъ дѣлѣ его запереть надо. Нельзя же ему съ работнымъ народомъ за столами сидѣть, слава пойдетъ нехо-

рошая. Сами-то, скажутъ, въ хоромахъ пируютъ, а брат роднаго со страннымъ народомъ сажаютъ. Не ладно, и мынька, право, не ладно.

— Пойду, обряжу его, сказалъ Патапъ Максимычъ, и ушелъ въ свою горницу, сказавъ мимоходомъ Матренѣ:— Позови Никифора.

„Родной дядя! Такъ онъ сказалъ, думала Настя.... Дядя, не братъ, онъ сказалъ. Значить, у тати и тутъ про меня дума была.... Охъ, чтобъ бѣдѣ не случиться!“...

Выйдя въ сѣни, Фленушка остановилась, оглянулась и всѣ стороны и кошкой бросилась внизъ по лѣстницѣ. Внизу пробѣжала въ подкѣтъ и распахнула дверь въ Алексеѣву боковушу.

Алексѣй вынималъ изъ укладки праздничное платье синюю хорошаго сукна сибирку, плисовые штаны, рубашку изъ александрійки.

— Чтò, безпутный, каково дѣло-то выгорѣло?... А? спросила Фленушка.

— Не знаю что и думать, Флена Васильевна, отвѣчалъ отъ радости себя не помнившій Алексѣй. — Не разберу во снѣ это, аль на яву.

Какъ щипнетъ его Фленушка изо всей силы за руку Алексѣй чуть не вскрикнулъ.

— Чтò?... Не во снѣ?... Ха, ха, ха.... Оббзумѣлъ?.. Постой, впереди не то еще будетъ, хохотала изо всей мочи Фленушка.

— А чтò будетъ?

— А то, что съ этого вечера каждый Божій день станешь ты обѣдать, и чай распивать со своей сударушкой

сказала Фленушка. — Что, безстыжій, сладко небойсь?... Ну, да теперь не о томъ говорить. Вотъ что: виду не подавай, особенно Аграфенѣ Петровнѣ; съ Настей слова сказать не моги, сиди больше около хозяина, на нее и глядѣть не смѣй. Она и то ровно на каленыхъ угольяхъ сидитъ, а тутъ еще ты придешь, да эти Снѣжковы.... Боюсь, при чужихъ чего не начудила бы.... А отужинають, минуты въ горницахъ не оставайся, сейчасъ сюда.... Слышишь?... Да вотъ еще что: коли когда услышишь, что надъ тобой три раза ногой топнули, въ окно гляди: птичка прилетитъ, ты и лови.... Да чтобъ чужихъ глазъ при томъ не было....

— Какая птичка? Что ты городишь? спросилъ Алексѣй, не понимая про что говорить ему Фленушка.

— Нечего тутъ, сказала она, — оболокайся скорѣй, да рожу-то свою безстыжую помой, космы-то причеши... Охъ, бить-то тебя некому!...

Мигомъ Фленушка взбѣжала на верхъ, и со скромной, умильной улыбкой вошла въ горницу.

Вскорѣ пришелъ Алексѣй. Въ праздничномъ нарядѣ такимъ молодцомъ онъ смотрѣлъ, что хоть сейчасъ картину писать съ него. Усѣвшись на стулѣ у окна, близъ хозяйна, глазъ не сводилъ онъ съ него и съ Ивана Григорыча. Помня приказъ Фленушки, только разокъ взглянулъ онъ на Настю, а послѣ того не смотрѣлъ и въ ту сторону, гдѣ сидѣла она.

Слѣдомъ за Алексѣемъ въ горницу Волкъ вошелъ, въ платьѣ Патапа Максимыча. Помолясь по уставу передъ иконами, поклонившись всѣмъ на обѣ стороны, подошелъ онъ къ Аксиныѣ Захаровнѣ.

— Здравстуй, разлюбезная сестрица!... желчно сказать. — Двѣ недѣли, по милости Патапа Максимыча, у васъ

живу, а съ тобой еще не успѣлъ повидѣться за великими твоими недосугами....

— Отойди, сурово отвѣтила брату Акинья Захарна. — Какъ бы воля моя, въ жизнь бы тебя не пускаю. Вотъ залетѣла ворона въ высоки хоромы. На, что ли! прибавила она, подавая ему чашку чая.

— А вотъ мы прежде первоначаль заложимъ, а потомъ можно тебѣ, сестрица моя любезная, и чайкомъ бѣда попотчиватьъ.

Никифоръ Захарычъ подошелъ къ столу съ графинемъ и закусками. Двѣ недѣли капельки у него во рту не вало; и теперь, остановясь передъ разноцвѣтными графинами, онъ созерцалъ ихъ какъ бы въ священномъ восторгѣ, и радостно потирая ладони, думалъ: „съ котораго начать“.

Вскочила съ мѣста Акинья Захаровна, и подошла къ брату, схватила его за рукавъ.

— И думать не моги! крикнула она. — Его какъ пуго обрядили, до хорошихъ людей допустили, а онъ не поди!... Не въ кабакъ, батя, затесался!... Прочь, прочь! И подходить къ водкѣ не смѣй!...

Распустивъ руки, Никифоръ Захарычъ стоялъ въ неловкомъ положеніи что теперь ему дѣлать. Не будь тутъ Патапа Максимыча, сумѣлъ бы онъ по-свойски отвѣтить сестрицѣ, сиди тутъ хоть сотня гостей. Но Патапа Максимыча шабашный Волкъ не на шутку боялся. Даже, когда и бывало ему по колѣна, всегда онъ держалъ себя перепуганно робко и приниженно. А тутъ еще эта Аграфья Петровна сидитъ да таково зорко глядитъ на него. Стыдно какъ-то передъ ней.... А пуще всего стыдно, вѣстно передъ Настей—любилъ онъ ее беззавѣтно, никогда почти съ ней не видался.... А выпить такъ и не можетъ.



Съ минуту продолжалась пытка Никифора. Даже потъ его прошибъ, слеза въ глазу блеснула. Патапъ Максимычъ дѣло рѣшилъ.

— Выпей, Никифоръ, сказалъ онъ ему.

— Охмѣлѣеть онъ, Максимычъ, осрамить при гостяхъ наши головы. Не знаешь, каковъ во хмѣлю живетъ? возражала Акинья Захаровна.

— Съ одной не охмѣлѣеть, другой не дамъ, рѣшилъ Патапъ Максимычъ, и обратясь къ Ивану Григорьичу, продолжалъ рассказывать ему про подряды.

Дрожащей рукою налилъ Никифоръ рюмку и выпилъ ее залпомъ. Затѣмъ, откромсавъ добрый кусокъ салфеточной ккры, намазалъ на ломоть хлѣба, и подойдя къ сестрѣ, сказалъ:

— Ну, теперь, сестрица, чаемъ подчуй. Давно не пивалъ этой дряни.

— Непутный! молвила Акинья Захаровна, подавая брату чашку ливсина.—Тоже чаю!... Не въ коня кормъ!... Алексѣюшка, продолжала она, обращаясь къ Лохматому,—пригляди хоть ты за нимъ, голубчикъ, какъ гости-то придутъ... Не подпускай ты его къ тому столу, не то вѣдь разомъ насвищется.

— И вправду, Алексѣй, присмотри за Никифоромъ, подтвердилъ Патапъ Максимычъ.—Не отходи отъ него и пить безъ моего приказа ему не давай. За ужиной сядь съ нимъ рядомъ.

Тутъ только замѣтилъ Никифоръ Алексѣя. Злобно сверкнули глаза у него. „А! дѣвушникъ! подумалъ онъ, и ты тутъ! Да тебя еще смотрѣть за мной приставили! Постой же ты у меня!.. Будетъ и на моей улицѣ праздникъ!“ И съ лукавой усмѣшкой посмотрѣлъ на Фленушку.

Послышался ямской колокольчикъ. Ближе и ближе. Кто-то къ дому подъѣхалъ.

— Не исправникъ ли, чтобъ ему пусто было, аль не становой ли! съ досадой сказалъ Патапъ Максимычъ, вставая съ мѣста и направляясь къ двери. Вотъ ужъ, поистинѣ, незванный гость хуже Татарина.

И всѣмъ стало неловко при мысли объ исправникѣ. Исправникъ и становой въ самомъ дѣлѣ пикогда не обѣзжали Осиповки, зная что у Чапурина всегда готово хорошее угощенье. Матушка Манеѳа, и хоть въ пріязни жила съ полицейскими чинами, однако поспѣшно вышла изъ горницы. Была она во всемъ иночествѣ, даже въ наметкѣ \*, а въ такомъ нарядѣ на глаза исправнику показываться не хорошо. Скитницы были обязаны подпиской иноческимъ именемъ не зваться, иноческой одѣжи не носить. Фленушка осталась въ горницѣ, на ней ничего запретнаго не было.

Минуты черезъ двѣ Патапъ Максимычъ ввелъ въ горницу новыхъ гостей. То былъ удѣльный голова Песоченскаго приказа Михайло Васильичъ Скорняковъ съ хозяйской, пріятель Патапа Максимыча.

Послѣ обычныхъ входныхъ поклоновъ передъ иконами, послѣ установленныхъ дѣдовскими преданьями привѣтствій и взаимныхъ пожеланій, усѣлись.

— Напугалъ же ты насъ своимъ колокольцомъ, Михайло Васильичъ, сказалъ Патапъ Максимычъ, подводя удѣльнаго голову къ столу съ водками и закусками. Мы думали, не исправника ль принесла нелегкая.

— Ха, ха, ха, громко захохоталъ Скорняковъ. — А развѣ нонѣ сталъ бояться властей предержажихъ?

---

\* Черный крестъ, что накидывается поверхъ шапочки (иночество), спускается въ роспускъ по плечамъ и спинѣ, закрывая лобъ черницы.

— Бояться, опричь Господа Бога, никого не боюсь, спѣсиво отвѣтилъ Чупуринъ, — а не люблю какъ чужой человѣкъ портить бесѣду. Съ чего жь это ты по-исправничьему съ колокольчикомъ ѣздишь?

— На стоешныхъ, изъ приказу пріѣхалъ, съ важностью погладивъ бороду, отвѣчалъ Михайло Васильевичъ.

Не успѣли Скорняковы по первой чашкѣ чаю выпить, какъ новые гости пріѣхали: купецъ изъ города, Сампсонъ Михайлычъ Дьяковъ, да пожилой человѣкъ, въ черномъ кафтанѣ съ мелкими пуговками и узенькимъ стоячимъ воротникомъ, — кафтанъ, какой обыкновенно носятъ рокожскіе, отправляясь къ службѣ въ часовню.

— Узналъ стараго пріятеля? поздоровавшись со всѣми бывшими въ горницѣ, спросилъ Дьяковъ у Патапа Максимыча.

Чупуринъ не узнавалъ.

— И я не призналъ бы тебя, Патапъ Максимычъ, коли бь не въ дому у тебя встрѣтился, сказалъ незнакомый гость. — Постарѣли мы, братъ, оба съ тобой, ишь и тебя сѣдиной что инеемъ подернуло.... Здравствуйте, матушка Аксинья Захаровна!... Не узнали?... Да и я бы не узналъ.... Какъ послѣдній разъ видѣлись, цвѣла ты какъ маковъ цвѣтъ, а теперь гляди-ка какая стала!.... Да.... Время идетъ да идетъ, а годы человѣка не красятъ.... Не узнаете?...

— Никакъ не признать, сказалъ Патапъ Максимычъ. — Голосъ будто знакомый, а вспомнить не могу.

— Стуколова Якимъ помнишь?... молвилъ гость.

— Якимъ Прохорычъ!... Дружище!... Да неужель это ты?... вскрикнулъ Патапъ Максимычъ, обнимаясь и цѣлуясь со Стуколовымъ. — А мы думали, что тебя и въ живыхъ-то давнымъ-давно нѣтъ... Откудава?... Какими судьбами?...

— Якимъ Прохорычъ! полходя къ нему, сказала Аксинья

Захаровна. — Сколько лѣтъ, сколько зимъ! И я не чаяла тебя на семь свѣтѣ. Ахъ, сватушка, сватушка! Чать не забылъ: сродни маленько бывали.

— Бывало такъ въ старые годы, Аксинья Захаровна, отвѣчалъ Стуколовъ.—Считались въ сватовствѣ.

И Заплатинъ, и Скорняковъ оказались тоже старыми пріятелями Стуколова, зналъ онъ и Никифора Захарыча, когда тотъ еще только въ годы входилъ. Дочерей Патапа Максимыча не зналъ Стуколовъ. Онѣ родились послѣ того какъ покинулъ онъ родину. Съ тѣхъ поръ больше двадцати пяти годовъ прошло и о немъ по Заволжью ни слуху, ни духу не было.

Стуколову было лѣтъ подъ шестьдесятъ. Былъ высокъ ростомъ, сухощавъ и съ перваго взгляда было замѣтно, что обладая большой тѣлесной силой, былъ одаренъ онъ неистомною силой воли, и необычною твердостью духа. Худощавое, смуглое лицо его было обрамлено густою, черною бородой, съ сильной просѣдью. Раскаленными углями свѣтились черные глаза его, и не всякій могъ долго выдерживать пристально устремленный на него взглядъ Стуколова. По всему было видно, что человѣкъ этотъ много видалъ на своемъ вѣку, а еще больше испыталъ тревоженій всякаго рода.

Началъ разспросы Стуколовъ, спрашивалъ про людей былого времени, съ которыми, живучи за Волгой, бывалъ въ близкихъ сношеніяхъ. И про всѣхъ почти, про кого ни спрашивалъ, давали ему одинъ отвѣтъ: „Померъ... померъ.... померла“.

Сидѣлъ Стуколовъ, склонивъ голову и глядя въ землю, глубоко вздыхалъ при такихъ отвѣтахъ. Сознавалъ, что, воротясь послѣ долгихъ странствій на родину, сталъ онъ въ ней чужаниномъ. Не то что людей, домовъ-то прежнихъ не было, городъ, откуда родомъ былъ, два раза

до тла выгоралъ и два раза вновь обстраивался. Ни родныхъ, ни друзей не нашелъ на старомъ пепелищѣ—всѣхъ прибралъ Господь. И тутъ-то спозналъ Якимъ Прохорычъ всю правду стараго русскаго присловья: „не временемъ годы долги,—долги годы отлучкой съ родной стороны“.

— Гдѣ жъ пропадалъ ты все это время, Якимъ Прохорычъ? спросилъ у странника Патапъ Максимычъ.

Маленько помолчавъ и окинувъ бѣглымъ взоромъ сидѣвшихъ въ горницѣ, Стуколовъ сталъ говорить тихо, истово, отчеканивая каждое слово:

— Не мало государствъ мною исхожено, не мало морей переѣхано, много всякихъ народовъ очами моими видано. Привелъ Господь во святой рѣкѣ Іорданѣ погружаться, Спасовъ живоносный гробъ цѣловать, всѣмъ святымъ мѣстамъ поклониться.... Много было странствій моихъ....

— Неужели всѣ двадцать пять лѣтъ ты въ странствѣхъ пребывалъ? спросилъ его Иванъ Григорычъ.—Чай поди, гдѣ и на мѣстѣ живалъ?

— Какъ не жить! Жилъ и на мѣстѣ, сказалъ Стуколовъ.—За Дунаемъ не малое время у Некрасовцевъ, въ Молдавіи у нашихъ христіанъ, въ Сибири, у казаковъ на Уралѣ... Опять же довольно годовъ выжилъ я въ Бѣловодѣ, тамъ, далеко, въ Опонскомъ государствѣ....

— Какое же это государство? Про такое я что-то не слыхивалъ, спросилъ у паломника Патапъ Максимычъ.

— Не мудрено, что про Опонское царство ты не слыхивалъ, сдержанно отвѣтилъ Якимъ Прохорычъ.—То государство не простое, не у всѣхъ на виду. Государство сокровенное....

— Сокровенное? въ недоумѣніи спросилъ Чапуринъ у Стуколова, а сидѣвшіе въ горницѣ съ изумленьемъ глядѣли на паломника.

Замолкъ Якимъ Прохорычъ. Не далъ отвѣта. Черезъ малое время спросилъ его Патапъ Максимычъ:

— Помнится, ты въ Москву уѣхалъ тогда, потомъ пали къ намъ слухи, что въ монастырѣ какомъ-то проживаешь, а послѣ того и слуховъ про тебя не стало.

— Постой, погоди.... всѣ странства по ряду вамъ расскажу, молвилъ Стуколовъ, выходя изъ раздумья и поднявъ голову.—Люди свои, земляки, старые други-пріатели. Вамъ можно сказать.

— Расскажи, расскажи, старый дружище, молвилъ Патапъ Максимычъ, кладя руку на плечо паломника. — Да чайку-то еще. Съ ромкомъ не хочешь ли?

— Не стану, а чайкомъ побаловаться можно, отвѣчалъ Стуколовъ, собираясь начать рассказъ про свои похождения.

— Постой, постой маленько, Якимъ Прохорычъ, молвила Акси́нья Захаровна, подавая Стуколову чашку чая.— Вижу о чемъ твоя бесѣда будетъ... Про святыню станешь рассказывать... Фленушка! Подъ клички сюда матушку Манею. Изъ самага моль Іерусалима пріѣхалъ гость, про святыя мѣста рассказывать хочетъ... Пусть и Евпраксеюшка придетъ послушать.

— Какая это Манея? спросилъ Стуколовъ, когда Фленушка вышла въ сѣни.

— Да Матрену-то Максимовну, сестру Патапа Максимыча, помнишь чай? сказала Акси́нья Захаровна.

— Матрена Максимовна?... оживляясь спросилъ сумрачный дотошъ странникъ. — Такъ она во иночествѣ?

— Давно. Больше двадцати годовъ какъ она пострижена. Теперь игуменствуетъ въ Комаровѣ, отвѣчала Акси́нья Захаровна.

— Такъ... такъ!... медленно проговорилъ Стуколовъ и задумался.

Вошла мать Манеёва съ Фленушкой и Евпраксией. Послѣ обычныхъ „метаній“ и поклоновъ, Якимъ Прохорычъ пристально поглядѣлъ на старушку и дрогнувшимъ нѣсколько голосомъ спросилъ у нея.

— Узнала ль меня, матушка Манеёва?... Аль забыла Якова Стуколова?

— Якимъ Прохорычъ!... быстро вскинувъ на паломника заблиставшими глазами, вскрикнула игуменья и вдругъ поправила „наметку“, опустила крепь на глаза...— Не чаяла съ тобой видѣться, прибавила она болѣе спокойно...

Пристальнымъ, глубокимъ взоромъ глядѣла она на паломника. Въ потускнѣвшихъ глазахъ старицы загорѣлось что-то молодое... Перебирая лѣстовку, игуменья чинно устылась, еще разъ поправила на головѣ наметку и поникла головою. Губы шептали молитву.

— Ну, рассказывай свои похождения, молвилъ Патапъ Максимычъ Якому Прохорычу.

Стуколовъ сталъ рассказывать, часто и зорко взглядывая на смущенную игуменью.

— Горько мнѣ стало на родной сторонѣ. Ни на что бы тогда не глядѣлъ я, и не знай куда бы готовъ былъ дѣваться!... Вотъ ужъ двадцать пять лѣтъ и побольше прошло съ той поры, а какъ вспомнишь, такъ и теперь сердце на клочья рваться начнетъ.... Молодость, молодость!... Горячая кровь тогда ходила во мнѣ... Не стерпѣлъ обиды, а заплатить обидчику было нельзя... И рѣшилъ я покинуть родную сторону чтобъ въ нее до гробовой доски не заглядывать....

Ниже и ниже склоняла Манеёва голову. Блѣдныя губы спѣшно шептали молитву. Еслибъ кто изъ бывшихъ тутъ пристальный поглядѣлъ на нее, тотъ замѣтилъ бы, что рука ея, перебирая лѣстовку, трепетно вздрагивала.

— Какая жь это обида, Якимъ Прохорычъ? спросилъ

Иванъ Григорьичъ. — Что-то не припомню я, чтобы передъ уходомъ изъ-за Волги съ тобой горе какое приключилось.

— Про то знаютъ Богъ, я да еще одна душа... Больше никто не знаетъ и никогда не узнаетъ.... Послушайте-ка, матушка Манеа, про мои странства по дальнимъ палестинамъ.... Какъ рѣшилъ я родное Заволжье покинуть, самъ съ собой тогда разсуждалъ: „куда жъ мнѣ теперь безродному приклонить бѣдную голову, гдѣ сыскать душевнаго мира и тишины, гдѣ найти успокоеніе помисловъ и забвеніе всего что было со мной.... Рѣшилъ въ монастырь идти, да подальше, какъ можно подальше отъ здѣшнихъ мѣстъ. Слыхалъ прежде про монастырь Лаврентьевъ, что стоитъ неподалеку отъ славной слободы Вѣтки. Житіе тамъ строгое. Не каменными стѣнами, не богатыми церквами красовалась обитель та,—красовалась она старческими слезами, денно-нощными трудами, постомъ да молитвой... Много тамъ было крѣпкихъ подвижниковъ, много иноковъ учительныхъ, въ дѣлѣ душевнаго спасенія искусныхъ. Было не мало и молодого, какъ я, народу: тогда въ Лаврентьеву обитель юноши изъ разныхъ сторонъ приходили, да управять души свои по словеси Господню. Всѣ молодые трудники чтенію божественныхъ книгъ прилежали и въ преданіяхъ церковныхъ были крѣпки и подвижны.... Безъ малаго пять лѣтъ выжилъ я съ ними, подъ начальствомъ блаженнаго старца, и открылъ мнѣ Господь разумъ писанія, разверзъ умныя силы и сподобилъ забыть все, все прошлое.... сподобилъ.... простить обидчику.... Въ пучинѣ божественнаго писанія и святоотческихъ книгъ чрезъ немалое время потопилъ я бывшее горе и прежнія печали.... И какъ скоро со мною такая перемѣна совершилась, возсталъ въ душѣ другая буря, по инымъ новымъ волнамъ душевный



корабль мой сталъ влятися.... Не сидѣлось на мѣстѣ, стало тянуть меня куда-то далеко, далеко, а куда самъ не знаю... Прискучили лѣса и пустыни, прискучили благочестивые старцы, не иноческой тишины мнѣ хотѣлось, хотѣлось повидѣть дальнія страны, посмотрѣть на чужія государства, поплавать по синему морю, походить по горамъ .высокимъ. Какъ птица изъ клѣтки рвался я на волю, чтобъ идти куда глаза глядятъ, — идти, пока гдѣ-нибудь смерть меня не настигнетъ... Хотѣлъ бѣжать изъ обители, думалъ въ мѣръ назадъ воротиться, но Богъ не попустилъ... Приѣзжали въ то время къ нашему отцу игумену Аркадію зарубежные старцы изъ молдавскихъ монастырей, въ Питерѣ по сборамъ были и возвращались восвояси. Два дня и двѣ ночи игуменъ Аркадій тайныя рѣчи велъ съ ними, на третій всѣхъ молодыхъ трудниковъ призывалъ въ келью къ себѣ. Пришло насъ пятнадцать человекъ. И сталъ намъ сказывать отецъ Аркадій про оскуднѣіе благочестиваго священства, про душевный гладъ, христіанъ постигшій. „А есть, говоритъ, въ дальнихъ странахъ мѣста сокровенныя, гдѣ старая вѣра соблюдена въ цѣлости и чистотѣ. Тамъ она непорочная невеста Христова среди бусурманъ яко свѣтило сіяетъ. Первое такое мѣсто на райской рѣкѣ на Евфратѣ, промежь рубежей турскаго съ персидскимъ, другая страна за Египтомъ—зывается Емаканъ, въ землѣ Опваидской, третье мѣсто за Сибирью, въ сокровенномъ Опоньскомъ государствѣ. Вотъ бы, говоритъ отецъ игуменъ, порады вамъ, труднички молодые, положить ваши труды на спасеніе всего христіанства. Поискать бы вамъ благодать таковую, тамъ вѣдь много древлеблагодатныхъ епископовъ и митрополитовъ. Вывезти бы вамъ хоть одного въ наши русскіе предѣлы, утвердили бы мы въ Россіи корень священства, утолили бы душевный гладъ многого народа. Свои

бы тогда у насъ попы были, не нуждались бы мы въ бѣглецахъ никоньянскихъ.... И еще исполните мое слово— въ семь мѣсѣвъ будетъ вамъ отъ людей похвала и слава, а въ будущемъ вѣцѣ отъ Господа неизглаголанное блаженство“.... Какъ услышалъ я такіе глаголы, тотчасъ игумену земно поклонился, сталъ просить его благословенія на подвигъ дальняго странства. За мной другіе трудники поклонились: повелѣніе пославшаго всѣ готовы исполнить. Снабдилъ насъ игумень деньгами на дорогу, далъ для памяти тетрадки; какъ и гдѣ искать благочестныхъ архіереевъ.... И пошли мы пятнадцать человѣкъ къ рѣкѣ Дунаю, пришли во градъ Измаиль, а тамъ ужъ наши христіане насъ ожидаютъ, игумень Аркадій къ нимъ отписалъ до нашего приходу. Безъ паспортовъ пропускъ за Дунай былъ заказанъ, стояла по берегу великая стража, никого безъ паспорта за рѣку не пускала. Въ камыши спровадили насъ христіяне, а оттолѣ ночью въ рыбацкихъ челнокахъ, крадучись яко тати, на турецкую сторону мы перебрались. Тутъ пошли мы въ славное Кубанское войско, то наши христіане казаки, что живутъ за Дунаемъ, Некрасовцами зовутся. Соблюли они старую вѣру и всѣ преданія церковныя сохранили. Хорошо было намъ жить у нихъ и привольно. Богатѣйшія у нихъ тамъ рыбныя ловли и земли вдоволь; хлѣбомъ, виноградомъ, кукурузой, и всякимъ овощемъ тамъ преизобильно. А живутъ тѣ Некрасовцы во ослабѣ: старую вѣру соблюдаютъ, ни отъ кого въ томъ нѣтъ имъ запрету; дѣлами своими на „кругахъ“ заправляютъ, турецкому султану дани не платятъ, только какъ война у Турки зачнется, полки свои на службу выставляютъ... Прожили мы у Некрасовцевъ безъ мала полгода, въ ихнемъ монастырѣ, а зовется онъ Славой, и жили мы тамъ въ изобиліи и довольствѣ. Еще больше тутъ къ намъ изъ Россіи путниковъ на дальнее странство набра-

лось—стало всего насъ человѣкъ съ сорокъ. И поплыли мы къ Царьграду по Черному морю, и поживши малое время въ Царьградѣ, переплыли въ клюкахъ Мраморное море и тамо опять пришли къ нашимъ старообрядцамъ, тоже къ казакамъ славнаго Кубанскаго войска, а зовется ихъ станица Майносомъ. Оттоль пошли къ райской рѣкѣ Евфрату.....

Смолкъ Якимъ Прохорычъ. Жадно всѣ его слушали, не исключая и Волка. Правда, раза два задумывалъ онъ подъ шумокъ къ графинамъ пробраться, но замѣтивъ слѣдившаго за нимъ Алексѣя, какъ ни въ чемъ не бывало повертывалъ назадъ и возвращался на покинутое мѣсто.

— Что жь? Дошли до Евфрата?.. спросила Аксинья Захаровна.

— Изъ сорока человѣкъ дошло только двадцать, продолжалъ паломникъ.—Только двадцать!... Зарыли остальныхъ въ пескахъ да въ горныхъ ущельяхъ.... Десять недѣль шли: на каждую недѣлю по два покойника!... Голодь, болѣзни, дикіе звѣри, разбойники да басурманскіе народы—вездѣ бѣды, вездѣ напасти... Но не смущалось сердце наше, и мы шли, шли, да товарищей хоронили.... Безвѣстны могилки бѣдныхъ, никому ихъ не сыскать и некому надъ ними поплакать!... Прошли мы вдоль рѣки Евфрата, были межъ турецкой и персидской границей и не нашли старообрядцевъ.... А смерть путниковъ косила да косила.... Назадъ къ Цареграду повертели. Шли, шли и помирали.... И никому-то не хотѣлось лечь на чужой сторонѣ, всякой-то про свою родину думалъ, и умирая, слезно молилъ товарищей, какъ умереть, снять у него съ креста ладонку, да разрѣзавши посыпать лицо его эашиною тамъ русской землею.... У меня одного ладонки съ родной земли не бывало... И востосковалось же тогда сердце мое по матушкѣ по Россіи.... Въ Царьградъ я одинъ воротился, молодые

трудники всё до единого пошли въ мать сыру землю.... Добрель до Лаврентьева и про все разказалъ отцу игумну подробно. Справилъ онъ по нихъ соборную панихиду, имена ихъ записать въ синодикъ, постѣнный и литейный, и дѣла не покинулъ. Нудить опять меня: „Ступай, говорить, въ Емакань, въ страну Ѡивайдскую, за Египеть. Тамъ безпремѣнно найдешь епископовъ; недавно, говорить, нѣкіе христіюбцы тамо бывали, про тамошнее житіе намъ писали. Новые трудники на подвигъ странства смыслись, опять все люди молодые, всего двадцать пять человѣкъ... Какъ бывалаго человѣка, меня съ ними послали.... Тѣмъ же путемъ въ Царьградъ мы пошли, тамъ на корабли сѣли и поѣхали по Бѣлому морю \*, держа путь ко святому граду Іерусалиму. Были у Спасова гроба, зрѣли какъ всё вѣры на единомъ мѣстѣ служить. Отслужать свою обѣдню Армяне, пойдутъ за ними Латины, на мѣстѣ святѣ въ бездушные органи играютъ, а за ними пойдутъ Сирійцы да Копты, молятся нелѣпно, козлоглазуютъ, потомъ пойдутъ по-своему служить Арабы, а сами всё въ шапкахъ и чуть не голы, пляшутъ, бѣснуются вокругъ Христова гроба. Тутъ и греческіе служатъ.... Не обрѣли мы древляго благочестія ни въ Іерусалимѣ, ни въ Виелеемѣ, ни на святой рѣкѣ Іорданѣ — всюду пестро и развращенно!... Поплакали, видя сіе, и пошли во градъ Іоппію; сѣли на корабль, и привезли насъ корабельщики во Египеть. Пошли мы вверхъ по рѣкѣ Нилу, шли съ караванами пѣши, дошли до земли Ѡивайдской, только никто намъ не могъ указать земли Емаканьской, про такую, дескать, тамъ никогда не слыхали.... И напала на насъ во Египтѣ чума: изъ двадцати пяти человѣкъ осталось насъ двое.. Поплыли назадъ въ Россію, добрели до отца

---

\* Архипелагъ.

игумна, обо всемъ ему доложили: „Нѣтъ молъ за Египтомъ никакой Емакани, нѣтъ молъ въ Оивайдѣ древлей вѣры...“ И опять велѣлъ игуменъ служить соборную паннихиду, совершить поминовенье по усопшихъ, ради Божія дѣла въ чуждыхъ странахъ животъ свой скончавшихъ.... А потомъ опять меня призываетъ, опять на новый подвигъ странствія посылаетъ. „Есть, говорить, въ крайнихъ восточныхъ предѣлахъ за Сибирью христоподражательная древняя церковь асирскаго языка. Тамо въ Опоньскомъ царствѣ, на Бѣловодѣ, стоитъ сто восемьдесятъ церквей безъ одной церкви, да кромѣ того російскихъ древлаго благочестія церквей сорокъ. Имѣютъ тѣ російскіе люди митрополита и епископовъ асирскаго поставленья. А удалились они въ Опонское государство, когда на Москвѣ измѣненіе благочестія стало. Тогда изъ честнѣйшаго обители Соловецкой да изъ многихъ иныхъ мѣстъ много народу туда удалилось. И свѣтскаго суда въ томъ Опонскомъ государствѣ они не имѣютъ, всѣми людьми управляютъ духовныя власти...“ „Иди тебѣ за сибирскіе предѣлы, искать за ними того Бѣловодя, доставить къ намъ епископа древней вѣры благочестивой. А товарищи тебѣ готовы.“ Такъ повелѣлъ мнѣ игуменъ.—Шесть недѣль мы въ Лаврентьевой обители прожили, ровно погостили, и потомъ всемеромъ пошли къ Бѣловодю. Дошли въ Сибири до рѣки Катуня и нашли тамъ христолюбивыхъ страннопріимцевъ, что русскихъ людей за Камень въ Китайское царство переводятъ. Тамо множество пещеръ тайныхъ, въ нихъ странники привитаютъ, а немного подалѣ стоятъ снѣговыя горы, верстъ за триста, коли не больше ихъ видно. — Перешли мы тѣ снѣговыя горы и нашли тамъ келью да часовню, въ ней двое старцовъ пребывало, только не нашего были согласу, священства они не пріемлютъ. Однакожь путь къ Бѣловодю намъ указали и проводника

по маломъ времени сыскали.... шли мы черезъ великую степь Китайскимъ государствомъ сорокъ и четыре дня сряду. Чего мы тамъ ни натерпѣлись, какихъ бѣдъ-напастей ни испытали; сторона незнакомая, чужая, и совсѣмъ какъ есть пустая—нигдѣ человѣчья лица ни увидишь, одни звѣри бродятъ по той по пустынѣ. Двое нашихъ путниковъ тѣми звѣрями при нашемъ видѣннѣ заѣдены были. Воды въ той степи мало, иной разъ дня два идешь, хотя бѣ калужинку какую встрѣтить; а какъ увидишь издали свѣтлую водицу, бѣжишь къ ней бѣгомъ, забывая усталость. Такъ однажды, увидавши издали рѣчку, побѣжали мы къ ней водицы напиться;—бѣжимъ, а изъ камышей какъ прыгнетъ на насъ звѣрь дикій, самъ полосатый и ровно кошка, а величиной съ медвѣдя, двухъ странниковъ растерзалъ во едино мгновеніе ока.... Много было бѣдъ, много напастей!... Но дошли таки мы до Бѣловодья. Стоитъ тамъ глубокое озеро да большое, ровно какъ море какое, а зовутъ то озеро Лопонскимъ \* и течетъ въ него отъ запада рѣка Бѣловодье \*\*. На томъ озерѣ большіе острова есть, и на тѣхъ островахъ живутъ русскіе люди старой вѣры. Только и они священства не приѣмлютъ, нѣтъ у нихъ архіереевъ и никогда ихъ тамъ не бывало.... Прожилъ я въ томъ Бѣловодѣ безъ малаго четыре года. Выпуску оттудова пришлымъ людямъ нѣту, боятся тѣ Опонцы, чтобъ на Руси про нихъ не спознали и назадъ въ русское царство ихъ не воротили.... И живучи въ тѣхъ мѣстахъ, очень я по Россіи стосковался. Думаю себѣ „пускай мнѣ хоть голову снимутъ, а уйду же я отъ тѣхъ Опонцевъ въ Россійское царство“. А тамъ въ первые

---

\* Лопъ-Норъ, на островахъ котораго и по берегамъ, говорятъ, живетъ нѣсколько заблуждѣнныхъ раскольниковъ.

\*\* Аксу—что значитъ по-русски *бѣлая вода*.

три года свѣжаковъ \* съ острововъ на берегъ великаго озера не пускаютъ, пока не увѣрятся, что не сбѣжитъ тотъ человѣкъ во матушку во Россію. На четвертомъ году хозяинъ, у котораго я проживалъ въ батракахъ, сталъ меня съ собой брать на рыбную ловлю. И ужъ скажу жъ я вамъ что только тамъ за рыбныя ловли! Много рѣкъ видалъ я на своемъ вѣку: живалъ при Дунаѣ, и на тихомъ Донѣ, а матушку Волгу съ верху до низу знаю, на вольномъ Яикѣ на багреняхъ бывалъ, за бабушку Гургиху пивалъ \*\*, всѣ сибирскія великія рѣки мнѣ вѣдѣльны, а нигдѣ такого рыбнаго улова я не видалъ какъ на томъ Бѣловодѣ!... Кажется, какъ къ нашимъ мѣстамъ бы да такія воды, каждый бы нищій тысячникѣмъ въ одинъ годъ сдѣлался. Такое во всемъ приболѣе, что нигдѣ по другимъ мѣстамъ такого не видно. Всякіе земные плоды тамъ въ обилии родятся: и виноградъ и пшено сорочинское; одно только плохо: матушки ржицы нѣтъ и въ заводѣ... Но какъ ни привольно было жить въ томъ Бѣловодѣ, все то меня въ Россію тянуло. Взялъ меня однажды Сидоръ — хозяинъ мой—на рыбную ловлю, перѣхали озеро, въ камышахъ пристали. Грѣшный человѣкъ, хотѣлъ его соннаго побывшить \*\*\*, да зазрѣла совѣсть. Пьянъ онъ былъ на ту пору: чуть не полкувшина кумышки изъ сорочинскаго пшена съ вечера выпилъ, перевязалъ его веревками, завернулъ въ сѣти, самъ бѣжалъ въ степи... Три мѣсяца бродилъ я, питаюсь кореньями да дикимъ лукомъ... Не зная дороги, все на сѣверъ держалъ по звѣздамъ да по солнцу. На рѣку, бывало, на-

---

\* Новый, недавній пришлецъ.

\*\* Бабушка Гургиха уральскими (прежде яицкими) казаками считается ихъ родоначальницей. Послѣ багренья рыбы и на всякихъ иныхъ пирахъ первую чару тамъ пьютъ за бабушку Гургиху.

\*\*\* Убить.

ткнешься, попробуешь броду, нѣтъ его, и пойдешь обходить ту рѣку; иной разъ идешь верстъ полсотни и больше. На сибирскомъ рубежѣ стоятъ снѣжныя горы; безъ проводника, не зная тамошнихъ мѣстъ, ихъ ввѣкъ не перелѣзть, да послалъ Господь мнѣ добраго человѣка изъ варнаковъ—бѣглый каторжный значить—вывелъ на Русскую землю!.... Спаси его Господи и помилуй!

Замолчалъ Якимъ Прохоровичъ и грустно склонилъ голову. Всѣ молчали подъ впечатлѣньемъ разказа.

— Что жъ опять ты пошелъ въ монастырь къ своему игумну? черезъ нѣсколько минутъ спросилъ у паломника Патапъ Максимычъ.

— Не дошелъ до него, отвѣчалъ тотъ. — Дорогой узналъ, что монастырь нашъ закрыли, а игуменъ Аркадій за Дунай къ Некрасовцамъ перебрался... Еще свѣдалъ я, что тѣмъ временемъ какъ проживалъ я въ Бѣловодѣ, наши сыскали митрополита и водворили его въ австрійскихъ предѣлахъ. Побрелъ я туда. Съ немалымъ трудомъ и съ большою опаской перевели меня христіанцы за рубежъ австрійскій, и сподобилъ меня Господь узрѣть недостойными очами святую митрополию Бѣлой Криницы во всей ея славі.

— Расскажи намъ про это мѣсто, спрашивалъ Стуколова Патапъ Максимычъ. — Все расскажи, поподробнѣе.

— Поистинѣ, съ торжественностью продолжалъ паломникъ, — явился благодать спасительная всѣмъ человѣкомъ, живущимъ по древлеблагочестной вѣрѣ. Нашелъ я въ Бѣлой Криницѣ радость духовную, ликованіе немолкаемое о господинѣ владыкѣ митрополитѣ, о епископахъ, и о всемъ чину священномъ. Двѣсти лѣтъ не видано и не слыхано было у нашихъ христіанъ своей священной іерархіи, нынѣ она во очію зрится. Притекъ я въ Бѣлую Криницу, встрѣтилъ тамъ кое-кого изъ лав-



рентьевскихъ мниховъ. Меня узнали, властямъ монастырскимъ обо мнѣ доложили. Разсказалъ я имъ по ряду про свое сибирское хожденіе и про житіе въ Бѣловодѣ. Они меня страннаго всѣмъ упокоили, келью мнѣ дали и одѣжу монастырскую справили. Былъ и у самого владыки Амвросія подъ благословеньемъ, и онъ черезъ толмача много меня разспрашивать изволилъ обо всѣхъ моихъ по дальнимъ странамъ хожденьяхъ. Прожилъ я въ той Бѣлой Криницѣ два съ половиною года, ѣздилъ оттоль и за Дунай въ некрасовскій монастырь Славу, и тамо привелъ меня Богъ свидѣться съ лаврентьевскимъ игуменомъ Аркадьемъ. Не мало вечеровъ въ тайныхъ бесѣдахъ у насъ протекло съ симъ учительнымъ старцемъ. Много, разсказывалъ я ему про три хожденія наши: про евфратское, египетское и въ Бѣловодѣ. И скорбѣлъ я передъ нимъ, заливаясь слезами: „Не благословилъ Богъ нашъ подвигъ: больше семидесяти учениковъ твоихъ, отче, три раза въ дальнія страны ходили и ничего не сыскали, и всѣ-то семьдесятъ учениковъ полегли во чужихъ странахъ, единъ азъ грѣшный въ живыхъ остался.“ Отвѣчалъ на такіа рѣчи старецъ, меня утѣшая, а самъ отъ очію слезы испуская: „Не скорби, брате, говорилъ онъ, не скорби и душевнаго унынія бѣгай: еще троечастный твой путный подвигъ и тщетенъ остался, но паче возвеселиться долженъ ты нынѣ съ нашими радостными лики: обрѣли мы святителей, и теперь у насъ полный чинъ священства. За труды твои церковь тебя похваляетъ и всегда за тебя молить Бога будетъ, а трудникамъ, что нужною смертію въ пути животъ свой скончали—буди имъ вѣчная память въ роды и роды!...“ Тутъ упалъ я къ честнымъ стопамъ старца, открылъ передъ нимъ свою душу, повѣдалъ ему мои сомнѣнія: „Прости, сказалъ ему, святой отче, разрѣши недоумѣнный мой помыслъ. Корень іерархіи нашей отъ Гре-

ковъ изыде, а много я видалъ греческихъ властей въ Царьградѣ, въ Іерусалимѣ, и во Египтѣ: пестра ихъ вѣра, благочестія обнажена совершенно. Какъ же новая іерархія отъ столь мутнаго источника изыде, како въ свѣтлую рѣку претворися? “ И довольно поучилъ меня старецъ Аркадій, и бесѣдою душеполезной растопилъ окаменѣлое мое сердце, отогналъ отъ меня лукаваго духа. Потомъ и самъ я изслѣдовалъ все дѣло подробно и со многими искусными въ божественномъ писаніи старцами много бесѣдовалъ и въ конецъ удостовѣрился, что наша священная іерархія истинна и правильна.... Ей! Передъ Господомъ Богомъ свидѣтельствую вамъ и всѣхъ васъ совершенно завѣряю, прибавилъ, вставая съ мѣста и подходя къ иконамъ, паломникъ,—истинна древлеправославная австрійская іерархія, нѣтъ въ ней ни едины порока!

Медленною поступью подошла Манеѳа къ паломнику и твердымъ голосомъ сказала:

— Не чаяла тебя видѣть, Якимъ Прохорычъ!... Какъ изъ гроба сталъ предо мною... Благодарю Господа и поклоняюся Ему за всѣ чудодѣянія, какія оказалъ Онъ надъ тобою.

Поклонилась мать Манеѳа паломнику и скорой, едва слышной поступью пошла изъ горницы, а поровнявшись съ Фленушкой, сказала ей шепотомъ:

— Пойдемъ.... Евпраксію позови.... Укладываться... Чѣмъ свѣтъ поѣдемъ.

— Зачѣмъ же ты, Якимъ Прохоровичъ, ушелъ изъ митрополіи? спросила Аксиныя Захаровна у Стуколова.

— Творя волю епископа, преосвященнаго господина Софронія, внушительно отвѣчалъ онъ и, немного помолчавъ, сказалъ:—Черезъ два съ половиной года послѣ того какъ водворился я въ Бѣлой Криницѣ, прибылъ нѣкій благочестивый мужъ Степанъ Трифонычъ Жировъ, начетъ

чикъ великій, всей Москвѣ знаемъ. До учрежденія митрополіи утѣлялъ онъ въ Россіи душевный гладъ христіанъ, привлекая въ древлему благочестію никоніанскихъ іереевъ. Письма привезъ онъ изъ Москвы, и скоро его митрополитъ по всѣмъ духовнымъ степенямъ произвелъ: изъ простецовъ въ пять дней сталъ онъ епископъ Софроній и воротился въ Россію. Бѣлокриницкія власти повелѣли мнѣ находиться при немъ. Съ нимъ и пріѣхалъ я до Москвы.

— И за Волгу онъ же прислалъ тебя? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Онъ же, — только совсѣмъ по другому дѣлу. Не по церковному, отвѣчалъ Якимъ Прохорычъ.

— Что за дѣло? продолжалъ разспросы Патапъ Максимычъ.

Стуколовъ замолчалъ.

— Коли клятвы не положено чтобы тайны не повѣдать, что не говоришь?... сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Клятвы не положено и приказу молчать не сказано, вполголоса проговорилъ Стуколовъ.

— Зачѣмъ же насъ въ невѣдѣнны держишь? сказалъ Патапъ Максимычъ. — Здѣсь свои люди, стары твои друзья, кондовые пріятель, а кого не знаешь — то чада и домо-чадцы ихъ.

Молчалъ Якимъ Прохорычъ.

— Видно, долга разлука холодить старую дружбу вполголоса промолвилъ Чапуринъ Ивану Григорычу.

— Скажу, молвилъ Стуколовъ. — Только не при женахъ говорить бы....

— Ахъ, батька! Уйти можемъ, вскрикнула Аксиныя Захаровна. — Настя, велика Матренѣ заѣдки-то въ задню нести. Пойдемте, Арина Васильевна, Грунюшка, Параша. Никифору-то не уйти ли съ нами, Максимычъ?

— Ступай-ка съ ними въ самомъ дѣлѣ, сказалъ ему Патапъ Максимычъ.

Никифоръ пошелъ, съ горестью глядя, что Матрена въ заднюю несетъ однѣ сладкія заѣдки. Разноцвѣтные графинны и солененькое остались, по приказу хозяина, въ передней горницѣ.

Обвелъ собесѣдниковъ глазами, Стуколовъ началъ:

— Вотъ вы тысячники, богатѣи: пересчитать только деньги ваши такъ не одинъ разъ устанешь.... А я что передъ вами?... Убогій странникъ, нищій, калика переходжій.... А стоить мнѣ захотѣть, всѣхъ богаче буду миллионщиковъ?... Не хочу. Отрекся отъ міра и отъ богатства отказался....

— Научи насъ какъ сдѣлаться миллионщиками, слегка усмѣхнувшись, сказалъ удѣльный голова.

— И научу... И будете миллионщиками, отвѣчалъ Стуколовъ.—Безпремѣнно будете.... Мнѣ не надо богатства... Передъ Богомъ говорю.... Только маленько работы отъ васъ потребуется.

— Какой же работы? спросилъ голова.

— Не больно тяжелой; управиться сможете. Да не о томъ теперь рѣчь... Покамѣсть... съ запинками говорить Стуколовъ...—Землянаго масла хотите? примолвилъ онъ шепотомъ.

Всѣ переглянулись.

— Что за масло такое? Чапуринъ спросилъ.

— Не слыхалъ?... съ лукавой усмѣшкой отвѣтилъ паломникъ.—А изъ чего это у тебя сдѣлано? спросилъ онъ Патапа Максимыча, взявши его за руку, на которой для праздника надѣты были два дорогіе перстня.

— Изъ золота.

— По-нашему, по-сибирски—это земляное масло. Видалъ ли кто изъ васъ какъ въ землѣ-то сидитъ оно?

— Кому видѣть? Никто не видалъ, отозвался Чупуринъ.

— А я видалъ, сказалъ паломникъ.—Бывало какъ жилъ въ сибирскихъ тайгахъ, самъ доставалъ это масло, все это дѣло знаю вдоль и поперекъ. Не въ пронось будь слово сказано, знаю какимъ способомъ и въ Россію можно его вывозить... Смекаете?

— Да вѣдь это далеко, замѣтилъ Патапъ Максимичъ.— Въ Сибири. Намъ не рука.

— Ближе найдемъ, отвѣчалъ паломникъ....—По золоту ходите, по серебру бродите... Понимаете вы это?

— Развѣ есть за Волгой золото? Быть того не можетъ! Шутки ты шутишь надъ нами, сказалъ удѣльный голова.

— Извѣстно, здѣсь въ Осиповкѣ опричь илу да песку нѣтъ ничего. А по близости найдется, сказалъ Стуколовъ.—Слушайте: дорогою, какъ мы изъ австрійскихъ предѣловъ съ епископомъ въ Москву ѣхали, рассказалъ я ему про свои хождения, говорилъ и про то, какъ въ сибирскихъ тайгахъ землянымъ масломъ заимствовался. Епископъ тутъ и открылся мнѣ: допрежь въ Москвѣ постоянный дворъ онъ держалъ, и нѣкіе отъ христіанъ земляное масло изъ Сибири ему вазивали, въ осетрахъ да въ бѣлугахъ, еще въ меду. Епископа братъ путь-дорогу привезенному маслу показывалъ, куда, значитъ, слѣдуетъ идти ему. Хотя дѣло запретное, да находились люди, что съ радостью масло то покупали. Однакожь начальство свѣдало. Тогда и пришло на мысль епископу, чѣмъ тайно сбытомъ землянаго масла займаться, лучше настоящимъ дѣломъ, какъ есть по закону, искать золота. Въ Сибирь не разъ Жировы ѣздили пріиска открывать. Найти золотой пріискъ тамъ немудреное дѣло, только нашему брату не дадутъ имъ пользоваться. Ты сыщешь, а богатый золотопромышленникъ изъ-подъ носу его у тебя выхватить, къ своимъ рукамъ прибереть, а тебя изъ тайги-то въ зашей,

чтобъ и духа твоего тамъ не было. Это такъ, это я самъ видалъ, какъ въ Сибири проживалъ. И узналъ преосвященный наитъ владыка, что недалече отъ родины его, въ Калужской, значить, губерніи, тоже есть золото. Поглядѣли, въ самомъ дѣлѣ нашли песокъ золотой. Не оглашая дѣла, купили они золотоносное мѣсто у тамошняго барина, пятьдесятъ десятинъ. Въ Петербургъ пробы возили; тамъ пробу дѣлали и сказали, что точно тутъ золото есть \*. Разсказавши про такое дѣло, епископъ и говорить: „Этимъ дѣломъ мнѣ теперь заниматься нельзя, санъ не дозволяетъ, но есть, говорить, у меня братья родные и другіе пріатели, они при томъ дѣлѣ будутъ... А передъ самымъ, говорить, отъѣздомъ моимъ въ Бѣлу-Криницу, мнѣ отписывали, что за Волгой по тамошнимъ лѣсамъ водится золото. Я, говорить, тебя туда за мѣсто послушанія пошлю спровѣдать, правду ль мнѣ отписывали, а если найдешь, предложи тамъ кому изъ христіанъ, не пожелаетъ ли кто со мной его добывать“.... Вотъ я и пришелъ сюда, творя волю пославшаго.

— Чѣмъ жь, нашель? съ нетерпѣньемъ спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Видимо-невидимо! отвѣтилъ Стуколовъ. — Всю Сибирь вдоль и поперекъ изойди, такого богатства не сыщешь. Золото само изъ земли лѣзетъ.... Смотрите!

---

\* Истинное происшествіе. Кочуевъ, которому принадлежит первая мысль объ устройствѣ бѣлокриницкой іерархіи, вмѣстѣ съ братьями Жировыми, купцомъ Заказновымъ и племянникомъ своимъ Александромъ Кочуевымъ, искали золото въ Калужской губерніи. Для этого въ 1849 году купили у г. Поливанова 50 десятинъ земли, и чтобы не огласить цѣли покупки, говорили, что думаютъ устроить химическій заводъ. Заказновъ привезъ въ Петербургъ непромытый песокъ, говоря что онъ взятъ на купленной у Поливанова землѣ. По свидѣтельству пробырера Гронмейера, въ пудѣ непромытаго песка съ глиной найдено было  $6\frac{1}{4}$  долей золота и 25 долей серебра.

И вынувъ изъ кармана замшевый мѣшокъ, въ какихъ крестьяне носятъ деньги, Стуколовъ развязалъ его, и густая струя золотого песку посыпалась на чайное блюдечко.

Всѣ столпились вокругъ стола и жадно смотрѣли на золотую струю. Ни слова, ни звука.... Даже дыханье у всѣхъ сперлось. Одинъ маятникъ стѣнныхъ часовъ мѣрно чикалъ за перегородкой.

Вдругъ скрипъ полозьевъ. Остановились у воротъ сани. Внизу забѣгали, въ сѣняхъ засуетились.

Патапъ Максимычъ очнулся и побѣжалъ гостей встрѣчать. Паломникъ, не торопясь, высыпалъ золотой песокъ съ блюдечка въ мѣшокъ и крѣпко завязалъ его.

— Гдѣ нашелъ?.. Въ коемъ мѣстѣ? спрашивалъ его Алексѣй, едва переводя духъ и схвативъ паломника за руку.

— Неподалеку отсюда, въ лѣсу.... равнодушно молвилъ Стуколовъ, кладя мѣшокъ въ карманъ.

Загорѣлись у Алексѣя глаза. „Вотъ счастье-то Богъ посылаетъ“, подумалъ онъ... „Накопаю я этого масла, тогда“...

Патапъ Максимычъ вошелъ въ горницу, ведя подъ руку старика Снѣжкова. За нимъ шелъ молодой Снѣжковъ.

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Струя золотого песку, пущенная паломникомъ, ошеломила гостей Патапа Максимыча. При Снѣжковыхъ разговоръ не клеился. Данилѣ Тихоничу показалось страннымъ, что ему отвѣчаютъ не-хотя и невпопадъ и что самъ хозяинъ былъ какъ бы не по себѣ.

„Что за притча такая?“ думаютъ Снѣжковы. „Звали именинный пиръ пировать, невѣсту хотѣли показывать, родниться затѣвали, а пріѣхали — такъ хоть бы пустымъ словомъ встрѣтили насъ. Будто и не рады, будто мы

лишіе, нежданные." Коробило отца Снѣжкова—самолюбивъ былъ старикъ.

Межь тѣмъ Патапъ Максимычъ, улуча минуту, подошелъ къ Стуколову. Стоя у божницы, паломникъ внимательно разглядывалъ старинныя иконы. Патапъ Максимычъ вызвалъ его на пару словъ въ боковушу.

— Это Снѣжковы прѣхали, сказалъ онъ,—богатые купцы самарскіе, старикъ-отъ мнѣ большой пріятель. Денегъ куча, никакихъ капиталовъ онъ не пожалѣетъ на развѣдки. Сказать ему, что ли?

— Оборони Господи! отвѣчалъ Стуколовъ.—Строго-на-строго наказано, чтобъ опричь здѣшнихъ жителей никому словечка не молвить.... Тамъ послѣ что Богъ дастъ, а теперь нельзя.

Не по праву пришлися Чапурину слова паломника. Однако сдѣлалъ по его: и куму Ивану Григорьичу, и удѣльному головѣ, и Алексѣю шепнулъ, чтобъ до поры до времени они про золотые пріиски никому не сказывали. Дюкова учить было нечего, тотъ былъ со Стуколовымъ заодно. Къ тому же парень былъ не говорливаго десятка, въ молчанку больше любилъ играть.

Кой-какъ завязалась бесѣда, но бесѣдовали не весело. Не стала веселѣй бесѣда и тогда, какъ вошла въ горницу Аксинья Захаровна съ дочерьми и гостями. Манеаѣне вышла взглянуть на суженаго племянницы.

Когда Настя входила въ горницу, молодой Снѣжковъ стоялъ, возлѣ Алексѣя. Онъ былъ одѣтъ „по-модному“: въ щегольской короткополый сюртукъ и черный открытый жилетъ, на немъ блестѣла золотая часовая цѣпочка, со множествомъ разныхъ привѣсокъ. Бѣлье на Снѣжковѣ было чистоты бѣлоснѣжной, на лѣвой рукѣ бѣлая перчатка была натянута. Михайло Данилычъ принадлежалъ къ числу, „образованныхъ старообрядцевъ“, что давно появились въ



столицахъ, а лѣтъ двадцать тому назадъ стали показываться и въ губерніяхъ. Строгіе рогожскіе уставы не смущали ихъ. Не вѣрили они, чтобъ въ иноземной одеждѣ, въ клубахъ, театрахъ, маскарадахъ много было грѣха, и Михайло Данилычъ не разъ, сидя въ особой комнатѣ Новотроицкаго, съ сигарой въ зубахъ, за стаканомъ шампанскаго, отъ души хохоталъ съ подобными себѣ надъ увѣщаньями и проклятьями рогожскаго попа Ивана Матвѣича, въ новыхъ обычаяхъ видѣвшаго конечную погибель старообрядства.

Михайло Данилычъ былъ изъ себя красивъ, легкія рабины не безобразили его лица; взглядъ былъ веселый, открытый, умный. Но какъ невзраченъ показался онъ Настѣ, когда она перевела взоръ свой на Алексѣя!

Патапъ Максимычъ познакомилъ съ женой и дочерью. Усѣлись: старикъ Снѣжковъ рядомъ съ хозяйкой, принявшей снова чай разливать, сынъ возлѣ Патапа Максимыча.

— Просимъ полюбить насъ, лаской своей не оставить, Аксиныя Захаровна, говорилъ хозяйкѣ Данило Тихонычъ.— И парнишку моего лаской не оставьте.... Вы не смотрите, что на немъ такая одѣжа.... Что станешь дѣлать съ молодежью? Въ городѣ живемъ, въ столицахъ бываемъ; нельзя.... А по душѣ, сударыня, парень онъ у меня хорошій, какъ есть, нашего стараго завѣта.

— Что про то говорить, Данило Тихонычъ, отвѣчала Аксиныя Захаровна, съ любопытствомъ разглядывая Михайла Данилыча и переводя украдкой глаза на Настю.— Извѣстно, люди молодые, незрѣлые. Не на вѣтеръ стары люди говаривали: „незрѣлъ виноградъ невкусенъ, младъ челоуѣкъ неискусенъ; а молоденькой умокъ, что весенній ледокъ“.... Пройдутъ, батюшка Данило Тихонычъ, красные-то годы, пройдетъ молодость: возлюбить тогда и одѣжу

степенную, святыми отцами благословенную и намъ, грѣшнымъ, заповѣданную; возлюбить и старинку нашу боголюбивую, свѣчаи наши да обычаи, что дѣдами, прадѣдами, нерушимо уложены.

— Это вы правильно, Акинья Захаровна, отвѣчалъ старый Снѣжковъ.—Это, значить, вы какъ есть въ настоящую точку попали.

— Куда я попала, батюшка? съ недоумѣньемъ спросила Акинья Захаровна.

— Въ настоящую точку, значить, въ линію, какъ есть, отвѣтилъ Данило Тихонычъ.—Потому, значить, въ вашихъ словахъ окромя настоящей справедливости нѣтъ ничего-съ.

— Не въ доめкъ мнѣ, глупой, ваши умныя рѣчи, сказала Акинья Захаровна.—Мы люди простые, темные, захолустные, простите насъ Христа ради!

— А ты слушай, да рѣчей не перебивай, вступился Патапъ Максимычъ, и безмолвная Акинья Захаровна покорно устремила взоръ свой къ Снѣжкову: „Говорите молъ, батюшка Данило Тихонычъ, слушать велить“.

Прочіе кто были въ горницѣ молчали, глядя въ упоръ на Снѣжковыхъ.... Пользуясь тѣмъ, Никифоръ Захарычъ тихохонько вздумалъ пробраться за стульями къ завѣтному столику, но Патапъ Максимычъ это замѣтилъ. Не ворочая головы, а только скосивъ глаза, сказалъ онъ:

— Алексѣй!

Алексѣй проснулся изъ забытья. Все время сидѣлъ онъ опушта глаза въ землю и не слыша что вокругъ его говорится... Золото, только золото на умѣ у него... Услышавъ хозяйское слово и увидя Никифора, всталъ. Волкъ повернулъ назадъ и, какъ ни въ чемъ не бывало, съ тяжелымъ вздохомъ усѣлся у печки, возлѣ выхода въ боковушу. И ужь какъ же ругался онъ самъ про себя.

— По нынѣшнимъ временамъ, сударыня Акинья Заха-

ровна, продолжалъ свои рѣчи Данило Тихоничъ,—нашему брату купцу, особенно изъ молодыхъ, никакъ невозможно старыхъ обычаевъ во всемъ соблюсти. Что станешь дѣлать? Такія времена пришли!... Изойдите вы теперь всѣ хорошіе дома по московскому аль по петербургскому купечеству, изъ нашего то-есть сословія, вездѣ это найдете.... Да и что за грѣхъ, коли правду сказать, Аксиныя Захаровна? Была бы душа чиста да свята. Такъ ли? Всѣ эти грѣхи, не смертные, всѣ эти грѣхи замолимые. Покаемся, Богъ дастъ успѣемъ умолить Создателя.... а некогда да недосугъ, праведниковъ да молитвенниковъ попросимъ. Они свое дѣло знаютъ—разомъ замолятъ грѣхъ.

— Велика молитва праведниковъ предъ Господомъ, съ набожнымъ вздохомъ молвила Аксиныя Захаровна.

Стуколовъ нахмурился. Какъ ночь смотреть, глазъ не сводя со стараго краснобая.

— Я вамъ, сударыня Аксиныя Захаровна, про одного моего пріятеля разкажу, продолжалъ старикъ Снѣжковъ.— Стужинъ есть Семенъ Елизаричъ въ Москвѣ. Страшный богачъ: двадцать пять тысячъ народу у него на фабрикахъ кормится. Слыхали, поди, Патапъ Максимичъ, про Семена Елизарыча? А можетъ-статься и встрѣчались у Макарья—онъ туда каждый годъ ѣздитъ.

— Какъ про Стужина не слыхать, отвѣтилъ Патапъ Максимичъ:— люди извѣстные. Милліонахъ, слышь, въ десяти.

— Посчитать, и больше наберется, отвѣчалъ Данило Тихоничъ.—Поистинѣ, не облыжно доложу вамъ, Аксиныя Захаровна, такихъ людей промежъ нашихъ христіанъ, древяго то-есть благочестія, не много найдется... Столпъ благочестія!... Адамантъ!... Да-съ. Такъ его рогожскій священникъ нашъ, батюшка Иванъ Матвѣичъ, и въ глаза и за глаза зоветъ, а матушка Пульхерія, рогожская то-есть

игуменья, всё́мъ говорить, что вотъ безъ малаго сто годовъ она на свѣтѣ живетъ, а такого благочестія, какъ въ Семенѣ Елизарычѣ, ни въ комъ не видывала.... Черезъ него, сударыня Акси́нья Захаровна, можно сказать, все Рогожское держится, имъ только и дышетъ. Потому—знаете отъ начальства нонѣ строгости, а Семенъ Елизарычъ съ высокими людьми водить знакомство.... И оберегаетъ

— Дай ему Богъ добраго здоровья и души спасенія, набожно, вполголоса, проговорила Акси́нья Захарова.—Слышали и мы про великія добродѣтели Семена Елизарыча Сирымъ и вдовымъ заступникъ, нищей братіи щедрый по-датель, страннымъ покой, болящимъ призрѣніе.... Дай ему Господи тѣлеснаго здравія и душевнаго спасенія....

— Такъ-съ, отвѣтилъ Данило Тихонычъ. — Истину изволите говорить, сударыня Акси́нья Захаровна.... Ну, а ужъ насчетъ хоша бы, примѣромъ будучи сказать, этого табачнаго зелья, и дѣткамъ не возбраняеть, и самъ въ чужихъ людяхъ не брезгуеть.... На этомъ ужъ извините....

— Сквернитсѣ? грустно чуть не со слезами на глазахъ спросила Акси́нья Захаровна.

— Одно слово—извините! съ улыбкой отвѣчалъ Данило Тихонычъ.

Стуколовъ плюнулъ, всталъ со стула, быстро прошелся раза два въ сторонкѣ и, нахмуренный пуще прежняго, ушелъ на прежнее мѣсто.

— Чтò дѣлать, сударыня? продолжалъ Снѣжковъ. — Слабость, соблазнъ; на всякій часъ не устоишь. Не мало Семена Елизарыча матушка Пульхерія началить. Журить она его, журить, вычитаетъ ему все чтò слѣдуетъ, а напо-слѣдокъ смилуется и сотворить прощенье. „Дѣлать не-чего, скажетъ; грѣхи твои на себя возьмемъ, только вѣру крѣпко храни..... Будешь вѣру хранить, о грѣхахъ не ту-жи: замолимъ.“

— Много можетъ молитва праведника, съ набожнымъ вздохомъ промолвила Акси́нья Захаровна.—Единъ праведникъ за тысячу грѣшниковъ умоляетъ.... Не прогнѣвался еще до конца на насъ грѣшныхъ Царь Небесный, посылаетъ въ міръ праведныхъ... Вотъ и у насъ своя молитвенница есть.... Сестра Патапу-то Максимычу, матушка Манеа комаровская. Можетъ, слышали?

— Много наслышаны, отвѣчалъ Снѣжковъ.—По нашимъ мѣстамъ сказываютъ, что у ней въ обители отменно хорошо и по чину содержится все.... Да, сударыня Акси́нья Захаровна, это точно-съ, дана вамъ благодать Божія.... Со своей молитвенницей не въ примѣръ покойнѣе жить. Иной, чувствуя прегрѣшенія, и захотѣлъ бы самъ грѣхи свои замаливать, да сами посудите, есть ли время ему?... Недосуги, хлопоты.... Хотя нашего брата возьмите, какъ, при нашей то-есть коммерціи, станешь грѣхи замаливать? Суета все: кричишь, бранишься, ссоришься, времени-то и не хватаетъ на Божіе дѣло.... Да и то сказать: примешься самъ-то замаливать, да не зная сноровки, еще пуще, пожалуй, на душу-то нагадишь. Вѣдь во всякомъ дѣлѣ надо сноровку знать.... А праведнику это дѣло завсегда подходящее, потому что онъ на томъ ужъ стоитъ. Онъ ужъ маху не дастъ, потому сноровку въ своемъ дѣлѣ знаетъ, за дѣло взяться умѣетъ. А намъ куда! Не пори, коли шить не умѣешь.... Ваше дѣло женское, еще туда-сюда, потому что домосѣдничаєте и молитвамъ больше нашего навыкли, а какъ нашъ-отъ братъ примется, курамъ на смѣхъ—хоть дѣло все брось.... Ха-ха-ха!...

И раскатился старый Снѣжковъ громкимъ хохотомъ. Но кромѣ сына, никто не улыбнулся ни на рѣчи, ни на хохотъ его. Всѣ молча сидѣли, Аграфена Петровна особенно строго поглядѣла на разкащика, но онъ не смот-

рѣлъ въ ея сторону. Стуколова такъ и подергивало; едва могъ себя сдерживать. Аксиныя Захаровна про себя какую-то молитву читала.

Чтобы поворотить разговоръ на другое, Патапъ Максимъчъ напомнилъ Снѣжкову:

— Такъ что жъ про Стужина-то зачали вы, Данило Тихонычъ?

— Насчетъ нонѣшней молодежи хотѣлъ сказать, отвѣчалъ Данило Тихонычъ.—У Семена Елизарыча, продолжалъ онъ, обращаясь къ Аксиныѣ Захаровнѣ,—сынки-то во фракахъ, сударыня, щеголяютъ,—знаете, въ этакой курткѣ съ хвостиками?... Всему обучены... А ежели теперь придти на балъ, али въ театрѣ на нихъ посмотрѣть, отъ графовъ да отъ князей ничѣмъ отличить невозможно, купецкаго званія и духу нѣтъ... А коммерція изъ рукъ не валится, большая помога отцу. Въ коммерческой академіи обучались, произошли всякую науку, медали за ученье получили, не на выѣску только, а карманные, безъ ушковъ, значить, и ленты нѣтъ, прибавилъ онъ, поправляя висѣвшую у него на шеѣ, на Аннинской лентѣ, золотую медаль. — Ну, да хоть и безъ ушковъ, а все же медаль, пбчесть, значить... На дочерей бы Семена Елизарыча посмотрѣли вы, Аксиныя Захаровна, ахнули бы, просто бы ахнули... По французскому такъ и рѣжутъ, какъ есть самыя настоящія барышни. И если гдѣ балъ, танцуютъ вплоть до утра, и въ театры ѣздятъ, въ грѣхъ того, по нонѣшнимъ временамъ, не поставляютъ. А ужъ одѣваются какъ, по триста да по четыреста цѣлковыхъ платье... И всякую мелочь даже на нихъ, до послѣдней, съ позволенія сказать, исподницы, шьютъ французенки на Кузнецкомъ мосту... Поглядѣли бы вы, какъ на балъ онѣ разодѣнутся,—любо-дорого посмотреть.... Въ позапрошломъ году, зимой, сию я разъ вечеромъ у Семена Елизарыча, было еще изъ нашихъ че-

ловѣка два; сидимъ про дѣла толкуемъ, а чай разливаетъ матушка Семена Елизарыча, старушка древняя, рѣдко когда и въ люди кажется, больше все на молитвѣ, въ своемъ мезонинѣ пребываетъ. Хозяюшка-то Семена Елизарыча въ ту пору на балъ съ дочерьми собиралась въ купеческо собраніе. Въ первый разъ дочерей-то везла туда... Бабушкѣ, понятно дѣло, хочется тоже поглядѣть какъ внуки-то вырядятся. Наполнила насъ чаемъ, а сама сидитъ въ гостиной, нейдетъ въ свою горенку, дожидается... И вышли внуки, въ дорогія кружева разодѣты, всѣ въ цвѣтахъ, ну, а руки-то по локоть, какъ теперь водится, голы, и шея до плечъ голая, и груди на половину... Какъ взвидѣла ихъ Божія старушка, такъ и всплеснула руками. „Матушки, кричить, совсѣмъ нагія!“ Да и ну насъ туритъ вонъ изъ гостиной. „Уйдите, говорить, отцы родные, Христа ради, уйдите: не глядите на дѣвокъ, не срамите ихъ“. Такъ мы со смѣху и померли.

Съ изумленьемъ глядѣли всѣ на Снѣжкова. Акинья Захаровна руки опустила, ровно столбнякъ нашелъ на нее, только шепчетъ вполголоса:

— Мать Пресвята Богородица! И шея, и груди!... Господи помилуй, Господи помилуй!

Фленушка глаза опустила, Параша слегка покраснѣла, а Настя съ злорадной улыбкой взглянула на Данилу Тихонича, потомъ на отца. Глаза ея заблестали.

Стуколовъ не выдержалъ. Раскаленными угольями блеснули черные глаза его и легкія судороги заструились на испитомъ лицѣ паломника. Порывисто вскочилъ онъ со стула, поднялъ руку, хотѣлъ что-то сказать, но... схвативъ шапку и никому не поклонясь, быстро пошелъ вонъ изъ горницы. За нимъ Дьяковъ.

— Куда вы?... Куда ты, Якимъ Прохорычъ?... говорилъ Патапъ Максимычъ, выбѣжавъ слѣдомъ за ними въ сѣни...

Не старый другъ, не чудный паломникъ, золото, золото уходило.

— Душѣ претить! отвѣчалъ Стуколовъ.— Не стерпѣть мнѣ хульныхъ рѣчей суеслова... Лучше уйти... Прощай, Патапъ Максимычъ!... Прощай!...

— Да что ты... Полно!... Господь съ тобой, Якимъ Прохорычъ, твердилъ Патапъ Максимычъ, удерживая паломника за руку.— Вѣдь онъ богатый мельникъ, шутливо продолжалъ Чапуринъ, — двѣ мельницы у него есть на морѣ, на окіанѣ. Помолъ знатный: одна мелетъ вздоръ, друга чепуху... Ну и пусть его мелать... Тебѣ-то что?

— Не могу. Душа не терпитъ хульныхъ словесъ! отвѣтилъ Стуколовъ. — Прощай, пусти меня, Патапъ Максимычъ.

— Да куда жъ ты, на ночь-то глядя? уговаривалъ его Патапъ Максимычъ.— Того и гляди мятель еще поднимется, слышь вѣтеръ какой!

— Мятели, вьюги, степные бураны давно мнѣ привычны. Слаще въ полѣ мерзнуть, чѣмъ уши сквернить мерзостью суесловія. Прощай!

Умаливалъ, упрасивалъ Патапъ Максимычъ стариннаго друга-пріятеля переночевать у него, насилу уговорилъ. Согласился Стуколовъ съ условіемъ, что не увидитъ больше Снѣжковыхъ, ни стараго, ни молодаго. Возненавидѣлъ онъ ихъ.

Патапъ Максимычъ кликнулъ въ сѣни Алексѣя.

— Якимъ Прохорычъ усталъ, отдохнуть ему хочется, сказалъ онъ.— У тебя пускай заночуетъ. Успокой его. А къ ужину въ горницу приходи, примолвилъ Патапъ Максимычъ вполголоса.

Алексѣй съ паломникомъ внизъ пошли. Патапъ Максимычъ съ молчаливымъ купцомъ Дьяковымъ къ гостямъ воротились. Тамъ старый Снѣжковъ продолжалъ рассказы



про житье-бытье Стужина, знайте, дескать, съ какими людьми мы водимся!

„Что жь это такое?“ думалъ Патапъ Максимычъ, сядясь возлѣ почетнаго гостя. „Коли шутки шутить, такъ эти шутки при дѣвкахъ шутить не годится... Неужели вправду онъ говорить? Чуднѣе дѣло!“

Разсказывалъ Данило Тихонычъ про балы да про музыкальные вечера въ московскомъ купеческомъ собраніи, помянулъ и про голыя шеи.

— Да зачѣмъ же это у васъ дѣвокъ то такъ срамать? спросилъ наконецъ Патапъ Максимычъ.—Какой ради причины голыхъ дочерей людямъ-то кажутъ?

— Такъ водится, Патапъ Максимычъ, съ важностью отвѣтилъ Снѣжковъ.— Въ Петербургѣ аль въ Москвѣ за- всегда такъ на балы ѣздить: и дѣвицы, и замужнія. Такое ужь заведеніе.

— И замужнія? проговорилъ Патапъ Максимычъ, пристально поглядѣвъ на Снѣжкова.

— И замужнія, спокойно отвѣтилъ Данило Тихонычъ.— Безъ этого нельзя. Вездѣ такъ.

Ни слова Патапъ Максимычъ. „Что жь это за срамъ такой?“ разсуждаетъ онъ самъ съ собою. „Какъ же это жену-то свою голую напоказъ чужимъ людямъ возить?... Не ладно, не ладно!“...

Какъ нарочно, и молодой Снѣжковъ въ такіе же разсказы пустился. У него что у отца то же на умѣ было: похвалиться передъ будущимъ тестемъ: вотъ дескать съ какими людьми мы знаемъ, а вы, дескать, сиволаные, живучи въ захоластьѣ, понятія не имѣете какъ хорошіе люди въ столицахъ живутъ. И разсказывалъ молодой Снѣжковъ про балы и маскарады, про танцы, какъ ихъ танцуютъ, про музыкальные вечера и театральныя представленія. Слушай, молъ Настасья Патаповна, какое тебѣ

жизнь будетъ развеселое; выйдешь замужъ за меня, какъ сыръ въ маслѣ станешь кататься. А она съ перваго взгляда понравилась Михайлѣ Данилычу, и ужь думалъ онъ, какъ въ Москву съ ней переѣдетъ жить, танцовать ее и по-французски выучить, да разодѣвши въ шелки-бархаты, повезетъ на Большую Дмитровку въ купеческое собраніе. Такъ и ахнутъ всѣ: „откуда, молъ, взялась такая раскрасавица?“

— А глѣтомъ, продолжалъ онъ, — Стужины и другіе богатые купцы изъ нашихъ въ Сокольникахъ да въ Паркѣ на дачахъ живутъ. Собираются чуть не каждый Божій день вмѣстѣ всѣ, кавалеры, и дѣвицы, и молодыя замужнія женщины. Музыку ѣздятъ слушать, верхомъ на лошадяхъ катаются...

— Какъ же это верхомъ, Михайло Данилычъ? спросила Акинья Захаровна. — Этого мнѣ старухѣ что-то ужь и не понять? Неужли и дѣвицы, и молодницы на коняхъ верхомъ?

— Верхомъ, Акинья Захаровна, отвѣчалъ Снѣжковъ.

— Ай, срамъ какой! вскрикнула Акинья Захаровна, всплеснувъ руками. — Въ штанахъ?

— Зачѣмъ въ штанахъ, Акинья Захаровна? отвѣчалъ Михайло Данилычъ, удивленный словами будущей тещи. — Платье для того особое шьютъ, длинное, съ хвостомъ аршина на два. А на коней бокомъ садятся.

Дѣвушки зардѣлись. Аграфена Петровна строгимъ взглядомъ окинула разкащика. Настя посмотрѣла на Патапа Максимыча, и на душѣ ея стало веселѣе; чужая сердцемъ отцовскія думы.

Схвативъ украдкой Фленушку за руку, шепнула ей:

— Не бывать сватовству.

Фленушка головой кивнула.

Въ это время Настя взглянула на входившаго Алексѣя

и улыбнулась ему свѣтлой, ясной улыбкой. Не замѣтилъ онъ того, — вошелъ мрачный, сѣлъ задумчивый. Видно, крѣпкая дума сидитъ въ головѣ.

— Молодость! молвилъ старшій Снѣжковъ, улыбаясь и положивъ руку на плечо сыну. — Молодость, Патапъ Максимычъ: веселье одно на умѣ... Чтѣ жъ?... Молодой квасъ и тотъ играетъ, а коли младъ человѣкъ не добѣситъ, такъ на старости съ ума сойдетъ.... Веселись, пока молоды. Состарятся, покрайности будетъ чѣмъ молодые годы свои помянуть. Такъ ли, Патапъ Максимычъ?

— Такъ-то оно такъ, Данило Тихонычъ, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ. — Только я, признаться сказать, не пойму что-то вашихъ рѣчей... Не могу я въ домекъ себѣ взять, чтѣ такое вы похваляете... Неужли вездѣ наши христіане по городамъ стали такъ жить?... Въ Казани, къ примѣру сказать, аль у васъ въ Самарѣ?

— Ну, не какъ въ Москвѣ, а тоже живутъ, отвѣчалъ Данило Тихонычъ. — Вотъ по осени въ Казани гостилъ я у дочери, къ зятю на именины попалъ, важнецкій балъ задалъ, почитай весь городъ былъ. До заутренъ танцовали.

— И дочки? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Какъ же! Онѣ у меня на все горазды. Въ пансіонѣ учились. И по-французски говорятъ, и все.

— И одѣваются какъ Стужины? слегка прищуривъ глаза и усмѣхнувшись, спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Извѣстно дѣло, отвѣчалъ Данило Тихонычъ. — Какъ люди, такъ и онѣ. Варвара у меня, меньшая, чтѣ за Буркова выдана, за Сергѣя Абрамыча, такая охотница до этихъ баловъ, что чудо.... И спать и видить.

— Чудны дѣла Твоя, Господи, чудны дѣла Твоя! проговорилъ Патапъ Максимычъ. Больно не по себѣ ему стало.

Ужинъ готовъ. Патапъ Максимычъ сталъ гостей за

столь усаживать. Явились и стерляди, и индѣйки, и другія кушанья, на славу Никитишной изготовленныя. Отличилась старушка: такъ настрепала, что не жуй, не глотай, только съ диву брови подымай. Молодой Снѣжковъ, набравшійся въ столицахъ толку по части изысканныхъ обѣдовъ и тонкихъ винъ, не могъ скрыть своего удивленья и сказалъ Аксиньѣ Захаровнѣ:

— Отмѣнно приготовлено! Изъ городу видно повара-то брали?

— Какой у насъ поваръ! скромно и даже приниженно отвѣчала столичному щеголю простая душа, Аксинья Захаровна.—Дѣма, сударь, стрепали—сродственница у насъ есть, Дарья Никитишна—ея стрепня.

Надивиться не могли Снѣжковы на убранство стола, на вина, на кушанья, на камчатное бѣлье, хрусталь, и серебряные приборы. Хоть бы въ Самарѣ, хоть бы у Варвары Даниловны Бурковой, задававшей ужины на славу всей Казани... И гдѣ жъ это?... Въ лѣсахъ, въ заволожскомъ захолустьи!...

Смекнулъ Патапъ Максимычъ чему гости дивуются. Повеселѣлъ. Ходить, потирая руки, вокругъ стола, подчуетъ гостей, самъ приговариваетъ:

— Не побрезгуйте, Данило Тихонычъ, деревенской хлѣбомъ-солью... Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады... Просимъ не прогнѣваться, не взыскать на убогомъ нашемъ угощеньи.... Чѣмъ Богъ послалъ!... Вѣдь мы мужики сѣрые, необтесанные, городскимъ порядкамъ не обыкли... Наше дѣло лѣсное, живемъ съ волками, да съ медвѣдями... Да подчуй, жена; чего молчишь, дорогихъ гостей не подчуешь?

— Покушайте, гости дорогіе, заговорила въ свою очередь Аксинья Захаровна. — Чтѣ мало кушаете, Данило Тихонычъ? Аль вамъ хозяйской хлѣба-соли жаль?

— Много довольны, сударыня Аксинья Захаровна, раз-

глаживая бороду, сказалъ старый Снѣжковъ, — довольны-предовольны. Власть ваша, больше никакъ не могу.

— Да вы нашу-то рѣчь, послушайте—приневольтесь да покушайте! отвѣчала Аксиныя Захаровна. — Вѣдь по-нашему, по-деревенскому, что порушено, да не скушано, то хозяйкѣ покорѣ. Пожалѣйте хоть маленько меня, не срамите моей головы, покушайте хоть маленечко.

— Винца-то, винца, гости дорогіе, подчиваль Патапъ Максимычъ, наливая рюмки. — Хвалиться не стану: добро не свое, покупное, каково не знаю, а люди пили такъ хвалили. Не знаю, какъ вамъ по вкусу придется. Кушайте на здоровье, Данило Тихонычъ.

— Знатное вино, сказалъ Данило Тихонычъ, прихлебывая лафитъ. — Какія у васъ кушанья, какія вина, Патапъ Максимычъ! Да я у Стужина не разъ на именинахъ обѣдываль, у нашего губернатора въ царскіе дни завсегда обѣдаю—не облыжно доложу вамъ, — что вашими кушаньями, да вашими винами, хоть царя потчивать... Право отмѣнные-сѣ.

— Наше дѣло лѣсное, самодовольно отвѣчалъ Патапъ Максимычъ. — У генераловъ обѣдать намъ не доводится, театровъ да баловъ сроду не видывали; а угостить хорошаго человѣка чѣмъ Богъ послалъ завсегда рады. Пожалуйте-сѣ, прибавилъ онъ, наливая Снѣжкову шампанское.

— Не многонокъ ли будетъ, Патапъ Максимычъ? сказалъ Снѣжковъ, слегка отстраняя стаканъ.

— Наше дѣло лѣсное, по-нашему, это вовсе немного. Пожалуйте-сѣ.

Двѣ бутылки распили за наступающую именинницу.

Не обнесъ Патапъ Максимычъ и шурина, сидѣвшаго рядомъ съ приставленнымъ къ нему Алексѣемъ.... Было время, когда и Микѣшка, спуская съ забубенными друзьями по трактирамъ родительски денежки, зналъ толкъ въ

этомъ винѣ.... Взялъ онъ рюмку дрожащей рукою, вспомнилъ прежніе годы, и что-то ясное проблеснуло въ тусклыхъ глазахъ его... Хлебнулъ и сплюнулъ.

— Свекольникъ! молвилъ въ полголоса. — Мнѣ бы водочки, Патапъ Максимычъ.

Молча отошелъ отъ него Патапъ Максимычъ.

---

Чуть не до полночи пировали гости за ужиномъ. Наконецъ разошлись. Не всѣ скоро заснули; у всякаго своя дума была. Ни сонъ, ни дрема что-то не ходятъ по сѣнямъ Патапа Максимыча.

Патапъ Максимычъ помѣстилъ Снѣжковыхъ въ задней боковушкѣ. Тамъ отецъ съ сыномъ долго толковали про житье-бытье тысячника, удивлялись убранству дома его, изысканному угощенію, и тому чинному, стройному во всемъ порядку, что, казалось, былъ издавна заведенъ у него. И про Настю толковали. Хоть не удалось съ ней слова перемолвить Михайлѣ Данилычу, хоть Настя цѣлый вечеръ глядѣла на него не ласково, но величавая, гордая красота ея сильно ударила по сердцу щеголеватаго купчика. Только и мечталъ онъ, какъ разодѣнетъ ее въ шелки, въ бархаты на диво не Самарѣ, а самой Москвѣ, и какъ станутъ люди дивоваться на его жену-раскрасавицу.... Старикъ Снѣжкову Настя тоже по нраву пришла.

Даль маху Снѣжковъ, рассказавъ про Стужинскихъ дочерей. Еще больше остудилъ онъ сватовство, обмолвившись что и его дочери одѣваются также какъ Стужины.

Не первый годъ знался Снѣжковъ съ Патапомъ Максимычемъ; давно подмѣтилъ онъ въ немъ охоту стать на купецкую ногу и во всемъ обиходѣ подражать тузамъ торговаго міра. И то зналъ Данило Тихонычъ, что не строго

относится Чапуринъ къ нарушеньямъ старыхъ обычаевъ. Въ самомъ дѣлѣ, Патапъ Максимычъ никогда не бывалъ изувѣромъ, самъ частенько трунилъ надъ тѣми ревнителями стараго обряда, что покрой кафтана и число на немъ пуговицъ возводятъ на степень догмата вѣры. Не гнушался и табашниками, и хоть сроду самъ не куривалъ, а всегда говаривалъ, что табакъ зелье не проклятое, а такая же Божья трава какъ и другія; въ иноземной одеждѣ, даже въ бритѣ бороды ереси не видалъ, говоря что Богъ не на одѣжу смотритъ, а на душу. Потому Снѣжковъ и былъ увѣренъ, что рассказъ про житье богатыхъ московскихъ старообрядцевъ будущему свату по мысли придется,—но такая судьба ему выпала, — оборвѣлся... Сильно возмутила Патапа Максимыча мысль, что Михайло Данилычъ оголитъ Настю, и выставитъ съ обнаженными грудями чужимъ людямъ на показъ.

Всѣ улеглись. Никого не беретъ дрема, сонъ никому не смыкаетъ глазъ.

Долго въ своей боковушкѣ рассказывала Аксинья Захаровна Аграфенъ Петровнѣ про все чудное, что творилось съ Настасьей съ того дня какъ отецъ сказалъ ей про суженаго. Толковали потомъ про молодого Снѣжкова. И той, и другой не пришелся онъ по нраву. Смолкла Аксинья Захаровна, и вмѣсто плаксиваго ея голоса слышался легкій старушечій храпъ: започила сномъ именинница. Смолкли въ свѣтлицѣ долго и весело щебетавшія Настя съ Фленушкой. Во всемъ дому стало тихо, лишь въ передней горницѣ мѣрно стучитъ часовой маятникъ.

Самъ хозяинъ не спитъ, думу думаетъ. Раздѣлся, легъ—ни сонъ нейдетъ, ни дрема не беретъ... Стужинскія дочери ему вспоминаются, да чудный рассказъ Стуколова, да это золото, что не далѣко гдѣ-то въ землѣ сокрыто

лежить. Заведетъ глаза Патапъ Максимычъ — и видитъ золотую струю, текущую изъ кошель паломника. И думаетъ онъ, передумываетъ, какъ примется земляное масло копать, какъ выйдетъ въ миллионщики. Полно тогда за Волгой жить... Хоть и жаль разставаться съ родиной, да нечего дѣлать, придется... И вотъ ужъ строитъ онъ въ Питерѣ каменный домъ, да такой, что пѣшій ли, конный ли только-что съ нимъ поверстаются, такъ ахаютъ съ дива: „экъ, молъ, какія палаты сгромоздилъ себѣ Патапъ Максимовъ, Чапуринъ сынъ!“... „Нечего дѣлать, въ гильдію записаться надо, потому что тогда заграничный торгъ заведемъ, свои конторы будемъ имѣть.... Въ славу войду, въ силу.... Медали, кресты, мундиры, коммерціи совѣтники!.. Съ министрами въ компаніи, обѣды задаю, не то что Никитишнины. И самъ ю министровъ въ почетныхъ гостяхъ!... Кланяются мнѣ, ублажаютъ, угодить стараются: чуютъ тугой карманъ!... Чего не захотѣлъ, какъ по щучьему велѣнью все передъ тобой... Больницъ на десять тысячъ кроватей настрою, богадѣлень... всѣхъ бѣдныхъ, всѣхъ сирыхъ, безпомощныхъ призрю, успокою... Волгу надо расчистить: мели да перекаты больно народъ одолѣваютъ... Расчищу, пускай люди добромъ поминаютъ... Дорогъ желѣзныхъ вездѣ настрою, вездѣ... И свѣдаетъ про меня самъ Батюшка, пожелаетъ видѣть самолично... Министры скачутъ, генералы, полковники, всѣ: „Патапъ Максимычъ, во дворецъ пожалуйте“... И выходитъ наше Красно Солнышко...”

Но тутъ вдругъ ему вспомнились рассказы Снѣжковыхъ про дочерей Стужина. И мерещится Патапу Максимычу, что Михайло Данилычъ оголилъ Настю чуть не до-пояса, посадилъ бокомъ на лошадь и возить по московскимъ улицамъ... Народъ бѣжить, дивуется... Срамъ-отъ, срамъ-отъ какой!... А Настасья плачетъ, убивается, не охота позоръ



принимать... А дѣлать ей нечего: мужъ того хочетъ, а мужъ голова.

Вскочилъ съ постели Патапъ Максимычъ, и раздѣтый, босой, заложа руки за спину, прошелъ въ большую горницу и зачалъ ходить по ней взадъ и впередъ.

„Руки по локоть!... Шея, плечи голыя и груди поло-  
вина!... Тьфу ты, мерзость какая!“ думаетъ онъ, расхаживая по горницѣ... „И дочери у него въ Казани также щеголяютъ... До заутрени пляшутъ!.. Люди Богу молиться, а онъ голыя пляшутъ!... Иродіады, прости Господи!... Срамота!.. И всякъ на нихъ смотритъ, а онъ хотъ бы платочкомъ прикрылся, безстыжія, — нѣтъ... Верхомъ, съ хвостомъ, бокомъ на лошади по Сокольникамъ рыщутъ, равно шуты какіе, скоморохи!... Ни стыда въ глазахъ, ни совѣсти!.... Нѣтъ, сударь, Михайло Данилычъ, ищи себѣ невѣсту въ иномъ мѣстѣ, а у насъ про тебя готовыхъ нѣтъ... Не рука намъ таковскій зять... Отдамъ я дѣтище свое на поруганье?... Выведу на позоръ родную дочь?... Да скорѣй въ землю живую ее закопаю, чѣмъ такое безчестье на родъ-племя приму... Ну, другъ любезный, Данило Тихонычъ, сходились мы съ тобой не бранились, дай Богъ разойтись не бранясь, а сыну твоему Настасьи моей не видать... Просимъ не прогнѣваться, ищите лучше насъ... Чуяло сердеченко у голубки!... А я-то на нее, мою ластовку, злобился, я-то, старый дуракъ, бранилъ ее, до слезъ доводилъ... Хорошъ отецъ!... Нечего сказать!... Ишь какого жениха дочери высватали!... Еще слава Богу, что въ-время себя выявили... Нѣтъ, дружище, Данило Тихонычъ, пріѣзду твоему радъ, ѣшь, пей у меня, веселися, а насчетъ свадьбы выкинь изъ головы... А я-то еще первый въ Городцѣ ему намеки намекалъ... Съ того и разговоры пошли... О Господи, Господи!... Чтѣ надѣлалъ я, чтѣ натворилъ...“

Долго ходилъ взадъ и впередъ Патапъ Максимычъ.

Мѣрный топотъ босыхъ ногъ его раздавался по горницѣ и въ сосѣдней боковушкѣ. Аксиныя Захаровна проснулась, осторожно отворила дверь и, при свѣтѣ горѣвшей у иконъ лампады, увидѣла ходившаго мужа. Въ красной рубахѣ, съ разстегнутымъ косымъ воротомъ, съ засученными рукавами, весь багровый, съ распаленными глазами и всклооченными волосами, страшень онъ ей показался. Хотѣла спрятаться, но Патапъ Максимычъ замѣтилъ жену.

— Тебѣ что? спросилъ шепотомъ, но гроза и въ шепотѣ слышна была.

— Не спится что-то, Максимычъ... Про Настеньку все думается... едва слышно отвѣчала Аксиныя Захаровна.

— Чего еще?... Ну? сказалъ Патапъ Максимычъ, останавливаясь передъ женой.

— Да я ничего... Извѣстно, твоя воля... Какъ хочешь... И залилась бѣдная слезами.

— О чемъ заревѣла?... Гостей что ли перебудить?... А?... грозно спросилъ именинницу Патапъ Максимычъ.

— Настасья съ ума нейдетъ, кормилецъ ты мой. Разрывается мое сердечушко, заснула было, такъ и во снѣ-то вижу ее, голубушку... Оголили... срамить ведутъ...

— Ну, ступай спать, мягкимъ голосомъ сказалъ женѣ Патапъ Максимычъ.—Утро вечера мудренѣе... Ступай же спи... Свадьбѣ не бывать.

Бросилась въ передній уголъ именинница и начала класть земные поклоны. Помолившись, кинулась мужу въ ноги.

— Богъ тебя спасетъ, Максимычъ, сказала она всхлипывая.—Отнял ты печаль отъ сердца моего.

— Полно же, полно, ступай... Спи, говорятъ тебѣ, молвилъ Патапъ Максимычъ.—Да ну же.... Тебѣ говорятъ...

Ушла въ свою боковушу Аксиныя Захаровна. А Патапъ

Максимиць все еще ходилъ взадъ и впередъ по горницѣ. Нейдетъ сонъ, не беретъ дрема.

Вдругъ слышитъ онъ возню въ сѣняхъ. Прислушивается—что-то тащатъ по полу... Не воры ль забрались?.. Отворилъ дверь: мать Манеѳа въ дорожной шубѣ со свѣчой въ рукахъ на порогѣ моленной стоитъ, а дюжая Анафролія съ Евпраксіей-канонницей, тащатъ внизъ по лѣстницѣ чемоданъ съ пожитками игуменьи.

Какъ взвидѣла брата матушка Манеѳа, такъ и присѣла на порогѣ. Анафролія стала на лѣстницѣ и разиня ротъ глядѣла на Патапа Максимича. Канонница, какъ пойманный на шалостяхъ школьникъ, не знала куда руки дѣвать.

— Это чтѣ?... спросилъ Патапъ Максимичь.

— Я, братецъ... домой хочу... въ обитель собралась... шептала Манеѳа.

— Домой?... А коль тебѣ домой захотѣлось, зачѣмъ же ты, спасѣная твоя душа, воровскимъ образомъ, не простаясь съ хозяевами, тихомолкомъ вздумала?... А?..

Молчала игуменья.

— Чтѣ жъ это ты на срамъ что ли хочешь поднять меня передъ гостями?... А?... На смѣхъ ты это дѣлаешь что ли?... Да говори же спѣсѣница... Цѣлый, почитай, вечеръ съ гостями сидѣла, всѣ ее видѣли, и вдругъ, ни съ того ни съ сего, ночью, въ самыя невѣсткины именины, домой собратъся изволила!... Сказывай, чтѣ на умѣ?... Ну!... Да чтѣ ты, проглотила языкъ-отъ?

— Неможется... едва смогла проговорить Манеѳа.

— Неможется, такъ лежи. Умри, коли хочется, а сраму дѣлать не смѣй... Вишь чтѣ вздумала! Да я тебя въ моленной на три замка запру, шагу изъ дому не дамъ шагнуть... Неможется!... Я тебѣ такую немоготу задамъ, что въ вѣкъ не забудешь... Шишь на мѣсто!... А вы, мокрохвостницы, что стали?... Тащите назадъ, да если опять

вздумаете, такъ у меня смотрите: таковскихъ засыплю, что до новыхъ вѣнниковъ не забудете.

Нечего дѣлать. Осталась Манеѳа подъ одной кровлей съ Якимомъ Прохорычемъ... Осталась среди искушеній... Не подъ силу ей противъ брата идти: таковъ уродился—чего ни захочетъ, на своемъ поставить.

Запереть Мансеу онъ не заперъ, но разбудивъ стараго Пантелея, далъ ему наказъ строго-на-строго глядѣть въ оба за скитскимъ работникомъ, что пріѣхалъ съ Манеѳой изъ Комарова.

— Чтобъ къ обительскимъ лошадямъ и подходить онъ не смѣлъ, приказывалъ Патапъ Максимычъ,—а коль Манеѳа тайкомъ съ двора поѣдетъ — за-воротъ ее да въ избу... Такъ и тащи... А чужимъ не болтай, что у насъ тутъ было, прибавилъ онъ, уходя, Пантелею.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Смущенная внезапнымъ появленіемъ Якима Прохорыча, Манеѳа не могла выдержать его присутствія и ушла съ Фленушкой къ себѣ въ заднюю.

Игуменья всѣмъ тѣломъ дрожала, едва на ногахъ держалась. Еле-еле дошла до горенки, опираясь на Фленушку.

— Что съ тобой, матушка? говорила ей оторопѣвшая дѣвушка.—Аль неможется? Шалфейцемъ не напоить ли?... Аль бузиной съ липовымъ цвѣтомъ?

— Не надо... Ничего не надо... отрывисто отвѣчала мать Манеѳа.

Когда вошли въ боковушку, тамъ никого не было. И здоровенная Анафролія, и богомольная Евпраксеюшка суетились въ страпущей, помогали Никитишнѣ ужинъ на-ряжать.

Тяжело опустилась на стулъ Манеѳа. Фленушка взяла ее за руки. Какъ ледъ холодныя.

— Чтò это, матушка? сказала Фленушка.—Дай я раздѣну тебя, уложу, тепленькимъ напою, укутаю...

— Ахъ, Фленушка, моя Фленушка! страстнымъ, почти незнакомымъ дотолѣ Фленушкѣ голосомъ вскрикнула Манеѳа и крѣпко обвила руками шею дѣвушки... Родная ты моя!... Голубушка!... Какъ бы знала ты да вѣдала!...

И горячо, страстно цѣловала Манеѳа глаза, щеки и уста Фленушки.

— Матушка, матушка! Чтò съ тобой? встревоженная необычными ласками всегда строгой, хотъ до безумія любившей ее игуменъи, говорила Фленушка.... — Матушка, успокойся, прилягъ....

— Постой, постой, мое дитятко, милая моя, сердечная ты моя дѣвочка!... Какъ бы знала ты!.... О Господи, Господи, не вмѣни во грѣхъ рабѣ твоей!.... Сердце чисто созижди во мнѣ, Боже, и духъ правъ обнови во утробѣ моей, отжени отъ мене омраченіе помысловъ.... Уйди, Фленушка, уйди.... Кликни Евпраксеюшку съ Анафроліей... Ступай, ступай!...

Фленушка стала передъ Манеѳой на колѣна и горячо цѣловала ея руку.

— Не пойду я отъ тебя, матушка, сказала она со слезами.—Какъ мнѣ оставить больную тебя? Не сказать ли Аксинѣ Захаровнѣ?

— Оборони Господи! вскрикнула Манеѳа, вставая со стула и выпрямляясь во весь ростъ.—Прощай, Фленушка... Христось съ тобой... продолжала она уже тѣмъ строгимъ, начальственнымъ голосомъ, который такъ знакомъ былъ въ ея обители.—Ступай къ гостямъ.... Ты здѣсь останешься.... а я уѣду, сейчасъ же уѣду... Не смѣй про это никому говорить... Слышишь?... Чтòбъ Патапъ Максимычъ

какъ не узналъ.... Передъ свѣтомъ уѣду.... Дѣла есть, спѣшныя— письма получила.... Ступай же, ступай.... клинки Анафролію да Евпраксеюшку.

Вышла Фленушка, а Манею закрыла лицо руками и тихо зарыдала.

Пришли Анафролія съ Евпраксіей. Воспрянула подвижница. Слезъ какъ не бывало. Коротко и внушительно отдавъ приказъ собрать ее тайкомъ въ дорогу, пошла она въ моленную. Тамъ упала ницъ передъ темными ликами угодниковъ, едва освѣщенными догоравшими лампадами, и громко зарыдала....

Встрѣча съ паломникомъ, котораго она въ живыхъ не чаяла, возмутила духовный миръ матери Манею. Много недреманныхъ, молитвенныхъ ночей провела она въ продолженіе двадцати пяти лѣтъ ради забвенія бурь и тревогъ, что мучили ее душу во дни давно отжитой молодости. Заключась въ тѣсной кельѣ, строгая подвижница успѣла умирить тревоженія души. Удаленіе отъ міра и его грѣховной суеты, строгій постъ, удрученіе плоти, чтеніе *Добротолюбія* и другихъ книгъ аскетическаго содержанія мало-по-малу покрывали благодатнымъ покровомъ забвенія все бывшее.... Годы шли. Рѣже и рѣже возставали въ ее памяти образы когда-то дорогихъ ей людей, и въ сердцѣ много и горячо любившей женщины воцарился наконецъ тихій миръ и вождѣнный покой. Отжившую для міра черницу перестали тревожить воспоминанья о прежнихъ дняхъ, и если порой возникалъ предъ ее душевными очами милый когда-то образъ, строгая инокиня принимала его уже за навожденіе лукаваго, раскрывала *Добротолюбіе*, и читая наставленія объ умной молитвѣ, погружалась въ созерцательное богомысліе и, Господу помогающую, прогоняла находившее на нее искушеніе.

И вдругъ не сонное видѣніе, не образъ зримый только

духомъ, а какъ есть человѣкъ во плоти, полный жизни, явился предъ нею.... Смутилась старица.... Насмѣялся врагъ рода человѣческаго надъ ея подвигами и богомыслиемъ!... Для чего жъ были долгіе годы душевной борьбы, къ чему послужили всякаго рода лишенія, суровый постъ, изможденіе плоти, слезная, умная молитва?... Неужли все напрасно?... Минута одна, и какъ вихремъ свѣяны двадцатипятилѣтніе труды, молитвы, воздыханія, все, все....

Стоить мать Манеѳа въ моленной передъ иконами, плачетъ горькими, жгучими слезами. Хочетъ читать, ничего не видитъ, хочетъ молиться, молитва на умъ нейдетъ.... Міръ, суетный, грѣховный міръ, опять заговорилъ свое въ душевныя уши Манеѳы....

---

За Волгой, въ лѣсахъ, въ Черной Рамени, жилъ-былъ крестьянинъ, богатый мужикъ. У того у крестьянина дочка росла. Дочка росла, красой полнилася. Сама бѣлая, что кипѣнь, волосы бѣлокурые, а брови черный соболю, глаза—угольки въ огнѣ....

Матреной звали дочку Максима Чапурина.

Высокая, стройная, изъ себя красивая, дѣвушка цвѣтетъ молодостью. Много молодцовъ на ея красоту зѣрится, но гордая, спѣсивая, ласково взглянуть ни на кого не хочетъ Матренушка. Не мало сухоты навела на сердца молодецкія. Роемъ, бывало, вокругъ нея парни увиваются, но степенная, неприступная, глядѣть ни на кого не хочетъ она. И такая была у ней повадка важная, взгляды да рѣчи такія величавыя, что ни одинъ парень къ ней подступиться не смѣлъ. Иной бахвалъ, набравшись смѣлости, подвернется порой къ спѣсивой красавицѣ съ рѣчами затѣйными, но Матренушка такъ его бывало отдѣлаетъ, что тотъ со стыда да со сраму не знаетъ убраться куда.

Хоть бы разъ какому ни на есть молодцу ласковое словечко промолвила, хоть бы разъ на кого взглянула привѣтливо.

Подружки ей говаривали:

— Что-й-то ты, Матренушка, гордая такая, спѣсивая? На всѣхъ парней сѣрымъ волкомъ гладишь. Аль тебѣ, подруженька, никого по мысли нѣтъ?

— Чтѣ мнѣ до нихъ, отвѣтить, бывало, красавица. — Всѣ они нескладные, всѣ несуразные. И безъ нихъ проживу!

— Не проживешь, Матрена Максимовна. Славись только, величаешься, смѣясь, говорили ей дѣвушки. — Какъ безъ солнышка денечка пробыть нельзя, такъ безъ милаго вѣку прожить нельзя.

— Полноте, дѣвушки! отвѣтить, бывало, бѣлокудрая красавица. — Это только одно баловство. Не хочу баловаться, не стану любить никого.

— Полно, полно! Отъ любви, что отъ смерти, не зачураться, говорили ей подруженьки.

— Ну ее совсѣмъ, молвить бывало Матренушка. — И знать ее не хочу! Спокойнѣй, дѣвушки, спится, какъ ни по комъ не гребится.

Дѣвушки правду сказали: не отчуралась отъ любви Матрена Максимовна. До той поры она подругамъ не вѣрила, пока не спозналась съ Якимомъ Прохорычемъ.

Свидѣлись они впервые на супрядкахъ. Какъ взглянула Матренушка въ его очи рѣчистыя, какъ услышала слова его покорныя да любовныя, загорѣлось у ней на-сердцѣ, отдалась въ полонъ молодцу.... Все-то цвѣтно да красно до той поры было въ очахъ ея, глядѣль на нее Божій міръ свѣтлорадостно, а теперь мутятся глазыньки, какъ не видать друга милаго. Безъ Якимушки и цвѣты не цвѣтно цвѣтутъ, безъ него и деревья не красно растутъ во



дубравушкѣ, не свѣтло свѣтитъ солнце яркое, мглою-мброкомъ кроется небо ясное.

Не сказала Матрена Максимовна про любовь свою отцу съ матерью, не ронила словечка ни родной сестрѣ, ни подруженькамъ: все затаила въ самой себѣ и попрежнему выступала гордой, спѣсивою.

А не мало ночей, до послѣднихъ кочетовъ, съ милымъ другомъ бывало сижено, не мало въ тѣ ноченьки тайныхъ, любовныхъ рѣчей бывало съ нимъ перемолвлено, по полямъ, по лугамъ съ добрымъ молодцомъ было похожено; по рощамъ, по лѣсочкамъ было погулено.... Раздавались, разступались кустики ракитовые; укрывали отъ людскихъ очей стыдъ дѣвичій, счастье молодецкое.... Лѣсъ не видитъ, поле не слышитъ; людямъ нѣ по чтò звать....

Засылая стороной Якимъ Прохорычъ къ Чапурину, узнавалъ черезъ людей, какія мысли насчетъ дочери держать онъ, дастъ ли ей благословеніе за него замужь пойдти.

— Не по себѣ Якимъ дерево клонить, отвѣчалъ сватамъ Чапуринъ.—Богъ дастъ, сыщемъ зятя почище его. Нашъ товаръ вамъ не къ рукѣ, въ иномъ мѣстѣ поищите.

А какъ сваты уѣхали изъ Осиповки, кликнулъ къ себѣ Чапуринъ Матренушку. Спрашиваетъ: какъ узналъ ее Якимъ Стуколовъ, гдѣ видались они, про какія дѣла разговоры вели.

Зардѣлась Матренушка—кумачъ-кумачомъ. Слова не можетъ вымолвить. Слезы такъ и брызнули изъ очей ея.

— Сказывай!... Все по ряду сказывай!... говорилъ отецъ, сурово глядя на Матренушку. Дрожалъ и обрывался отъ гнѣва голосъ его.

Стоитъ Матрена Максимовна какъ къ землѣ приросла. Молчитъ какъ не живая.

— Говори же, безстыжая! закричалъ Чапуринъ, схвативъ дочку за руку.—Говори, не то разражу....

И поднялъ увѣсистый кулакъ надъ бѣлокудрой головкой дочери....

— Батюшка! крикнула Матренушка и безъ чувствъ упала къ отцовскимъ ногамъ.

Поглядѣлъ на помертвѣвшую дочь Максимъ Чапуринъ, плюнулъ и велѣлъ работнику лошадей запрягать.

Черезъ часъ времени, онъ ужъ везъ ее въ Комаровскій скитъ.

Тамъ у него двоюродная сестра проживала, мать Платонида. Ей сдалъ Максимъ Чапуринъ дочь свою съ рукъ на руки.

— Береги ты ее, мать Платонида, говорилъ онъ сестрѣ на прощаньѣ.— Глазъ не спускай съ нея. Чтобъ изъ кельи, опричь часовни, никуда она ноги не накладывала, и чтобъ къ ней никто не ходилъ. Въ оба гляди, чтобъ грамотокъ къ ней не переносили, чтобъ сама не писала. Ни пера, ни бумаги чтобъ въ заводѣ у ней не бывало.... Сбережешь дѣвку, попомню добро твое,—останешься довольна.... Сундукъ съ поклажей, перину съ подушками, вели взять изъ саней, да вотъ тебѣ, покамѣсть, четвертая дѣвкѣ на харчи.... А въ келарню не пускай ея, пусть въ кельѣ обѣдаетъ, и ужинаетъ.... А это тебѣ матушка....

Разложилъ на столѣ подарки: сукно на шубу, черный платокъ драдедамовый, китайки на сарафанъ, икры буракъ, сахару голову, чаю фунтъ, своихъ пчелъ сотъ меду.

Мать Платонида не знаетъ какъ благодарить тороватаго братца, а у самой на умѣ: „полно теперь, мать Евсталія, платкомъ своимъ чваниться. Лучше моего нѣтъ теперь по всей обители. А какъ справлю суконную шубу на бѣличьемъ мѣху, лопнешь со злости, завидующія глаза твои“.

— Смотри же, мать Платонида, сбереги Матрену, продолжалъ Максимъ Чапуринъ.— Коимъ грѣхомъ не улизнула бы... Слышишь?

— Слушаю, братецъ, слушаю, кормилецъ ты мой, отвѣчала Платонида.— Все будетъ по приказу исполнено. Птицъ къ окошку не дамъ подлетѣть, на единую падь не отпущу отъ себя Матренушку, келарничать пойду — на замокъ замкну.

— И хорошее дѣло, отвѣтилъ Чапуринъ.— Въ самомъ дѣлѣ запирай-ка ее на замокъ. Надежнѣе.

— Да что жь это, братецъ? спросила наконецъ мать Платонида.— Аль провинилась у тебя чѣмъ Матренушка?

— Большой провинности не было, хмурясь и нѣхотя отвѣчалъ Чапуринъ, — а покрѣпче держать ее не мѣшаетъ.... Берегись бѣды, пока нѣтъ ея, придетъ, ни замками, ни запорами тогда не поможешь.... Видишь ли что? продолжалъ онъ, понизивъ голосъ.— Да смотри, чтобъ слова мои не въ проносъ были.

— Что-й-то ты, братецъ! затараторила мать Платонида.— Возможно ли дѣло такіа дѣла въ люди пускать?... Матрена мнѣ не чужая, своя тоже кровь. Вотъ тебѣ Спасъ милостивый, Пресвятая Богородица Троеручица—ни единая душа словечка отъ меня не услышитъ.

— То-то, смотри, молвилъ Чапуринъ.— Дѣвка молодая, изъ себя красовата, хэхалишка одинъ припался къ ней... Такъ, дрянъ, голыдьба рѣшетная.... У самого за душой отродясь желѣзнаго гроша не бывало, а туда же свататься лѣзетъ.... Я его сватамъ оглоблю-то поворотилъ.... Вдругорядъ не заглянуть.... Да это что, пустяки, а вотъ что гребтится мнѣ, матушка: Мотря-то сама, кажись, не прочь бы за того хэхалы замузъ идти: боюсь чтобъ онъ не умчалъ ея, не повѣнчался бъ уходомъ.... Кажись, легче живому въ гробъ лечь: больно ужъ онъ противенъ душѣ моей!... Встрѣтилъ бы его, кажется, такъ бы на мѣстѣ и положилъ.... А въ деревнѣ, сама разсуди, можно развѣ дѣвку ухоронить?... Воровать сталъ народъ: умчить ее, песь,

какъ пить дать.... Такъ я и разсудилъ: до поры, до времени пусть ее погостить у тебя, дурь-то пока изъ головы у ней выйдетъ.... Сможешь ли такое дѣло сдѣлать?

— Какъ такого дѣла не сдѣлать? отозвалась Платонида.— Чужимъ дѣлывала, не то что своимъ. У насъ въ обители на этотъ счетъ крѣпко!... Въ позапрошломъ году у меня тоже двухъ дѣвокъ отъ уходу хоронили: Авдонинскихъ Лукерью, да Матюшину Татьяну Сергѣевну.... Ублюла, слава тѣ Господи... Ужъ какихъ подвоховъ онѣ не подводили, а слава Богу, ухоронила.... Матюшина-то бывало—бѣда!.. И давиться-то хотѣла, и подушками-то душила себя, и мышьякомъ травиться было вздумала, а никакого дурна надъ ней не случилось.... Ублюла, братецъ, ублюла... На этотъ счетъ будьте спокойны.... А ты велика ей, сударь, преподобному Моисею Мурѣну молиться; зѣло избавляетъ отъ блудныя страсти.

— Молитесь кому знаете, отвѣчалъ Чапуринъ. — Мнѣ бы только Мотря цѣла была, до другаго прочаго дѣла мнѣ нѣтъ.... Пуще всего гляди, чтобъ съ тѣмъ дьяволомъ пересылокъ у ней не заводилось.

— Одно слово: будьте спокойны, братецъ, сказала мать Платонида.— Сохраню Матренушку въ самомъ лучшемъ видѣ.... А кто же таковъ злодѣй-то?... Мнѣ бы надо знати, чтобы крѣпче опаску держать.... Кто таковъ полюбовникъ—отъ у ней?

— Ужъ и полюбовникъ! гнѣвно крикнулъ Чапуринъ, грозно вскинувъ глазами на старицу.— Говори, да не заговаривайся.... Никакого полюбовника нѣтъ. Такъ себя, шальная голова, и все... Стуколовыхъ слыхала?

— Какъ не знать Стуколовыхъ, отвѣчала мать Платонида.— Семень Ермолаичъ благодѣтель нашей обители.

— Племянникъ ихній, Якимко, молвилъ Чапуринъ.— Чтобъ близко къ скиту не подходилъ онъ.... Слышишь?

— Слышу, батюшка братецъ, какъ не слыжать? сказала Платонида.—Знаю я и Мкимку. Экой воръ какой!.... А еще все о божественномъ—книгочей.... Поди-ка вотъ съ нимъ, какими дѣлами вздумалъ заниматься!

Не ласково разстался Чапуринъ съ дочерью. Сулилъ плети ременные, возжи варовенныя... Какъ смертный саванъ блѣдная, съ опущенными въ землю глазами, стояла предъ нимъ Матренушка, ни единого слова она не промолвила.

Заперли рабу Божию въ тѣсную келійку. Окромѣ матери Платониды, да кривой, старой ея послупницы Фотиньи, никого не видить, никого не слышитъ заточенница.... Горе горемычное, сидѣнье темничное!... Гдѣ-то вы дубравушки зеленныя, гдѣ-то вы ракитовы кустики, гдѣ ты рожь матушка зрѣлая—высокая, овсы, ячмени усатые, что крылы добра молодца съ красной дѣвицей?.... Келья высокая, окна-то узкія съ желѣзными перекладами: ни выпрыгнуть, ни вылѣзти.... Нельзя подать вѣсточки другу милому...

Мать изъ деревни пріѣхала къ Матренушкѣ, да сестра замужня. Погоревали, поплакали, пособить горю не могли. Супротивъ отцовской воли какъ идти?...

Хоть и завѣрялъ Платониду Чапуринъ, что за Матренушкой большой провинности нѣтъ, а на дѣлѣ вышло не то.... Платонидѣ такія дѣла бывали за обычай: не одна купецкая дочка въ ея кельѣ дѣвичій грѣхъ укрывала.

Не спознали про Матренушкинъ грѣхъ ни отецъ, ни сестра съ братьями, и никто изъ обительскихъ кромѣ матушки игуменьи да послупницы Фотиньи. Мастерца была концы хоронить мать Платонида...

Во время родовъ мать Платонида не отходила отъ Матренушки. Зажгла передъ иконами свѣчу богоявленскую и громко, истово, безъ перерывовъ, принялась читать ака-

еиствъ Богородицѣ, стараясь покрывать своимъ голосомъ стоны и вопли страдальцы. Прочитавъ акаеиствъ, обратилась она къ племянницѣ, но не съ словомъ утѣшенія; не съ словомъ участія. Небесной карой принялась грозить Матренушкѣ за проступокъ ея.

— Чтò, тяжело? явила ее Платонида, стоя у изголовья.—На томъ свѣтѣ не то еще будетъ!... Весело теперь?... Сладко?... Погоди, не избѣжать тебѣ муки вѣчныя, тьмы кромѣшныя, скрежета зубнаго, червя безконечнаго, огня негасимаго!... Огнь, жупель, смола кипучая, гееннскія томленія.... А это чтò за муки!

— Матушка!... Родная ты моя!... упавшимъ голосомъ, едва слышно говорила дѣвушка.—Помолись Богу за меня, за грѣшницу...

— Не доходна до Бога молитва за такую! сурово отвѣтила ей Платонида.—Теперь въ аду бѣсы пляшутъ, радуются... Видала на иконѣ Страшнаго Суда какое мученье за твой грѣхъ уготовано?... Видала?... Слушай: „не еже здѣ мучиться люто, но она вѣчна мука страшна есть и самимъ бѣсомъ трепетна“... Готовятъ тебѣ крюки каленые!..

— Матушка! матушка!... прости ты меня, Христа ради!... Мнѣ бы исправиться... \* Смертный часъ приходитъ... Не переживу я...

— Исправой грѣха твоего не загладить... Многіе годы слезъ-покаянья, многія ночи безъ сна на молитвѣ, строгій постъ, умерщвленіе плоти, отреченье отъ міра, отъ всѣхъ его соблазновъ, безысходное житье во иноческой кельѣ, черная ряса, тяжелы вериги... Вотъ чѣмъ цѣлить грѣхъ твой великій...

— Матушка!... Если Господь помилуетъ меня... я готова... отрекусь отъ міра... ото всего... манатью надѣну... черную рясу...

\* Исповѣдаться.

— Обѣщаешься ли? спросила Платонида.

— Обѣщаюсь, проговорила дѣвушка.

— Обѣщаешься ли Христу?

— Обѣщаюсь...

— Принять ангельскій образъ иночества?

— Обѣщаюсь....

— Жить безысходно въ обители?

— Обѣщ....

Громко, пронзительно, нечеловѣческимъ голосомъ вскрикнула Матренушка... Стихла... Иной, тихій, слабенькій человѣчій голосокъ въ Платонидиной кельѣ раздался....

— Боже сильный, милостію вся строяй, молилась вслухъ Платонида, обратясь къ иконамъ, — посѣти рабу свою сію Матрену, исцѣли ю отъ всякаго недуга плотскаго и душевнаго, отпусти грѣхъ ея, и грѣховные соблазны, и всяку напасть, и всяко нашествіе непріязненно...

Дочку Богъ далъ. Завернула ее Платонида въ шубейку, отдала кривой Фотинѣ, а та мигомъ въ сосѣдню деревню Елфимову спроворила.

Тамъ жилъ одинъ мужичокъ, Григорій Ильичъ. Пряниками торговалъ, и по скитамъ ребячьимъ дѣломъ заправлялъ: промыселъ тотъ не въ примѣръ былъ доходнѣй пряничной торговли. У Ильича въ избѣ ребенка обмыли, въ пеленки уложили. Заложилъ Григорій лошадку и въ Городецъ. Дорожка давнымъ-давно проторенная. Въ Городцѣ рѣдку недѣлю двухъ, трехъ подкидышей не бывало. И изъ скитовъ въ Городецъ же, бывало, младенцевъ возилъ Григорій Ильичъ. Свезетъ, сдастъ кому слѣдуетъ, а на деньги, что получилъ отъ честныхъ матерей, городецкихъ пряниковъ закупить, жемковъ, орѣховъ и продаетъ ихъ скитскимъ бѣлицамъ, да молодымъ богомольцамъ. Выручку получалъ хорошую.

Елфимовскій пряничникъ дѣвочку сдалъ на часовенномъ

дворѣ, старицѣ Салоникѣ. Большая была начетчица та черница — строгая постница, великая ревнительница по древлему благочестію: двѣнадцать поповъ на своемъ вѣку отъ церкви въ расколь сманила. И тѣмъ также по Божѣ ревновала, чтобъ городецкихъ подкидышей непременно посылонъ въ старую вѣру крестить.

Дѣломъ не волоча, мать Салоникея снесла дѣвочку къ жившему при часовнѣ бѣглому попу. Тотъ окрестилъ и нарекъ ей имя Фаина. Мать Салоникея была восприемницей часовенный уставщикъ Василій Барановъ былъ восприемникомъ.

Таково было рожденіе Фленушки...

Въ тотъ же день Салоникея, идучи отъ вечерни, увидала на часовенномъ дворѣ знакомую молодицу. Зазвала ее къ себѣ, чайкомъ поподчивала, водочкой, пряничками, а потомъ и стала ей говорить:

— Вотъ, Авдотьюшка, пятый годъ ты, родная моя, замужемъ, а дѣтокъ Богъ тебѣ не даетъ... Не взять ли дочку приемную, богоданную? Господь не оставитъ тебя за добро и въ сей жизни, и въ будущей... Знаю, что недостатки ваши не широкіе, да вѣдь не объѣсть же васъ дѣвочка.... А можетъ-статься, выкупать ее у тебя родители, — люди они хорошіе, богатые, деньги большія дадутъ, тогда вы и справитесь...Право, Авдотьюшка, сотвори-ка доброе дѣло, возьми въ дочки младенца Фленушку.

Авдотьюшка поговорила съ мужемъ и согласилась принять богоданную дочку. И росла у ней Фленушка. Раздѣлая дѣвчонка росла.

Изъ семейныхъ о провинности Матрены Максимовны никто не узналъ, кромѣ матери. Отцу Платонида побоялась сказать — крутой человекъ, на смерть забилъ бы родную дочь, а самъ бы пошелъ шагать за бугры ураль-



скіе, за великія рѣки сибирскія... Да и самой матери Платонидѣ досталось бы, пожалуй, на калачи.

Много и горько плакала мать надъ дочерью, не коря ея, не браня, не попрекая. Молча, лила она тихія, но жгучія слезы, прижавъ къ груди своей побѣдную голову Матренушки... Что дѣлать?... Дѣло непоправное!...

Въ ногахъ валялась она передъ Платонидой и даже передъ Фотиньей, Христомъ-Богомъ молила ихъ сохранить тайну дочери. Злы были на спѣсивую Матренушку осиповскіе ребята, не забыли ея гордой повадки, насмѣшекъ ея надъ ихъ исканьями... Узнали бъ про бѣду, что стряслась надъ ней, какъ разъ дегтемъ ворота Чапурина вымазали бъ... И не снесъ бы старый позора; все бы выместилъ на Матренушкѣ плетью да кулаками.

И Платонида, и Фотинья передъ иконой Казанской Богородицы поклялись свято сохранить тайну. Началь положили, икону съ божницы сняли и во свидѣтельство клятвы цѣловали ее предъ Матренушкой и предъ ея матерью.

Дня черезъ три, по отъѣздѣ изъ скита старухи Чапуриной, къ матушкѣ Платонидѣ изъ Осиповки цѣлый возъ подарковъ привезли. Посланъ былъ возъ тайкомъ отъ хозяина... И не разъ въ году являлись такіе воза въ Комаровѣ возлѣ кельи Платонидиной. Тайна крѣпко хранилась.

Хорошо обительской матушкѣ-келейницѣ держать при себѣ богатенькую, молоденькую родственницу. Какъ сыръ въ маслѣ катается! Всего вдоволь отъ благостыни родительской, а въ обители почетъ большой. Матушки-келейницы пользуются всякимъ случаемъ, чтобъ уговорить молоденькую дѣвушку на безысходное житіе въ скиту.

Стала мать Платонида не по прежнему за больной ухаживать. Сколько ласки, сколько любви, сколько заботы обо всякой малости! Не надивится Матренушка перемѣнѣ

въ строгой, всегда суровой, всегда нахмуренной дотоѣ тетенькѣ...

Тетенька своѣго достигла — птичка въ сѣтяхъ. Хорошо, привольно, почетно было послѣ того жить Платонидѣ. Послѣ матери игуменьи первымъ человѣкомъ въ обители стала.

Оправясь отъ болѣзни, Матренушка твердо рѣшилась исполнить данный обѣтъ. Вѣрила, что этимъ только обѣтомъ избавилась она отъ страшныхъ мукъ, отъ грозившей смерти, отъ адскихъ мученій, которыя такъ щедро сулила ей мать Платонида. Чтеніе *Книги о старчества, Патериковъ и Лимонаря* окончательно утвердили ее въ рѣшимости посвятить себя Богу и суровыми подвигами иночества умилосердить прогнѣваннаго ея грѣхопаденіемъ Господа. Адъ и муки его не выходили изъ ея памяти...

Не мало просьбъ, не мало слезъ понадобилось, чтобы вымолить у отца согласіе на житіе скитское. И слышать не хотѣлъ, чтобы дочь его надѣла иночество.

— Лучше за Якимку замужъ иди, сказалъ онъ Матренѣ послѣ долгихъ, напрасныхъ уговоровъ. — Хоть завтра пущай сватовъ засылаетъ: хочешь, честию отдамъ, хочешь, уходомъ ступай.

Зардѣлась Матренушка. Радостью блеснули глаза... Но вспомнился обѣтъ, данный въ страшную минуту, вспомнились мученія ада...

— Что жъ, Мотря? спрашивалъ отецъ. — Посылать что ли къ жениху тайную вѣсточку?

— Женихъ мой — Царь небесный. Иного не знаю и не желаю, твердо отвѣчала Матрена Максимовна.

Отецъ нахмурился и склонилъ голову. Немного подумавъ, сказалъ онъ:

— Ну, дѣлай какъ знаешь... Прощай!

Цѣлую ночь простояла на молитвѣ дѣвушка... Стоить,

погружаясь глубже и глубже въ богомысліе, но помысль мятежнаго міра все мутить душу ея.... Встають передъ душевными очами ея обольстительные образы тихой, сладкой любви. Видится ей, что держитъ она на одной рукѣ бѣлокурую кудрявую дѣвочку, а другою обнимаетъ отца ея, и сколько счастья, сколько радости въ его ясныхъ очахъ!... Она чувствуетъ жаркія объятія его, ея губы чувствуютъ горячій поцѣлуй мужа... Мужа?... „Грядетъ міра помышленіе грѣховно, борють мя окаянную страсти“, шепчетъ она, дрожа всѣмъ тѣломъ. „Помилуй мя, Господи, помилуй мя! Очисти мя скверную, безумную, неистовую, злопытливую“...

И взявъ бутылку изъ-подъ деревяннаго масла, стоявшую подъ божницей, разбила ее въ дребезги объ уголь печи, собрала осколки, и ставъ на нихъ голыми колѣнами, ради умерщвленія плоти, стала продолжать молитву.

Матрену Максимовну взяла подъ свое крылышко сама мать игуменья и, вмѣстѣ съ двумя, тремя старухами, въ недолгое время успѣла всю душу перевернуть въ поблекшей красавицѣ...

Вольный ходъ куда хочешь и полная свобода настали для недавней заточенницы. Но кромѣ часовни и келій игуменьи, никуда не ходитъ она. Мерзокъ и скверенъ сталъ ей прекрасный Божій міръ. Только въ тѣсной кельѣ, пропитанной удушливымъ запахомъ воска, ладана и деревяннаго масла, стало привольно дышать ей.... Гдѣ-то тамъ кустики раkitовые, гдѣ ты рожи высокая, зыбучая?... Грѣховно, все грѣховно въ глазахъ молодой бѣлицы...

Однажды, тихимъ лѣтнимъ вечеромъ, вышла она за скитскую околицу. Безъ дѣла шла и сама не знала какъ забрела къ перелѣску, что росъ недалеко отъ обителѣй... Раздвинулись кустики, передъ ней—Якимъ Прохорычъ.

— Ясынька ты моя, ненаглядная!... Радость ты моя!...

Голубушка!... рыдая и страстно дрожа всѣмъ тѣломъ, вскрикнулъ Стуколовъ. Стремительно бросился онъ къ другу.

Она остановилась... Глаза всыхнули... Еще одно мгновение, и она была бы въ объятіяхъ друга... Но объѣтъ!... Страшный Судъ, вѣчныя муки!..

— Бѣсъ!... Проклятый!... крикнула она, высоко поднявъ правую руку. — Прочь!... Не скверни святаго мѣста!... Прочь!...

— Матренушка!... Милая!... Разлапушка!... Вѣдь это я... я... Ахъ не узнала?... Вглядись хорошенько!

— Прочь, говорятъ тебѣ, отвѣчала она. — Не знаю тебя... Змѣй, искушитель!... Оставь!...

И спокойною поступью пошла къ своей кельѣ.

Съ того дня за Волгой не стало ни слуху, ни духу про Стуколова.

Черезъ три дня послѣ этой встрѣчи, блѣдную, исхудалую дѣвушку вели въ часовню; тамъ дали ей въ руки зажженную свѣчу... Начался обрядъ... Изъ часовни вышла ново-постриженная мать Манеѳа...

Съ перваго шага Манеѳа стала въ первомъ ряду келейницъ. Отецъ отдалъ ей все, что назначалъ въ приданое, сверхъ того щедро одѣлялъ дочку-старицу деньгами къ каждому празднику. Это доставило Манеѣ почетное положеніе въ скиту. Сначала Платонида верховодила ею, прошелъ годъ, другой, Манеѳа старше тетки стала.

Сдѣлалась она начетчицей, изошрилась въ словопреніяхъ—и пошла про нея слава по всѣмъ скитамъ Керженскимъ, Чернораменскимъ. Заговорили о великой ревнительницѣ древляго благочестія, о крѣпкомъ адамантѣ старой вѣры. Узнали про Манеѳу въ Москвѣ, и въ Казани, въ Иргизѣ и по всему старообрядству. Самъ попъ Иванъ Матвѣичъ съ Рогожскаго сталъ присылать ей грамоты,

сама мать Пульхерія, московская игуменья, поклоны да подарочки съ богомольцами ей посылала.

Умерла Платонида, келья ея Манеевъ досталась. Стала она въ ней полной хозяйкой, завися отъ одной только игуменьи матери Екатерины.

— Сиротку въ Городцѣ нашла я, матушка, сказала она однажды игуменьѣ:—Думаю дѣвочку въ дочки взять, воспитать желаю во славу Божию. Благословите, матушка.

Екатерина сидѣла за *Кирилловой книгой*. Медленно подняла она голову, и глядя черезъ очки на Манееву, спросила:

— Велика ль дѣвочка-то?

— Пять лѣтъ, шестой пошелъ, отвѣчала мать Манеева.

— Пять лѣтъ... шестой... медленно проговорила игуменья и улыбнулась. Это выходитъ — она въ тотъ годъ родилась, какъ ты въ обитель вступила.—Ну, что жь? Богъ благословитъ на доброе дѣло.

Смущенная словами Екатерины, Манеева поблѣднѣла какъ полотно и до земли поклонилась игуменьѣ.

Григорій Ильичъ черезъ нѣсколько дней привезъ изъ Городца хорошенькую бойкую дѣвочку Флену Васильевну.

Выросла Фленушка въ обители, подъ крылышкомъ родной матушки. Росла баловницей всей обители, сама Манеева души въ ней не слышала. Но никто, кромѣ игуменьи, не вѣдалъ, что строгая, благочестивая инокиня родной матерью доводится рѣзвой дѣвочкѣ. Не вѣдала о томъ и сама дѣвочка.

Прошло еще сколько-то лѣтъ, скончалась въ обители игуменья мать Екатерина. Послѣ трехдневнаго поста собирались въ часовню старицы, клали жеребьи за икону Пречистой Богородицы, пѣли молебный канонъ Спасу Милостивому, вынимали жребій, кому сидѣть въ игуменьяхъ.

Манеевъ жребій вынулся. Въ ноги ей вся обитель разомъ

поклонилась, настоятельскій жезлъ ей поднесли и съ пѣніемъ духовныхъ пѣсней повели ее въ игуменскія кельи...

Разумно и правдиво правила Манеѳа своей обителью. Всѣ уважали ее, любили, боялись. Недруговъ не было. „Давно стоятъ скиты Керженскіе, Чернораменскіе, будутъ стоять скиты и послѣ насъ, а не бывало въ нихъ такой игуменьи какъ матушка Манеѳа да и впредь врядъ ли будетъ“. Такъ говорили про Манеѳу въ Комаровѣ, въ Улангерѣ, въ Оленевѣ и въ Шарпанѣ, и по всѣмъ кельямъ и сиротскимъ домамъ скитовъ маленькихъ.

Обительскія заботы, чтеніе душеполезныхъ книгъ, непрестанныя молитвы, тяжелые труды и богомысліе давно водворили въ душѣ Манеѳы тихій, мирный покой. Не тревожили ея воспоминанья молодости, все бывшее покрывалось забвеніемъ. Сама Фленушка не будила болѣе въ умѣ ея памяти о прошломъ. Считая Якима Прохорыча въ мертвыхъ, Манеѳа внесла его имя съ синодики постынный и литейный на вѣчное поминовеніе.

И вдругъ нечаянно, нежданно явился онъ.... Какъ огнемъ охватило Манеѳу, когда взглянувъ на паломника, она признала въ немъ дорогаго когда-то ей человѣка.... Она, закаленная въ долгой борьбѣ со страстями, она, побѣдившая въ себѣ ветхаго человѣка съ всѣми влеченьями къ міру, чувственности, суетѣ, она, умертвившая въ себѣ сердце и сладкія его обольщенья, едва могла сдержать себя при видѣ Стуколова, едва не выдала людямъ давнюю, никому невѣдомую тайну.

Слушая длинный разговоръ паломника, Манеѳа духовно утѣшалась и радовалась. „Благодарю Тебя, Господи, мысленно говорила она, о Твоихъ благодѣяніяхъ, милостивно на насъ бывшихъ. Не погнушался еси нашею скверною и грѣшника сего суща воздвигнуть еси потрудиться и послужити во славу имени Твоего!“

Нелицеѣренъ былъ поклонъ ея передъ бывшимъ любовникомъ. Поклонялась она не любовнику, а подвижнику, благодарила она трудника, положившаго душу свою на исцанье старообрядскаго святительства.... Ни дубравушки зеленныя, ни кусты ракитовые не мелькнули въ ея памяти....

Но едва отошла отъ паломника, все ей вспомнилось..  
Бѣжать, бѣжать скорѣй!...

Бѣжать не удалось.... Патапъ Максимычъ помѣшалъ....  
Надо жить подъ одной кровлею съ нимъ.... И Фленушка тутъ же.... Бѣдная, бѣдная!.... Чуетъ ли твое сердечушко, что возлѣ тебя отецъ родной?

Стоить Манеѳа передъ темными ликами угодниковъ —  
хочетъ читать, не видитъ, хочетъ молиться, молитва на умъ нейдетъ....

— Просвѣти умъ мой, Господи, шепчетъ она,—очисти сердце мое!...

А въ ушахъ звучать то веселые звуки деревенскаго хоровода, то затѣйный хохотъ на сѹпрядкахъ, то тихій, ласкающій шепотъ во ржахъ....

Затряслась всѣмъ тѣломъ Манеѳа...

— О Господи, Господи! шептала она, взирая на икону Спаса.

И холодная какъ ледъ, безъ памяти, безъ сознанія, тихо спустилась на помость моленной.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

На другой день столы работникамъ и народу справлялись. Въ горницахъ весело шелъ мясной пиръ. Надивиться не могли Снѣжковы на житье-бытье Патапа Максимыча... Въ лѣсахъ живетъ, въ захолустѣ, а пиры задаетъ хоть въ Москвѣ бы такіе...

Провожая Снѣжковыхъ, Патапъ Максимычъ не только не повелъ рѣчи про сватовство, но даже намека не сдѣлалъ, а когда на прощаньѣ Данило Тихонычъ завелъ было рѣчь о томъ, Патапъ Максимычъ сказалъ ему:

— Не раненько ль толковать объ этомъ, Данило Тихонычъ? Дѣло-то кажись бы не къ спѣху. Время вперед, подождемъ что Богъ пошлетъ. Есть на то воля Божія, дѣло сдѣлается; нѣтъ,—супротивъ Бога какъ пойдешь?

— Оно конечно воля Божія первѣй всего, сказалъ старый Снѣжковъ,—однакожь все-таки намъ теперь бы желательно ваше слово услышать, по тому самому, Патапъ Максимычъ, что ваша Настасья Патаповна очень мнѣ по праву пришлась—одно слово, распрекрасная дѣвица, какихъ на свѣтѣ мало живетъ, и паренекъ мой тоже говорить что ему невѣсты лучше не надо.

— На добромъ словѣ покорно благодаримъ, Данило Тихонычъ, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ,—только я такъ думаю что если Михайло Данилычъ станетъ по другимъ мѣстамъ искать, такъ много дѣвицъ не въ примѣръ лучше моей Настасьи найдетъ. Наше дѣло, сударь, деревенское, лѣсное. Настасья у меня окромѣ деревни да скита ничего не видывала, и мнѣ сдается что такому жениху, какъ Михайло Данилычъ, врядъ ли она подъ стать подойдетъ, потому что не обykle къ вашимъ городскимъ порядкамъ.

— Это не бѣда. Долго ль приобыкнуть! возразилъ Снѣжковъ.—Нѣтъ ужъ вы напрямикъ скажите, Патапъ Максимычъ, можно намъ надѣяться, аль не можно?

— Да чего же тутъ надѣяться-то? говорилъ Патапъ Максимычъ.—Отъ меня ни отказу, ни приказу нѣтъ. Вѣдь хоща у насъ съ вами, Данило Тихонычъ, и были разговоры, такъ вѣдь это такъ.... Мало ль что за столикомъ съ рюмочками промежъ пріятелей говорится?.. Вы не всяко лько въ строку пускайте!... Опять же было у насъ съ



вами говорено такъ: если дѣлу тому сдѣлаться, такъ развѣ на ту зиму. Стало и будемъ ждать той зимы. Тамъ что Господь укажетъ.... А все жъ моя Настасья не порогомъ поперекъ вамъ стала, ищите гдѣ лучше, и на мнѣ не взыщите коли до той поры Настасья другой женихъ по мысли найдется. Я воли съ нея не снимаю, у дѣвки свой разумъ въ головѣ,—сама должна о судьбѣ своей разсудить.

— Какъ же это понимать надобно, Патапъ Максимычъ? немного помолчавъ спросилъ Снѣжковъ.—Вѣдь это значить отказъ какъ длинный шестъ.

— Гдѣ же тутъ отказъ, Данило Тихонычъ? сказалъ Патапъ Максимычъ.—Никакого отказу вамъ нѣтъ отъ меня.... Отказъ бываетъ когда сватовство идетъ, а развѣ у насъ сватовство въ настоящемъ видѣ какъ слѣдуетъ было? Разговоры только были. Попріятельски поболтали отъ нечего дѣлать.... Да и тутъ было сказано до зимы ожидать.... Тамъ, опять-таки говорю я вамъ, увидимъ что Богъ дастъ.... И отказывать не отказываю, и обѣщать не обѣщаю.... Опять же надо прежде Настасью спросить, вѣдь не мнѣ жить съ Михайломъ Данилычемъ, а ей: съ дочерей я воли не снимаю, хочеть—иди съ Богомъ, не хочеть — неволить не стану.

— Помнится мнѣ въ Городцѣ не такія рѣчи я слышала отъ васъ, Патапъ Максимычъ? съ усмѣшкой промолвилъ Снѣжковъ.—Тогда было кажись говорено: „какъ захочу такъ и сдѣлаю“.

Передернуло Патапа Максимыча. Попрекъ Снѣжкова задѣлъ его за живое. Сверкнули глаза, повернулось было на языкѣ сказать: „не отдамъ на срамъ дѣтище, не потерплю чтобы голѣли ее передъ чужими людьми“... Но сдержался и молвилъ съ досадою:

— Въ головѣ шумѣло, оттого и совралъ. Татаринъ что

ль я дѣвку замужъ отдавать ея не спросясь? Хоть и грѣшныя люди, а тоже христіане.

Распрощались повидимому дружелюбно, но Патапъ Максимычъ понималъ что дружба его со Снѣжковымъ ухнула. Не простить ему Данило Тихонычъ во вѣки вѣковъ....

---

Проводивъ Снѣжковыхъ, пошелъ Патапъ Максимычъ въ подклѣтъ и тамъ въ боковушкѣ Алексѣя усѣлся съ паломникомъ и молчаливымъ купцомъ Дюковымъ. Былъ тутъ и Алексѣй. Шли разговоры про земляное масло.

— Такъ и въ самомъ дѣлѣ въ нашихъ мѣстахъ такая благодать водится? спрашивалъ Патапъ Максимычъ паломника.

— Есть, отвѣчалъ Якимъ Прохорычъ. — Въ большомъ даже изобиліи. И чудное дѣло, прибавилъ онъ,—сколько странъ, сколько земель исходилъ я на своемъ вѣку, а такой слѣпоты въ людяхъ, какъ здѣсь, нигдѣ я не видывалъ! Люди живутъ—хоть бы Ветлугу взять—бѣдность одна, лѣсъ рубятъ, лубъ дерутъ, мочало мочать, смолу гонять—бьются сердечиныя вѣкъ свой за тяжелой работой: днемъ не доѣдаютъ, ночью не доспятъ.... О, какъ бы не ихняя слѣпота!... Стоить только землю лопаткой копнуть, и такое тутъ богатство что цѣлый свѣтъ можно бы обогатить. По золоту ходятъ, а его не примѣчаютъ... Бабы у нихъ дресвой полы моютъ. Не дресвой онѣ моютъ, червоннымъ золотомъ.... Вотъ вѣдь что значить какъ чело-вѣкъ-отъ въ понятіи не состоитъ!... Извѣстно: живутъ въ лѣсахъ, людей которы бы до всего доходили не видывали... Гдѣ имъ знать?

— Гдѣ жъ эти самыя мѣста? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Сказано—на Ветлугѣ, отвѣтилъ Стуколовъ.

— Ветлуга-то велика. Ты скажи которо мѣсто, приставалъ къ паломнику Патапъ Максимычъ.

— Гдѣ именно тѣ мѣста покажѣшь не скажу, отвѣчалъ Стуколовъ. — Возьмешься за дѣло какъ слѣдуетъ, вмѣстѣ поѣдемъ, либо вѣрнаго человѣка пошли со мной.

— Я хоть сейчасъ готовъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Сейчасъ нельзя, замѣтилъ Стуколовъ. — Чего теперь подъ снѣгомъ увидишь? Надо вѣдь землю копать, на днѣ малыхъ рѣченокъ смотрѣть... Какъ можно теперь? Коли условіе со мной подпишешь, поѣдемъ по веснѣ и примемся за работу, а еще лучше ѣхать около Петрова дня, земля къ тому времени просохнетъ... Болотисто ужь больно по тамошнимъ мѣстамъ.

— Лѣтомъ нельзя мнѣ, замѣтилъ Патапъ Максимычъ. — Да кума могу попросить Ивана Григорьича. А коль ему недосужно, вотъ его спосылаю, прибавилъ онъ, показывая на Алексѣя. — Теперь-то чтѣ же надо дѣлать?

— Капиталомъ войти, потому расходы, сказалъ Якимъ Прохорычъ. — Условіе надо писать, потомъ въ сроки деньги вносить.

— На чтѣ же деньги-то? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Мало ль на чтѣ, отвѣчалъ Стуколовъ. — Шурфы бить, то-есть пробы въ землѣ дѣлать, землю купить коли помѣщичья, а если казенная, въ Питерѣ хлопотать чтобы приискъ за нами записали... Да и потомъ, мало ль на чтѣ денегъ потребуется. Золото даромъ не дается... Зарой въ землю деньги, она и станетъ тебѣ отплачивать.

— Да ты Расскажи по порядку какъ этимъ дѣломъ надо орудовать, какъ его въ ходъ-отъ пустить? допрашивалъ паломника Патапъ Максимычъ. — Хоть наше дѣло не то чтобы лубъ драть, однакожь, по этому дѣлу чтѣ про

лыкодеровъ ты молвилъ, то и къ нашему брату пристало: въ понятіи не состоимъ, взятыся не умѣемъ.

— То-то и есть!... сказалъ Стуколовъ.— Безъ умѣлыхъ людей какъ за такое дѣло приниматься? Сказано: „Божьей волей свѣтъ стоитъ, человѣкъ живетъ умѣньемъ“. Досужество да умѣнье всего дороже... Вотъ ты и охочъ золото добывать, да не гораздъ — ну и купи досужество умѣлыхъ людей.

— Да какъ его купить-то? усмѣхнувшись молвилъ Патапъ Максимычъ.— На базарѣ не продають.

— Вотъ что, сказалъ Стуколовъ,— складчину надо сдѣлать, компанію такую. Слыхалъ про компаніи, что складными деньгами дѣла ведутъ?

— Какъ не слыхать? молвилъ Патапъ Максимычъ.— Только въ этомъ дѣлѣ, сказываютъ, много грѣха живетъ— обижаютъ.

— На то глаза во лбу да умъ въ мозгу чтобъ не обидѣли, отвѣчалъ Стуколовъ.— Вилишь ли: чтобъ начать дѣло нуженъ капиталъ, примѣромъ тысячъ въ пятьдесятъ серебромъ.

— Въ пятьдесятъ? вскрикнулъ Патапъ Максимычъ.— Экъ тебя!... Ровно про полтину сказалъ.— Пятьдесятъ тысячъ деньги, братъ, не малыя, зря не валяются... Эко слово молвилъ!— Пятьдесятъ тысячъ!... Да у меня братъ и половины такихъ денегъ въ ларцѣ-то не найдется, да если и кума и Михайлу Васильича взять, такъ и всѣмъ намъ пятидесяти тысячъ наличными не собрать. У насъ вѣдь обороты, торговля.... У торговаго человѣка наличными деньги не лежатъ. А заведенныхъ дѣлъ ради твоего золота я не нарушу... Что-то еще тамъ на Ветлугѣ будетъ, а заведенное дѣло извѣдано — съ нимъ идешь навѣрняка. Хотя и сулишь ты горы золота, однакоже я скажу тебѣ,

Якимъ Прохорычъ, что домашній теленокъ не въ примѣръ дороже заморской коровы.

— Такъ какъ же, Патапъ Максимычъ, будетъ наше дѣло? послѣ минутнаго молчанья спросилъ Стуколовъ.

— Да ужъ вѣрно такъ и будетъ что твои блины отложить до другаго дни. Неподходящая сумма, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.

— Меньше нельзя, равнодушно отвѣтилъ Стуколовъ.— Пятидесяти тысячъ не пожалѣешь—милліонами будешь воровать... Слыхалъ какъ въ Сибири золотомъ разживаются?

— Слыхать-то слыхалъ, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.— Да вѣдь то Сибирь, мѣсто по этой части насѣженное, а здѣсь вновь, еще Богъ знаетъ какъ пойдетъ.

— Ветлужскіе пріиски богаче сибирскихъ—вѣрь моему слову, сказалъ Стуколовъ.—Гляди...

И вынулъ паломникъ изъ замшеваго мѣшка полгорсти золотого песку и сталъ пересыпать его. Глаза такъ и загорѣлись у Патапа Максимыча. Закусилъ онъ губу.

— Этой благодати на Ветлугѣ больше чѣмъ въ Сибири, говорилъ Стуколовъ,—а главное, здѣшня сторона нетронутая, не то что Сибирь... Мы первые, мы сметанку снимемъ, а послѣ насъ другіе хлѣбай простоквашу...

— Да впрямь ли ты это на Ветлугѣ нашель? спросилъ Патапъ Максимычъ, не спуская глазъ съ золотой струи, надавшей изъ рукъ паломника.

—Божиться что ль тебѣ?... Образъ со стѣны тащить? вепыхнулъ Стуколовъ.—И этимъ тебя не увѣришь... Коли хочешь увѣриться, ѣдемъ сейчасъ на Ветлугу. Тамъ я тебя къ одному мужичкѣ усвезу, у него такое же маслицо увидишь, и къ другому свезу и къ третьему.

— Что жъ, это можно, сказалъ Патапъ Максимычъ.— Сколько жъ денегъ потребуется?

— Да покамѣсть гроша не потребуется, отвѣчалъ Сту-

коловъ.—Пятьдесятъ тысячъ надо не сразу, не вдругъ. Коли дѣло плохо пойдетъ, кто намъ велитъ деньги сорить попустому? Вотъ какъ тебѣ скажу—издержимъ мы двѣ аль три тысячи на ассигнаціи, да если увидимъ что выгоды нѣтъ—вдаль не пойдемъ, чтобъ не зарваться....

— Двѣ либо три тысячи! раздумывалъ Патапъ Максимычъ.—Ну это еще туда-сюда... На этомъ можно помириться. А на счетъ пятидесяти серебра—нѣтъ, братъ, шалишь, мамонишь.

— Какъ впередъ загадывать? отвѣчалъ Якимъ Прохорычъ,—можетъ статься и много меньше пятидесяти тысячъ положишь, а года въ два миллионъ наживешь.

— Ужь и миллионъ? Не широко ль загинаешь? перебилъ Патапъ Максимычъ.

— Не одинъ миллионъ, три, пять, десять наживешь, съ жаромъ сталъ увѣрять Патапа Максимыча Стуколовъ.—Лиха бѣда начать: а тамъ загребай деньги.—Золота на Ветлугѣ, говорю тебѣ, видимо невидимо. Чего ужъ я—человѣкъ бывалый, много видалъ золотыхъ приисковъ—и въ Сибири и на Уралѣ, а какъ посмотрѣлъ я на ветлужскія палестины, такъ и у меня съ дива руки опустились... Да чтѣ тутъ толковать, слушай. Мы такъ положимъ, что на все на это дѣло нужно сто тысячъ серебромъ.

— Значить это дѣло надо оставить, махнувъ рукой, сказалъ Патапъ Максимычъ.—Сто тысячъ!.... Экъ у него тысячи-то—равно парена рѣпа....

— А ты слушай, рѣчи не перебивай, перерывъ его Стуколовъ.—Наличными на первый разъ—сказалъ я тебѣ—двѣ, либо три тысячи ассигнаціями потребуется.

— Хоть убей—въ толкъ не возьму, возразилъ Патапъ Максимычъ.—Про какія же сто тысячъ поминаешь?

— Да ты не перебивай моей рѣчи, а то ввѣкъ съ тобой не столкнешься, съ досадою молвилъ Стуколовъ.—

Сто тысячъ!... Эти сто тысячъ надо дѣлить на сто паевъ, по тысячѣ рублей пай. Понимаешь?

— Дальше что? молвилъ Патапъ Максимычъ.

— Пятьдесятъ паевъ ты себѣ возьми, вложивши, за нихъ пятьдесятъ тысячъ, продолжалъ Якимъ Прохорычъ.— Не теперь, а послѣ, по времени, ежели дѣло на ладъ пойдетъ.— Не сможешь одинъ, товарищей найди: хотъ Ивана Григорыча что ли, аль Михайлу Васильича— Это ужъ твое дѣло. Всѣ барыши тоже на сто паевъ—сколько кому достанется.

— Ладно, хорошо, а другіе-то пятьдесятъ паевъ куда? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Епископу Софронію, отвѣчалъ паломникъ.

— Даромъ?

— Даромъ.

— И половина барышей ему? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Конечно.

— Жирно, братъ, съѣсть! возразилъ Патапъ Максимычъ.— Нѣтъ, Якимъ Прохорычъ, нечего намъ про это дѣло и толковать. Не подходящее, совсѣмъ пустое дѣло!.. Какъ же это?—Будь онъ хотъ патріархъ твой Софронъ, а деньги въ складчину давай, коли барышей хочеть.... А то—самъ денегъ ни гроша, а въ половинѣ... На что это похоже?... За что?

— А за то что онъ первый спозналъ про такое богатство, отвѣчалъ Стуколовъ. — Вотъ положимъ у тебя теперь сто тысячъ въ рукахъ, да развѣ получишь ты на нихъ милліоны, коль я не укажу тебѣ мѣста, не научу какъ надо поступать? Положимъ другой тебя и научить всѣмъ порядкамъ: какъ заявлять прінски, какъ закрѣпить ихъ за собой... А гдѣ копать-то станешь?... Въ какомъ мѣстѣ прінскъ заявишь?... За то чтобы знать гдѣ золото

лежить давай деньги епископу.... Да и денегъ не надо—барыши только пополамъ.

Задумался Патапъ Максимычъ.

— Было бы съ него и десяти паевъ, сказалъ онъ. — Право больше не стоить—самъ посуди, Якимушко.

— Меньше половины нельзя, рѣшительно отвѣтилъ Стуколовъ. — У него въ Калужской губерніи такое же дѣло заводится, тоже на пятидесяти паяхъ. Землю съ золотомъ покупаютъ теперь у помѣщика тамошняго, у господина Поливанова, можетъ слыхалъ. Деньги дали тому господину не малыя, а епископъ своихъ копѣйки не истратилъ.

— Ну пускай бы ужъ его пятнадцать паевъ взялъ. Больше право обидно будетъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Какъ сказано, такъ и будетъ, а не хочешь, другихъ охотниковъ до золота найдемъ, спокойно отвѣчалъ Стуколовъ.

И вынувъ опять замшевый мѣшокъ, посыпалъ изъ него золотой песокъ себѣ на руку передъ Патапомъ Максимычемъ.

Не разъ и не два такіе разговоры велись у Патапа Максимыча съ паломникомъ, и все въ подклѣтѣ, все въ Алексѣевой боковушѣ. Были при тѣхъ переговорахъ и кумъ Иванъ Григорычъ, и удѣльный голова Михайло Васильичъ. Четыре дня велись у нихъ эти переговоры, наконецъ рѣшился Патапъ Максимычъ взяться за дѣло.

Рѣшили до поры до времени про затѣваемое дѣло никому не сказывать. Стуколовъ говорилъ что если пойдетъ оно въ огласку—пищи пропадетъ. Въ сибирскихъ тайгахъ, по его словамъ, зачастую бываетъ что одинъ отыщетъ пріискъ, да ненарокомъ проболтается, другой тотчасъ подхватитъ его на свое имя. Послѣ Масляницы Патапъ Максимычъ общался съѣздить на Ветлугу вмѣстѣ съ паломникомъ повидать мужиковъ, про которыхъ тотъ го-



ворилъ, и ежели дѣло окажется вѣрнымъ, написать со Стуколовымъ условіе, отсчитать ему три тысячи ассигнаціями, а затѣмъ если дѣло въ ходъ пойдетъ и окажутся барыши давать ему постепенно до пятидесяти тысячъ серебромъ.

Патапъ Максимычъ только и думаетъ о будущихъ милліонахъ. День-деньской бродитъ взадъ и впередъ по передней горницѣ и думаетъ о каменныхъ домахъ въ Петербургѣ, о больницахъ и богадѣльняхъ, что построить онъ міру на удивленіе, думаетъ какъ онъ мели да перекаты на Волгѣ расчиститъ, желѣзныя дороги какъ строить зачнетъ.... А милліоны все прибавляются, да прибавляются.... „Что жъ, думаетъ Патапъ Максимычъ, — Демидовъ тоже кузнецомъ былъ, а теперь посмотри-ка чѣмъ стали Демидовы!—Отчего жъ и мнѣ такимъ не быть.... Не обѣювокъ же я въ полѣ какой!“....

На первой недѣлѣ Великаго Поста Патапъ Максимычъ выѣхалъ изъ Осиповки со Стуколовымъ и съ Дюковымъ. Прощаясь съ женой и дочерьми, онъ сказалъ что ѣдетъ въ Красную Рамень на крупчатныя свои мельницы, а оттуда проѣдетъ въ Нижній да въ Лысково, и воротится домой къ середокрестной недѣлѣ, а можетъ и позже. Домъ покинулъ на Алексѣя, хотя притомъ и Пантелею наказалъ глядѣть за всѣмъ строже и пристальнѣй.

Наканунѣ отъѣзда, вечеромъ, послѣ ужина, когда Стуколовъ, Дюковъ и Алексѣй разошлись по своимъ угламъ, Аксинья Захаровна, оставшись съ глазу на глазъ съ мужемъ, стала ему говорить:

— Максимычъ, не серчай ты на меня, кормилецъ, коли я что не по тебѣ молвлю, выслушай ты меня ради Христа.

— Чего еще надо? взглянувъ на жену изъ подлбья, спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Завтра уѣдешь ты?...

— Ну?

— На кого же домъ-отъ покидаешь? Прежде Савельичъ, царство ему небесное, былъ, за всѣмъ бывало приглядить, теперь-то кто?

— Кто на его мѣстѣ... Не смогла догадаться? сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Алексѣй Трифонычъ, значить? тихо проговорила Аксиныя Захаровна.

— Чтѣ жъ по - твоему на Никифора что ли домъ-отъ покинуть? равкнулъ Патапъ Максимычъ. — Такъ онъ въ недѣлю весь его пропьеть да и тебя самое въ кабацѣ заложить.

— Про этого врага у меня и помышленья нѣтъ, Максимычъ, плаксиво отвѣчала Аксиныя Захаровна. — Себя сгубилъ непутный, да и съ меня головоньку снимаетъ, изъ-за него только попреки одни.... Вѣкъ бы не видала его!... Твоя же воля была оставить Микешку. Хоть онъ и братъ рѣднѣйшій мнѣ, да я бы рада была радешенька на соснѣ его видѣть... Не онъ навязался на шею мнѣ, ты, батюшко, самъ его навязалъ... Пущай околѣлъ бы его гдѣ-нибудь подъ кабакомъ, *охъ* бы не молвила... А еще попрекаешь!

— Замолола!... Пошла безъ передышки въ пересыпку! хмурая и зѣвая, перебилъ жену Патапъ Максимычъ. — Будетъ ли конецъ вранью-то? Аль я въ самомъ дѣлѣ бабьяго вранья на свинѣ не объѣдешь?... Коли путное что хотѣла сказать—говори скорѣй,—спать хочется.

— Да я все насчетъ Алексѣя Трифоныча? робко молвила Аксиныя Захаровна.

— Что еще такое?

— Да какъ прикажешь: сюда ли ему безъ тебя обѣдать ходить, аль въ подклѣтъ ему относить? спрашивала Аксиныя Захаровна.

— И здѣсь мѣста не просидить, пущай его съ вами обѣдаетъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Ладно ль это будетъ, кормилецъ? Самъ посуди, что люди зачнутъ говорить: хозяинъ въ отлучкѣ, дочери невѣсты, молодой парень съ ними ѣстъ да пьетъ... И не знай чего наскажутъ! говорила Аксиныя Захаровна.

— Не смѣютъ!.. рѣшительно сказалъ Патапъ Максимычъ.— Да и парень не такой чтобы вздумалъ нехорошее дѣло... Не изъ такихъ что гдѣ пьютъ да ѣдятъ тутъ и пако-стятъ... Бояться нечего.

— Да такъ-то оно такъ, Максимычъ, отвѣчала Аксиныя Захаровна.— А все бы лучше кабы онъ въ подклѣтѣ обѣдалъ и безъ тебя бы на верхъ не'ходилъ... Что ему здѣсь дѣлать?... Не повѣришь ты, кормилецъ, все сердечушко изныло у меня...

— Да отвязись ты совсѣмъ, съ нетерпѣньемъ крикнулъ Патапъ Максимычъ, — ну, пущай его въ подклѣтѣ обѣдаетъ... Ты этого парня понять не можешь. Другаго такого не сыщешь... Можешь ли ты знать какія я насчетъ его мысли имѣю?...

— Какъ я могу знать, Максимычъ? отвѣчала Аксиныя Захаровна...—Гдѣ же мнѣ?

— Такъ значитъ и молчи, отвѣтилъ Патапъ Максимычъ.

— Да что жъ такое?... Какія у тебя мысли про Алексѣя Трифоныча? заискивающимъ голосомъ спросила Аксиныя Захаровна.

— О чемъ не сказываютъ, про то не допытывайся, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.—Придетъ время, скажу... а теперь спать пора.

У Патапа Максимыча въ самомъ дѣлѣ новыя мысли въ головѣ забродили. Когда онъ ходилъ взадъ и впередъ по горницамъ, гадая про будущіе миллионы, приходило ему и то въ голову какъ дочерей устроить. „Не Снѣжковымъ чета женихи найдутся тогда, думалъ онъ, а все жъ не выдамъ Настасью за такого шута какъ Михайло Данилычъ.... Надо мнѣ людей богобоязненныхъ, благочестивыхъ, не скомороховъ, что теперь по купечеству пошли. Тогда можно и небогатаго въ зятя принять, богатства на всѣхъ хватить.“

И попалъ ему Алексѣй на умъ.

Еслибы Настя знала да вѣдала что промелькнуло въ головѣ родителя, не плакала бы по ночамъ, не тосковала бы, вспоминая про свою провинность, не приходила бы въ отчаянье, думая про то чему быть впереди....

---

Собрались въ путь - дорогу. Пробывъ день другой на мельницахъ въ Красной Рамени, Патапъ Максимычъ со спутниками поѣхалъ на Ветлугу прямою дорогой черезъ Лыковщину. Надобно было верстъ восемьдесятъ ѣхать лѣсами, гдѣ проѣзжихъ дорогъ не бывало, только одиѣ узкія тропы межъ высокихъ сугробовъ проложены. По тѣмъ тропамъ лѣсники въ зимницы ѣздить и вывозять къ Кѣрженцу для сплава нарубленный лѣсъ. Сторона та совсѣмъ не жилая, лѣтомъ нѣтъ по ней ни ѣзду коннаго, ни ходу пѣшаго, только на зиму переселяются туда лѣсники и живутъ въ дремучихъ дебряхъ до лѣснаго сплава въ половодье.

Поѣхали путники въ двоихъ саняхъ, каждая тройкой гусемъ запрежены. Иначе и ѣздить нельзя по лѣснымъ тропамъ. Сначала путь шелъ торный,—по этому пути обо-

зы изъ Красной Рамени въ Лысково ходять, — но когда переѣхали Кёрженецъ и попали въ лѣсную глушь, что тянется до самой Ветлуги и дальше за нее, ѣзда стала затруднительна. Сѣдоки то-и-дѣло задѣвали головами за вѣтви деревьевъ и ихъ засыпало снѣгомъ, которымъ точно въ саваны окутаны стояли сосны и ели склоняся надъ тропею. Чуть не черезъ каждыя полторы-двѣ версты приходилось останавливаться и отгрести отъ снѣга. Тропа была неровная, сани то-и-дѣло наклонялись то на одну, то на другую сторону, и сѣдокамъ частенько приходилось вываливаться и потомъ, съ трудомъ выбравшись изъ сугроба, общими силами поднимать свалившіяся на бокъ сани. Тропа все одна, нѣтъ своротовъ ни направо, ни налево, и нѣтъ никакихъ признаковъ близости человѣка: ни осыка, \* ни просѣки, ни даже деревяннаго двухсаженнаго креста, какихъ много наставлено по заволжскимъ лѣсамъ, по обычаю благочестивой старины. \*\* И никакого звука. Развѣ только затрещитъ рябчикъ, перелетая съ дерева на дерево, либо забурчитъ вдали глухарь, да заскрипитъ надломленное дерево качаемое вѣтромъ. Заячьи и волчьи слѣды частенько пересѣкаютъ тропу, иногда попадается слѣдъ раздвоенныхъ копытъ дикой коровы, \*\*\* либо широкой лапы лѣснаго боярина Топтыгина согнаннаго съ берлоги охотниками.

---

\* Изгородь или прасла отдѣляющія лѣсъ отъ поля. Ее городятъ въ лѣсныхъ мѣстахъ чтобы пасущійся скотъ не забрелъ на хлѣбъ.

\*\* За Волгой на дорогахъ, въ поляхъ и лѣсахъ, особенно на перекресткахъ, стоятъ высокіе, сажени въ полторы или двѣ, осмиконечные кресты, иногда по нѣскольку рядомъ. Есть обычай тайно отъ всѣхъ срубить крестъ и ночью поставить его на перекресткѣ. Кто передъ тѣмъ крестомъ помолится, того молитва пойдетъ за срубившаго крестъ.

\*\*\* Такъ за Волгой называютъ лосей.

Перебравшись за Кёрженецъ, путникамъ надо было обратиться на Ялокшинскій зимнякъ, которымъ ѣздить изъ Лыскова въ Баки, выгадывая тѣмъ верстъ пятьдесятъ противъ объѣздной проѣзжей дороги на Дорогучу. Но вотъ ѣдутъ они два часа, три часа, давно бы надо быть на Ялокшинскомъ зимнякѣ, а его нѣтъ какъ нѣтъ. Ёдутъ, ёдутъ, на счастье тепло стояло, а то бы плохо пришлось. Не дается зимнякъ да и полно. А лошади притомились.

— Да туда ли мы ѣдемъ? спросилъ Патапъ Максимычъ сидѣвшаго на козлахъ работника.—Кои́мъ грѣхомъ не заблудились ли?

— Гдѣ заблудиться, Патапъ Максимычъ? отвѣчалъ работникъ.—Дорога одна, своротовъ нѣтъ, сами видѣли.

— Да въ Бѣлкинѣ-то хорошо ли ты расспросилъ у мужиковъ про дорогу?

— Какъ же не расспросить, все расспросилъ какъ слѣдуетъ. Сказали: какъ проѣдешь о́сѣкъ, держи направо до крестовъ, а съ крестовъ бери налѣво, тутъ будетъ сосна, раскидистая такая, а верхушка у ней сухая, отъ сосны бери направо... Такъ мы и ѣхали.

— У крестовъ сворачивалъ? спрашивалъ Патапъ Максимычъ.

— Какже не сворачивать, направо своротилъ, какъ было сказано.

— И у сосны сворачивалъ?

— И у сосны своротилъ, отвѣчалъ работникъ.— На ней еще ясакъ нарубленъ, должно быть бортовое дерево было. Тутъ только вотъ одного не вышло противъ того что́ сказывали ребята въ Бѣлкинѣ.

— А что́ говорили ребята? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Да сказывали: будетъ маленькій долокъ, и какъ де переѣдешь долокъ, сосна будетъ, съ обѣихъ сторонъ отесанная, а тутъ и Кёрженецъ.

— Ну?

— Долокъ-отъ былъ, еще мы вывалились тутъ, а тесанной сосны не видать, я смотрѣлъ, смотрѣлъ ее, нѣтъ сосны, гляжу, анъ на Керженецъ выѣхали.

— Стало-быть тутъ мы и спутались, закричалъ, разгорячась, Патапъ Максимычъ. — Чтобъ тебѣ высохнуть, дурыи твои глаза! Зачѣмъ тесану сосну прозѣваль?

— Да не было ея, Патапъ Максимычъ, отвѣчалъ оторопѣвшій работникъ. — Не родить же ее мнѣ коли нѣтъ.

— Да вѣдь тебѣ бѣлкински ребята говорили держи на сосну. Дяче не держалъ? кричалъ Патапъ Максимычъ.

— Да гдѣ жъ мнѣ ее взять, сосну-то? Вѣдь не спряталъ я ея. Чтѣ жъ мнѣ дѣлать коли нѣтъ ея, жалобно голосилъ работникъ. — Развѣ я тому дѣлу причиненъ? Дорога одна была, ни единого сворота.

— Да сосна-то гдѣ? сосна-то? зарычалъ Патапъ Максимычъ, хвативъ увѣсистымъ кулакомъ работника по загрбку.

— Можетъ-статься срубили, пропищаль, нагнувшись на передокъ, работникъ.

— Срубили! Коему лѣшему порчену сосну рубить, коль здороваго лѣсу видимо-невидимо! ораль Патапъ Максимычъ. — Стой, чортова образина!

Работникъ остановилъ лошадей. Понутивъ головы, онѣ тяжело дышали, паръ такъ и валилъ съ нихъ. Патапъ Максимычъ выѣзъ изъ своихъ саней и подошелъ къ заднимъ, гдѣ сидѣлъ Стуколовъ. Молчаливый Дюковъ, уткнувъ голову въ широкій лисій малахай, спалъ мертвымъ сномъ.

— Такъ и есть, заблудились, сказалъ Патапъ Максимычъ паломнику. — Чтѣ тутъ станешь дѣлать?

— Да самъ-то ты ѣзжалъ ли прежде по этимъ дорогамъ? спросилъ его Стуколовъ.

— Сроду впервые, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.

— И работники не ѣзжали? спросилъ Стуколовъ.

— Како ѣзжать? отозвался Патапъ Максимычъ.—Кого сюда лѣшій понесетъ? Вѣдь это самъ ты видишь что такое: выѣхали еще не брезжилось, а гляди-ка ужъ смеркаться зачинаетъ.—Гдѣ мы, куда заѣхали, самъ лѣшій не разберетъ... Бѣда, просто бѣда... Ахъ, чтобы всѣхъ васъ прорвало! ругался Патапъ Максимычъ.—И понесло же меня съ тобой: тутъ прежде смерти животъ положишь!

— Въ сибирскихъ тайгахъ то ли бываетъ, отозвался маломникъ.—По недѣлямъ плутають, случается что и голодной смертью помирають....

— Голодомъ помереть не помремъ, пироговъ да всякой всячины у насъ пожалуй на недѣлю хватить, спокойно отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.—И лошадямъ корму взято довольно. А заночевать въ лѣсу придется... Хотя бы зимница какая попалась.... Ночью-то волки набѣгутъ: теперь имъ голодно. Пора же такая что волки стаями рыщутъ. Завтра ихній день: звѣриный царь имянинникъ\*.

— Богъ милостивъ, промолвилъ паломникъ.—И не изъ такихъ напастей Господь людей выносить.... Не суетись, Патапъ Максимычъ, надо дѣло ладомъ дѣлать. Самъ я глядѣлъ на дорогу: тропа одна, поворотовъ какъ мы отъ паленой съ верхушки сосны отѣхали въ самомъ дѣлѣ ни единого не было. Можетъ на эту зиму лѣсники ину тропу пробили, не прошлогоднюю. Это и въ сибирскихъ тайгахъ зачастую бываетъ.... Не бойся—со мной matka есть, она на путь выведетъ. Не бойся, говорю я тебѣ.

— Какая тутъ matka? Бредишь ты что ли? съ досадой

---

\* День 18 февраля (память святаго Льва папы римскаго) въ заводжскомъ простонародѣ зовется лѣвиннымъ днемъ. Это по тамошнему повѣрью праздникъ звѣринаго царя, его имянинны. На свои имянинны левъ все разрѣшаетъ своимъ подданнымъ. Къ тому дню волки свадьбы свои пригоняють.



молвилъ Патапъ Максимычъ. — Тутъ дѣло надо дѣлать, а онъ про свою матку толкуеть.

— Вотъ она, сказалъ Стуколовъ, вынимая изъ дорожнаго кошельа круглую деревянную коробку съ компасомъ. — Не видываль? То-то... Эта matka корабли водить, безъ нея что въ морѣ, что въ пустынѣ, аль въ дремучемъ лѣсу никакъ невозможно, потому она всѣ стороны показываетъ и сбиться съ пути не даетъ. Въ Сибири въ тайгу безъ матки не ходять, безъ нея бѣда, пропадешь.

Стуколовъ показалъ Патапу Максимычу страны свѣта и объяснилъ употребленіе компаса.

— Ишь ты премудрость какая!... До чего только люди не доходятъ, удивлялся Патапъ Максимычъ. — Ну, какъ же намъ дорогу твоя matka покажетъ?

— Да намъ какъ надо ѣхать-то, въ которую сторону? спросилъ Стуколовъ.

— На полуночникъ \*, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.

— А мы на сиверь чешемъ, маленько даже къ осеннику подаемся. Сбились значить.

— Сбились!... Я и безъ матки твоей знаю что сбились, насмѣшливо и съ досадой отвѣчалъ Патапъ Максимычъ. — Теперь ты настоящу дорогу укажи.

— Этого нельзя, надо всѣ дороги знать; тогда съ маткой иди куда хочешь....

— Такъ прятъ ее въ кошель. Пустое дѣло значить. Какъ же тутъ быть? говорилъ Патапъ Максимычъ.

— Да поѣдемъ куда дорога ведетъ, тропа видная, торная, куда-нибудь да выведетъ, говорилъ Стуколовъ.

— Вѣстимо выведетъ, отозвался Патапъ Максимычъ. —

---

\* То-есть сѣверовостокъ. Въ Заволжьи такъ зовутъ страны свѣта и вѣтры: сиверь—N, полуночникъ—NO, востокъ—O, обѣдникъ—SO, полдень—S, верховникъ или лѣтникъ—SW, закатъ—W, осенникъ—NW.

Да куда выведетъ-то? Ночь на дворѣ, а лошади гляди какъ приустиали. Приведется въ лѣсу ночевать.... А волки-то?

— Богъ милостивъ, отвѣтилъ Стуколовъ.—Топоръ есть съ нами?

— Какъ топору не быть? Есть, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Сучьевъ нарубимъ, костры зажжемъ, волки не подойдутъ: всякій звѣрь боится огня.

Такъ и рѣшились заночевать. Лошадей выпрягли, задали имъ овса. Утоптали вокругъ снѣгъ и сдѣлали приваль. Топоровъ оказалось два, работники зачали сучья да валежники рубить, костры складывать вокругъ привала, и когда стемнѣло, зажгли ихъ. Патапъ Максимычъ вытащилъ изъ саней большую кожаную кису, вынулъ изъ нея хлѣба, пироговъ, квашеной капусты и мѣдный кувшинъ съ квасомъ. Устроили постную трапезу: тюри съ лукомъ накрошили, капусты съ квасомъ, грибовъ соленыхъ. Хоть не вкусно, да здорово поужинали. И бутылочка нашлась у запасливаго Патапа Максимыча. Роспили....

Ночь надвигалась. Красное зарево костровъ, освѣщая низину лѣса, усиливало мракъ въ его вершинахъ и по сторонамъ. Съ трескомъ горѣвшихъ вѣтвей ельника и фырканьемъ лошадей, смѣшались лѣсные голоса.... Ровно плачущій ребенокъ, запищалъ гдѣ-то сычъ, и потомъ вдали послышался тоскливый крикъ, будто человекъ въ отчаянномъ бореньи со смертью зоветъ къ себѣ на помощь: то были крики пугача \*.... Поближе завозилась въ вершинѣ сосны вѣшка, проснувшаяся отъ необычнаго свѣта, едва слышно перепрыгнула она на другое дерево, потомъ на третье и все дальше и дальше отъ людей и пылавшихъ

---

\* Флинтъ.

костровъ.... Чуть стихло, и вотъ ужъ доносится издали легкій хрустъ сухаго валежника: то кровожадная куница осторожно пробирается изъ своего дупла къ дереву, гдѣ задремалъ глупый красноглазый тетеревъ. Еще минута тишины, и въ вершинѣ раздался отрывистый, жалобный крикъ птицы, хлопанье крыльевъ, и затѣмъ все смолкло: куница поймала добычу и пьетъ горячую кровь изъ перекрушеннаго горла тетерева.... Опять тишь, опять глубокое безмолвіе, и вдругъ слышится точно кошачье прысканье: это рысь, привлеченная изъ чащи чутьемъ, заслышавшимъ присутствіе лакомаго мяса въ видѣ лошадей Патапа Максимыча. Но огонь не подпускаетъ близко звѣря, и вотъ рысь сердится, мурлычитъ, прыскаетъ, съ досадой сверкая круглыми, зелеными глазами, и прядаетъ кисточками на концахъ высокихъ, прямыхъ ушей.... Опять тишь, и вдругъ либо заверещитъ бѣдный зайчишка попавшій въ зубы хищной лисѣ, либо завоится что-то въ вѣтвяхъ: это сова поймала спавшаго рябчика.... Лѣсные обитатели живутъ не по нашему—обѣдаютъ по ночамъ....

Но вотъ вдали, за версту или больше, заслышался вой, ему откликнулся другой, третій вой—все ближе и ближе. Смолкъ, и послышалось пряданье звѣрей по насту, ворчанье, стукъ зубовъ.... Ни одинъ звукъ не пропадаетъ въ лѣсной тиши.

— Волки! боязно прошепталъ Патапъ Максимычъ, толкая въ бокъ задремавшаго Стуколова.

Дюковъ и работники давно ужъ спали крѣпкимъ сномъ.

— А?... Чтѣ?... промычалъ приходя въ себя Стуколовъ.— Чтѣ ты говоришь?

— Слышишь? Воютъ, говорилъ смутившійся Патапъ Максимычъ.

— Да, воютъ.... равнодушно отвѣчалъ Стуколовъ.— Экъ ихъ чтѣ тутъ! Чуютъ мясо, стервецы!

— Бѣда! шепотомъ промолвилъ Патапъ Максимычъ.

— Какая жъ бѣда? Никакой бѣды нѣтъ.... А вотъ побольше огня надо.... Эй вы, ребята, крикнулъ онъ работникамъ. — Проснись!.. Эка заспались!.. Вали на костры больше.

Работники встали неохотно и вмѣстѣ со Стуколовымъ и съ самимъ Патапомъ Максимычемъ навалили громадные костры. Огонь сталъ было слабѣе, но вотъ заиграли пламенные языки по хвоѣ, и зарево разлилось по лѣсу пуше прежняго.

— Видимо не видимо!... говорилъ оторопѣвшій Патапъ Максимычъ, слыша со всѣхъ сторонъ волчьи голоса.

Звѣрей ужъ можно было видѣть. Освѣщенные заревомъ, они сидѣли кругомъ, пощелкивая зубами. Видно въ самомъ дѣлѣ они справляли именины звѣринаго царя.

— Ничего, успокаивалъ Стуколовъ,—огонь бы только не переводился. То ли еще бываетъ въ сибирскихъ тайгахъ!...

Въ самомъ дѣлѣ волки никакъ не смѣли близко подойти къ огню, хоть ихъ голодныхъ и сильно тянуло къ лошадямъ, а пожалуй и къ людямъ.

— Эхъ, ружья-то нѣтъ: пугнуть бы сѣрыхъ, молвилъ Стуколовъ.

— Молчи а ты, какое тутъ еще ружье! Того и гляди сожрутъ.... тревожно говорилъ Патапъ Максимычъ. — Глянь-ка, глянь-ка, со всѣхъ сторонъ навалило!... Ахъ ты Господи, Господи!... Знать бы да вѣдать, ни за чтѣ бы не поѣхалъ.... Пропадай ты и съ Ветлугой своей!...

А волки все близятся, было ихъ до пятидесяти, коли не больше. Смѣлость звѣрей росла съ каждой минутой: не дальше какъ въ трехъ саженьяхъ сидѣли они вокругъ костровъ, щелкали зубами и завывали. Лошади давно покинули торбы съ лакомымъ овсомъ, жались въ кучу и

прядая ушами тревожно озирались. У Патапа Максимыча зубъ на зубъ не попадалъ, вездѣ и всегда безстрашный, онъ дрожалъ какъ въ лихорадкѣ. Растолкали Дюкова, тотъ потянулся въ своей лисьей шубѣ, зѣвнулъ во всю сласть, и, оглянувшись, промолвилъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ:

— Волки никакъ!

Безъ малаго часть времени прошелъ, а путники все еще сидѣли въ осадѣ. Дó свѣту оставаться въ такомъ положеніи было нельзя: тогда пожалуй и костры не помогутъ, да не хватитъ и заготовленнаго валежника и хвороста на поддержаніе огня. Но паломникъ человѣкъ бывалый, не даромъ много ходилъ по бѣлу свѣту. Когда волки были ужъ настолько близко, что до любого изъ нихъ палкой можно было добросить, онъ разставилъ спутниковъ своихъ по мѣстамъ и велѣлъ, по его приказу, разомъ бросать въ волковъ изо всей силы горящія лапы \*.

— Разъ.... два.... три!... крикнулъ Стуколовъ, и горящія лапы полетѣли къ звѣрямъ.

Тѣ отскочили и сѣли подальше, шелкая зубами и огрызаясь.

— Разъ.... два.... три!... крикнулъ паломникъ, и выступивъ за костры, путники еще пустили въ стаю по горящей лапѣ.

Завыли звѣри, но когда Стуколовъ, схвативъ чуть не саженную пылающую лапу, бросился съ нею впередъ, волки порскнули вдаль, и черезъ нѣсколько минутъ ихъ не было слышно.

— Теперь не прибѣгутъ, молвилъ паломникъ, надѣвая шубу и укладываясь въ сани.

— Дошлый же ты человѣкъ, Якимъ Прохорычъ, мол-

---

\* Горящія вѣтви хвойнаго лѣса, во время лѣсныхъ пожаровъ онѣ переносятся вѣтромъ на огромныя разстоянія.

вилъ Паташъ Максимычъ, когда опасность миновалась.— Не будь тебя, сожрали бы они насъ.

Паломникъ не отвѣчалъ. Завернувшись съ головой въ шубу, онъ заснулъ богатырскимъ сномъ.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Въ лѣсахъ работаютъ только по зимамъ. Лѣтней порой въ дикую глушь рѣдко кто заглядываетъ. Не то что дорогъ, даже мало-мальски торныхъ тропинокъ тамъ вовсе почти нѣтъ; за то много мѣстъ непроходимыхъ.... Гнѣющаго валежника пропасть, да кромѣ того то-и-дѣло попадаются обширныя глубокія болота, а мѣстами трясины съ окнами, вадьями и чарусами.... Это страшныя, погибельныя мѣста для небывалаго человѣка. Кто отъ роду въпервой попалъ въ невѣдомыя лѣсныя дебри—берегись—гляди въ оба!....

Вотъ на нѣсколько верстъ протянулся мохомъ поросшій кочкарникъ. Саженными пластами покрываетъ онъ глубокую, чуть не бездонную топь. Это „мшавъ“, иначе моховое болото. Поросло оно мелкимъ, чахлымъ лѣсомъ, нога грузнетъ въ мягкомъzybунѣ, усѣянномъ багуномъ, звѣздоплавкой, мозгушей, лютикомъ и бѣлоусомъ \*. Отъ тяжести идущаго человѣкаzybунъ ходенемъ ходить, и вдругъ иногда въ двухъ, трехъ шагахъ фонтаномъ брызнетъ вода черезъ едва замѣтную для глаза продушину. Тутъ ходить опасно, разомъ попадешь въ болотную пучину и пропадешь ни за денежку.... Бѣжать отъ страшнаго мѣста, бѣжать скорѣй, безъ оглядки, если не хочется вѣрной

---

\* Болотныя растенія: багунъ—*andromeda*; звѣздоплавка—*callitriche*, мозгуша—*geranium sylvaticum*; лютикъ—*aconitum*; бѣлоусъ—*nardis stricta*.

погибели.... Чуть только путникъ не поберегся, чуть только по незнанью аль изъ удалства шагнулъ впередъ пять, десять шаговъ, ноги его начнетъ затягивать въ жидкую трясиину, и если не удастся ему поспѣшно и осторожно выбраться назадъ, онъ погибъ.... Бѣжать по трясинѣ—тоже бѣда....

Вотъ свѣтитъ маленькая полынья на грязнозеленой трясинѣ. Что-то въ родѣ колодца. Вода съ берегами ровень. Это „окро“. Бѣда оступиться въ это окно — тамъ бездонная пропасть. Не въ примѣръ опаснѣй оконъ „вадьа“—тоже открытая круглая полынья, но не въ одинъ десятокъ сажень ширины.—Ея берега изъ топкаго торфянаго слоя едва прикрывающаго воду. Кто ступитъ на эту обманную почву, итъ тому спасенья. Вадьа какъ разъ засосетъ его въ бездну.

Но страшнѣе всего „чаруса“. Окно, вадью издали можно замѣтить и обойти,—чаруса непримѣтна. Выдравшись изъ глухаго лѣса, гдѣ сухой валежникъ и гнѣющій буреломникъ высокими кострами навалены на сырой болотистой почвѣ, путникъ вдругъ какъ бы по волшебному маговенью встрѣчаетъ передъ собой цвѣтущую поляну. Она такъ весело глядитъ на него, широко раздольно разстилаясь среди красноствольныхъ сосенъ и темнохвойныхъ елей. Ровная, гладкая она густо заросла сочной, свѣжей зеленью, и устѣяна крупными бирюзовыми незабудками, благоуханными бѣлыми кувшинчиками, полевыми одалѣнями и ярко-желтыми купавками \*. Луговина такъ и манитъ къ себѣ путника: сладко на ней отдохнуть усталому, притомленному, понѣжиться на душистой, ослѣпительно сверкающей изумрудной зелени!... Но пропасть ему безъ покаянія, схоронить себя безъ гроба, безъ савана, если

---

\* Болотныя растенія изъ породы ненюфаровъ (*пупрѣга*).

ступитъ онъ на эту заколдованную поляну. Изумрудная чаруса, съ ея красивыми благоухающими цвѣтами, съ ея сочной свѣжей зеленью—тонкій травяной коверъ, раскинутый по поверхности бездоннаго озера. По этому коврику даже легконогій заяцъ не сѣгаетъ, тоненькій, быстрый на бѣгу горностаѣ не пробѣжитъ. Изъ живой твари только и прыгаютъ по ней длинноносые голенастые кулики, лова мошекъ и другихъ толкуновъ, что о всякую пору и днемъ и ночью роями вьются надъ лѣсными болотами.... Несмѣтное множество этихъ куликовъ, отъ горбоносого крошечнаго до желтоброватаго песчаника, — бредитъ, бѣгаетъ и шмыгаетъ по чарусѣ, но никакому охотнику никогда не удавалось достать ихъ.

У лѣсниковъ чаруса слыветъ мѣстомъ нечистымъ, заколдованнымъ. Они разказываютъ, что на тѣхъ чарусахъ по ночамъ бѣсовы огни горятъ, ровно свѣчи теплятся \*. А ину пору выдають среди чарусы болотницу, коль не родную сестру, такъ близкую сродницу всей этой окаянной нечисти: русалкамъ, водяницамъ и берегинямъ.... Въ свѣтлую, лѣтнюю ночь сидитъ болотница одна одиначенька и нѣжится на свѣтѣ яснаго мѣсяца... и чуть завидитъ человѣка, начнетъ прельщать его, манить въ свои бѣсовскія объятія... Ея черные волосы небрежно раскинуты по спинѣ и по плечамъ, убраны осѣкой и незабудками, а тѣло все голое, но блѣдное, прозрачное, полувоздушное. И блеститъ оно и сквозитъ передъ лучами мѣсяца... Изъ себя болотница такая красавица, какой не найдешь въ крещеномъ міру, ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать. Глаза ровно тѣ незабудки, что разсыяны по чарусѣ, длинныя, пушистыя рѣсницы, тонкія, какъ уголь черныя брови... только губы блѣдноваты, и ни въ лицѣ, ни въ полной

---

\* Болотные огни.



наливной груди, ни во всемъ стройномъ ставѣ ея нѣтъ ни кровинки. А сидитъ она въ бѣлоснѣжномъ цвѣткѣ кувшинчика съ котель величиною... Хитрить окаянная, обмануть, обвести хочется ей человѣка—сѣла въ тотъ чудный цвѣтокъ спрятать гусинныя свои ноги съ черными перепонками. Только завидитъ болотница человѣка—старого или малаго—это ей все равно,—тотчасъ зачнетъ сладкимъ тихимъ голосомъ, да таково жалобно, ровно сквозь слезы молить-просить выпнуть ее изъ болота, вывести на бѣлый свѣтъ, показать ей красно солнышко, котораго сроду она не видывала. А сама разводитъ руками, закидываетъ назадъ голову, манитъ къ себѣ на пышныя перси того человѣка, общаетъ ему и тысячи неслыханныхъ наслаждений, и груды золота, и горы жемчуга перекатнаго.... Но горе тому кто соблазнится на нечистую красоту, кто повѣритъ льстивымъ словамъ болотницы: одинъ шагъ ступить по чарусѣ, и она ужъ возлѣ него: обвивъ бѣднягу бѣлоснѣжными, прозрачными руками, тихо опустится съ нимъ въ бездонную пропасть болотной пучины.... Ни крика, ни стога, ни вздоха, ни всплеска воды. Въ безмолвной тиши не станетъ того человѣка, и его могила на вѣки вѣковъ останется никому неизвѣстною.

А тѣкъ кто постарѣй инымъ способомъ залучаетъ въ чарусу нечистая сила... Старецъ-пустынникъ подойдетъ къ пожилому человѣку, сгорбленный, изможденный, постылый, желѣзныя вериги у него на плечахъ, только креста не видно. И зачнетъ онъ вести умильную бесѣду о пустынномъ житиѣ, о постѣ и молитвѣ, но Спасова имени не поминаетъ — тѣмъ только и можно опознать окаяннаго... И зачаруетъ онъ человѣка и станетъ звать его отдохнуть на жалое время въ пустынной кельѣ... Глядь, анъ среди чарусы и въ самомъ дѣлѣ келейка стоитъ, да такая хорошенькая, новенькая, уютная, такъ вотъ и манитъ пут-

ника зайти въ нее хоть на часочекъ.... Пойдетъ человекъ съ пустынникомъ по чарусѣ, глядь, а ужъ это не пустыжникъ, а сѣдой старикъ съ широкомъ блѣдно-желтымъ лицомъ, и ужъ не тихо, не чинно ведетъ добрую рѣчь, а хохочетъ во всю глотку силнымъ хохотомъ... То владыка чарусы—самъ болотняникъ. Это онъ хохочетъ, скачетъ, пляшетъ, веселится, что успѣлъ заманить не умѣвшего отчураться отъ его обаяній человека; это онъ радуется, что завлекъ крещеную душу въ холодную пучину своего синяго подводнаго царства... Много, много чудесъ разказываютъ лѣсники про эти чарусы... Чего тамъ не бываетъ! Не даромъ изстари люди толкуютъ, что въ тихомъ омутѣ черти водятся, а въ лѣсномъ болотѣ плодятся....

Не одинъ вадъ и чарусы, не одна окаянная сила пугаетъ лѣсниковъ въ лѣтнюю пору. Не даютъ имъ работать въ лѣсахъ другіе враги... Миріады разнообразныхъ комаровъ, отъ крошечной мошки, что цѣлыми кучами забивается въ глаза, въ носъ и уши, до тощей длинноногой караморы, день и ночь несмѣтными роями толкутся въ воздухъ, столбами носятся надъ болотами и преслѣдуютъ человека нестерпимыми мученьями... Нѣтъ ему покоя отъ комариной силы ни въ знойный полдень, ни прохладнымъ вечеромъ, ни темной ночью, только и отрада въ дождливую погоду. Даже на дымныхъ смоляныхъ казанахъ и на скипидарныхъ заводахъ иначе не спятъ какъ на подкурахъ, не то комары заѣдаютъ до полусмерти. Врываютъ для того въ землю толстыя жерди вышиной сажени по три и мосятъ на нихъ для спанья палаты; подъ тѣми палатами раскладываютъ на землѣ огонь:—курево отгоняетъ комариную силу. Такъ и спятъ въ дыму прокопченные насквозь бѣдняги, да и тутъ не всегда удается имъ отдѣлаться отъ мелкихъ несносныхъ мучителей.... А кромѣ того оводъ, слѣпни, пѣту и страшный бичъ домашнихъ животныхъ

строка. \* Одной строкѣ достаточно залетѣть въ рой слѣп-  
вей, вьющихся надъ конями, чтобъ цѣлая тройка, хоть и  
вовсе притомленная, закусивъ удила, лягаясь задними но-  
гами и отчаянно размахивая по воздуху хвостами, помча-  
лась зря, какъ бѣшеная, сломя голову.... Залетить строка  
въ стадо—весь скоть взбѣсится, подниметъ неистовый  
ревъ и задравъ хвосты, зачнетъ метаться во всѣ стороны....  
Бѣдные лоси и олени пуще всѣхъ терпятъ мученье отъ  
этой строки. Она садится на ноги, на спину иль на бока  
животнаго и прокусываетъ кожу. Раны загноятся, и строка  
кладетъ въ нихъ свои яйца. На слѣдующую весну изъ  
яицъ выходятъ личинки и насквозь проѣдаютъ кожу бѣд-  
наго животнаго. Въ то время лось переноситъ нестерпи-  
мыя муки, а строка снова рѣжетъ свѣжія мѣста его кожи  
и снова кладетъ туда яйца. Шкура снятая со звѣря уби-  
таго лѣтомъ или осенью никуда не годится, она усѣяна  
круглыми дырами въ пятнадцатый и больше. Единствен-  
ное спасенье бѣдныхъ звѣрей отъ строки если они, по-  
чуривъ головы и дрожа всѣмъ тѣломъ, добредутъ до  
озера либо рѣчки.... Свѣжаго воздуха, идущаго отъ сту-  
денной воды, строка боится.... Да что толковать про без-  
защитныхъ оленей и лосей, самъ косолапый бояринъ лѣ-  
совъ пуще огня боится строки. За недостаткомъ ли лосей,  
по другой ли причинѣ, строка иногда накидывается на  
медвѣдя. Забившись къ Мишкѣ въ загriвокъ, въ ту пору  
какъ онъ линяетъ, начинается она прокусывать толстую его  
шкуру. Благимъ матомъ зареветъ лѣсной бояринъ. Напрасно  
отмахивается онъ передними лапами—не отстанетъ отъ

---

\* Строка—*oestris*. Иные смѣшиваютъ строку со слѣпными и пау-  
тами (*tabani*), съ которыми имѣетъ она наружное сходство. Но  
строка со всѣмъ другое насекомое, она водится въ лѣсахъ и залетаетъ въ оосѣднія поля только въ такомъ случаѣ если тамъ пасет-  
ся скоть. Одиѣ строки не летаютъ, но всегда въ рой слѣпней.

него строка пока огрызаясь и рыча на весь лѣсъ, кувыркаясь промежь деревьевъ, не добѣжитъ Мишенька до воды и не погрузнетъ въ ней съ головою. Тѣмъ только косматый царь сѣверныхъ звѣрей и спасается отъ крохотнаго палача... Человѣка, слава Богу, строка никогда не трогаетъ.

Нелюдно бываетъ въ лѣсахъ лѣтней порою. Промежь Кѣрженца и Ветлуги еще лѣсуетъ \* по нѣскольку топоровъ съ деревни, но дальше за Ветлугу къ Вятской сторонѣ и на сѣверъ за Лапшангу лѣсники ни ногой, кромѣ тѣхъ только мѣстъ гдѣ липа растеть. Липу драть, мочало мочить можно только въ соковую пору. \*\*

За то зимой въ лѣсахъ и по раменямъ работа кипитъ да взвариваетъ. Рѣзать деревья, волочать ихъ къ сплаву, вязнуть плоты, тешутъ сосновые брусья, еловые чегени и копани, \*\*\* рубятъ осину да березу на баклуши, \*\*\*\* колятъ лѣсъ на кадки, на бочки, на пересѣки и на всякое другое щепное подѣлье. Стукъ топоровъ, трескъ падающихъ лѣсинъ, крики лѣсниковъ, ржанье лошадей далеко разносятся тогда по лѣснымъ пустынямъ.

Зимой крещеному человѣку въ лѣсу и окаяннаго нечего бояться. Съ Никитина дня вся лѣсная нечисть мертвымъ сномъ засыпаетъ: и водяникъ, и болотняникъ, и бѣсовскія красавицы чарусъ и омутѣвъ—всѣ до единого сгинуть, и

---

\* Ходить въ лѣсъ на работу деревья ронить.

\*\* Когда деревья въ соку, то-есть весна и лѣто.

\*\*\* Чегень—еловое бревно отъ шести до двѣнадцати сажень длинны, идетъ на забойку въ учугахъ (на каспійскихъ и нижеволжскихъ рыбныхъ промыслахъ); копань или кокора—лѣсина съ частью корня, образующая угольникъ, идетъ на стройку судовъ, на застрехи кровель крестьянскихъ домовъ и на санные полозья. На санные полозья идутъ и не корневые копани, а гнутыя лежницы.

\*\*\*\* Чурка, приготовленная для токарной выдѣлки деревянной посуды и ложекъ.

становится тогда въ лѣсахъ мѣсто чисто и свято... На покой христіанскимъ душамъ спитъ окаинная сила до самаго вешняго Никиты, \* а съ ней заодно засыпають и гады земные: змѣи, жабы и слѣпая мѣдѣяница \*\*, та что какъ прыгнетъ, такъ насквозь человѣка проскочетъ.... Лѣшій бурлитъ до Ероеева дня \*\*\*, тутъ ему на глаза не попадайся: бѣсится косматый, не охота ему спать ложиться, рыщетъ по лѣсу, ломить деревья, гоняетъ звѣрей, но какъ только Ероеей-Офеня по башкѣ лѣсиной его хватить, пойдетъ окаинный сквозь землю и спитъ до Василія Парійскаго, какъ весна землю парить начнетъ. \*\*\*\*

Послѣ Ероеева дня, когда въ лѣсахъ отъ нечисти и бѣсовской погани станетъ свободно, ждешь не дождешься лѣсникъ чтобъ морозъ поскорѣй выжалъ сокъ изъ деревьевъ и сковаль бы вѣды и чарусы, а матушка-зима бѣлымъ пологомъ покрыла лѣсную пустыню. Знаетъ онъ что мѣсяца четыре придется ему безъ устали работать, принять за топоромъ труды не малые: лѣсокъ съчь не жалѣть своихъ плечъ.... Да объ этомъ не тужить лѣсникъ, каждый день молится Богу, поскорѣй бы Господь бѣлую зиму на черную землю сослалъ.... Но вотъ ровно бѣлыя мухи запорхали въ воздухѣ пушистыя снѣжинки, тихо ложатся онѣ на сухую, промерзлую землю; гуще и гуще становятся потоки льющагося съ неба снѣжнаго пуха; все бѣлѣетъ и улица, и кровли домовъ, и поля, и вѣтви деревьевъ. Цѣлую ночь благодать Господня на землю валить. Къ утру

---

\* Осенній Никита—15-го сентября, весенній 3-го апрѣля.

\*\* Слѣпая мѣдѣяница изъ породы ящерицъ (*anguis fragilis*) мѣдѣнистаго цвѣта, почти безъ ногъ и совершенно безвредна. Но есть змѣя мѣдянка, та ядовита. Лѣсной народъ мѣшаеть эти двѣ породы.

\*\*\* Октября 4-го, св. Ероеея епископа Аонинскаго, извѣстнаго въ народѣ подъ именемъ Ерофея-Офени.

\*\*\*\* Апрѣля 12-го.

красноогненнымъ шаромъ выкатилось на прояснѣвшее небо солышко, и ярко освѣтило бѣлую, снѣжную пелену. У лѣсниковъ въ глазахъ рябитъ отъ ослѣпительнаго блеска, но рады они радешеньки и весело хлопчутъ собираясь въ лѣса „лѣсовать“. Суетятся и навзрыдъ голосятъ бабы, справляя проводы, ревутъ глядя на нихъ малы ребята, а лѣсники ровно на праздникъ спѣшать. Ладятъ сани, грузятъ ихъ запасами печенаго хлѣба и сухарей, крупой да горохомъ, гуленой \* да сушеными грибами съ рѣпчатымъ лукомъ. И вотъ на скорую руку простившись съ домашними, грянули они разудалую пѣсню и съ гиканьемъ поскакали къ своимъ зимницамъ на трудовую жизнь вплоть до Плющихи \*\*.

Артелями въ лѣсахъ больше работаютъ: человекъ по десяти, по двѣнадцати и больше. На сплавъ рубить рядятъ лѣсниковъ лысковскіе промышленники, раздають имъ на Покровъ задатки, а расчетъ даютъ передъ Пасхой, либо по сплавѣ плотовъ. Тутъ не безъ обману бываетъ: во всякомъ дѣлѣ толстосумъ сумѣетъ прижать бѣднаго мужика, но промежь себя въ артели у лѣсниковъ всякое дѣло ведется на чистоту.... За то ужъ чужой человекъ къ артели въ лапы не попадайся: не помилуетъ, оберетъ какъ липочку и въ грѣхъ того не поставитъ.

За недѣлю либо за двѣ до лѣсованья, артель выбираетъ старшого: смотрѣть за работой, ровнять въ дѣлѣ работниковъ и заправлять немудрымъ хозяйствомъ въ зимницѣ. Старшой, иначе „хозяинъ“, распоряжается всѣми работами, и воля его непрекословна. Онъ ведетъ счетъ срубленнымъ деревьямъ, натесаннымъ брусьямъ, онъ же наблюдаетъ чтобы кто не отсталъ отъ другихъ въ работѣ, не вздумалъ

---

\* Картофель.

\*\* Марта 1-го—Евдокіи Плющихи.

бы жить чужимъ топоромъ, тянуть даровщину... У хозяина въ прямомъ подначальи „подсыпка“, паренекъ подростокъ, лѣтъ пятнадцати, либо шестнадцати. Ему не подъ силу еще столь наработать какъ взрослому лѣснику и за то подсыпка свой пай страпней на всю артель наверстываетъ, а также заготовкой дровъ, смолья и лучины въ зимницу для свѣтла и сугрѣва... Онъ же носить воду, и долженъ все прибрать и убрать въ зимницѣ, а когда запасы подойдутъ къ концу, ѣхать за новыми въ деревню.

Зимница гдѣ послѣ цѣлодневной работы проводятъ ночи лѣсники—большая, четверугольная яма, аршина въ полтора либо въ два глубины. Въ нее запущенъ бревенчатый срубъ, а надъ ней, поверхъ земли, выведено вѣнцовъ шесть-семь сруба. Пола нѣтъ, одна убитая земля, а потолокъ накатной; немножко сводомъ. Оконъ въ зимницѣ не бываетъ, да ихъ и незачѣмъ: люди тамъ бываютъ только ночью, дневнаго свѣта имъ не надо, а чуть утро забрезжитъ, они ужъ въ лѣсъ-лѣсовать и лѣсуютъ пока не наступятъ глубокія сумерки. И окно, и дверь, и дымолокъ \* замѣняются однимъ отверстиемъ въ зимницѣ, оно прорублено вровень съ землей, въ аршинъ вышины, со створками, надъ которыми остается оконцо для дымовой тяги. Къ этому отверстию приставлена лѣстница, по ней спускаются внутрь. Среди зимницы обыкновенно стоитъ сбитый изъ глины кожуръ \*\* либо вырыта тепленка, такая же какъ въ овинахъ. Она служитъ и для сугрѣва и для просушки одѣжи. Дымъ изъ тепленки, поднимаясь къ верху струями, стелется по потолку и выходитъ

---

\* Дымолокъ или дыминикъ—отверстіе въ потолокъ или въ стѣнѣ черной избѣ для выхода дыма.

\*\* Кожуръ — печь безъ трубы, какаа обыкновенно бываетъ въ черной курной избѣ.

въ единственное отверстіе зимницы. Противъ этого отверстия внизу придѣланы къ стѣнѣ широкія нары. Въ переднемъ углу, возлѣ нарѣ, столъ для обѣда, возлѣ него переметная скамья \* и нѣсколько стульевъ, то-есть деревянныхъ обрубковъ. Въ другомъ углу очагъ съ подвѣшенными надъ нимъ котелками для варева. Вотъ и вся обстановка зимницы, черной, закоптѣлой, но теплой, всегда сухой и никогда не знающей что за угаръ такой на свѣтѣ бываетъ.... Непривычный человѣкъ не долго пробудетъ въ зимницѣ, а лѣсники ею не нахвалятся: привычка великое дѣло. И живутъ они въ своей мурѣ мѣсяца по три, по четыре, работая на волѣ отъ зари до зари, обѣдая когда утро еще не забрезжило, а ужиная поздно вечеромъ, когда воротясь съ работы, уберутъ лошадей въ загонѣ, построенномъ изъ жердей и еловыхъ лапъ возлѣ зимницы. У людей по деревнямъ и красная Никольщина, и веселія Святки, и широкая Масляница,—въ лѣсахъ нѣтъ праздниковъ, нѣтъ разбора днямъ.... Одинаково работаютъ лѣсники и въ будни, и въ праздникъ, и кромѣ „подсыпки“ никому изъ нихъ во всю зиму домой ходу нѣтъ. И къ нимъ изъ деревень никто не наѣзжаетъ.

Въ одной изъ такихъ зимницъ, рано поутру, человѣкъ десять лѣсниковъ, развалясь на нарахъ и завернувшись въ полушубки, спали богатырскимъ сномъ. Подъ утро намаевавшагося за работой человѣка сонъ крѣпко разнимаетъ—тутъ его хоть въ гробъ клади да хорони. Такъ и теперь было въ зимницѣ лыковскихъ \*\* лѣсниковъ, артели дяди Онуфрія.

Огонь въ тепленкѣ почти совсѣмъ потухъ. Угольки,

---

\* Переметная скамья—не прикрѣпленная къ стѣнѣ, та что сбоку приставляется къ столу во время обѣда.

\*\* Волость на рѣкѣ Кѣрженцѣ.



перегорая, то свѣтились алымъ жаромъ, то мутились сѣрой плѣнкой. Въ зимницѣ было темно и тихо—только и звуковъ что иной лѣсникъ всхрапнетъ какъ добрая лошадь, а у другаго вдругъ ни съ того ни съ сего душа носомъ засвиститъ.

Одинъ дядя Онуфрій, хозяинъ артели, сѣдой, коренастый, краснощекий старикъ, спитъ будкимъ соловьинымъ сномъ... Его дѣло рано встать, артель на ноги поднять, на работу ее урядить, пока утро еще не настало... Это ему давно ужъ за привычку, оттого онъ и проснулся пораньше другихъ. Потянулся дядя Онуфрій, протеръ глаза, и увидѣвъ что въ тепленкѣ огонь почти совсѣмъ догорѣлъ, торопливо вскочилъ, на скорую руку перекрестился раза три-четыре, и подбросивъ въ тепленку полѣньевъ и смолья, сталъ наматывать на ноги просохшія за ночь онучи и обувать лапти. Обувшись и вздѣвъ на одну руку полушубокъ, взлѣзъ онъ по лѣсенкѣ, растворилъ створцы и поглядѣлъ на небо.... Стожары \* сильно наклонились къ краю небосклона, значить ночь на исходѣ, утро близится.

— Эй вы, крещенные!... Будетъ вамъ дрыхнуть-то!... Долго спать—долгу наспать... Вставать пора! кричалъ дядя Онуфрій на всю зимницу артельнымъ товарищамъ.

Никто не шевельнулся. Дядя Онуфрій пошелъ вдоль наръ и зачалъ толкать кулакомъ подъ бока лѣсниковъ, крича во все горло:

— Эхъ! грому на васъ нѣтъ!... Спать ровно убитые!... Вставай, вставай, ребятушки!... Много спать добра не видать!... Топоры по васъ давно встосковались.... Ну же, ну поднимайся, молодцы!

Кто потянулся, кто поежился, кто глянувъ заспанными глазами на „старшого“, опять зажмурился и повернулся

---

\* Созвѣздіе Большой Медвѣдицы.

на другой бокъ. Дядя Онуфрій межъ тѣмъ одѣлся какъ слѣдуетъ, умылся, то-есть размазалъ водой по лицу копотъ: торопливо помолился передъ мѣднымъ образомъ, поставленнымъ въ переднемъ углу, и подбросилъ въ тепленку еще немного сухаго корневища. \* Ало-багровымъ пламенемъ вспыхнуло смолистое дерево, черный дымъ клубами поднялся къ потолку и заходилъ тамъ струями. Въ зимницѣ посвѣтлѣло.

— Вставайте же, вставайте, а вы!... Чего разоспались, ровно маковой воды опились?... День на дворѣ! покрикивалъ дядя Онуфрій, ходя вдоль наръ, расталкивая лѣсниковъ и сдергивая съ нихъ армяки и полушубки.

— Петрайко, а Петрайко! поднимайся проворнѣй, пострѣль!... Чего заспался?... Ужъ волкъ умылся, а кочетокъ у насъ на деревнѣ давно пропѣлъ. Пора за дѣло приниматься, страпай живо обѣдать!... кричалъ онъ въ самое ухо артельному подсыпкѣ, подростку лѣтъ шестнадцати, своему племяннику.

Но Петрайкѣ не охота вставать. Жметса парнишко подъ шубенкой, думая про себя: „дай хоть чуточку еще посплю, авось дядя не рѣзнетъ хворостиной“....

— Да вставай же, пострѣленокъ... Не то возьму слегу, огрѣю, крикнулъ дядя на племянника, сдернувъ съ него шубенку.—Дождаться что ль тебя артели-то?... Вставай, прймайся за дѣло.

Петрайка вскочилъ, обулся и подойдя къ глиняному ручкомойнику, сплеснулъ лицо. Нельзя сказать чтобъ онъ умылся, онъ размазалъ только копотъ, обильно насѣвшую на лицахъ, шеяхъ и рукахъ обителѣй зимницы.... Лѣсники люди не привередливы: изъ грязи да изъ копоти зиму зименскую не выходятъ...

---

\* Часть дерева между корнемъ и стволомъ или комлемъ. Она отрубается или отпиливается отъ бревна.

— Проворь, а ты проворь обѣдать-то, торопилъ племянника дядя Онуфрій:—Чтобъ у меня все живой рукой было состряпано... А я покажѣсть къ конямъ схожу.

И зажегши лучину, дядя Онуфрій полѣзъ на лѣсенку вонъ изъ зимницы.

Лѣсники одинъ за другимъ еставали, обувались въ просохшую за ночь у тепленки обувь, поочереди подходили къ рукомойнику и подобно дядѣ Онуфрію и Петраю размазывали по лицу грязь и копотъ.... Потомъ кто пошелъ въ загонъ къ лошадямъ, кто топоры сталъ на точилѣ вострить, кто ладить разодранную накануне одѣжу.

Хоть заработки у лѣсниковъ не Богъ знаетъ какіе, далеко не тѣ что у недалекихъ ихъ сосѣдей, въ Черной Рамени, да на Узолѣ, которы деревянну посуду и другую горянщину работаютъ, однакожь и они не прочь сладко поѣсть послѣ трудовъ праведныхъ. На Ветлугѣ и отчасти на Кѣрженцѣ въ рѣдкомъ домѣ брага и сыченое сусло переводятся, даромъ что хлѣбъ чуть не съ Рождества покупной ѣдятъ. И убойна \* у тамошняго мужика не за диво и солонины на зиму запасъ бываетъ, немалое подспорье по лѣснымъ деревушкимъ отъ лосей приходится.... У инаго крестьянина не одинъ пересѣкъ соленой лосины въ погребу стоятъ.... И до пшеничковыхъ, и до лапшеничковыхъ и до дынничковъ \*\* охочъ лѣсникъ, но въ зимницѣ этого закомства стряпать некогда да и негдѣ. Развѣ бабы когда изъ деревни на поклонъ мужьямъ съ подсыпкой пришлютъ. Охочъ лѣсникъ и до „продажной дури“—такъ зоветъ онъ зеленое вино,—но во время „лѣсованья“ продажная дурь не дозволяется. Заведись у кого хоть косу-

---

\* Говядина.

\*\* Дынничекъ—каша изъ тебеи (тыквы) съ просомъ, сваренная на молокѣ и сильно подрумянленная на сковородѣ.

шка вина, сейчасъ его артель разложить, вспореть и затѣмъ вонъ безъ расчёту. Только трижды въ зиму и пьютъ: на Николу, на Рождество да на Масляницу, и то по самой малости. Брагу да сусло пьютъ и въ зимницахъ, но по-немногу и то на праздникахъ да послѣ нихъ....

Но теперь Великій постъ, къ тому жъ и лѣсованье къ концу: меньше двухъ недѣль остается до Плющихи, оттого и запасовъ въ зимницѣ немного. Петрайкина стряпня на этотъ разъ была не больно завидна. Развелъ онъ въ очагѣ огонь, въ одинъ котелокъ засыпалъ гороху, а въ другомъ сталъ готовить похлебку: покрошил гулены, сухихъ грибовъ, луку, засыпалъ гречневой крупой да гороховой мукой, сдобрилъ масломъ и поставилъ на огонь. Обѣдъ разомъ поспѣлъ. Приставили къ нарамъ столъ, къ столу переметную скамью и усѣлись. Петрайка нарѣзалъ черстватаго хлѣба, разложилъ ломти да ложки, и поставилъ передъ усѣвшеюся артелью чашки съ похлебкой. Молча работала артель зубами, чашки скоро опростались. Петрайка выложилъ остальную похлебку, а когда лѣсники и это очистили, поставилъ имъ чашки съ горохомъ, накрошилъ туда рѣпчатого луку и полилъ вдоволь льнянымъ масломъ. Это кушанье показалось особенно лакомо лѣсникамъ, ѣли да похваливали.

— Ай да Петрай! Клевашный \* парень! говорилъ молодой лѣсникъ, Захаромъ звали, потряхивая кудрями.— Вотъ братъ уважилъ, такъ уважилъ.... За этотъ горохъ я у тебя, Петрайко, на свадьбѣ такъ нарѣжусь, что цѣлый день пѣсни играть да плясать не устану.

— Мнѣ еще рано, самъ-отъ прежде женись, отшутился Петрайка.

— Невѣсты, парень, еще не выросли... Покамѣсть и такъ побродимъ, отвѣчалъ Захаръ.

\* Проворный, смѣтливый, разумный.

— А въ самомъ дѣлѣ, Захарушка, пора бы тебѣ законъ свершить, вступился въ разговоръ дядя Онуфрій.— Что такъ безъ пути-то болтаешься?... Дяче не женишься?... За тебя, за такого молодца, всяку бы дѣвку съ радостью выдали.

— Ну ихъ, бабья-то! отвѣчалъ Захаръ.— Терпѣть не могу. Дѣвки не въ примѣръ лучше. Съ ними забавнѣй— смѣхи да пѣсни, а бабы что! Только клохчутъ да хнычаты.... Само послѣднее дѣло!

— Экой дѣвушникъ! молвилъ на то лукаво усмѣхнувшись лѣсникъ Артемій.—А не знаешь развѣ что за дѣвокъ-то вашему брату ноги коломъ ломаютъ?

— А ты прежде излови, да потомъ и ломай. Экъ чѣмъ стращать вздумалъ, нахально отвѣтилъ Захаръ.

— То-то, то-то, Захаръ Игнатьичъ, глади въ оба.... Знаемъ мы кой-что... Слыхали! сказалъ Артемій.

— Чего слыхаль-то?... Чего мнѣ глядѣть-то? разгорячившись крикнулъ Захаръ.

— Да хоть бы насчетъ Лещовской Параньки...

— Чего насчетъ Параньки? приставалъ Захаръ.—Чего?... Говори что знаешь!... Ну, ну говори....

— То и говорю что высоко камешки кидаешь, отвѣтилъ Артемій.—Тутъ вашему брату не то что руки-ноги переломаютъ, а пожалуй въ городъ на ставку сvezутъ. Забылъ аль нѣтъ что Паранькинъ дядя въ головахъ сидитъ? сказалъ Артемій.

Закричалъ Захаръ пуще прежняго, даже съ мѣста вскочилъ, ругаясь и сжимая кулаки, но дядя Онуфрій однимъ словомъ уговорилъ расходившихся ребятъ. Брань и ссоры во все лѣсованье не дозволяются. Иной парень хоть на руготню и голова—огня не вздуетъ, замка не отопретъ не выругавшись, а въ лѣсу не смѣетъ много растабарывать, а рукамъ волю давать и не подумаетъ.... Велитъ старшой

замолчать, пали сердце сколько хочешь, а вздориться не смѣй. Послѣ, когда изъ лѣсу уйдутъ, тамъ хоть ребра другъ дружки переломай, но во время лѣсованья—ни-ни. Такой обычай ведется у лѣсниковъ изстари. Съ чего завелся такой обычай? разъ спросили у стараго лѣсника, лѣтъ тридцать сряду ходившаго лѣсовать хозяиномъ. „По нашимъ промысламъ безъ уйму нельзя, отвѣчалъ онъ, также вотъ и продажной дурн въ лѣсу держать никакъ невозможно, потому не ровень часъ, топоръ изъ рукъ у нашего брата не выходитъ.... Долго ль окаянному человѣка во хмѣлю а въ руготнѣ подъ руку толкнуть.... Бывали дѣла, оттого стѣснѣе и держимся.“

Смолкли ребята, враждебно поглядывая другъ на друга, но ослушаться старшаго и подумать не смѣли... Стоитъ ему слово сказать, артель встанетъ какъ одинъ человѣкъ и такую вспорку задастъ ослушнику, что въ другой разъ не захочетъ дурить...

Петряйка ставилъ межъ тѣмъ третье кушанье: накладъ онъ въ чашки сухарей, развелъ квасомъ, положилъ въ эту тюрю соленыхъ груздей, рыжиковъ, да вареной свеклы, лучку туда покрошилъ и маслаца подлилъ.

— Важно кушанье! похваливалъ дядя Онуфрій, уписывая крошево за обѣ щеки. — Ну проворнѣй, проворнѣй, ребята,—въ лѣсѣ пора! Заря занимается, а на зарѣ не работать значить рубль изъ кошны потерять.

Лѣсники зачали ѣсть торопливѣе, Петряйка вытащилъ изъ закути курганъ \* браги и поставилъ его на столъ.

— Экой у насъ проворъ подсыпка-то! похваливалъ дядя Онуфрій, поглаживая жилистой рукой по бѣлымъ, но

---

\* Курганъ, кунганъ (правильнѣе кумганъ), заимствованный у Татаръ, мѣдный или жестяной кувшинъ съ носкомъ, ручкой и крышкой.

сильно закопченными волосами Петряя, когда тот разливал брагу по корчикам \*. — Всякий день у него послѣдышки да послѣдышки. Двѣ недѣли Масляница минула, а у него бражка еще ведется. Стѣрожь, стѣрожь, Петрунюшка, стѣрожь. всяко добро, припасай на черный день, вырастешь большой богачей будешь. Прокъ выйдетъ изъ тебя, парнюга!... Чтой-то? вдругъ спросилъ, прерывая свои ласки и вставая съ наръ, дядя Онуфрій:—Ни какъ пріѣхалъ кто-то? Выглянь-ка, Петрай, на волю, глянь кто такой?

Въ самомъ дѣлѣ слышались скрипъ полозьевъ, фырканье лошадей и людской говоръ.

Однимъ махомъ Петряйка вскочилъ на верхъ лѣсенки и растворивъ створцы высунулъ на волю бѣлокурую свою голову. Потомъ прыгнувъ на полъ и разведя врозь руками, удивленнымъ голосомъ сказалъ:

— Невѣдомо какі люди пріѣхали.... На двухъ тройкахъ... Гусемъ.

— Чтѣ за диковина! повязывая кушакъ, молвилъ дядя Онуфрій.—Чтѣ за люди?... Кого это на тройкахъ принесло?

— Нешто лѣсной, аль исправникъ, отозвался Артемій.

— Коего шута на концѣ лѣсованья они не видали здѣсь? сказалъ дядя Онуфрій.—Опять же колокольцовъ не слышать, а начальство развѣ безъ колокольца поѣдетъ? Гляди Лысковцы \*\* не нагрянули ль... Пусто бѣ имъ было!... Больше некому. Пойти посмотрѣть самому, прибавилъ онъ, направляясь къ лѣсенкѣ.

---

\* Корчикъ или корецъ, особаго вида ковшъ для черпанья воды, квасу, для питья сусла и браги. Корцы бываютъ металлическіе (жѣззные), деревянные, а больше корецъ дѣлается изъ древеснаго луба, въ видѣ стакана.

\*\* Оптовые лѣсопромышленники изъ Лыкова. Ихъ не любятъ лѣсники за обманъ и обиды.

— Есть ли крещенные? раздался въ то время вверху громкій голосъ Патапа Максимыча.

— Лѣзь-полѣзай, милости просимъ, громко, отозвался дядя Онуфрій.

Показалась изъ створокъ нога Патапа Максимыча, за ней другая, потомъ широкая спина его, обтянутая въ мурашкинскую дубленку. Слѣзь наконецъ Чапуринъ.

За нимъ такимъ же способомъ слѣзь паломникъ Стуколовъ, потомъ молчаливый купецъ Дюковъ, за ними два работника. Не вдругъ прокашлялись наѣзжіе гости, глотнувши дыма. Присѣвъ на полу, едва переводили ондухъ и протирали поневолѣ плакавшіе глаза.

— Кого Господь даровалъ? спросилъ дядя Онуфрій.— Зиму-зименскую отъ чужихъ людей духу не было, на конецъ лѣсованья гости пожаловали.

— Заблудились мы, почтенный, въ вашихъ лѣсахъ, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ, снимая промерзшую дубленку и подсаживаясь къ огню.

— Откуда Богъ занесъ въ наши палестины? спросилъ дядя Онуфрій.

— Изъ Красной Рамени, молвилъ Патапъ Максимычъ.

— А путь куда держите? продолжалъ спрашивать старшій артели.

— На Ветлугу пробираемся, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.—Думали на Ялокшинскій зимнякъ свернуть, да оплошали. Теперь не знаемъ куда и заѣхали.

— Ялокшинскій зимнякъ отсель рукой подать, молвилъ дядя Онуфрій, — какихъ-нибудь верстъ десятокъ и того не будетъ пожалуй. Только дорога не приведи Господи. Вы поди на саняхъ?

— Въ пошевняхъ, отвѣтилъ Патапъ Максимычъ...

— А пошевни-то небойсь большія да широкія... Еще



поди съ волочками? \* продолжалъ свои разспросы дядя Онуфрій.

— Да, съ волчками, сказалъ Патапъ Максимычъ...—А что?...

— А то что съ волчками отсель на Ялокшу вамъ не проѣхать. Лѣса густые, лапы на просѣкѣ рублены не высоко, волочки-то пожалуй не пролѣзутъ, говорилъ дядя Онуфрій.

— Какъ же быть? въ раздумѣ спрашивалъ Патапъ Максимычъ.

— Да въ кое мѣсто вамъ на Ветлугу-то? молвилъ дядя Онуфрій, оглядывая лѣзу топора.

— Ъзда намъ не близкая, отвѣтилъ Патапъ Максимычъ.— За Устѹ надо къ Уреню, коли слыхалъ.

— Какъ не слыхать, молвилъ дядя Онуфрій.—Сами въ Урени не разъ бывали.... За хлѣбомъ ѡздимъ.... Такъ вѣдь вамъ напередъ надо въ Нижне Воскресенье, а тамъ ужъ вплоть до Уреня пойдетъ большая дорога....

— Ровная, гладкая, хоть кубаремъ катись, въ одинъ голосъ заговорили лѣсники....

— За Воскресеньемъ слѣпой съ пути не собьется....

— По Ветлугѣ до самаго Варнавина степь пойдетъ, а за Варнавиномъ какъ рѣку переедете—опять лѣса,—тамъ ужъ и скончанья лѣсамъ не будетъ....

— Это мы, почтенный, и безъ тебя, знаемъ, а вотъ вы научите насъ какъ до Воскресенья-то намъ добратся? сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Развѣ къ нашимъ дворамъ, на Лыковщину отсель свернете, отвѣчалъ дядя Онуфрій.—Отъ насъ до Воскре-

---

\* Волочѣкъ или волчѣкъ—верхъ повозки или кибитки, обитый циновкой. Иначе: лучокъ.

сенья путь торный, просѣлка широкая, только крюку дадите: версть сорокъ коли не всѣ пятьдесятъ.

— Эко горе какое! молвилъ Патапъ Максимычъ.—Вечоръ цѣлый день плутали, цѣлу ночь не знай куда ѣхали, а тутъ еще пятьдесятъ верстъ крюку!... Вѣдь это лишнихъ полтора сутокъ наберется.

— А вамъ нешто къ спѣху? спросилъ дядя Онуфрій.

— Къ спѣху не къ спѣху, а не охота по вашимъ лѣсамъ безъ пути блудить, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.

— Да вы коли изъ Красной-то Рамени поѣхали? спросилъ дядя Онуфрій.

— На разсвѣтъ. Теперь вотъ цѣлы сутки маемся, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.

— Гляди-ка, дѣло какое! говорилъ, качая головой, дядя Онуфрій.—Видно впервой въ лѣсахъ-то?

— То-то и есть что допрежь николи не бывали. Ну ужъ и лѣса ваши—нечего сказать! Провалиться бь имъ проклятымъ совсѣмъ! съ досадою примолвилъ Патапъ Максимычъ.

— Лѣса наши хорошіе, перебилъ его дядя Онуфрій.

Обидно стало ему что невѣдомо какой человѣкъ такъ объ лѣсахъ отзывается. Какъ морякъ любить море, такъ коренной лѣсникъ любить родные лѣса, не въ примѣръ горячѣй чѣмъ пахарь пашню свою.

— Лѣса наши хорошіе, хмурясь и понутивъ голову, продолжалъ дядя Онуфрій.—Наши поильцы-кормильцы... Самъ Господь выростилъ лѣса на пользу человѣка, Самъ Владыка свой садъ разсадилъ.... Здѣсь каждое дерево Божье, зачѣмъ же лѣсамъ проваливаться?... И кѣмъ они кляты?... Это ты не хорошее, черное слово молвилъ, господинъ купецъ.... Не погнѣвайся, имени, отчества твоего не знаю, а лѣса бранить не годится—потому они Божьи.

— Дерево-то пускай его Божье, а волки-то чьи? воз—

разилъ Патапъ Максимычъ.—Какъ мы заночевали въ лѣсу, набѣжало проклятаго звѣрья видимо не видимо—чуть не сожрали; каленый ножъ имъ въ бокъ. Только огнемъ и оборонились.

— Да, волки теперь гуляютъ—ихня пора, молвилъ дядя Онуфрій,—Господь имъ эту пору указаль.... Не однимъ людямъ, а всякой твари сказалъ Онъ: „раститесь и множитесь“. Да.... ихня пора.... И потомъ немного помолчавъ прибавилъ: Значить вы не въ коренномъ лѣсу заночевали, а гдѣ-нибудь на раменіи. Сѣрый въ теперешнюю пору въ лѣсахъ не держится, больше въ поле норовить, теперь ему въ лѣсу голодно. Безпремѣнно на раменіи ночевали, недалеко отъ селенья. Къ намъ-то съ какой стороны подѣхали?

— Да мы все на сиверь держали, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Кажись бы такъ не надо, молвилъ дядя Онуфрій.—Какъ же такъ на сиверь? Къ зимницѣ-то, говорю, съ коей стороны подѣхали?

— Съ правой.

— Такъ какой же тутъ сиверь? Ъхали вы стало быть на осенникъ, сказалъ дядя Онуфрій.

— Какже ты вечеръ говорилъ что мы ѣдемъ на сиверь? обратился Патапъ Максимычъ къ Стуколову.

— Такъ по маткѣ выходило, насупивъ брови и глядя изъ подлѣбья отозвался паломникъ.

— Вотъ тебѣ и матка! крикнулъ Патапъ Максимычъ.—Пятьдесятъ верстъ крюку, да на придачу волки чуть не распластали!... Эхъ ты голова, Якимъ Прохорычъ, право голова!...

— Чѣмъ же matka-то тутъ виновата? оправдывался Стуколовъ.—Развѣ по ней ѣхали; вѣдь я глядѣлъ въ нее когда ужъ съ пути сбились.

— Не сговоришь съ тобой, горячился Патапъ Максимычъ:—Хоть колъ ему теши на лысинѣ: упрямъ какъ чортъ карамышевскій, прости Господи!...

— Ой, ваше степенство, больно ты охочъ *его* поминать! вступился дядя Онуфрій.—Здѣсь вѣдь лѣсъ, зимница.... У насъ *его* не поминаютъ! Не хорошо!... чернаго слова не говори.... Неровенъ часъ—пожалуй недоброе чтѣ случится... А про каку это матку вы поминаете? прибавилъ онъ.

— Да вонъ у товарища моего матка какая-то есть... Шутъ ее знаетъ!... досадливо отозвался Патапъ Максимычъ, указывая на Стуколова. — Всякія дороги слышь знаетъ. Коробочка, а въ ней какъ въ часахъ стрѣлка ходитъ, пояснялъ онъ дядѣ Онуфрію...—Такъ пустое дѣло одно.

— Знаемъ и мы эту матку, отвѣтилъ дядя Онуфрій, снимая съ полки крашенный ставешокъ и вынимая оттуда компасъ.—Какъ намъ лѣсникамъ матки не знать? Безъ нея ину пору можно пропасть.... Такая что ли? спросилъ онъ, показывая свой компасъ Патапу Максимычу.

Диву дался Патапъ Максимычъ. Столько лѣтъ на свѣтѣ живеть, книги тоже читаетъ, съ хорошими людьми водится, а досель не слыхалъ, не вѣдалъ про такую штуку.... Думалось ему что паломникъ изъ-за моря вывезъ свою матку, а тутъ закоптѣлый лѣсникъ, послѣдній можетъ быть человѣкъ, у себя въ зимницѣ такую же вещь держать.

— Въ лѣсахъ матка вещь самая полезительная, продолжалъ дядя Онуфрій.—Безъ нея какъ разъ заблудишься, коли пойдешь по незнаемымъ мѣстамъ. Дорогая по нашимъ промысламъ эта штука.... Зайдешь ину пору далѣко, лѣсъ-отъ густой, частый, да рослый—въ небо дыра. Ни солнышка, ни звѣздъ не видать, опознаться на мѣстѣ нечѣмъ. А съ маткой не пропадешь: отколъ хошь на волю выведетъ.

— Значить твоя матка попортилась, Якимъ Прохорычъ, сказалъ Патапъ Максимычъ Стуколову.

— Отчего ей попортиться? Коли стрѣлка ходить, значить не попортилась, отвѣчалъ тотъ.

— Да слышишь ты аль нѣтъ, что вечеръ ей надо было на осенникъ казать, а она на сиверь тянула, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Покажь-ка, ваше степенство, твою матку, молвилъ дядя Онуфрій, обращаясь къ Стуколову.

Паломникъ вынулъ компасъ. Дядя Онуфрій положилъ оба на столъ.

— Ничѣмъ не попорчена, сказалъ онъ, рассматривая ихъ.—Да и портиться тутъ нечему, потому что въ стрѣлкѣ не пружина, какая, а одна только Божія сила.... Видишь въ одну сторону обѣ стрѣлки тянуть.... Вотъ сиверь, тутъ будетъ полдень, тутъ закатъ, а тутъ востокъ, говорилъ дядя Онуфрій, показывая рукой страны свѣта по направленію магнитной стрѣлки.

— Отчего жъ она давеча не на осенникъ, а на сиверь тянула? спросилъ у паломника Патапъ Максимычъ, разглядывая компасы.

— Не знаю, отвѣчалъ Стуколовъ.

— А я такъ знаю, молвилъ дядя Онуфрій, обращаясь къ паломнику.—Знаю отчего вечеръ твоя матка на сторону воротила.... Коли хочешь скажу, чтобы могъ ты понимать тайную силу Божію.... Когда смотрѣлъ въ матку-то, въ которомъ часу?

— Съ вечера, отвѣчалъ Стуколовъ.

— Такъ и есть, молвилъ дядя Онуфрій. — А на небо въ ту пору глядѣлъ?

— На небо? Какъ на небо?... спросилъ удивленный паломникъ.—Не помню.... Кажись не глядѣлъ.

— И никто изъ васъ не видалъ что на небѣ въ ту пору дѣялось? спросилъ дядя Онуфрій.

— Чему на небѣ дѣяться? молвилъ Патапъ Максимъчъ.—Ничего не дѣялось—небо какъ небо.

— То-то и есть чтѣ дѣялось, сказала дядя Онуфрій.— Мы видѣли чтѣ на небѣ передъ полночью было. — Тутъ-то вотъ и премудрая, тайная сила Творца Небеснаго.... И про ту силу великую не то что мы, люди старые, подростки у насъ знаютъ, Петрайко! Чтѣ вечеръ на небѣ дѣялось? спросилъ онъ племянника.

— Пазори играли, бойко тряхнувъ бѣлокурными кудрями, отвѣтилъ Петрай.— Вечоръ какъ намъ съ лѣсованья ѣхать, отбѣлъ по небу пошла, а тамъ и зѣри заиграли, лучи засвѣтили, столбы задышали, багрецами налились и заходили по небу. Сполѣхи даже били какъ мы ужинать сѣли: ровно громъ по лѣсу-то такъ и загудѣли.... Оттого матка и дурила что \*. пазори въ небѣ играли.

---

\* *Пазори*—сѣверное сіяніе. Слова „сѣверное сіяніе“ народъ не знаетъ. Это слово дѣланное, искусственное, придуманное въ кабинетѣ, едва ли не Ломоносовымъ, а ему, какъ Холмогорцу, не могло быть чуждымъ настоящее русское слово пазори. Сѣверное сіяніе—буквальный переводъ нѣмецкаго *Nordlicht*. У насъ каждый переходъ столь обычнаго на Руси небеснаго явленія означается особымъ мѣткимъ словомъ. Такъ, начало пазорей, когда на сѣверной сторонѣ неба начинается какъ бы разливаться блѣдный бѣлый свѣтъ, подобный млечному пути, зовется *отбѣлю* или *бѣлю*. Слѣдующій затѣмъ переходъ, когда отбѣлъ сначала принимая розовый оттѣнокъ, потомъ постепенно багровѣетъ, называется зорями (*зѣри*, *зѣринки*). Послѣ зорей начинаютъ обыкновенно раскидываться по небу млечныя полосы. Это называютъ *лучами*. Если явленіе продолжается *лучи* багровѣютъ и постепенно превращаются въ яркіе, красные и другіе цвѣтовъ радуги, *столбы*. Эти столбы краснѣютъ болѣе и болѣе, что называется *багрецы наливаются*. Столбы сходятся и расходятся—объ этомъ говорится *столбы играютъ*. Когда сильно играющіе столбы сопровождаются перекатнымъ трескомъ и какъ бы громомъ—это называется *сполбхами*. Если во время сѣвернаго сіянія зори или столбы мерцаютъ, то-есть дѣлаются то свѣтлѣй, то блѣднѣй,

— Значить не въ ту сторону показывала, пояснилъ дядя Онуфрій.—Это завсегда такъ бываетъ: еще отбѣлей не видать, а ужъ стрѣлка вздрагивать зачнетъ, а потомъ и пойдетъ то туда, то сюда воротить.... Видишь ли, какая тайная Божія сила тутъ совершается? Слыхалъ, поди, какъ за всенощной-то поютъ: „вся премудростію сотворилъ еси“!... Вотъ она премудрость-то!... Это завсегда надо крещеному человѣку въ понятіи содержать.... Да, ваше степенство: „вся премудростію сотворилъ еси“!... Кажись вотъ хоть бы эта самая matka—что такое?—Ребячья игрушка слѣпой человѣкъ подумаетъ! Анъ нѣтъ, тутъ премудрость Господня, тайная Божія сила... Да.

„Экой дошлый народецъ въ эти лѣса забился“, самъ про себя думалъ Патапъ Максимычъ. „Мальчишка, материно молоко на губахъ не обсохло, и тотъ премудрость понимаетъ, а старый отъ писанья такой гораздый, что пожалуй Манеѣ такъ въ пору.“

— Отъ кого это ты, малецъ, научился? спросилъ онъ Петра.

— Дядя училъ, дядя Онуфрій, бойко отвѣтилъ подсыпка, указывая на дядю.

— А тебя кто научилъ? обратился Патапъ Максимычъ къ Онуфрію.

---

тогда говорится: „зори или столбы *дышатъ*“. Наши лѣсники, равно какъ и Поморы, обращающіеся съ компасомъ, давнымъ-давно знаютъ что „на пазорахъ matka дурить“, то-есть магнитная стрѣлка дѣлаетъ уклоненія. Случается, что небо заволожено тучами, стоитъ непогода, либо мятель мятеть, и вдругъ „matka задурить“. Лѣсники тогда знаютъ, что на небѣ пазори заиграли, но за тучами ихъ не видать. Замѣчительно что какъ у Поморовъ, такъ и у лѣсниковъ нѣтъ повѣрья будто сѣверное сіяніе предвѣщаетъ войну либо моръ. Свойство магнитной стрѣлки и вліяніе на нее сѣвернаго сіянія они называютъ „тайной Божьей силой“.

— Отъ отцовъ, отъ дѣдовъ научены; они тоже вѣкъ свой лѣсовали, отвѣтилъ дядя Онуфрій.

— Мудрости Господни! молвилъ въ раздумѣ Патапъ Максимычъ.

Проговоривъ это, вдругъ увидѣлъ онъ, что лѣсникъ Артемій, присѣвъ на корточки передъ тепленкой и вынувъ уголекъ, положилъ его въ носогрѣйку \*, и закурилъ свой тютюнъ. За нимъ Захаръ, потомъ другіе, и вотъ всѣ лѣсники, кромѣ Онуфрія да Петряя, усѣвшись вокругъ огонька, задымили трубки.

Стуколова инда передернуло. За Волгой-то, въ семь искони древлеблагочестивомъ краѣ, въ семь Аѳонѣ старообрядства, да еще въ самой-то глуши, въ лѣсахъ, курильщики треклятаго зелья объявились.... Отсторонился паломникъ отъ тепленки, и сѣвъ въ углу зимницы, повернулъ лицо въ сторону.

— Поганитесь? съ легкой усмѣшкой спросилъ Патапъ Максимычъ, кивая дядѣ Онуфрію на курильщиковъ.

— А какое жъ тутъ поганство? отвѣчалъ дядя Онуфрій.— Никакого поганства нѣтъ. Сказано: „всякъ злакъ на службу человѣкомъ“. — Чего жъ тебѣ еще?... И табакъ Божья трава, и ее Господь создалъ на пользу, какъ и всѣ иные древа, цвѣты и травы...

— Такъ нѣшто про табашное зелье это слово сказано въ писаніи? досадливо вмѣшался насупившійся Стуколовъ.—Аль не слыхалъ что такое есть „корень горести въ выспрь прозябай?“ Не слыхивалъ откуда табакъ-отъ выросъ?

— Это что келейницы-то толкуютъ? со смѣхомъ ото-

---

\* Трубка, большею частію корневая, выложенная внутри жестью, на коротенькомъ деревянномъ чубучѣ.



звался Захаръ.—Врутъ онѣ смѣтницы \*, пустое плетутъ.... Мы вѣдь не старовѣры, въ бабѣ не вѣруемъ.

— Нешто церковники? спросилъ Патапъ Максимычъ дядю Онуфрія.

— Всѣ по церкви, отвѣчалъ дядя Онуфрій.—У насъ по всей Лыковщинѣ старовѣровъ споконъ вѣку не важивалось. И дѣды, и прадѣды, всѣ при церкви были. Потому люди мы бѣдные, работные, достатковъ у насъ нѣтъ такихъ чтобъ старовѣрничать. Вонъ по раменямъ и въ Черной Рамени, и въ Красной, и по Волгѣ, тамъ почитай всѣ старой вѣры держатся.... Потому — богатство.... А мы чтѣ?... Люди маленькіе, худые, бѣдные.... Мы по церкви!

— А молитесь какъ? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Кто въ два перста, кто шепотью, кто какъ сызмала обыкъ такъ и молится.... У насъ этого въ важность не ставятъ, сказалъ дядя Онуфрій.

— И табашничаєте всѣ? продолжалъ спрашивать Патапъ Максимычъ.

— Всѣ почитай веселой травки держимся, отвѣчалъ улыбаясь дядя Онуфрій, и самъ сталъ набивать трубку.—Намъ, ваше степенство, безъ табаку нельзя. Потому лѣтомъ пойдешь въ лѣсъ—столько тамъ этого гаду: оводу, слѣпней, мошекъ и всякой комариной силы—только табачнымъ дымомъ себя и полегчишь, не то съѣдятъ, пусто бѣ имъ было. По нашимъ промысламъ безъ курева обойтись никакъ невозможно—всю кровь высосутъ, окаянные. Оно, конечно, и лѣсники не сплошь табачничаютъ, есть тоже старовѣры по инымъ лѣснымъ деревьямъ, за то ужъ и маются же сердечные. Посмотрѣлъ бы ты на нихъ какъ они послѣ соку \*\* домой приволокуются. Узнать человѣка нельзя,

\* Смотникъ, смотница —, то же чтѣ сплетникъ, а также человѣкъ всякій вздоръ говорящій.

\*\* Послѣ дранья мочала, луба и бересты.

равно стѣнь ходить. Боронятся и они отъ комариной силы: смолой, дегтемъ мажутся, да не больно это мазанье помогаетъ. Нѣтъ, по нашимъ промысламъ безъ табашнаго курева никакъ нельзя. А побывали бы вы, господа купцы, въ Ветлужскихъ верхотинахъ у Верхняго Воскресенья? \* Тамъ и въ городу и вкругъ города по деревнямъ такіе ли еще табашники какъ у насъ: спать даже съ трубкой. Маленькій парнишка, отъ земли его не видать, а ужъ дымить изъ тяткиной трубчонки.... Въ гостяхъ, на свадьбѣ, аъ на крестинахъ, въ праздники тоже храмовые, у людей первымъ дѣломъ брага да сусло.... а тамъ горшки съ табакомъ гостямъ на столъ — горшокъ молотаго, да горшокъ крошенаго.... Надымать въ избѣ, инда у самихъ глаза выѣсть.... Вотъ это настоящіе табашники, заправскіе, а мы что — помаленьку балуемся.

— Отъ того Ветлугу-то и зовутъ „поганой стороною“, скрививъ лицо язвительной усмѣшкой, молвилъ Стуколовъ.

— Да вѣдь это же келейницы дурнымъ словомъ обзываютъ ветлужску сторону, а глядя на нихъ и старовѣры, отвѣчалъ дядя Онуфрій.—Только вѣдь это однѣ пустыя рѣчи.... Какую онѣ тамъ погань нашли? Таки же крещены какъ и вездѣ....

— Въ церковь-то часто ли ходите? спросилъ Пѣтапъ Максимычъ.

— Какъ же въ церковь не ходить?... Чать мы крещеные. Безъ перкви прожить нельзя, отвѣчалъ дядя Онуф-

---

\* Въ Ветлужскомъ краѣ, городъ Ветлугу до сихъ поръ зовутъ Верхнимъ Воскресеньемъ, какъ назывался онъ до 1778 года, когда былъ обращенъ въ уѣздный городъ... Нижнее Воскресенье—большое село на Ветлугѣ въ Макарьевскомъ уѣздѣ Нижегородской губерніи. Иначе—Воскресенское. Это два главные торговые пункта по Ветлугѣ.

рій.—Кое время дома живемъ, храмъ Божій не забываемъ, оно пожалуй хоть не каждое воскресенье ходимъ, потому приходъ далеко, а все жь церкви не чуждаемся. Вотъ здѣсь, въ лѣсахъ, праздниковъ ужь нѣтъ. Съ топоромъ не до моленья, особливо въ такой годъ какъ нонѣшній.... Зима-то нонѣ стала поздняя, только за два дня до Николя лѣсовать выѣхали.... Много ль тутъ времени на работу-то останется, много ль наработаешь?... Тутъ и праздники забудешь какіе они у Бога есть, и день и почъ только и думы какъ бы побольше деревъ сронить. Да вѣдь и то надо сказать, ваше степенство, примолвилъ лукаво улыбаясь дядя Онуфрій,—часто въ церковь-то ходитъ нашему брату накладно. Это вонъ келейницамъ хорошо на всемъ на готовомъ Богу молиться, а по нашимъ недостаткамъ того не приходится. Вѣдь повадишься къ вечернѣ, все едино что въ харчевню: нонѣ свѣча, завтра свѣча—глядишь анъ шуба съ плеча. Съ нашего брата Господь не взыщетъ—потому недостатки.... Мы вѣдь люди простые, а простыхъ и Богъ проститъ.... Одначе закалякался я съ вами, господу купцы... Ребятунки, ладь дровни, проворъ лошадей.... Лѣсовать пора!... громко крикнулъ дядя Онуфрій.

Лѣсники одинъ за другимъ полѣзли вонъ.

Дядя Онуфрій, оставшись съ гостями въ зимницѣ, помогаль Петряю прибирать посуду, заливать очагъ и приводить ночной притонъ въ нѣкоторый порядокъ.

— Сами-то сколько будете? спросилъ онъ Патапа Максимыча.

Патапъ Максимычъ назвалъ себя и не мало подивился, что старый лѣсникъ доселѣ не слыхалъ его имени, столь громкаго за Волгой, а кажись чуть не шабры.

— Нешто про насъ не слыхалъ? спросилъ онъ дядю Онуфрія.

— Не доводилось, ваше степенство, отвѣчалъ лѣсникъ.—

Вѣдь мы „раменскихъ-то“ \* мало знаемъ—больше все съ лысковскими да съ ветлужскими купцами хороводимся, съ понизовыми тоже.

— Экая однако глушь по вашимъ мѣстамъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Глухая сторона, ваше степенство, это твоя правда, какъ есть глушь, отвѣчалъ дядя Онуфрій.—Мы и въ своемъ-то городѣ только раза по два на году бываемъ, подушни казначею свезти, да билетъ у лѣснаго выправить. Особнякомъ живемъ, ровно отрѣзанные, а все жъ не промѣняемъ своей глуши на чужую сторону. Хоть и бѣдны наши деревни, не то что на Волгѣ аль можегъ и по нашимъ раменямъ, однакожъ свою сторону ни на какъ не смѣняемъ.... У васъ хоть и веселье, хоть житье и привольное, да чужое, а у насъ по лѣсамъ хоть и горе да свое.... Пускай у насъ глушь, да не пошто намъ далеко, и здѣсь хорошо.

— Да, отвѣтилъ Патапъ Максимычъ,—всякому своя сторона мила.... Только какъ же у насъ будетъ, почтенный?... Ужъ вы какъ-нибудь выведите насъ на свѣтъ Божій, покажьете дорогу какъ на Ялокшу выѣхать.

— Пошто не указать—укажемъ, сказалъ дядя Онуфрій,—только не знаю какъ съ волочками-то вы сладите. Не пролѣзть съ ними сквозь лѣсину.... Опять же поди дорожку теперь перемело; на Масляницѣ все вѣтра дули, деревья-то чай обтрясло, снѣгу навалило.... Да постойте, господа честные, вотъ я молодца одного кликну—онъ ту дорожку лучше всѣхъ насъ знаетъ.... Артемушка! крикнулъ дядя Онуфрій изъ зимницы,—Артемъ!... погляди-ка на сани-то. Проѣдутъ на Ялокшу аль нѣтъ, да слѣзь, родной, ко мнѣ не на долгое время....

---

\* Раменскими лѣсники зовутъ жителей Черной и Красной Рамени.

Артемій слѣзъ и объявилъ что санямъ надо бы пройти, потому отводы не великіе, а волочки непременно надо долой.

— Ну долой такъ долой, рѣшилъ Патапъ Максимычъ,—положимъ ихъ въ сани, а не то и здѣсь покинемъ. У Воскресенья новы можно купить.

— У Воскресенья этого добра вволю, сказалъ дядя Онуфрій,—завтра же вы туда какъ разъ къ базару попадете. Вы не по хлѣбной ли части ѣдете?

— Нѣтъ, ѣдемъ по своему дѣлу, къ пріятелямъ въ гости, молвилъ Патапъ Максимычъ.

— Такъ, проговорилъ дядя Онуфрій.—Инъ велите своимъ парнямъ волочки снимать—вмѣстѣ и поѣдемъ, намъ въ ту же сторону версты двѣ либо три ѣхать.

— Ну вотъ и ладно. Оттоль значить верстъ съ восемь до зимняка-то останется, молвилъ Патапъ Максимычъ и послалъ работниковъ отвязывать волочки.

— Верстъ восемь, можетъ и десять, а пожалуй и больше наберется, отвѣчалъ дядя Онуфрій.—Какія здѣсь версты! Дороги не мѣрены: гдѣ мужикъ по первопуткѣ проѣхалъ—тутъ на всю зиму и дорога.

— А какъ намъ разставанье придетъ, вы ужъ, братцы, кто-нибудь, проводите насъ до зимняка-то, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— На этомъ не погнѣвись, господинъ купецъ. По нашимъ порядкамъ этого нельзя—потому артель, сказалъ дядя Онуфрій.

— Чтò жъ артель?... Отчего нельзя?... съ недоумѣньемъ спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Да какъ же? поѣдетъ который съ тобой, кто за него работать станетъ?... Тѣмъ артель и крѣпка что у всѣхъ работа въ ровень держится, одинъ передъ другимъ ни на макову росинку не долженъ передѣлать, а въ не додѣ-

латъ... А какъ ты говоришь, чтобъ изъ артели кого въ вожатые дать, того никоимъ образомъ нельзя... Тотъ же прогулъ выйдетъ, а у насъ прогуловъ нѣтъ, такъ и сговариваемся на суймѣ \* чтобъ прогуловъ во всю зиму не было.

— Да мы заплатимъ что слѣдуетъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— А кому заплатишь-то?... Платить-то некому!... отвѣчалъ дядя Онуфрій.—Развѣ возможно артельному лѣснику съ чужанина хоть малость какую принять?...—Развѣ артель спуститъ ему хошь однукопейку взять со стороны?... Да вотъ я старшій у нихъ, „хозяйинъ“ называюсь, а возьми-ка я съ вашего степенства хоть мѣдну полушку, ребята не поглядятъ что я у нихъ голова, что борода у меня сѣда, разложатъ да такую вспарку зададутъ, что и-и... У насъ на это строго.

— Мы всей артели заплатимъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Это ужъ не мое дѣло, съ артелью толкуй. Какъ она захочетъ, такъ и прикажетъ, я тутъ не при чемъ, отвѣтилъ дядя Онуфрій.

— Коли такъ, собирай артель, потолкуемъ, молвилъ Патапъ Максимычъ.

— Скликнуть артель не мудрое дѣло, только не знаю какъ это сдѣлать, потому что такого дѣла у насъ николи не бывало. Болѣ тридцати годовъ съ топоромъ хожу, а никогда того не бывало чтобъ изъ артели кого на сторону брали, разсуждалъ дядя Онуфрій.

— Да ты только позови, можетъ сойдемся какъ-нибудь, сказалъ Патапъ Максимычъ.

---

\* Суймъ или суеть (однородно со словами сонмъ и сеймъ)—мирской сходъ, совѣщанье о дѣлахъ.

— Позвать отчего не позвать! Позову—это можно, говорил дядя Онуфрій, — только у насъ николи такъ не водилось.... и обратясь къ Петряю, все еще перемивавшему въ грязной водѣ чашки и ложки, сказалъ:—Клихни ребятъ, Петряюшка, всѣ, молъ, идите до одинаго.

Артель собралась. Спросила дядю Онуфрія за чѣмъ звалъ, тотъ не отвѣчалъ, а молча показалъ на Патапа Максимыча.

— Чтò требуется, господинъ купецъ?... спросили лѣсники, оглядывая его съ недоумѣньемъ.

— Да видите ли, братцы, хочу я просить вашу артель дать намъ проводника до Ялокшинскаго зимняка, началъ Патапъ Максимычъ.

Артель загладѣла, а Захаръ даже захохоталъ, глядя прямо въ глаза Патапу Максимычу.

— Въ умѣ ль ты, ваше степенство?... Какъ же возможно изъ артели работника брать?... Гдѣ это слыхано?... Да кто поидежъ провожать тебя?... Никто не поидеть.... Экъ чтò вздумалъ!.. Чудакъ же ты право, господинъ купецъ!... кричали лѣсники, перебивая другъ дружку.

Насилу втолковалъ имъ Патапъ Максимычъ, что артели ущерба не будетъ, что онъ заплатитъ цѣну работы за весь день.

— Да какъ ты учтешь чего стоить работа въ день?... Этого учтеть нельзя, говорили лѣсники.

— Какъ не учтеть, учтемъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.— Сколько васъ въ артели-то?

— Одиннадцать человекъ, Петряй двѣнадцатый.

— А много ль день въ зиму работать?

— Смекай: выѣхали за два дня до Николи, уйдемъ на Плющиху, сказалъ Захаръ.

Посчиталъ Патапъ Максимычъ—восемьдесятъ семь дней выходило.

— Ты, ваше степенство, недѣлями считай, мы вѣдь люди не грамотные—считать по днямъ не горазды, говорила артель.

— Двѣнадцать недѣль съ половиной, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Ну это такъ, загалдѣли лѣсники.... — Намедни мы считали, то же выходило.

— Ну ладно, хорошо.... Теперь сказывайте много ль за зиму на каждого человѣка заработка причтется? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— А кто его знаетъ! отвѣчали лѣсники.—Вотъ къ Святой сочтемся, такъ будемъ знать.

Безпорядицы и безтолочи въ переговорахъ было вдоволь. Считали барыши прошлой зимы, выходило безъ гривны полтора рубля на ассигнаціи въ день человѣку. Но этотъ счетъ въ толкъ не пошелъ, потому, говорилъ Захаръ, что зимущняя зима была сиротская, хвилеватая \*, а нонѣшняя морозная да вѣтряная. Сулилъ артели Патапъ Максимычъ цѣлковый за проводника,—и слушать не хотѣли. Какъ дескать наобумъ можно ладиться. Надо, говорятъ, всякое дѣло по чести дѣлать, потому—артель. А дядя Онуфрій турить да турить кончать скорѣй переговоры, на всю зимницу кричить, что заря совсѣмъ занялась—не чего пустяки городить—лѣсовать пора...

Потерялъ терпѣнье Патапъ Максимычъ. Такъ и подмываетъ его обойтись съ лѣсниками по-свойски, какъ въ Осиповкѣ середѣ своихъ токарей навывъ.... Да въвремя вспомнилъ, что въ лѣсахъ этимъ ничего не возьмешь, пожалуй еще хуже выйдетъ. Не такой народъ, окрикомъ его не проймешь... Однакожь не вытерпѣлъ—крикнулъ.

— Да берите, дьяволы, сколько хотите.... Сказывай

---

\* Хвилеватая мокрая, дождливая и вьюжная.



сколько надо?... За деньгами не стоимъ.... Хотите три цѣлковыхъ получить?...

— Сказано тебѣ, въ зимницѣ еіо не поминать, строго, притопнувъ даже ногой, крикнулъ на Патапа Максимыча дядя Онуфрій.... Такъ въ лѣсахъ не водится!... А ты еще еіо чернымъ именемъ крещенный народъ обзываетъ.... Есть на тебѣ крестъ-отъ аль нѣтъ?... Хочешь ругаться да вражье имя поминать, убирайся покамѣсть цѣль по-добру по-здорову.

— Народецъ! съ досадой молвилъ Патапъ Максимычъ, обращаясь къ Стуколову.—Чтò тутъ станешь дѣлать?

Не отвѣчалъ паломникъ.

— Говорите же сколько надо вамъ за проводника? Три цѣлковыхъ хотите? сказалъ Патапъ Максимычъ, обращаясь къ лѣсникамъ.

Зачала артель галанить пуще прежняго. Спорамъ, крикамъ, безтолочи ни конца ни середины.... Видя что толку не добиться, Патапъ Максимычъ хотѣлъ уже бросить дѣло и ѣхать на авось, но Захаръ, что-то считавшій все время по пальцамъ, спросилъ его:

— Безъ двугривеннаго пять цѣлковыхъ дашь?

— За чтò жь это пять цѣлковыхъ? возразилъ Патапъ Максимычъ.— Сами говорите, что въ прошлу зиму безъ гривны полтора рубли на монету каждому топору пришлось.

— Такъ и считано, молвилъ Захаръ.— Въ артели двѣнадцать человѣкъ, по рублю — двѣнадцать рублей, по четыре гривны—четыре рубля восемь гривенъ—всего, значить, шестнадцать рублей восемь гривенъ по старому счету. Оно и выходитъ безъ двугривеннаго пять цѣлковыхъ.

— Да вѣдь ты на всю артель считаешь, а поѣдетъ съ нами одинъ, возразилъ Патапъ Максимычъ.

— Одинъ ли вся ли артель, это для насъ все единственно, отвѣтилъ Захаръ.—Ты вѣдь съ артелью радишься, потому артельну плату и давай.... а не хочешь, вотъ тѣ Богъ, а вотъ и порогъ. Толковать намъ недосужно—лѣсовать пора.

— Да вѣдь не вся жъ артель провожать поѣдетъ? сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Это ужъ твое дѣло.... Хочешь всю артель бери—слова не молвимъ—всѣ до одинаго поѣдемъ, заголосили лѣсники.—Да зачѣмъ тебѣ сѣсть столько народу?... И одинъ дорогу знаетъ.... Не мудрость какая!

— А вы скорѣй, скорѣй, ребяташки,—день на дворѣ, лѣсовать пора, торопилъ дядя Онуфрій.

— Кто дорогу укажетъ тому и заплатимъ, молвилъ Патапъ Максимычъ.

— Этого нельзя, заголосили лѣсники.—Деньги при всѣхъ подавай, вотъ дядѣ Онуфрію за руки.

Дѣлать было нечего, пришлось согласиться. Патапъ Максимычъ отсчиталъ деньги и подалъ ихъ дядѣ Онуфрію.

— Стой, погоди, еще не совсѣмъ въ расчетѣ, сказалъ дядя Онуфрій, не принимая денегъ.—Волочки-тоздѣсь покинете, аль съ собой захватите?

— Куда съ собой брать!... Покинуть надо, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.

— Такъ ихъ надо долой скостить.... Лишняго намъ не надо, молвилъ дядя Онуфрій.—Ребята видѣли волочки-то?

— Глядѣли, заговорили лѣсники. — Волочки — ничего, гошіе, циновкой крыты, кошмой подбиты—рубля три на монету каждый стобить.... Пожалуй и больше.... Клади по три рубля съ тремя пятаками.

— Чтѣ вы, ребята? Да я за нихъ по пяти цѣлковыхъ платилъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— На базарѣ? спросилъ Захаръ.

— Извѣстно на базарѣ.

— На базарѣ дешевле не купишь, а въ лѣсу какая имѣйна? подхватили лѣсники. — Здѣсь этого добра у насъ вдоволь.... Хочешь, господинъ купецъ, скинемъ за волочки для твоей милости шесть рублей три гривны.... Какъ разъ три цѣлковыхъ выйдетъ.

Патапъ Максимычъ согласился и отдалъ зеленую бумажку да семь гривенъ на серебро дядѣ Онуфрію. Тотъ поглядѣлъ бумажку на свѣтъ, показалъ ее каждому лѣснику, даже Петрайкѣ. Каждый пощупалъ ее, потеръ руками и посмотрѣлъ на свѣтъ.

— Чего разглядываешь? Не бойсь, справская, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Видимъ что справская, настоящая государева, отвѣчалъ дядя Онуфрій.—А оглядѣть все-таки надо—безъ того нельзя, потому—артель, надо чтобъ всѣ видѣли.... Нонѣ же этихъ проклятыхъ красноярокъ\* больно много развелось... Не поскорби, ваше степенство, не погнѣвайся... Безъ того чтобъ бумажку не оглядѣть въ артели нельзя.

— О чемъ же спорили вы да сутырили\*\* столько времени? сказалъ Патапъ Максимычъ, обращаясь къ артели.—Сулилъ я вамъ три цѣлковыхъ, обѣ волочкахъ и помину не было, у васъ же бы остались. Теперь тѣ же самыя деньги беретъ. Изъ-за чего жъ мы время-то съ вами попусту теряли?

— А чтобъ никому обиды не было, рѣшилъ дядя Онуфрій.—Теперича, какъ до истиннаго конца дотолковались, оно и свято дѣло, и думы нѣтъ ни тебѣ, ни намъ, и сомнѣнья промежъ насъ никакого не будетъ. А не разберись мы до послѣдней нитки, свара пожалуй въ артели

---

\* Въ Поволжскомъ краю такъ зовутъ фальшивыя ассигнаціи...

\*\* Сутырить, сутыриничать—спорить, вздорить, придирается, а такъ же клаязничать. Сутырь—безтолковый споръ.

пошла бы, а это ужь послѣднее дѣло... У насъ все на согласѣ, все на порядкахъ... Потому артель.

Патапу Максимычу ничего больше не доводилось, какъ замолчать передъ доводами дяди Онуфрія.

— Тайную силу въ маткѣ да въ пазоряжъ знаютъ, а безтолочи середь ихъ не оберешься, сказалъ онъ полупешепотомъ, наклонясь къ Стуколову.

— Табачники.... еретики!.... сквозь зубы процѣдилъ паломникъ.

Патапъ Максимычъ, выйдя на середку зимницы, спросилъ обращаясь къ артели:

— Кто жъ изъ васъ лучше другихъ дорогу на Ялохшу знаетъ?

— Всѣ хорошо дорогу знаютъ, отвѣчалъ дядя Онуфрій.— А вотъ Артемій, я тебѣ, ваше степенство, и давѣ сказывалъ, лучше другихъ знаетъ, потому что недавно тутъ проѣзжалъ.

— Такъ пуцай Артемій съ нами и поѣдетъ, рѣшилъ Патапъ Максимычъ.

— Этого нельзя, ваше степенство, отвѣчалъ трякнувъ головой дядя Онуфрій.

— Отчего же нельзя? спросилъ удивленный Патапъ Максимычъ.

— Потому нельзя что артель, молвилъ дядя Онуфрій.

— Какъ такъ?... возразилъ Патапъ Максимычъ.— Да сами же вы сказали что, заплативши деньги на всѣхъ, могу я хоть всю артель тащить...

— Можешь всю артель тащить... Слово скажи— всѣ до единого поѣдемъ, отвѣчалъ дядя Онуфрій.

— Такъ вѣдь и Артемій тутъ же будетъ? съ досадою спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Извѣстно, тутъ же будетъ, отвѣчалъ дядя Онуфрій.— Изъ артели парня не выкинешь?

— Артемья одного и беру, а другихъ мнѣ и не надо, горячился Патапъ Максимычъ.

— Этого нельзя, спокойно отвѣчалъ дядя Онуфрій.

— Почему же нельзя?... Чтѣ за безтолочъ у васъ такая!... Господи Царь Небесный!... Вотъ народецъ-отъ!... восклицалъ, хлопая ѳ полы руками, Патапъ Максимычъ.

— А отъ того и нельзя что артель, отвѣчалъ дядя Онуфрій.—Кому жеребій выпадетъ, тотъ и поѣдетъ. Кусай гроши ребята.

Вынулъ каждый лѣсникъ изъ зѣпи \* по грошу. На одномъ Захаръ накусалъ мѣтку. Дядя Онуфрій взялъ шапку, и каждый паренъ кинулъ туда свой грошъ. Потрясъ старшій шапкой, и лѣсники одинъ за другимъ стали вынимать по грошу.

Кусанный грошъ достался Артемью.

— Экой ты удатной какой, господинъ купецъ, молвилъ дядя Онуфрій.—Кого облюбовалъ тотъ тебѣ и достался... Ну, ваше степенство, съ твоимъ бы счастьемъ да по грибы ходить... Чтѣ жъ одного Артемья берешь, алъ еще конаться \*\* велишь? прибавилъ онъ, обращаясь къ Патапу Максимычу.

— Лишній человекъ не мѣшаетъ, отвѣтилъ Патапъ Максимычъ.—Въ пути всяко случиться можетъ: сани въ снѣгу загрузнуть, алъ чтѣ другое.

— Дѣло говоришь, замѣтилъ дядя Онуфрій,—лишній человекъ въ пути не помѣха. Кидай, ребята! примолвилъ онъ, обращаясь къ лѣсникамъ, снова принимаясь за шапку.

Жребій выпалъ Петрю.

---

\* Зѣпъ—кожаная, иногда холщевая мошна привѣсная, а если носится за пазухой, то прикрѣпленная къ заплечу тесемкой иль ремешкомъ. Въ зѣпи держать деньги и паспортъ.

\*\* Конаться—жеребій метать.

— Ишь ты дѣло-то какое! съ досадой молвилъ дядя Онуфрій, почесывая затылокъ.—Петрайкѣ досталось! Эко дѣло-то какое!... Смотри же, парень, поспѣвай къ вечеру безпремѣнно, чтобы намъ безъ тебя не лечь спать голоднымиъ.

Патапъ Максимычъ, посмотрѣвъ на Петра, подумалъ что отъ подростка въ пути большаго проку не будетъ. Замѣтивъ что не только дядя Онуфрій, но вся артель недовольна, что подсыпкѣ ѣхать досталось, сказалъ, обращаясь къ лѣсникамъ:

— Коли Петрай вамъ нуженъ, пожалуй иного выбирайте, мнѣ все едино....

— Нельзя, ваше степенство, возразилъ дядя Онуфрій.— Никакъ невозможно, потому артель. Вынулъ кусаный грошъ Петрайкѣ, значить ему и ѣхать.

— Да не все ль ровно что одинъ что другой? сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Оно конечно все едино, да ужъ такіе у насъ порядки, говорилъ дядя Онуфрій.—Супротивъ нашихъ порядковъ идти нельзя, потому что артель ими держится. Я бы самъ съ великой радостью замѣсто мальчика поѣхалъ, да и всякій бы за него поѣхалъ, таково онъ нуженъ намъ; только этому быть не можно, потому что жеребій ему достался.

— Коли на то пошло, конайте третьяго, сказалъ Патапъ Максимычъ.— Отъ мальчугана пособи не много будетъ коли въ дорогѣ что приключится.

— Третьяго бери, четвертаго бери, хочешь всю артель за собой волочи—твое дѣло, отвѣчалъ дядя Онуфрій.—А чтобы Петраикѣ не ѣхать—нельзя.

— Чудаки вы, право, чудаки, молвилъ Патапъ Максимычъ.—Эки порядки устави!... Ну конайте живѣй.

Третьимъ ѣхать вышло самому дядѣ Онуфрію.

Но тѣмъ дѣло не кончилось: надо было теперь старшего выбирать на мѣсто уѣзжавшаго Онуфрія. Тутъ ужъ такой шумъ да гамъ поднялись, что хотъ вонъ бѣги, хотъ святыхъ выноси.

— Да ты замѣсто себя кого бы нибудь самъ выбралъ, тутъ бы и дѣлу конецъ, а то галдятъ, галдятъ, а толку нѣтъ какъ нѣтъ, молвилъ Патапъ Максимычъ дядѣ Онуфрію, не принимавшему участія въ разговорѣ лѣсниковъ. Артемья и Петрая тоже тутъ не было, они ушли ладить дровешки себѣ и дядѣ Онуфрію.

— Нельзя мнѣ вступаться теперь, отвѣчалъ дядя Онуфрій.

— Отчего жь?

— Оттого что на седнешній день я не въ артели. Какъ знаютъ, такъ и рѣшать, а мое дѣло сторона, отвѣчалъ дядя Онуфрій, одѣваясь въ путь.

Не скоро сговорились лѣсники. Снова пришлось гроши въ шапку кидать. Достался жеребій краснощекому, коренастому парню, Архипомъ звали. Только ему кусаный грошъ достался, онъ, дотолѣ стоявшій какъ нѣмой, живо зачалъ командовать.

— Проворъ, ребята, проворъ лошадей! закричалъ онъ на всю зимницу. — И то гляди-ка сколько времени провалялись. Чтобъ у меня все живой рукой!... Ну!..

Лѣсники засуетились. Пяти минутъ не прошло, какъ всѣ ужъ ѣхали другъ за дружкой по узкой лѣсной тропѣ.

— Ну ужъ артель, будь они прокляты, съ досадой молвилъ Стуколову Патапъ Максимычъ, садясь въ сани. — Такой сѹтолочи, такой безтолочи сродясь не видывалъ.

— Извѣстно, табашники, церковники! Чего путнаго ждать?... Бѣсъ мутить, — доступны они дьяволу, отозвался паломникъ.

— Ваше степенство! крикнулъ со своихъ дровешекъ

дядя Онуфрій. — Ужь ты сдѣлай милость, языкъ-отъ укороти, да и другимъ закажи.. Въ лѣсахъ — не слѣдъ ея номинать.

— Слышишь: не велятъ поминать, тихонько сказалъ Патапъ Максимычъ сѣвшему рядомъ съ нимъ паломнику.

— Это такъ по ихней жидовской вѣрѣ, шепталъ Стуколовъ. — Когда я по турецкимъ землямъ странствовалъ, а тамъ Жидовъ что твоя Польша, видимо-невидимо, такъ отъ достовѣрныхъ людей тамъ я слыхалъ, что Жиды своего Бога по-имени никогда не зовутъ, а все *онъ* да *онъ*.... Вотъ и табашники по ихнему подобію.... Едина вѣра!... Нехристы!... Вынеси только Господи поскорѣй отселѣ!... Не въ примѣръ лучше по вечерошнему съ волками ночевать, чѣмъ быть на совѣтѣ нечестивыхъ.... Паче змія губительнаго, паче льва стрегущаго и гласомъ велимъ рыкающа, страшны сѣдалища злочестивыхъ, сказалъ въ заключеніе паломникъ и съ головой завернулся въ шубу.

„Такъ вотъ она какова артель-то у нихъ“, разсуждалъ Патапъ Максимычъ, лежа въ саняхъ рядомъ съ паломникомъ. „Межь себя дѣло честно ведутъ, а попадись посторонній, обдерутъ какъ липку.... Ай да лѣсники!... А безтолочи-то, что галденья-то!... Съ часъ мѣста по пусту проваландали, а кончили тѣмъ же, чѣмъ я зачалъ.... Правда, что артели думой не владати.... На работѣ артель золото, на сходкѣ хуже казацкой сумятицы!...“

Дорога шла узенькая, легкія дровешки лѣсниковъ бойко катились впереди, но запроженные гусемъ пошевни то и дѣло завязали межъ раскидистыхъ еловыхъ лапъ, какъ бѣлымъ руномъ покрытыхъ пушистымъ снѣгомъ. Въ иныхъ мѣстахъ приходилось ихъ прорубать, чтобъ сдѣлать проѣзку для проѣзда. Не покинь Патапъ Максимычъ высокіе волочки, пошевнямъ не проѣхать бы по густо-разросшемуся краснолѣсью. Сначала дорога шла одна; но не успѣли



полверсты проѣхать, какъ пошли отъ нея и вправо, и влево частые повороты и узенькія тропы. По нимъ лѣсники бревна изъ чащи вывозятъ. Безъ вожака небывалый какъ разъ запутался бы межъ ними и лыжными мѣликами \*, которыхъ сразу отъ саннаго слѣда и не различишь. А попробуй-ка пустись по мѣлику, такъ и наткнешься либо на медвѣжьё берлогу, либо на пѣтикъ ставленный для лосинаго лова \*\*.

Доѣхавъ до своей поворотки, передніе лѣсники стали. За ними остановился и весь поѣздъ. Собралась артель въ кучу, опять годловня зачалась.... Судили-рядили не лучше ль вожакамъ одну только подводу съ собой брать, а двѣ отдать артели на перевозку бревень. Поспорили, покричали, наконецъ рѣшили—быть дѣлу такъ.

Своротили лѣсники. Долго они аукались и перекликались съ Артемьемъ и Петряемъ. Впереди Патапа Максимыча ѣхалъ на дровешкахъ дядя Онуфрій, Петряй присосѣдился къ храпѣвшему во всю ивановскую Дюкову, Артемій примостился на облучкѣ пошевной, въ которыхъ лежалъ Патапъ Максимычъ, и спалъ повидимому богатырскимъ сномъ паломникъ Стуколовъ.

— Эка, парень, безтолочь-то какая у васъ, заговорилъ Патапъ Максимычъ съ Артемьемъ.—Неужель у васъ за всегда такое галдѣнье бываетъ?

— Артель! молвилъ Артемій.—Безъ того нельзя чтобъ не погалдѣть.... Сколько головъ, столько умовъ.... Да еще каждый наровить по-своему. Какъ же не галдѣть-то?

---

\* Слѣдъ на снѣгу отъ лыжъ.

\*\* Пѣтикъ—прямая длинная городьба изъ прясель. По обоимъ концамъ пѣтики вырываютъ ямы и прикрываютъ ихъ хворостомъ либо еловыми лапами. Лось или олень, подойдя къ пѣтику, никогда не перескочитъ черезъ него, но непременно пойдетъ вдоль, ища проходу. Такимъ образомъ звѣрь и попадаетъ въ яму.

— Да вы бы одному дали волю всяко дѣло рѣшать, хоть бы старшему.

— Нельзя того, господинъ купецъ, отвѣчалъ Артемій.— Другимъ станетъ обидно. Вѣдь это пожалуй на ту же стать пойдетъ какъ по другимъ мѣстамъ гдѣ на хозяевъ изъ-за ряженной платы работаютъ....

— Ну да, отвѣтилъ Патапъ Максимычъ. — Толку тутъ больше бы было.

— Обидно этакъ-то, господинъ купецъ, отвѣчалъ Артемій.— Пожалуй вотъ хоть нашего дядю Онуфрія взять.... Такого артельного хозяина днемъ съ огнемъ не сыскать... Обо всемъ старанье держать, обо всякой малости печется, душа человѣкъ: прямой, правдивый и по всему надежный. А дай-ка ты ему волю, тотчасъ величаться начнетъ, потому—человѣкъ, не ангелъ. Да хоша и по правдѣ станетъ поступать, все ужъ ему такой вѣры не будетъ и слушаться его какъ теперь не стануть. Нельзя, потому что артель суймомъ держится.

— А въ деревнѣ какъ у васъ? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Въ деревнѣ свои порядки, артель только въ лѣсахъ, отвѣчалъ Артемій.

— Какъ же она у васъ собирается? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Извѣстно какъ. Придетъ осень, начнемъ сговариваться какъ лѣсовать зимой, какъ артель собирать. Соберется десять либо двадцать топоровъ,—больше не бываетъ. Наберутся скоро, потому что всякому лѣсовать надо, безъ этого деньгу не добудешь.... Ну соберутся, начнутъ другъ у друга спрашивать кому въ хозяевахъ сидѣть. Одинъ на того мекаетъ, другой на другаго.... Такъ и толкуемъ день, два, ину пору и въ недѣлю не сговоримся.... Тутъ-то вотъ галдѣнья-то послушалъ бы ты.... Тогда вѣдь

вино да хмѣльное сусло пьютъ, народъ-отъ въ задорѣ, рѣдко безъ драки обходится.... Положатъ наконецъ: идти кланяться такому-то—вотъ хоть бы дядѣ Онуфрію. Ну и пойдѣмъ, придемъ въ избу, а онъ сидитъ, ровно ничего не знаетъ: „Что, говорить, скажете, ребятушки? Какая вамъ до меня треба?“ А ему въ отвѣтъ: такъ молъ и такъ, столько-то насъ человѣкъ въ артель собралось, будь у насъ за хозяина. Тотъ, извѣстно дѣло, зачнетъ ломаться, безъ этого ужъ нельзя: „и ума-то, говорить, у меня на такое дѣло не хватитъ, и старъ-отъ я сталъ, и топоръ-отъ у меня изъ рукъ валится“, ну и все такое. А мы стоимъ да кланяемся, покамѣстъ не уломаемъ его. Какъ согласился, тотчасъ складчину по рублю аль по два—значить у лѣсничаго билеты править да попенныя платить. А которы на купцовъ работаютъ тѣ старшій въ Лысково посылаютъ рядиться. Это ужъ его дѣло. Оттого и выбираютъ человѣка ловкаго, бывалаго, чтобъ въ городѣ не запропалъ и чтобъ въ Лысковѣ купцы его не больно обошли, потому что эти Лысковцы народъ дошлый, всячески норовятъ нашего брата огрѣть.. Ну выправить старшій билеты, отводное мѣсто намъ укажутъ. Тутъ, собравшись, и ждемъ первопутки. Только снѣгъ выпадетъ, мы въ лѣсъ.... Тутъ и начинается артель.... Какъ выѣхали изъ деревни за околицу, старшой и сталъ всему дѣлу голова: что велитъ то я дѣлай. А коли какое стороннее дѣло подойдетъ, вотъ хоть бы ваше, тутъ ужъ онъ не при чемъ, тутъ ужъ артель что хочетъ то и дѣлаетъ.

— А расчеты когда? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Послѣ Евдокии-Плющихи, какъ домой воротимся, отвѣчалъ Артемій.—У хозяина каждая малость на счету.... Оттого и выбираемъ грамотнаго, чтобъ умѣлъ счетъ записать.... Да вотъ бѣда—грамотныхъ-то маловато у насъ, зачастую такого выбираемъ чтобъ хоть бирки-то умѣлъ

хорошо рѣзать. По этимъ биркамъ, аль по записямъ и живеть у насъ расчетъ. Сколько кто харчей изъ дома за зиму привезъ, сколько кто овса на лошадей, другого прочаго—все ставимъ въ цѣну. Получимъ заработки, поровну дѣлимъ. На Страшной и деньги по рукамъ.

— А безъ артелей въ лѣсахъ работаютъ? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Мало, отвѣчалъ Артемій.—Тамъ ужъ не такая работа. Почитай и выгоды нѣтъ никакой.... Какъ можно съ артелью сравнять! Въ артели всѣмъ лучше: и сытнѣй, и теплѣй, и прибылнѣй. Опять же завсегда на-людяхъ.... Артелью лѣсовать не въ примѣръ веселѣй, чѣмъ бродить одиночкой аль въ двойникахъ.

— А лѣтней порой ходите въ лѣсъ? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Какъ не ходить? И лѣтомъ ходимъ, отвѣчалъ Артемій.—Вдаль однако не пускаемся, все больше по рямнямъ.... Бересту деремъ, лубъ. Да ужъ это иная работа; тутъ жизнь бѣдовая, комары больно одолѣваютъ.

— Самъ-отъ ты ходишь ли по лѣтамъ? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Я-то?... Какъ же?... Иной годъ въ лѣсѣ хожу, а иной на плотахъ до Астрахани и на самое Каспійское море сплываю. Чегень туда да дрючки гоняемъ.... А въ лѣсѣ больше на рябка да на тетерю хожу.... Ружьишко есть у меня немудрящее, грѣшнымъ дѣломъ похлопываю. Только по нынѣшнимъ годамъ эту охоту бросать приходится; порохъ вздорожалъ, а дичины стало меньше. Вотъ въ осиле да въ пленку \* птицу ловить еще туда-

---

\* *Осиле*, затяжной узелъ, куда птица попадаетъ ногой. *Пленка* тоже, но узелъ дѣлается изъ свитаго вдвое или втрое конского волоса. Осилъ или пленки ставятся по одной на колышкахъ либо на лубочкѣ, на который посыпается приманка.

сюда.... Такъ и тутъ отъ звѣрья большая обида бываетъ: придешь, силки спущены, а отъ рябковъ только перышки остались, подлая лиса, либо куница прежде тебя успѣла убрать.... Нѣтъ, кака нонѣ охота!... Само послѣднее дѣло!... А то ходятъ еще лѣтней порой въ лѣса золото копать, прибавилъ Артемій.

— Какъ золото?... быстро привскочивъ въ саняхъ, спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Такъ же.... Золота да серебра по нашимъ лѣсамъ много лежитъ, отвѣчалъ Артемій.—Записи такія есть гдѣ надо искать.... Хаживалъ и я.

— Что же? съ нетерпѣньемъ спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Не дается, отвѣчалъ Артемій.

— Какъ не дается?

— Такъ же и не дается. Слова такого не знаю.... Вѣщбы \* не знаю, отвѣчалъ Артемій.

— Да ты про что сказываешь? Говори толковѣй, молвилъ Патапъ Максимычъ.

— Про клады говорю, отвѣчалъ Артемій.—По нашимъ лѣсамъ кладовъ много зарыто. Издалека люди приходятъ клады копать....

— Клады!... проговорилъ Патапъ Максимычъ и спокойно развалился на перинѣ, разостланной въ саняхъ.

— Ну, рассказывай какіе у васъ тутъ клады, черезъ нѣсколько времени сказалъ онъ, обращаясь къ Артемию.

— Всякіе клады тутъ лежатъ, отвѣчалъ Артемій.

— Какъ же такъ? спросилъ Патапъ Максимычъ.—Развѣ клады розные бываютъ?

— А какъ же отвѣчалъ Артемій.—Есть клады самимъ

---

\* Вѣщба—тайное слово и тайный обрядъ употребляемые при заговорахъ, рытѣхъ кладовъ, ворожбѣ и т. п.

Господомъ положенныя—тѣ даются человѣку кого Богъ благословить.... А гдѣ, въ которомъ мѣстѣ тѣ Божьи клады положены никому невѣдомо. Кому Господь захочетъ богатство даровать, тому тайну свою и откроетъ.... А иные клады людьми положены и къ нимъ приставлена темная сила. Объ этихъ кладахъ записи есть: тамъ прописано гдѣ кладъ зарытъ, какимъ видомъ является и съ какимъ зароконъ положонъ.... Эти клады страшныя....

— Отчего? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Кровь на нихъ, отвѣчалъ Артемій. — Съ бою богатство было брато, кровью омыто, много душъ христіанскихъ за ту казну въ стары годы загублено.

— Когда жъ это было? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Давно.... сказалъ Артемій.—Еще въ тѣ поры какъ купцами да боярами посконна рубаха владала.

— Когда жъ это было? При царѣ Горохѣ, какъ грузди съ опенками воевали?... смѣялся Патапъ Максимычъ.

— Въ казачьи времена, степенно отвѣтилъ Артемій.

— Что за казачьи времена такія? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Развѣ не слыхивалъ? сказалъ Артемій.—Вѣдь въ стары-то годы по всей Волгѣ народъ казачилъ.... Было время, господинъ купецъ, золотое было времечко да по грѣхамъ нашимъ миновало оно.... Сѣрые люди жили на всей вольной волюшкѣ, ѣли сладко, пили пьяно, цвѣтно платье носили—жительство было разудалое, развеселое.... Вонъ теперь по Волгѣ пароходы взадъ и впередъ снуютъ, ладьи да барки ходятъ, плоты плывутъ.... Чьи пароходы, чьи плоты да барки? Купецкіе все. Завладала ваша братья купцы Волгой-матушкой.... А въ стары казачьи годы не купецкіе люди волжскимъ раздольемъ владали, а наша братья, голытьба.

— Что ты за чуху несешь? молвилъ Патапъ Макси-

мычь.—Никогда не бывало чтобъ Волга у голытьбы въ рукахъ была.

— Была, господинъ купецъ. Не спорь—правду сказываю, отвѣчалъ Артемій.

— Стара баба съ похмѣлья на печкѣ валялась, да во снѣ твою правду видѣла, а ты зря тѣ бабьи сказки и мелешь, сказалъ Патапъ Максимычь.

— Вранью да небылицамъ короткій вѣкъ, а эта правда отъ старинныхъ людей до насъ дошла. Отцы, дѣды про нее намъ сказывали и пѣсни такія про нее поются у насъ.... Значить правда истинная.

— Мало ли что въ пѣсняхъ поютъ? Развѣ можно деревенской пѣсни вѣру дать? молвилъ Патапъ Максимычь.

— Можно, господинъ купецъ, потому что: „сказка складка, а пѣсня—быль“, отвѣтилъ Артемій.—А ты слушай что я про здѣшню старину тебѣ рассказывать стану: занятное дѣло, коли не знаешь.

— Ну, говори, рассказывай, молвилъ Патапъ Максимычь.—Смолоду охотникъ я до сказокъ бывалъ.... Отчего на досугѣ да на старости лѣтъ и не послушать вашихъ розсказней.

— Голытьба въ стары годы по лѣсамъ жила, жила голытьба и промежъ полей, началъ Артемій. — Кормиться стало нечѣмъ: хлѣба недороды, подати большія, отъ бояръ, отъ приказныхъ людей утѣсненье.... Хоть въ землю зарывайся, хоть заживо въ гробъ ложись.... И побѣждала голытьба врозь, и стала она вольными казаками.... Тутъ и зачинались казачьи времена.... Котора голытьба на Украйну пошла — та Ляховъ да бусурмановъ побивала, свою казацкую кровь за Христову вѣру проливала.... Котора голытьба въ Сибирь махнула—та сибирскія мѣста полонила и великому государю Сибирскимъ царствомъ поклонилась.... А на Волгу на матушку посыпала что ни

на есть сама послѣдняя голытьба. На своей-то сторонѣ у ней не было ни кола ни двора, ни угла ни притула; \* одно только и оставалось за душой богатство: наготы да босоты изувѣшанн шесты, холоду да голоду анбары полны.... Вотъ, ладно, хорошо—высыпала та голытьба на Волгу, казаками назвалась.... Атаманы да есаулы снаряжали легки лодочки косныя и на тѣхъ на лодочкахъ пошли по матушкѣ по Волгѣ разгуливать.... Не попадай на встрѣчу суда купецкія, не попадайся бояре да приказные: людей въ воду, казну на себя!... Весломъ махнутъ—корали возьмутъ, кистенемъ махнутъ—караванъ разобьютъ.... Вотъ каковы бывали удалцы казаки поволжскіе....

— Это ты про разбойниковъ? молвилъ Патапъ Максимычъ.

— По вашему разбойники, по нашему есаулы-молодцы а вольные казаки, бойко отвѣтилъ Артемій, съ удалствомъ тряхнувъ головой и сверкнувъ черными глазами.— Спѣть что ли, господинъ купецъ? спросилъ Артемій.— Словами не разкажешь.

— Пой пожалуй, сказалъ Патапъ Максимычъ.

Запѣлъ Артемій одну изъ Разинскихъ пѣсень, ихъ такъ много сохраняется въ Поволжьи:

Какъ повыше было села Лыскова,  
Какъ пониже было села Юркина,  
Супротивъ села Богомолова:  
Въ луговой было во сторонукѣ,  
Протекала тутъ рѣчка быстрая,  
Рѣчка быстрая омутистая,  
Омутистая Лѣва Керженка. \*\*

\* Притулъ или притулье—пріютъ, убѣжище, кровъ, происходитъ отъ глагола „притулять“, имѣющаго три значенія; прислонить или приставить, прикрыть и пріютить.

\*\* Юркино, Богомоново, Лысково—села на правомъ, возвышенномъ берегу Волги. Противъ нихъ впадаетъ въ Волгу съ лѣвой стороны



— Наша рѣченька голубушка! съ любовью молвилъ Артемій, перервавъ пѣсню.—Въ стары годы и наша Лѣва Керженка славной рѣкой слыла, суда ходили по ней, конныя плавали.... Въ казачьи времена атаманы, да есаулы въ нашу родну рѣченьку зимовать заходили, тутъ они и дуванъ дуванили, нажитое на Волгѣ добро, значитъ, дѣлили.... А теперъ и званья нашей рѣки не стало: завалило ее голубушку каршами, занесло замоннами, \* пошли по ней мели да перекаты.... Такъ и пропала прежняя слава Керженца.

Громче прежняго свистнулъ Артемій, и потряхнувъ головою, запѣлъ:

Выплывала легка лодочка,  
Легка лодочка атаманская,  
Атамана Стеньки Разина.  
Еще всѣмъ лодка изукрашена,  
Казаками изусажена,  
На ней парусы шелкѣвые,  
А веселки позолочены.  
На кормѣ сидитъ атаманъ съ ружьемъ.  
На носу стоитъ есаулъ съ багромъ,  
Посередѣ лодки парчевѣй шатерь.  
Какъ во томъ парчевѣмъ шатрѣ,  
Лежатъ бочки золотой казны.  
На казнѣ сидитъ красна дѣвица—  
Атаманова полюбовница,  
Есаулова сестра рѣдная,

---

Керженецъ. Эту рѣку мѣстные жители зовутъ иногда „Лѣвой Керженкой“, то-есть впадающей въ Волгу съ лѣвой стороны. Въ пѣсняхъ тоже придается ей названье лѣвой. Замѣчательно что по-мордовски *керже*, *керженъ* значитъ лѣвый. Въ глубокую старину по всему Поволжью отъ Оки до Суры жила Мордва. Отъ нея и пошло названіе Керженца.

\* Замонна—лежащее въ руслѣ подъ пескомъ затонувшее дерево; корша, или корча то же самое, но поверхъ песку.

Казакамъ-гребцамъ—тетушка.  
Сидить дѣвка призадумалась,  
Посидѣвши стала сказывать:  
„Вы послушайте, добры молодцы,  
Вы послушайте, милы племяннички,  
Ужъ какъ мнѣ молодой мало спѣлося,  
Мало спѣлося, много видѣлось,  
Не корыстенъ же мнѣ сонъ привидѣлся:  
Атаману-то быть разстрѣлену,  
Есаулу-то быть повѣшену,  
Казакамъ-гребцамъ по тюрьмамъ сидѣть,  
А мнѣ вашей родной тетушкѣ  
Потонуть въ Волгѣ-матушкѣ.“

— Вишь и дѣвки въ тѣ поры пророчили! сказалъ Артемій, оборотаясь къ Патапу Максимычу.—Атаманова полюбовница вѣщій сонъ провидѣла.... Вѣщая дѣвка была.... Сказываютъ Соломонидой звали ее, а родомъ была отъ Старого Макарья, купецкая дочь.... И все сбылось по слову ея, какъ видѣла во снѣ, такъ все и сталося.... Съ ней самой атаманъ тутъ же порѣшилъ—матушкѣ-Волгѣ ее пожертвовалъ. „Тридцать лѣтъ, говоритъ, съ годикомъ гулялъ я по Волгѣ-матушкѣ, тридцать лѣтъ съ годикомъ тѣшилъ душу свою молодецкую, и ничѣмъ еще поилицу нашу кормилицу я не жаловалъ. Не пожалую, говоритъ, Волгу-матушку ни казной золотой, ни дорогимъ перекатнымъ жемчугомъ, пожалую тѣмъ чего на свѣтѣ краше нѣтъ, что намъ, есаулы-молодцы, дороже всего.“ Да съ этимъ словомъ хватъ Соломониду поперекъ живота, да со всего розмаху какъ метнетъ ее въ Волгу-матушку.... Вотъ каковъ былъ удалой атаманъ Стенька Разинъ по прозванью, Тимоѣевичъ!...

— Разбойникъ, такъ разбойникъ и есть, сухо промолвилъ Патапъ Максимычъ. — Задаромъ погубилъ христіанскую душу.... Изъ озорства да изъ непутной похвальбы...

Какъ есть разбойникъ—не даромъ его на семи соборахъ проклинали....

Тутъ пошевни заѣхали въ такую чашу, что ни въ бокъ, ни впередъ. Мигомъ выскочили лѣсники и работники и въ пять топоровъ стали тяпать еловые сучья и лапы. Съ полчаса провозились покамѣсть не прорубили свободной просѣлки. Артемій опять присѣлъ на облучкѣ саней Патапа Максимыча.

— А что жъ ты про клады-то хотѣлъ рассказать? молвилъ ему Патапъ Максимычъ.—Заговорилъ про Стеньку Разина, да и забылъ.

— Про клады-то! отозвался Артемій.—А вотъ слушай.... Когда голытьба Волгой владала, атаманы съ есаулами каждое лѣто на косныхъ разѣзжали, боярски да купечески суда очищали. И не только суда они грабили, доставалось городамъ и большимъ селамъ, деревень только да приселковъ не трогали, потому что тамъ голытьба свой вѣкъ коротала. Церквамъ Божьимъ да монастырямъ тоже спуску не было: не любили есаулы монаховъ, особенно „посельскихъ старцовъ“, что монастырскими крестьянами правили... Вотъ нашъ Макарьевъ монастырь, сказываютъ, отъ нихъ отборонился; брали его огненнымъ боемъ, да крѣпокъ — устоялъ.... Ну, вотъ есаулы-молодцы лѣто по Волгѣ гуляютъ, а осенью на Кѣрженецъ въ лѣса зимовать. И теперь по здѣшнимъ мѣстамъ ихнія землянки знать.... Такія же были какъ наши. Въ тѣхъ самыхъ зимницахъ, а не то въ лѣсу на примѣтномъ мѣстѣ нажитое добро въ землю они и закапывали. Отъ того и клады.

— Гдѣ жъ эти землянки? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— По разнымъ мѣстамъ, отвѣчалъ Артемій.—Много ихъ тутъ по лѣсамъ-то. Вонъ хоть между Дорогучей да Пѣр-

---

шей \* два дикихъ камня изъ земли торчатъ, одинъ побольше, другой поменьше, оба съ виду на коней похожи. Такъ и зовутъ ихъ Конь да Жеребенокъ. Промежь тѣхъ камней казацки зимницы бывали, тутъ и клады зарыты.... А то еще озера тутъ по лѣсу есть, Нестіаръ да Култай, да Пекшеяръ прозываются, вкругъ нихъ тоже казацки зимницы и тоже клады въ нихъ зарыты.... И по Ялокшѣ тоже, и по нашей лыковской рѣчонкѣ, Вишней прозывается.... Между Конемъ и Жеребенкомъ большая зимница была, срубы до сей поры знать.... Грѣшнымъ дѣломъ, и я тутъ копалъ.

— Что жь, дорылся до чего? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Гдѣ дорыться!... Есаулы-то вѣдь съ зарокѣмъ казну хоронили, отвѣчалъ Артемій. — Надо слово знать, вѣщбу такую.... Кто вѣщбу знаетъ, молви только ее, кладъ-отъ самъ выйдетъ наружу.... А въ томъ мѣстѣ важный кладъ положонъ. Еслибъ достался, внукамъ бы, правнукамъ не прожить.... Двѣнадцать бочекъ золотой казны на серебряныхъ цѣпяхъ да пушка золотая.

— Какъ пушка золотая? съ удивленьемъ спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Такъ же золотая, изъ чистаго золота литая... И ядра при ней золотыя лежатъ, и жеребьи золотыя, которыми Стенька Разинъ по бусурманамъ стрѣлялъ.... Вѣдь онъ Персіанское царство заплонилъ. Ты это слыхалъ ли?

— Нестаточное дѣло вору царство полонить, хоша бы и бусурманское, молвилъ Патапъ Максимычъ.

— Вѣрно тебѣ говорю, рѣшительно сказалъ Артемій. — Кого хочешь спрошай, всякъ тебѣ скажетъ. Видишь ли какъ дѣло-то было. Волга-матушка въ Каспійское море пала, самъ я на то море не разъ съ чегенникомъ да съ дрючками

---

\* Лѣсныя рѣки, впадающія въ Ветлугу.

хаживаль. По сю сторону того моря сторона русская, крещеная, по ту бусурманская, персіянская. Услыхаль Стенька Разинъ, что за моремъ у бусурмановъ много тысячей крещенаго народа въ полонѣ живетъ. Собираетъ онъ казачій кругъ, говоритъ казакамъ такую рѣчь: „Такъ и такъ, атаманы-молодцы, такъ и такъ, братцы-товарищи: пали до меня слухи, что за моремъ у Персіановъ много тысячей крещенаго народу живетъ въ полонѣ въ тяжелой работѣ, въ великой нуждѣ и горькой неволѣ; надо бы намъ, братцы, не полѣниться, за море съѣздить потрудиться, ихъ сердечныхъ изъ той неволи выручить!“ Есаулы-молодцы и всѣ казаки въ одинъ голосъ гаркнули: „Веди насъ, батька, въ бусурманское царство, русскій полонъ выручать!...“ Стенька Разинъ радъ тому радешенекъ, а самъ первымъ дѣломъ къ колдуну. Спрашиваетъ какъ ему русскій полонъ изъ бусурманской неволи выручить. Колдунъ говоритъ ему: „За великое ты дѣло, Стенька, принимаешься; бусурманское царство осилить—не мутовку облизать. Одной силой храбростью тутъ не возьмешь, надо вѣщбу знать...“—„А какая же на то вѣщба есть?“ спросилъ у колдуна Стенька Разинъ. Тотъ ему тайное слово сказалъ, да примолвилъ: „И съ вѣщбой далеко не уѣдешь, а вылей ты золоту пушку, къ ней золоты ядра да золотые жеребья, да чтобъ золото было все церковное, а и лучше того монастырское... И какъ станешь палить, вѣщбу говори, тутъ и заберешь въ свои руки царство бусурманское.“ Стенька Разинъ такъ все и сдѣлалъ какъ ему колдуномъ было наказано.

— Чтò жь потомъ? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Известно чтò, отвѣчалъ Артемій.—Зачалъ изъ золотой пушки палить да вѣщбу говорить—бусурманское царство ему и покорилося. Молодцы есаулы крещеный полонъ на Русь вывезли, а всякаго добра бусурманскаго

столько набрали, что въ лодкахъ и положить было некуда: много въ воду его пометали. Самого царя бусурманскаго Стенька Разинъ на колъ посадилъ, а дочь его царевну въ любовницы взялъ. Дошлый казакъ былъ, до дѣвокъ охочь....

— Эту самую пушку ты и копаль? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Эту самую, сказалъ Артемій.—Когда атаманъ воротился на Русскую землю, привезъ онъ ту пушку съ жеребьями да съ ядрами въ наши лѣса и зарылъ ее въ большой зимницѣ межъ Коня и Жеребенка. Записи такія есть.

— Какъ же это до сихъ поръ никто той пушки не вынулъ? Вѣдь всѣ знаютъ, въ какомъ мѣстѣ она закопана, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Экой ты, господинъ купецъ! отвѣчалъ Артемій.— Мало знать гдѣ кладъ положонъ, надо знать какъ взять его.... Да какъ и владать-то имъ тоже надо знать....

— А какъ же кладомъ владать? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Это дѣло мудренѣе чѣмъ кладъ достать, отвѣчалъ Артемій.—Сколько ни было счастливыхъ, которымъ кладъ доставались, всѣмъ почитай богатство не въ пользу пошло: тотъ сгорѣлъ, другой всѣхъ дѣтей схоронилъ, третій самъ прогорѣлъ да съ кругу спился, а иной до палачовыхъ рукъ дошелъ.... Прахомъ больше такія деньги идуть.... Счастливаго человѣка, что вынулъ кладъ, врагъ день и ночь караулить и на всякое худое дѣло наталкиваетъ.... Знамо хочется окаянному душой его завладать, чтобъ душой своей расплатился онъ за богатство. Потому какъ только ты вырылъ кладъ, поповъ позови, молебень отпой, на церкву Божию вклады не пожалѣй, бѣднымъ половину денегъ раздай, и какого человѣка въ нуждѣ ни встрѣтишь,

всякому помогн. Коли такъ поступишь — недобрая сила тебя не коснется, и богатство твое какъ вешня вода на поёмахъ каждый день, каждую ночь зачнетъ у тебя прибывать. Сколько денегъ нищимъ ты ни раздашь, а ихъ опять какъ снѣгу въ степи къ тебѣ въ домъ нанесетъ. Такъ и въ старинныхъ записяхъ писано: „А вынутый кладъ въ прокъ бы пошелъ, ино церковь Божью не забыть, нищей братьѣ расточить, вдову-сироту призрѣть, страннаго удовлетворить, алчнаго напитать, хладнаго обогрѣть“. Такъ и про золоту пушку писано \*. Хоша бы тотъ кладъ и лихимъ челоуѣкомъ былъ положонъ на чью голову — заклятье его не подѣйствуетъ, а вынутый кладъ вмѣнитъ тебѣ за кладъ самимъ Богомъ на счастье твое положенный.

— Развѣ Богъ-отъ кладетъклады? съ усмѣшкой молвилъ Патапъ Максимычъ.—Эка чѣмъ городишь!

— Какъ же не кладетъ? возразилъ Артемій. — Зарыва-етъ!... Господь въ землю и золото и серебро и всяки дорогіе камни тайной силой своей зарываетъ. То и есть Божій кладъ.... Золото вѣдь изъ земли же роютъ—а кто его туда положилъ?... Вѣстимо Богъ.

Патапъ Максимычъ насторожилъ уши, не перебивая Артемьева разсказа. Привсталъ съ перины, и склонивъ къ Артемию голову, ухватился руками за облучекъ.

— Когда Господь повѣлитъ мать-сыру землю наградить, продолжалъ Артемій,—пошлетъ Онъ ангела небеснаго на солнце и велитъ ему иверень \*\* отъ солнца отщербить \*\*\* и вложить его въ громовую тучу.... И Господнею силой тотъ солнечный иверень разольется въ тучѣ чистымъ зо-

---

\* Взято буквально изъ записи кладовъ.

\*\* Иверень—осколокъ, черепокъ, небольшая отбитая часть отъ какой-нибудь вещи.

\*\*\* Отщербить — отбить, отломить, говоря о посудѣ и вообще о хрупкой вещи.

лотомъ. И по Божьему велѣнью пойдетъ та туча надъ землею и въ молоньяхъ золото на землю посыплетъ. Какъ только та молонья ударить, такъ золото и полется на землю и въ ней пескомъ разсыплется.... Это и есть Божій кладъ.... А серебро ангелъ Господень съ яснаго мѣсяца беретъ, а камни самоцвѣтные со звѣздъ небесныхъ.... Вотъ каково чудна сила Божія...

— Да вѣдь грѣзы-то вездѣ бываютъ, — отчего жъ не вездѣ роютъ золото? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Не во всяку тучу Богомъ золото кладется, отвѣтилъ Артемій, — а только въ ту, въ котору Его святой волѣ угодно. Въ обиходной молоньѣ не золото, не серебро, а стрѣлка громовая кладется.... Видалъ что ли? Еще въ песокъ находятъ, воду съ той стрѣлки пьютъ отъ рѣзи въ животѣ... А въ солнечной тучѣ стрѣлки нѣтъ, одно золото разсыпчатое. Молонья молоньѣ рознь. Солнечная молонья разсыпается по небу ровно огненными волосами, бьетъ по землѣ не шибко, а ровно манна небесная сходитъ, и громъ отъ нея совсѣмъ другой... Тутъ не громъ гремитъ, а Господни ангелы воспѣваютъ славу Божию...

— А можно ль узнать такое мѣсто гдѣ золотая молонья пала? сказалъ Патапъ Максимычъ.

При этомъ вопросѣ спавшій Стуколовъ потянулся и раскрывъ воротникъ шубы, захрапѣлъ пуще прежняго.

— Господь да небесные ангелы знаютъ гдѣ она выпала. И люди, которымъ Богъ благословить, находятъ такія мѣста. По тѣмъ мѣстамъ и роютъ золото, отвѣчалъ Артемій. — Въ Сибири, сказываютъ, много такихъ мѣстовъ....

— А ты бывалъ нешто въ Сибири-то? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Самому быть не доводилось, отвѣчалъ Артемій, — а слышать слыхалъ: у одного изъ нашихъ деревенскихъ



сродники на Горахъ живутъ \*, наши шабры \*\* дѣвку от-  
толь брали. Каждый годъ ходятъ въ Сибирь на золоты  
прінски, такъ они сказывали, что золото только въ лѣсахъ  
тамъ находятъ.... На всемъ бѣломъ свѣтѣ золото только  
въ лѣсахъ.

— Въ лѣсахъ? переспросилъ Патапъ Максимычъ.

— Въ лѣсахъ, подтвердилъ Артемій. — Никогда Гос-  
подь солнечную молонью близко отъ жила не пустить....  
Людей Ему жалко, чтобъ ихъ не загубить.

— Чѣмъ же загубить? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— А какъ же? молвилъ Артемій. — Вѣдь солнечно-то мо-  
лонья не простой чета. Хлыщеть не шибко, а на которо мѣ-  
сто падеть, отъ того мѣста верстъ на десятокъ кругомъ  
живой души не остается....

— Отчего жъ такъ? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— У Бога спроси!... Его тайна,—намъ грѣшнымъ раз-  
умѣть ее не дано?... отвѣчалъ Артемій. — Грозна вѣдь  
тайна-то сила Божія.

— А по здѣшнимъ лѣсамъ такая молонья выпадала?  
послѣ нѣкотораго молчанья, спросилъ Патапъ Максимычъ.

Паломникъ опять шевельнулся во снѣ.

— По нашимъ мѣстамъ не слыхать, отозвался Арте-  
мій.—А тамъ на сиверь, въ Ветлужскихъ верхотинахъ,  
сказываютъ, бывало Божіе проявленье. Хвастать не стану,  
самъ не видалъ, а слыхать слыхалъ, что по тамошнимъ  
лѣсамъ Божьихъ кладовъ довольно.

— И золотой песокъ? торопливо спросилъ Патапъ  
Максимычъ.

— Есть и пески золотые, отвѣчалъ Артемій.

— Которо мѣсто? съ нетерпѣньемъ спросилъ Патапъ  
Максимычъ.

---

\* То-есть на правой сторонѣ Волги.

\*\* Сосѣди.

Славшій Стуколовъ вздрогнулъ и пересталъ всхрипывать.

— Доподлинно сказать тебѣ не могу, потому что тамошнихъ лѣсовъ хорошо не знаю, сказалъ Артёмій. — Всего раза два въ ту сторону ѣздилъ, и то дальше Уреня не бывалъ. Доѣдешь, Богъ дастъ, поспрошай тамъ у мужиковъ—скажутъ.

— Донесъ Богъ!... Вотъ и зимнякъ!... Ялокша!... крикнулъ дядя Онуфрій, сворачивая въ сторону, чтобы дать дорогу пошевнямъ.

На разставаньи Патапъ Максимычъ за сказки, за пѣсни а больше за добрыя вѣсти, хотѣлъ подарить Артёмью цѣлковый. Тотъ не взялъ.

— Спасибо на ласкѣ, господинъ купецъ, молвилъ онъ,— а денегъ твоихъ не возьму.

— Экой парень, чудной ты какой, говорилъ ему Патапъ Максимычъ.—Бери коли даютъ. — На дорогѣ не поднимешь, пригодится.

— Какъ не пригодиться? сказалъ Артёмій, — Только брать твои деньги мнѣ не приходится, потому артель...

— Нельзя Артёмію съ тебя малу росинку взять, подтвердилъ дядя Онуфрій.—Онъ въ артели.

— Ну на артель примите, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Артель лишку не беретъ, сказалъ дядя Онуфрій, отстраняя руку Патапа Максимыча.—Чтò слѣдовало взято, лишняго не надо.... Счастливо оставаться, ваше степенство!... Путь вамъ чистый, дорога скатертью!... Да вотъ еще что я скажу тебѣ, господинъ купецъ, послушай ты меня, старика: пока лѣсами ѣдешь, не говори ты чернаго слова. Въ степи какъ хочешь, а въ лѣсу не поминай его. До бѣды недалеко.... Даромъ что зима теперь, даромъ что темная сила спитъ теперь подъ землей... На это не надѣйся!... Хитеръ вѣдь онъ!...

Распрощались. Пошевни взяли вправо по Ялокшинскому зимняку, и путники засвѣтло добрались до Нижняго Воскресенья.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

На постояломъ дворѣ, на одной изъ широкихъ улицъ большаго, торговаго села Воскресенскаго, въ задней, чисто прибранной горенкѣ за огромнымъ самоваромъ сидѣлъ Патапъ Максимычъ съ паломникомъ и молчаливымъ купцомъ Дюковымъ. Рѣшили они заночевать у Воскресенья, чтобъ дать роздыхъ лошадямъ, вдосталь измученнымъ отъ непривычной ѣзды по зимнякамъ и лѣснымъ тропамъ.

— Горазды жъ вы оба спать-то, молвилъ Патапъ Максимычъ, допивая пятый либо шестой стаканъ чаю.—Вѣдь ты отъ зимницы до Ялокши глазъ не раскрылъ, Якимъ Прохорычъ, да и послѣ того спалъ вплоть, до Воскресенья.

— Сонъ что богатство, отвѣтилъ паломникъ,— больше спишь, больше хочется.

— А со мной все время лѣсникъ калякалъ, продолжалъ Патапъ Максимычъ.—И пѣсни пѣлъ, и сказки сказывалъ—затѣйный парень, молодецъ на всѣ руки.

— Слава тѣ Господи, что сонъ меня одолѣлъ, отозвался Стуколовъ.— Не сквернились по крайней мѣрѣ уши мои, не слышали бѣсовскихъ пѣсенъ и нечестивыхъ рѣчей треклятаго табашника.

— Пошелъ расписывать! молвилъ Патапъ Максимычъ.— Вездѣ-то у него грѣхи да ереси, шагу ты не ступишь не осудивши кого... Чтò за бѣда что они церковники? И между церковниками зачастую попадаютъ хорошіе лю-

ди, за то и межъ старовѣрами такіе есть, что снаружи то „Блаженъ мужъ“, а внутри „Вскуе шаташася“.

— Правая вѣра все покрываетъ, сказалъ паломникъ,— а общеніе съ еретикомъ въ погибель вѣчную ведетъ.... Не смотрѣли бы глаза мои на лица враговъ Божіихъ.

— Нашему брату этого нельзя, молвилъ Патапъ Максимычъ. — Живемъ въ міру, со всякимъ народомъ дѣла бывають у насъ; не токмѣ съ церковниками, съ Татарами иной разъ хороводимся.... И то мнѣ думается, что хорошій человѣкъ всегда хорошъ, въ какую бы вѣру онъ ни вѣровалъ... Вѣдь Господь повелѣлъ каждому человѣка возлюбить.

— Да не еретика, подхватилъ Стуколовъ. — Не слыхалъ развѣ что въ писаніи про нихъ сказано: „и тати, и разбойницы, и волхвы, и челоуѣкоубійцы, и всякіе другіе грѣшники внидутъ въ царство небесное, только еретикамъ, врагамъ Божіимъ, нѣсть мѣста въ горнихъ обителяхъ“...

— Надоѣлъ ты мнѣ, Якимъ Прохорычъ, пуще горькой рѣдъки такими разговорами, съ недовольствомъ промолвилъ Патапъ Максимычъ.

— Обмѣрился ты весь, обмѣрился съ головы до ногъ, обошли тебя еретики, совсѣмъ обошли, горячо отвѣчалъ на то Стуколовъ. — Подумай о души спасеніи. Годы твои не молодые, пора о Богѣ помышлять.

— Береги свои рѣчи про другихъ, мнѣ онѣ не пригожи, съ сердцемъ отвѣтилъ Патапъ Максимычъ. — Хочешь на обратномъ пути въ Комаровъ завернемъ? Толкуй тамъ съ матерью Манеёой.... Ты съ ней какъ разъ споешься: чтѣ ты, чтѣ она — одного сукна епанча, одного лѣсу кочерга.

Стуколовъ нѣсколько смутился.

— А знаешь ли, что пѣсенникъ-отъ сказывалъ? спросилъ послѣ недолгаго молчанія Патапъ Максимычъ.

— Почему я знаю? У соннаго нѣтъ ушей, отвѣчалъ Стуколовъ.

— Про Стеньку Разина сказки рассказывалъ, про кладъ по лѣсамъ зарытые, а потомъ на земляное масло свелъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.

Сонный Дюковъ вспрянулъ, уставивъ удивленные глаза на Патапа Максимыча. А Стуколовъ преспокойно студилъ вылитый на блюдечко чай.

— Слышишь? обратился къ нему Патапъ Максимычъ.— Про золотой песокъ парень-отъ сказывалъ. На Ветлугѣ дескать подлинно есть такія мѣста.

— И безъ него знаемъ, безучастно промолвилъ Стуколовъ.

— Въ лѣсахъ, говорить, золото лежитъ, ото всякаго жила далече, а которо мѣсто оно въ землѣ лежитъ, того не знаетъ, продолжалъ Патапъ Максимычъ.

— Хоть и зналъ бы, такъ не сказалъ, замѣтилъ Стуколовъ.— Про такія дѣла со всякимъ встрѣчнымъ не болтають.

— Сказалъ же про кладъ гдѣ зарыты, и въ какомъ мѣстѣ золотая пушка лежитъ. Вотъ бы вырыть то, Якимъ Прохорычъ, пожалуй бы лучше пріисковъ дѣло-то выгорѣло.

— Пустое городишь, Патапъ Максимычъ, сказалъ па-ломникъ.— Мало ль чего народъ не вретъ? За вѣтромъ въ полѣ не угоняешься, такъ и людскихъ рѣчей не переслушаешь. Да хоть бы то и правда была, развѣ намъ слѣдъ за кладъ приниматься. Тутъ врагъ рода человѣческаго дѣйствуетъ, самъ треклятый сатана.... Душу свою что ли губить!.... Кладъ — приманка діавольская; золотая розсыпь — Божій даръ.

— Въ одно слово съ лѣсникомъ! вскрикнулъ Патапъ Максимычъ.— То же самое и онъ говорилъ.

— Правдой значить обмолвился злочестивый языкъ еретика, врага Божія, сказалъ Стуколовъ.—Ину пору и это бываетъ. Самъ бѣсъ, когда захочетъ человѣка въ свѣти уловить, праведное слово иной разъ молвить. И корчитса самъ и въ три погибели отъ правды-то его гнетъ, а все-таки ее вымолвить. И трепещетъ, а сказываетъ. Таковъ ужъ проклятый ихъ родъ!...

— Да полно ль тебѣ, Якимъ Прохорычъ! вставая съ лавки, съ досадой промолвилъ Патапъ Максимычъ.—О чемъ съ тобой ни заговори, все то ты на дьявола своротипшь.... Ишь какъ бѣсу-то полюбилось на твоємъ языкѣ сидѣть, сойти долой окаянному не хочется.

Паломникъ плюнулъ, и сердито взглянувъ на Патапа Максимыча, пробормоталъ какую-то молитву, глядя на иконы.

— Вѣсть Господь пути праведныхъ, путь же нечестивыхъ погибнетъ!... сказалъ онъ потомъ громкимъ голосомъ.

— Нѣтъ, Якимъ Прохорычъ, съ тобой толковать надо поѣвши, молвилъ Патапъ Максимычъ.—Да кстати и объ ужинѣ не мѣшаетъ подумать.... Здѣсь, у Воскресенья, стерляди первый сортъ, не хуже васьилъсурскихъ. Спосылать что ли къ ловцамъ на Лѣвиху. \*

— Въ Великій-отъ постъ? испуганно вскрикнулъ Стуколовъ.

— Въ пути сущимъ постъ разрѣшается, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Поганься коли Бога забылъ, а мы и хлѣбца пожуюмъ, молвилъ паломникъ сдержаннымъ голосомъ, не глядя на Патапа Максимыча.

— Эхъ, вы постники безгрѣшные!... Знавалъ я на своемъ

---

\* Деревня въ верстѣ отъ Воскресенья на Ветлугѣ, гдѣ ловятъ лучшихъ стерлядей.

вѣку такихъ, шутилъ Патапъ Максимычъ.—Есть такія спасенныя души, что не только въ среду, въ понедѣльникъ даже молоко не хлебнетъ, а молочницѣ и въ велику пятницу спуску не дастъ.

Плюнулъ съ досады Стуколовъ.

— Какъ же будетъ у насъ? продолжалъ Патапъ Максимычъ. — Благословляй что ли, святъ мужъ, къ ловцамъ посылать?... Рыбешка здѣсь рѣдкостная, янтарь янтаремъ.... Ну, Якимъ Прохорычъ, такъ ужъ и быть, опоганемся, да вплоть до Святой и закаемся.... Право же говорю, дорожнымъ людямъ постъ разрѣшается.... Хоть Манею спроси.... На что мастерица посты разбирать, и та въ пути разрѣшаетъ.

— Отстань отъ меня ради Господа, молвилъ Стуколовъ.—Дѣлай какъ знаешь, а другихъ во грѣхъ не вводи.

Патапъ Максимычъ махнулъ рукой и вышелъ къ хозяевамъ въ переднюю горницу, чтобъ спосылать ихъ къ ловцамъ за рыбой.

Только-что вышелъ онъ, Дюковъ торопливо сказалъ паломнику:

— Про мѣста разспрашивай!

— Не спозналъ и не спознать, рѣшительно отвѣтилъ Стуколовъ.—Я все слышалъ что лѣсникъ рассказывалъ...

— То-то, чтобъ намъ въ дуракахъ не остаться, сказалъ Дюковъ.

— Будь покоенъ: попалъ карась въ неретъ \* не выскочетъ.

---

Патапъ Максимычъ запоздалъ на Ветлугѣ. Проѣхали путники въ Урень, подъ видомъ закупки дешеваго яран-

---

\* Нерето, рыболовный снарядъ слетенный изъ сѣти на обручахъ въ видѣ воронки.

скаго хлѣба. И въ самомъ дѣлѣ Патапъ Максимычъ сдѣлалъ тамъ небольшую закупку. Потомъ отправились въ лѣсную деревушку, къ знакомому Якимѣ Прохорыча, оттуда въ другую, Лукерьиной прозывается, къ зажиточному баклушнику \* Силантью. Оба знакомца Стуколова завѣряли Патапа Максимыча что по ихнимъ лѣсамъ въ правду золотой песокъ водится. Силантій показалъ даже стеклянный пузырекъ съ такимъ добромъ. На видъ песокъ ни дать ни взять такой же какъ Стуколовскій.

— Пробовали плавить его, сказывалъ Силантій,—топили въ горну на кузницѣ, однако толку не вышло, гарь одна остается.

Къ великой досадѣ паломника, разболтавшійся Силантій показалъ Патапу Максимычу и гарь, вовсе не похожую на золото.

Какъ ни старался Стуколовъ замѣять Силантьевы рѣчи, на Патапа Максимыча напало сомнѣнье въ добротности ветлужскаго песка.... Онъ купилъ у Силантя пузырекъ, а на придачу и гарь взялъ.

Когда совершалась эта покупка, Стуколовъ съ досадой всталъ съ мѣста и, походивъ по избѣ спѣшными шагами, вышелъ въ сѣни. Дюковъ осовѣлъ, сидя на мѣстѣ.

На другой день рано по утру, Патапъ Максимычъ случайно подслушалъ какъ паломникъ съ Дюковымъ ругательски ругали Силантя за „лишнія слова“.... Это навело на него еще больше сомнѣнья, и, сидя со спутниками и хозяиномъ дома за утреннимъ самоваромъ, онъ сказалъ, что ветлужскій песокъ ему что-то сумнителенъ.

— У меня въ городѣ дружокъ есть, баринъ, по всякой наукѣ человѣкъ дошлый, сказалъ онъ. — Семъ-ка я

---

\* Тотъ что баклуши дѣлаетъ. Баклуши—чурки для токарной выдѣлки ложекъ и деревянной посуды.



сѣзжу къ нему съ этимъ пескомъ да покучусь ему испробовать, можно ль изъ него золото сдѣлать.... Если выйдетъ изъ него заправское золото — ничего не пожалѣю, что есть добра все въ оборотъ пушу... А до той поры, нѣвись не гнѣвись, Якимъ Прохорычъ, къ вашему дѣлу не приступлю, потому что оно покамѣстъ для меня потемки.... Да!

— Съѣзди пожалуй къ своему барину.... молвилъ паломникъ.—Только не проболтайся ради Бога гдѣ эта благодать родится. А то разнесутся вѣсти, узнаетъ начальство, тогда намъ за наши хлопоты шишъ и покажутъ.... Самъ знаешь, земля вѣдь не наша.

— Купимъ ее, сказалъ Патапъ Максимычъ.—Земли здѣсь не дороги.

— Легко сказать купимъ, перервалъ Стуколовъ.—Ежели бы земли-то здѣшнія были барскія, нечего бы и толковать, купилъ и шабашъ, а тутъ вѣдь казна. Годы пройдутъ, пока разрѣшать пролажу. По здѣшнимъ мѣстамъ казенныхъ земель споконъ вѣку никто не покупывалъ, такъ....

— Не казенна здѣсь земля, удѣльная, перебилъ Силантій.

Стуколовъ искоса взглянулъ на него: „Не суйся дескать куда не спрашиваютъ“, и продолжалъ, обращаясь къ Патапу Максимычу:

— Съ удѣльной я того хуже. Удѣлъ земель не продаетъ. Да что объ этомъ толковать прежде времени? Коли дѣло пойдетъ какъ уговорились, въ Питерѣ отхлопочемъ за себя пріиски, а коли ты, Патапъ Максимычъ, на попятный, такъ послѣ пеняй на себя....

— Кто на попятный? вскрикнулъ Патапъ Максимычъ.—Никогда я на попятный ни въ какомъ дѣлѣ не поворачивалъ, не таковъ я человекъ, чтобъ на попятный идти. Мнѣ бы только увѣриться... Обожди маленько, окажется дѣло

вѣрное, тотчасъ подпишу условіе и деньги тебѣ въ руки. А до тѣхъ поръ я несогласенъ.

— Да ты не всякому пузырькѣ-отъ показывай, сказалъ паломникъ.—А то могутъ заподозрѣть, что это золото изъ Сибири краденое. Насчетъ этого теперь строго, — какъ разъ въ острогъ.

— Малаго ребенка что ли вздумалъ учить? вспыхнулъ Патапъ Максимычъ. — Развѣ мы этого не понимаемъ?.. Баринъ вѣрный. Дружокъ мнѣ—не выдастъ. Отсюда прямо въ городъ къ нему.

— А вотъ что, Патапъ Максимычъ, сказалъ паломникъ.—Городъ городомъ, и ученый твой баринъ пуцай его смотритъ; а вотъ я что еще придумалъ. Торопиться тебѣ вѣдь некуда. Съѣздили бы мы съ тобой въ Красноярскій скитъ къ отцу Михаилу. Отсель рукой подать, двадцати верстъ не будетъ. Не хотѣлъ я прежде про него говорить, — а вѣдь онъ у насъ въ долѣ, — съѣдимъ къ нему на денекъ, ради увѣренья...

— По мнѣ пожалуй—дляче не съѣздить, сказалъ Патапъ Максимычъ.—Да что это за отецъ Михаилъ?

— Игуменъ Красноярскаго скита, отвѣтилъ Стуколовъ.—Увидишь что за человекъ—поискать такихъ старцевъ!..

По совѣту Стуколова, уговорились ѣхать въ скитъ пообѣдавши. Передъ самымъ обѣдомъ паломникъ ушелъ въ заднюю, написалъ тамъ письмо и отдалъ его Силантью. Черезъ полчаса какіе-нибудь хозяйскій сынъ верхомъ на лошади съѣхалъ со двора задними воротами и скорой рысью погналъ къ Красноярскому скиту.

—

Совсѣмъ уже стемнѣло, когда путники добрались до скита Красноярскаго. Стоялъ онъ въ лѣсной глуши,

на берегу Устьи, а кругомъ обнесенъ былъ высокимъ деревяннымъ частоколомъ. Посрединѣ часовня стояла, вокругъ нея кельи, совсѣмъ непохожія на кельи Каменнаго Вражка и другихъ чернораменскихъ женскихъ скитовъ. Все здѣсь было построено шире, выше, суразнѣе и просторнѣй, кельи другъ отъ дружки стояли подальше; не было на нихъ ни теремковъ, ни свѣтелокъ, ни вышекъ, ни смотрилентъ. Не будь середъ обители высокой часовни, да вокругъ нея намогильныхъ голубцовъ, Красноярскій скитъ больше бы походилъ на острогъ, чѣмъ на монастырь. Такой же высокій частоколъ вокругъ, такія же большія ворота, мѣстами обитыя желѣзомъ, такія же длинныя, высокія, однообразныя кельи съ маленькими окнами и вставленными въ нихъ желѣзными рѣшетками. Внѣ ограды хоть бы какой клѣвушекъ.

Подѣхавъ къ скиту, путники остановились у воротъ и дернули висѣвшую у калитки веревку. Вдали послышался звонъ колокола; залаяли собаки, и черезъ нѣсколько времени чей-то голосъ сталъ изнутри опрашивать:

— Кого Господь даруетъ?

— Люди знакомые, отецъ вратарь, отозвался паломникъ. Стуколовъ Якимъ съ дорогими гостями. Доложись отцу игумну, Якимъ молъ Прохорычъ гостей привезъ.

— Отецъ игуменъ повечеріе править. Обождите малехонько, схожу благословлюсь... отвѣтилъ за воротами привратникъ.

— Да ты поскорѣй, отецъ вратарь, мы вѣдь издалѣка. Кони приустали, да и самимъ отдохнуть охота, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Ладно, поспѣшу, отвѣчалъ голосъ за воротами. — А много ль васъ народу-то?

— Пятеро, сказалъ Стуколовъ, — ты молви только отцу

игумну: Якимъ дескать Прохорычъ Стуколовъ съ гостями прїѣхалъ.

— Ладно, ладно, скажу.

Привратникъ ушелъ, и долго не возвращался. Набѣжавшіе къ воротамъ псы такъ и заливались свирѣпымъ лаемъ внутри монастыря. Тутъ были слышны и сиплый, глухой лай какого-то стариннаго стража Красноярской обители, и тавканье задорной шавки, и завыванье озливагося волкопеса, и звонкій лай выжлятника... Все сливалось въ одинъ оглушительный содомъ, а вдали слышались ржанье стоялыхъ коней, мычанье коровъ и какія-то не вразумительныя, людскія рѣчи.

— Ну, братъ, въ этотъ скитъ, какъ въ царство небесное, сразу не попадешь, сказалъ Патапъ Максимычъ паломнику.

— Нельзя въ лѣсахъ иначе жить, отвѣчалъ Стуколовъ. — Съ большой опаской здѣсь надо жить.... потому глушь; верстъ на десять кругомъ никакого жилья нѣтъ. А недобрыхъ людей не мало, — какъ разъ пограбятъ.... Старцы же здѣшніе — народъ пуганный.

— А что? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Мучили ихъ. Забрались одинова разбойники — грабили.

— Какъ такъ? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Такъ же, отвѣчалъ паломникъ. — Пошла слава про монастырь что богатъ больно, а богатъ-то онъ точно богатъ, отъ того самого дѣла — смекаешь.... Вотъ погоди, самъ своими глазами увидишь.... Годовъ десять тому и польстись на Красноярскую обитель невѣдомо какіе злодѣи, задумали старцевъ пограбить... Сговорились съ бѣльцомъ ихняго же монастыря, тотъ у привратника ключи укралъ и впустилъ ночью разбойниковъ. Человѣкъ пятнадцать ихъ было, народъ молодой, здоровенный... Которыхъ

старцевъ въ кельяхъ заперли, которыхъ по рукамъ, по ногамъ перевязали, да этакъ распорядившись, зачали по своему хозяйничать... Часовню разбили, образа ободрали, къ игумну пришли. Всѣ мышиныя норки у него перерыли, а денегъ два съ половиной только нашли. Принялись за отца Михаила, говорятъ, подавай деньги.... Тотъ уперся... Никакихъ, говорятъ, денегъ у меня нѣтъ опрочь тѣхъ, что вы отобрали. Разбойники его пытать—ужь чего, они надъ нимъ не творили: и били-то его всячески и арапникомъ-то стегали, и подошвы-то на берестѣ палили, и гвозди-то подъ ногти забивали.... Вытерпѣлъ старецъ—слова не проронилъ, только молитву читалъ, какъ они его мучили. Замертво бросили въ чуланъ, думали нѣ живъ. Но помиловалъ Богъ—отдышался. За келейника игуменскаго принялись. Тотъ, не стерпя мукъ, можетъ-статься и сказалъ бы, да Богу благодаренье, самъ не зналъ куда игумень деньги запряталъ. Такъ и не покорыствовались.... Разыскали послѣ разбойниковъ, сослали...

— Этакъ пожалуй старцы насъ и не пустятъ, подумаютъ опять разбойники нагрянули, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Пустятъ, какъ не пустить. Меня знаютъ, отвѣчалъ Стуколовъ.

Прошло не мало времени, какъ въ монастырѣ снова послышались людскіе голоса.

— Отецъ вратарь, скоро ли ты? Отпирай! крикнулъ Стуколовъ.

— Да вотъ отецъ казначей пришелъ поспросить что за люди, слышалось изъ-за ограды.

— Ты что ль будешь отецъ Михей? крикнулъ Стуколовъ.

— Я грѣшный инокъ Михей, отвѣчалъ казначей. — А вы кто такіе?

— Да вѣдь сказано было вратарю, что Стуколовъ Якимъ гостей привезъ.... Сказывали отцу игумну аль нѣтъ еще?

— Отецъ Михаилъ повечеріе править—нельзя съ нимъ теперь разговаривать, отвѣчалъ привратникъ.—Потому я отцу казначею и доложилъ.

— Аль меня по голосу-то не признаешь, отецъ Михей? спросилъ паломникъ.

— Какъ черезъ ворота человѣка признать по голосу? Я же и на ухо крѣпонецъ.

— Ахъ вы, старцы Божьи!... крикнулъ Стуколовъ.—Не воры къ вамъ пріѣхали, свои люди знакомые. Благослови, отецъ Михей, ворота отворить.

— Да гости-то кто такіе съ тобой? спросилъ казначей.

— Дюковъ Сампсонъ Михайлычъ, дружокъ отцу-то Михаилу, сказалъ Стуколовъ,—да еще Патапъ Максимычъ Чапуринъ изъ Осиповки.

— Не братецъ ли матушки Манеены комаровской? спросилъ отецъ Михей.

— Онъ самый, отвѣчалъ Стуколовъ.

— Инъ обождите маленько, пойду благословлюсь у отца игумна, сказалъ казначей, и вскорѣ слышались шаги удалявшихся внутрь монастыря. Притихшій собачій лай поднялся пуще прежняго.

Изъ себя вышелъ Патапъ Максимычъ, браниться началъ. Бранилъ игумна, бранилъ казначея. бранилъ вратаря, бранилъ собакъ и всю красноярскую братію. Пуще всего доставалось Стуколову.

— Къ какому ты лѣшему завезъ меня! кричалъ онъ на весь лѣсъ.—Понесла же меня нелегкая въ это гнѣздо проклятое.... Чтобъ ихъ всѣхъ тамъ свело да скорчило!... Ночевать что ли тутъ въ лѣсу-то?... Шайтанъ бы побралъ ихъ, этихъ чернецовъ окаянныхъ!... Что они морозить насъ

вздумали?... А въ деревенскихъ дѣвокъ прячуть по под-  
польямъ?...

— Не грѣши празднымъ словомъ на Божьихъ старцевъ,  
уговаривалъ его паломникъ.— Потерпи маленько. Иначе  
нельзя — на то уставъ..... Опять же народъ пуганный — не-  
добрыхъ людей опасаются. Самъ знаешь: кого медвѣдь  
дралъ, тотъ и пенька въ лѣсу боится.

Не внималъ уговорамъ Патапъ Максимычъ, ругани его  
конца не видѣлось. До того дошло, что онъ, харкнувъ на  
ворота и обозвавъ весь монастырь нехорошими словами,  
хотѣлъ садиться въ сани чтобъ ѣхать назадъ, но въ это  
время забрякали ключами, и продрогшихъ путниковъ впу-  
стили въ монастырскую ограду. Тамъ встрѣтили ихъ чет-  
веро монаховъ съ фонарями.

До десятка собакъ съ разнообразнымъ лаемъ, ворчань-  
емъ и хрипѣньемъ бросилось на вошедшихъ. Псы были  
здоровенные, жирные и презлые. Кромѣ маленькой шавки,  
съ визгливымъ лаемъ задорно бросавшейся гостямъ подъ  
ноги, каждая собака въ одиночку на волка ходила.

— Лыска!... Орелка!... Жучка!... По мѣстамъ прокля-  
тыя!... Цыма, Шарикъ!.... Что подъ ноги-то кидаешься?....  
По мѣстамъ!... кричали на собакъ монахи и насилу — на-  
силу успѣли ихъ разогнать.

— Чего съ такой псарней разбою бояться, ворчалъ не  
уходившійся еще Патапъ Максимычъ.— Эти псы цѣлый  
станъ разбойниковъ перегрызутъ.

— Повечеріе на отходѣ, чуть не до земли кланаясь  
Патапу Максимычу, сказалъ отецъ Спиридоній, монастыр-  
скій гостиникъ, здоровенный старецъ, съ лукавыми, хит-  
рыми и быстро какъ мыши бѣгающими по сторонамъ  
глазками.— Какъ угодно вамъ будетъ, гости дорогіе—въ  
часовню прежде, а въ гостинный дворъ, али къ батюшкѣ

отцу Михаилу въ келью? Получасу не пройдетъ какъ онъ со службой управится.

— По мнѣ все едино, сухо отвѣтилъ Патапъ Максимычъ.—Въ часовню такъ въ часовню, въ келью такъ въ келью.

— Такъ ужъ лучше въ часовню пожалуйста, сказалъ отецъ Михей.—Посмотрите какъ мы убогіе Божію службу по силѣ возможности справляемъ... А пожитки ваши мы въ гостиницу внесемъ, коней уберемъ... Пожалуйста, милости просимъ.

И казначей отецъ Михей повелъ гостей по расчищенной между сугробами гладкой, широкой, усыпанной краснымъ пескомъ дорожкѣ, межъ тѣмъ какъ отецъ гостиникъ съ повозками и работниками отправился на стоявшій отдѣльно въ углу монастыря большой, ставленный на высокихъ подклѣткахъ, гостиный домъ, для богомольцевъ и пріѣзжавшихъ въ скитъ по разнымъ дѣламъ.

Войдя въ часовню, Патапъ Максимычъ пораженъ былъ благолѣпіемъ убранства и стройнымъ чиномъ службы. Старинный ярко раззолоченный иконостасъ возвышался подъ самый потолокъ. Передъ мѣстными въ золоченыхъ ризахъ иконами горѣли ослопныя свѣчи, всѣ паникадила были зажжены, и синеватый клубъ ладана носился между ними. Старцы стояли рядами, всѣ въ соборныхъ мантияхъ съ длинными хвостами, всѣ въ опущенныхъ низко на самыя глаза камилавкахъ и кафтыряхъ. За ними ряды послушниковъ и трудниковъ изъ мірянъ; всѣ въ черныхъ суконныхъ подрясникахъ съ широкими черными усменными \* поясами. На обоихъ клиросахъ стояли пѣвцы; славились они не только по окрестнымъ мѣстамъ, но даже въ Москвѣ и на Иргизѣ. Среди часовни, предъ аналогіемъ,

---

\* Усма — выдѣланная кожа, усменный — кожанный.



въ соборной мантии, стоялъ высокій, широкій въ плечахъ, съ длинными сѣдыми волосами и большою окладистой, какъ серебро бѣлой бородой, старецъ, и густымъ голосомъ дѣлалъ возгласы. Это былъ самъ игумень—отецъ Михаилъ.

Служба шла такъ чинно, такъ благоговѣнно, что сердце Патапа Максимыча, до страсти любившаго церковное благолѣпіе, разомъ смягчилось. Забылъ что его чуть не битыхъ полчаса заставили простоять на морозѣ. Съ сіявшимъ на лицѣ довольствомъ, разсматривалъ онъ Красноярскую часовню.

„Вотъ это служба такъ служба“, думалъ, оглядываясь на всѣ стороны, Патапъ Максимычъ. „Мастера Богу молиться, нечего сказать.... Эко благолѣпіе-то какое!... Рогожскому мало чѣмъ уступить.... А нашей Городецкой часовнѣ—куда! тѣхъ же щей да пожиге влей.... Божье-то милосердіе какое, иконы-то святые!... Просто заглядѣнье, а служба-то, служба-то—первый сортъ!... Въ Иргизѣ такой службы не видывалъ!...“

Наружность игумна тоже понравилась Патапу Максимычу. Еще не сказавъ съ нимъ ни слова, полюбилъ ужъ онъ старца за порядки. Препней досады какъ не бывало.

„Эка здоровенный игумень-отъ какой, ровно изъ матѣраго дуба вытесанъ... думалъ глядя на него Патапъ Максимычъ. Ему бы не лѣстовку въ руку, а чудовый молотъ... Чудное дѣло какъ это онъ съ разбойниками-то не справился... Да этакому старцу хотъ на пару медвѣдей въ одиночку идти.... Лапища-то какая!... А молодецъ Богу молиться!... Какъ это все у него стройно да чинно выходитъ...“

Кончилось повечеріе. Проговорилъ отпустить отецъ Михаилъ и обратился къ старцамъ.

— Отцы и братіе и служебницы сея честныя обители!... Возвѣщаю вамъ радость велию: убогое жительство наше посѣтили благочестивые христіяне, крѣпкіе ревнители

святоотеческой вѣры нашея древляго благочестія. Чѣмъ воздадимъ за таковую милость къ намъ бывшую? Помолимся убо о здравіи ихъ и спасеніи и воспоемъ Господу Богу молебное пѣніе за милости творящихъ и заповѣдавшихъ намъ недостойнымъ молиться о нихъ.

Братія, обернувшись, заразъ, чуть не до земли поклонились гостямъ, а отецъ Михаилъ замолитвовалъ канонъ о здравіи и спасеніи. Головщикъ праваго клироса звонкимъ голосомъ поаминилъ, и дробно началъ чтеніе канона.

Тутъ ужъ совсѣмъ растаялъ Патапъ Максимычъ. Любилъ почетъ, особенно почетъ церковный. Пуще всего дорожилъ онъ тѣмъ, что съ самой кончины родителей, многіе годы бывшего попечителемъ Городецкой часовни, самъ постоянно былъ выбираемъ въ эту должность. Лъстило его самолюбію, когда, бывая въ той часовнѣ за службой, становился онъ впереди всѣхъ, первый подходилъ къ цѣлованію Евангелія или креста, получалъ отъ бѣлаго попа въ Крещенскій Сочельникъ первый кувшинъ богоявленской воды, въ Вербну заутреню первую вербу, въ Свѣтло Воскресенье первую свѣчу.... Но такого почета какой былъ оказанъ ему въ Красноярскомъ скиту никогда ему и во снѣ не грезилось. Какъ было не растопиться сердцу, какъ не забыть досады, что взяла было его у воротъ монастырскихъ? Слеза даже прошибла Патапа Максимыча.

„Сторублевой мало“! подумалъ онъ: „Игуменъ человекъ понимающій. Покрайности сторублевую съ двумя четвертными надо вкладу положить“.

Слушаетъ, а отецъ Михаилъ поминаетъ о здравіи и спасеніи рабовъ Божіихъ Патапія, Ксенія, дѣвицы Анастасіи, дѣвицы Параскевы, инокини Манеи, рабы Божіей Агрипины.

„Глядь-ка, глядь-ка, удивлялся Патапъ Максимычъ.— Всѣхъ по именамъ такъ и валяетъ.... И Груню не забылъ....

Отъ кого это провѣдалъ онъ про моихъ сродниковъ?... Двѣ сотенныхъ надо, да къ Христову празднику муки съ масломъ на братію послать.“

Когда же наконецъ сталъ отецъ Михаилъ поминать усопшихъ родителей Чапурина и перебралъ ихъ чуть не до седьмого колѣна, Патапъ Максимычъ какъ баба расплакался и рѣшилъ на обитель три сотни серебромъ дать и каждый годъ мукой съ краснораменскихъ мельницъ снабжать ее.

Такимъ раемъ, такимъ богоблагодатнымъ жительствомъ показался Красноярскій скитъ ему, что не будь жены да дочерей, такъ хоть вѣкъ бы свѣковать у отца Михаила. „Нѣтъ, думалъ Патапъ Максимычъ, не чета здѣсь Городцу, не чета и бабьимъ скитамъ!... Съ Рогожскимъ потягается!... Вотъ благочестіе-то!.. Вотъ они земные ангелы, небесные же человѣки... А я-то окаянный еще выругалъ ихъ непригожими словами!... Прости Господи великое мое согрѣшеніе!“

---

Послѣ службы, игуменъ, подойдя къ Патапу Максимычу, познакомился съ нимъ.

— Любезненькой ты мой! Касатикъ ты мой! привѣтствовалъ онъ, ликуясь съ гостемъ.—Давно была охота повидаться съ тобой. Давно наслышанъ, много про тебя слышанъ, вотъ и привелъ Господь свидѣться.

— Случая до сей поры не выдавалось, отецъ Михаилъ, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.—Рѣдко бываю въ здѣшнихъ мѣстахъ, а на Устѣ совѣмъ впервой.

— Ну, спаси тебя Господи, что надумалъ насъ убогихъ посѣтить, говорилъ игуменъ.—Матушка-то Манеѣ Комаровская по плоти сестрица тебѣ будетъ?

— Сестра рѣдная, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.

— Дивная старица! сказалъ отецъ Михаилъ.—Духовной жизни, опять же отъ Писанія какая начетчица, а ужъ домостроительница какая!... Поискать другой такой старицы, во всемъ христіанствѣ не найдешь!... Ну, гости дорогіе, въ трапезу не угодно ли?... Сегодня день недѣльный, а ради праздника Сорока Мучениковъ поліелей — по уставу вечерняя трапѣза полагается: разрѣшеніе елея. А въ прочіе дни святыхъ Четырехдесятницы ядимъ единожды въ день.

Пошли въ келарню игуменъ, братія, служебницы, работные трудники и гости. Войдя въ трапезу, всѣ разомъ положили уставные поклоны передъ иконами и сѣли по мѣстамъ. Патапа Максимыча игуменъ посадилъ на почетное мѣсто, рядомъ съ собой. Между соборными старцами усѣлись Стуколовъ и Дюковъ. За особымъ столомъ съ бѣльцами и трудниками сѣли работники Патапа Максимыча.

Трапѣза совершалась по чину. Чередовой чтецъ заунывнымъ голосомъ протяжно нараспѣвъ читалъ „Синаксарь“. Келарь, подойдя къ игумену, благословился первую яству ставить братіи, отецъ чашникъ благословился квасъ разливать, отецъ будильникъ на разносномъ блюдѣ принялъ пять деревянныхъ ставцевъ съ гороховой лапшой, келарь взялъ съ блюда ставецъ и съ поклономъ поставилъ его передъ игуменомъ. Отецъ Михаилъ и тутъ воздалъ почетъ Патапу Максимычу: ставецъ передъ нимъ поставилъ, себѣ взялъ другой. Также и чашу съ квасомъ, и кашу соковую, поданную келаремъ, все отъ себя переставлялъ гостю.

Когда Патапъ Максимычъ, проголодавшись дорогой, принялся было уписывать гороховую лапшу, игуменъ наклонился къ нему и сказалъ потихоньку:

— Ты, любезненькой мой, на лапшицу-то не больно налегай. Въ гостиницѣ наказалъ я самоварчикъ изготовить да закусочку ради гостей дорогихъ.

— Зачѣмъ это, отче? отозвался Патапъ Максимычъ.—

Были бы сыты и за трапезой, ишь какая лапша-го у васъ вкусная. Напрасно беспокоился.

— Нѣтъ, касатикъ, ужъ прости меня Христа ради, а у насъ ужъ такой уставъ: мірскимъ гостямъ учреждать особную трапезу во утѣшеніе.... Вы же путники, а въ пути и постъ разрѣшается.... Рыбки не припасти ли?

— Нѣтъ, отецъ Михаилъ, не надо — постъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Въ пути и въ морскомъ плаваніи святые отцы постъ разрѣшали, молвилъ игумень.—Благослови рыбку приготовить, прибавилъ онъ, понизивъ голосъ.—А рыбка по милости Господней хорошая: осетринки найдется и бѣлушки.

— Нѣтъ, нѣтъ, отецъ Михаилъ, продолжалъ отнѣкиваться Патапъ Максимычъ,—и въ грѣхъ не вводи.

— Говорю тебѣ, что святые отцы въ пути сущимъ и въ морѣ плавающимъ постъ разрѣшали, настаивалъ игумень.—Хочешь въ книгахъ покажу?... Да что тутъ толковать, касатикъ ты мой, со своимъ уставомъ въ чужой монастырь не ходятъ.... Твори, брате, послушаніе!

— Охъ ты, отецъ Михаилъ!... Какой ты, право!... сказалъ Патапъ Максимычъ, сдаваясь на слова игумна и рѣшаясь по его велѣнію сотворить послушаніе.— Нечего дѣлать, прибавилъ онъ улыбаясь,—послушаніе паче поста и молитвы. Такъ что ли писано, отче?

— Ахъ, ты касатикъ мой! охъ, ты мой любезенькой!... молвилъ игумень, и подозвавъ отца Спиридонія, велѣлъ ему шепнуть Стуколову и Дюкову, чтобъ и они не очень налегали на лапшу да на кашу.

Трапеза кончилась, отецъ будильникъ съ отцомъ чашникомъ собрали посуду, оставшіеся куски хлѣба и соль. Игумень ударилъ въ кандію, всѣ встали и стоя на мѣстахъ гдѣ кто сидѣлъ, въ безмолвіи прослушали благодарныя молитвы, прочитанныя канонархомъ. Отецъ Михаилъ бла-

гословилъ братію, и всѣ попарно тихими стопами пошли вонъ изъ келарни.

— Ну, гости дорогіе, любезненькіе вы мои, сказалъ отецъ Михайлъ, оставшись съ ними въ опустѣвшей келарнѣ,—теперь я васъ до гостинаго двора провожу, тамъ и упокоитесь.... А ты, отецъ будильникъ, гостямъ-то баньку истопи, съ дороги-то пускай завтра попарятся.... Да пожарче смотри топи, чтобъ и воды горячей и щелоку было довольно, а вѣники въ квасу распарь съ мяткой, а въ воду и въ квасъ, что на каменку поддавать, тоже мятки положи да калуферцу... . Чтобъ все у меня было хорошо... Не осрами, отче, передъ дорогими гостями, поради́й чтобъ возлюбили убогую нашу обитель.

— Въ исправности будетъ, отче святой, смиренно отвѣчалъ будильникъ, низко кланаясь.—Постараюсь гостямъ угодить.

— Кѣнямъ-то засыпалъ ли овсеца-то, отецъ казначей? спрашивалъ игумень, переходя изъ келарни въ гостиницу.—Засыпалъ бы безъ мѣры, сколько съѣдать.... Да молви не забудь отцу Спиридонию приѣзжихъ-то работниковъ хорошенько бы упокоилъ.... Ахъ, вы мои любезненькіе! ахъ, вы касатики мои!... Какихъ гостей-то мнѣ Богъ даровалъ!.. Бѣги-ка а ты, Трофимушка, молвилъ игумень проходившему мимо бѣльцу,—бѣги въ гостиницу, поставь фонарь на лѣстницѣ, да молви самоваръ бы на столъ ставили, да отецъ келарь медку бы сотоваго прислалъ, да клюковки, да яблочковъ что ли моченыхъ... Ненарокомъ приѣхали-то вы ко мнѣ, гости любезные, — не взыщите.... Не изготвился принять васъ какъ надобно.

Въ гостиницѣ, въ углу большой, не богато, но опрятно убранной горницы, поставленъ былъ столъ, и на немъ кипѣлъ ярко вычищенный самоваръ. На другомъ столѣ отецъ гостинникъ Спиридоній разставлялъ тарелки съ груз-

дами, мелкими рыжиками, волнухами и вареными въ укусѣ бѣлыми грибами, тутъ же явились и сотовый медъ и моченая брусника и клюква съ медомъ, моченныя яблоки, пряники, финики, изюмъ и разные орѣхи. Среди этихъ закусокъ и заѣдокъ стояло нѣсколько графиновъ съ настойками и наливками, бутылка рому, другая съ мадерой ярославской работы.

— Садитесь, гости дорогіе, садитесь къ столику-то, любезненькіе мои, хлопоталъ отецъ Михаилъ, усаживая Патапа Максимыча въ широкое мягкое кресло обитое черною юфтью, изукрашенное гвоздиками съ круглыми мѣдными шляпками. — Разливай, отецъ Спиридоній.... Да что это лампадки-то не зажгли передъ иконами?.... Малѣцъ, крикнулъ игумень молоденькому бѣльцу, съ подобострастнымъ видомъ стоявшему въ передней, — затепли лампадки-то да и въ боковушахъ у гостей тоже затепли.... Передъ чайкомъ-то настоечки, Патапъ Максимычъ, прибавилъ онъ наливая рюмку.—Ахъ, ты мой любезненькой!

— Да не хлопочи, отецъ Михаилъ, говорилъ Патапъ Максимычъ.—Напрасно.

— Какъ же это возможно не угощать мнѣ такихъ гостей? отвѣчалъ игумень.—Только ужъ не погнѣвайтесь, ради Христа, дорогіе мои, не взыщете у старца въ кельѣ—не больно-то мы запасливы.... Время не такое—пріѣхали на хрѣнъ да на рѣдку.... Отецъ Спиридоній, слетай-ка, родименькой, къ отцу Михею, молви ему тихонько—гости мошь утрудились, они же дескать люди въ пути сущіе, а отцы святые таковымъ постъ разрѣшаютъ, прислалъ бы сюда икорки, да балычка, да селедочекъ копченыхъ, да провѣсной бѣлорыбицы. Да взялъ бы звено осетринки, что къ Масляной изъ Сибири привезли, да бѣлужинки малосольной, да севрюжки что ли разварилъ бы еще.

Отецъ Спиридоній низко поклонился и пошелъ исполнить игуменское повелѣніе.

— Что же настоечки-то?... Передъ чайкомъ-то?... Вотъ звѣробойная, а вотъ зорная, а эта на трефоли настояща.... А не то сладенькой не изволишь ли?... Якимъ Прохорычъ, ты любезненькой мой человѣкъ знакомый, и ты тоже, Сампсонъ Михайловичъ, васъ подчивать много не стану. — Кушайте, касатики, сдѣлайте Божескую милость.

Выпили по рюмочкѣ, закусили сочными яранскими груздями и мелкими вятскими рыжиками, что зовутся „бисерными“....

— Отецъ Михаилъ, да самъ-то ты что же? спросилъ Патапъ Максимычъ, замѣтивъ что игумень не выпилъ водки.

— Наше дѣло иноческое, любезненькой ты мой Патапъ Максимычъ, а сегодня разрѣшенія на вино по уставу нѣтъ, отвѣчалъ онъ. — Вамъ, мірянамъ, да еще въ пути сущимъ, разрѣшеніе на вся, а намъ грѣшнымъ не подobaетъ.

— Говорится же, что гостей ради постъ разрѣшается? сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Ахъ ты любезненькой мой, ахъ ты касатикъ мой! подхватилъ отецъ Михаилъ. — Оно точно что говорится. И въ уставахъ въ иныхъ написано... Много вѣдь уставовъ-то иноческаго житія: Соловецкій, Студійскій, Аеонскія горы, Синайскій — да мало ли ихъ—мы больше все по Соловецкому.

— Ну и выкупалъ бы съ нами чару Соловецкую, шутя сказалъ Патапъ Максимычъ.

Ахъ ты любезненькой мой!... Какой ты право!... Грѣха только не будетъ ли?... Какъ думаешь, Якимъ Прохорычъ? говорилъ игумень.

— Маленькую можно, сухо проговорилъ паломникъ.



— Охъ ты касатикъ мой! вскрикнулъ игумень, обнявъ паломника, потомъ налилъ рюмку настойки, перекрестилъ широкоимъ, размахистымъ крестомъ и молодецки выпилъ.

„Должно - быть и выпить не дуракъ, подумалъ Патапъ Максимычъ, глядя на отца игумна.—Какъ есть молодецъ на всѣ руки.“

Воротился отецъ Спиридоній, доложилъ что передалъ игуменскій приказъ казначею.

— Отецъ Михей говоритъ что есть у него малая толика живенькихъ окуньковъ да язей, да линь съ двумя щучками, такъ онъ хотѣлъ еще уху гостямъ сготовить, сказалъ отецъ Спиридоній.

— Ну, Богъ его спасетъ что догадался, а мнѣ старому и не въ домекъ, сказалъ отецъ Михайль.—Это хорошо съ дороги-то ушки горяченькой похлебать.... Ну, Богъ тебя благословить отецъ Спиридоній!... Выкушай рюмочку.

— Не подобаетъ, отче, смиренно проговорилъ гостиникъ, а глаза такъ и прыгаютъ по графинамъ.

— Э-эхъ! всѣ мы грѣшники передъ Господомъ! наклоняя голову, сказалъ игумень. — Охъ, охъ, охъ — грѣхи наши тяжкіе!... Согрѣшилъ и я окаянный—разрѣшилъ!... Что станешь дѣлать?... Благослови и ты, отецъ Спиридоній, на рюмочку—ради дорогихъ гостей Господь простить....

Отецъ гостиникъ не заставилъ себя уговаривать. Безпрекословно исполнилъ онъ желаніе отца игумна.

Выпили по чашкѣ чаю, налили по другой. Передъ второй выпили и закусили принесенными отцомъ Михеемъ рыбными снѣдами. И что это были за снѣды! Только въ скитахъ и можно такими полакомиться. Мѣшечная осетровая икра точно изъ черныхъ шерловъ была сдѣлана, такъ и блеститъ жиромъ, а зернистая трончная \* какъ слив-

\* Бѣлужью зернистую икру лучшаго сорта до желѣзныхъ дорогъ отвозили въ Москву и другія мѣста на почтовыхъ тройкахъ тотчасъ послѣ посѣлу. Оттого и звали ее „трончной“.

ки—сама во рту таетъ, балыкъ величины непомерной, жирный, сочный, такой что самому донскому архіерею не часто на столѣ подають, а бѣлорыбца присланная изъ Елабуги бѣла и глянцовита какъ атласъ. Хорошо ѣдятъ скитскіе старцы, а лучше того угощаютъ нужнаго человѣка, коли Богъ въ обитель его принесетъ. Мѣдной копѣйки не тратитъ обитель на эти „утѣшенія“ — все усердное даяніе христіолюбцевъ.

Живетъ христіолюбецъ, вѣкъ свой рабочихъ на пятаки, покупателей на рубли обсчитываетъ. Случится къ казнѣ подъѣхать, и казну не помилуетъ, сумѣетъ и съ нея золотую щетинку сорвать. Плачутся на христіолюбца обиженные, а ему и дѣла мало, сколачиваетъ денежку на черный день, подъ конецъ жизни сотнями тысячъ начнетъ ворочать, да разика два обанкрутится, по гривнѣ за рубль заплатитъ, и наживетъ миллионъ.... Приблизится смертный часъ, толстосумъ сробѣетъ, просить, молить наслѣдниковъ: „устройте душу мою грѣшную, не быть бы ей во тмѣ кромѣшной, не кипѣть бы мнѣ въ смолѣ горючей, не мучиться бы въ жупелѣ огненномъ“. И начнутъ поминать христіолюбца наслѣдники: сгромоздятъ колокольную въ семь ярусовъ, выльютъ въ тысячу пудовъ колоколъ, чтобы до третіяго небеси слышно было, какъ тотъ колоколъ будетъ вызванивать изъ ада душу христіолюбца мощенника. Ризъ нашьютъ дорожниковъ съ жемчугами да съ дорогими камнями, такихъ что попу не въ моготу и носить ихъ, да и страшно — поручь одна какая-нибудь впятеро дороже всего поповскаго достоянья. Сотни рублей платятъ наслѣдники христіолюбца голосистому протодьякону, чтобы такую „вѣчную память“ сѣоралъ онъ по тятенькѣ, отъ какой бы и во адѣ всѣмъ чертямъ стало тошнехонько. И вызвонятъ, и вырежутъ такимъ способомъ грѣшную душу изъ вѣчныхъ муки....

Раскольникамъ такъ спасать родителей не доводится —

колокола, ризы и громогласные протодьяконы у нихъ возбраняются. Какъ же, чѣмъ же имъ сердечнымъ спасти душу тятенькину?... Ну и спасаютъ ее отъ муки вѣчныя икрой да балыками, жертвуютъ всѣмъ что есть на потребу бездоннаго иноческаго стомаха.... Посылай неоскудно скитскимъ отцамъ-матерямъ осетрину да севрюжину—несомнѣнно получить тятенька во всѣхъ плутовствахъ милосердное прощеніе. Вѣдь старцы да старицы мастера Бога молить: только деньги подавай да кормы посылай, любого грѣшника изъ ада вымолять.... Оттого и не скудѣтъ въ скитахъ милостыня. Ёль бы жирнѣй, да пилъ бы пьянѣй освященный чинъ—спасенье всякаго мошенника несомнѣнно.

Откупалъ Патапъ Максимычъ икорки да балычка, сеledокъ переславскихъ, елабужской бѣлорыбицы. Вкусно—нахвалиться не можетъ, а игумень радъ-радехонекъ, что удалось почествовать гостя дорогаго. Дюковъ долго глядѣлъ на толстое звено балыка, крѣпился, взглядывая на паломника,—прорвало-таки, забылъ Великій Постъ, согрѣшилъ—оскоромился. Врагу дѣйствующу согрѣшили и старцы честные. Первымъ согрѣшилъ самъ игумень, глядя на него Михей со Спиридоніемъ. Паломникъ укрѣпился, не осквернилъ устъ своихъ рыбнымъ яденіемъ.

Покончивъ съ рыбными снѣдами, принялись за чай съ постнымъ молокомъ, то-есть съ ромомъ. Тутъ старцы отъ мірянъ не отстали, воздержвѣй другихъ оказался тотъ же паломникъ.

Поразвеселились, языки развязались, пошла бесѣда откровенная, даже Дюковъ помаленьку зачалъ разговаривать.

— Что, отецъ Михаилъ, скучно чай въ лѣсу-то жить? спросилъ Патапъ Максимычъ у игумена.

— Распрелюбезное дѣло, касатикъ ты мой, отвѣчалъ

онъ. — Какъ бы отъ недобрыхъ людей не было опаски, лучше бы лѣснаго житья во всемъ свѣтѣ кажись не сыскать.... Злодѣи-то вотъ только шатаются иной разъ по здѣшнимъ мѣстамъ.... Десять годовъ тому какъ они гостить прїѣзжали къ намъ.... Памятки отъ тѣхъ гостинь до сей поры у меня знать.... Погляди-ка вотъ ухо-то какъ было разсѣчено, прибавилъ онъ, снимая камилавку и приподнимая сѣдые волосы. А вотъ еще ихняя памятка, продолжалъ игумень, распахивая грудь и указывая на оставшіеся послѣ ожога бѣлые рубцы, — да вотъ еще перстами не двигаю съ тѣхъ поръ какъ они гвоздочки подъ ноготки забивали мнѣ.

И показалъ Патапу Максимычу два сведенные въ суставахъ пальца лѣвой руки.

— Какъ бы не страхъ отъ этихъ людей, какой бы еще жизни! продолжалъ отецъ Михаилъ.— Придетъ лѣто, птичекъ Божьихъ налетитъ видимо-невидимо, отъ зари до зари распѣвають онѣ на разные гласы, прославляютъ Царя Небеснаго.... Въ воздухѣ таково легко да прїятно, благоуханіе несказанное, цвѣточки цвѣтутъ, травы растутъ, звѣрки бѣгаютъ.... А выйдешь на Устѹ, бредень закинешь, окуньковъ наловишь, линей, щучекъ, налимъ иной разъ въ вершу попадетъ.... Какого еще житья?... Зимней порой поскучнѣе, а все же нашего лѣснаго житья не промѣнять на ваше городское.... Вѣдь я, любезненькой мой, пятьдесятъ годовъ въ здѣшнихъ-то лѣсахъ живу. Четырнадцать лѣтъ въ пустыню пришелъ; неразумный еще былъ, голоусый, грамотѣ не зналъ.... Такъ промежъ людей въ міру-то болтался: бѣдность, нужда, нищета, выросъ сиротой, самый послѣдній былъ человѣкъ, а привелъ же вотъ Богъ обителю править: бѣзъ году двадцать лѣтъ игуменствую, а допрежъ того въ келаряхъ десять лѣтъ высидѣлъ.... Какъ

же не любить мнѣ лѣсовъ, болѣзнь ты мой, какъ мнѣ не любить ихъ?... Вѣдь они родные мои.

— Конечно, привычка, замѣтилъ Патапъ Максимычъ.

— Да, касатикъ мой, истинное слово ты молвилъ, отвѣчалъ отецъ Михайлъ. — Это, какъ у васъ въ міру говорится: „привычка не рукавичка, на спичку ее не повѣсишь“. Всякому свое, до чего ни доведись.... Въ книжѣ животнѣй, аже на небеси, овому писано грады обладати, овому рать строить, овому въ корабляхъ моря преплывати, овому же куплю дѣяти, а наше дѣло о имени Христовѣ подаваніемъ христіанамъ питаться и о всѣхъ истинныхъ христіанахъ древляго благочестія молитвы приносить. Свѣтъ истинный вездѣ, и въ морѣ далече, и во градахъ и въ весяхъ, а нѣтъ мѣста ближе ко Христу-Свѣту какъ въ лѣсахъ да въ пустыняхъ, въ вертепахъ и пропастяхъ земныхъ. Такъ-то, касатикъ, такъ-то, родненькій!...

— Такъ у васъ въ обители, говоришь, Соловецкій чинъ содержится? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Чинъ Соловецкій, любезненькій ты мой, а также и по духовной грамотѣ преподобнаго Іосифа Волоцкаго. Прежде всего о томъ тѣшаніе имѣемъ како бы во обители все было благообразно и по чину.... А ты, миленькій отецъ Спиридоній, налей-ка гостямъ еще по чашечкѣ, да ромку-то не жалѣй, старче!... Ну опять же, касатикъ ты мой, Патапъ Максимычъ, блюдемъ мы опасно дабы въ трапезѣ всѣ сидѣли со благоговѣніемъ и въ молчаніи.... Вѣдь святые-то отцы что написали о монастырской трапезѣ? „Яко, глаголють, святой жертвенникъ, тако и братская трапеза во время обѣда—равны суть“.... Да ты что осовѣлъ, отецъ Спиридоній, подливай гостямъ-то, не жалѣй обительскаго добра.... Ахъ ты, любезненькій мой Патапъ Максимычъ!... Вотъ принеси Христосъ гостя нежданнаго да желаннаго!... А ужъ сколько заботъ да хлопотъ

о потребахъ монастырскихъ, и рассказать всего невозможно. И о пищѣ-то попекись и о питіи, объ одеждѣ и обуви, \* и о монастырскомъ строеніи, и о коняхъ и о скотномъ дворѣ, обо всемъ... А братіей-то править, думаешь легкое дѣло?... О-охъ, любезненькій ты мой, какъ бы зналъ ты нашу монастырскую жизнь.... Грѣхи, грѣхи наши!... Потчуй а ты, отецъ Спиридоній!... Да что же ушицу-то, ушицу?... Отецъ Михей, давай скорѣе, торопи на поварнѣ-то, гости-моль ужинать хотятъ.

Минуть черезъ пять казначей воротился, и за нимъ принесли уху изъ свѣжей рыбы, паровую севрюгу, осетрину съ хрѣномъ и кислую капусту съ квасомъ и свѣжепросольной бѣлужиной. Ужинъ пожалуй хоть не у старца въ кельѣ Великимъ Постомъ.

И старцы и гости, кромѣ паломника, всѣ согрѣшили—оскоромились. И вина разрѣшили во утѣшеніе довольно. Кончивъ трапѣзу, отецъ Михей да отецъ Спиридоній начали носомъ окуней ловить. Сильно разбирала ихъ дремота.

— Ты бы, отче, благословилъ отцамъ-то успокоиться, смотри глаза-то у нихъ совсѣмъ слипаются, молвилъ Стуколовъ, быстро взглянувъ на игумна.

— Инъ подите въ самомъ дѣлѣ, отцы, успокойтесь, Богъ благословить, молвилъ игумень.

Положивъ уставныя поклоны и простившись съ игуменомъ и гостями, пошли отцы вонъ изъ кельи. Только-что удалились они, Стуколовъ на лѣса свелъ рѣчь. Словоохотливый игумень рассказывалъ какое въ нихъ всему изобиліе: и грибовъ-то какъ много, и ягодъ-то всякихъ, помянулъ и про дрова, и про лыки, а потомъ тихонько, вкрадчивымъ голосомъ молвилъ:

---

\* Обувь.

— А посмотрѣлъ бы ты, касатикъ мой Патапъ Максимычъ, что въ нѣдрахъ-то земныхъ сокрыто, отдалъ бы похвалу нашимъ палестинамъ.

— А что такое? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Отъ другихъ потаю, отъ тебя не скрою, любезненькій ты мой, отвѣчалъ игумень. — Опять же у васъ съ Якимомъ Прохорычемъ, какъ вижу, дѣла-то одни.... Золото водится по нашимъ лѣсамъ—брать только надо умѣючи.

— Слыхалъ я про ваше ветлужское золото, сказалъ Патапъ Максимычъ,—только вѣры что-то нейметса, отче святой!...—Пробовали, слышь, топить его, одна гарь выходитъ.

— Это ему вѣчоръ Силантій насудачилъ, вступилса Стуколовъ.

— Какой Силантій? спросилъ игумень.

— Да въ деревнѣ Лукерьянѣ Силантъя Петрова развѣ не знаешь? молвилъ паломникъ.

— А, лукерьянскій!... Коротенька-Ножка?... Какъ не знать! отозвался игумень.—Да чего жъ онъ въ этомъ дѣлѣ смыслить! Навалилъ, поди, песку въ горшокъ, да и ну калить.... Извѣстно этакъ окомъ гари не выйдетъ ничего.... Тутъ, любезненькій мой, Патапъ Максимычъ, науку надо знать. Кого Богъ наукой умудрилъ, тотъ и можетъ за это дѣло браться, а темному человѣку, невѣгласу оно никогда не дается.... Читалъ ли „Шестодневъ“ Василья Великаго? Тамъ о премудрыхъ-то хитрецахъ что сказано? „Тайны Господни имъ вѣдомы, еже въ пучинахъ морскихъ, еже въ нѣдрахъ земныхъ“.

— Это такъ, отче, это ты вѣрно говоришь, сказалъ Патапъ Максимычъ. — Ну, такъ какъ же изъ того песку золото дѣлать?

— Не умудрилъ меня Господь наукой, касатикъ ты мой....

Куда мнѣ темному человѣку! Говорилъ вѣдь я тебѣ что и грамотѣ-то здѣсь въ лѣсу научился. Кой-какъ бреду. Писаніе читать могу, а насчетъ грамматическаго да философскаго ученія тутъ ужъ, разлюбезный ты мой, я ни при чемъ.... Да признаться и не разумѣю что такое за грамматическое ученіе, что за философія такая. Читалъ про нихъ и въ книгѣ „Вѣрѣ“ и въ „Максимѣ Грекѣ“, а что такое оно обозначаетъ, прости Христа ради, не знаю.

— Почему жъ ты знаешь, отче, что изъ того песку можно золото дѣлать? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Ахъ ты любезненькой мой!... Ахъ ты касатикъ!... восклицалъ отецъ Михаилъ.—А вотъ я тебѣ все по ряду скажу. Ты вотъ у насъ въ часовнѣ-то за службой былъ, святые иконы видѣлъ?

— Видѣлъ, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.

— Хороши? спросилъ игумень.

— Нечего и толковать, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.—Такого благолѣпія сроду не видалъ. У насъ, въ Городецкой часовнѣ супротивъ вашей—плевое дѣло.

— То-то же, сказалъ игумень.—А чѣмъ наши иконы позолочены? Все своимъ ветлужскимъ золотомъ. Погоди, вотъ завтра покажу тебѣ ризницу, увидишь и кресты золотые, и чаши, и оклады на Евангеліяхъ, все нашего ветлужскаго золота. Знамо дѣло такую вещь надо въ тайнѣ держать, сказываемъ, что все это приношеніе благодѣтелей.... А какіе тутъ благодѣтели?—Свое золото, доморощенное.

— Такъ неужель у тебя въ скиту про это дѣло вся братія знаетъ? сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Какъ возможно, любезненькій ты мой!... Какъ возможно, чтобы весь монастырь про такую вещь зналъ?... отвѣчалъ отецъ Михаилъ.—Въ огласку такихъ дѣловъ пускать не годится.... Слухъ-отъ по скиту ходитъ, много



болтають, да пустыя рѣчи пустыми завсегда и остаются.— Видать песокъ, а силы его не знаютъ, не умѣютъ какъ за него взяться.... Пробовали, какъ Силантій же, въ горшки топить, ну извѣстно ничего не вышло, послѣ того сами же на смѣхъ стали поднимать кто по лѣсу золотой песокъ собираетъ.

— Какъ же, честный отче, сами-то вы съ нимъ справляетесь? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Охъ ты любезненькій мой, охъ ты касатикъ мой!... Что мнѣ сказать-то ужъ я, право, и не знаю, заминаясь отвѣчалъ отецъ Михаилъ, поглядывая то на паломника, то на Дюкова.

— Сказывай какъ есть, молвилъ Стуколовъ. — Таитья нечего, Патапъ Максимычъ въ долѣ по этому дѣлу.

— По золотому? спросилъ игумень, кидая смутный взглядъ на паломника.

— А по какому же еще? быстро подхватилъ Стуколовъ и слегка нахмуясь строго взглянулъ на отца Михаила.— Какія еще дѣла могутъ у тебя съ Патапомъ Максимычемъ быть? Не службу у тебя въ часовнѣ будетъ онъ править... Другихъ дѣловъ съ нимъ нѣтъ и быть не должно.

— А я думалъ, что ты, любезненькой мой, съ Патапомъ Максимычемъ по всѣмъ дѣламъ заодно, пѣсколько смутившись молвилъ игумень.

Быстро Стуколовъ съ мѣста всталъ и торопливыми шагами прошелся по кельѣ. Незамѣтно для Патапа Максимыча легонько толкнулъ онъ игумна.

— Разкажи ему, отче, какъ вы съ пескомъ тѣмъ справляетесь, сказалъ онъ потомъ мягкимъ голосомъ.

— Да, ужъ пожалуста повѣдай мнѣ, молвилъ Патапъ Максимычъ.—Богъ дастъ, заодно станемъ работать.... Приіски откроемъ.

— Ахъ ты любезненькій мой, ахъ ты касатикъ!...

вскликнулъ отецъ Михаилъ, обнимая Патапа Максимыча.— А ты вотъ облѣпихи-то рюмочку выкушай.—Изъ Сибири прислали благодѣтели, хорошая наливочка, попробуй... Расчудесная!

Патапъ Максимычъ выпилъ облѣпихи. Наливка оказалась въ самомъ дѣлѣ расчудесною.

— Ну такъ какъ же, отче?.. сказалъ онъ.—Какъ у насъ песокъ-отъ въ золото передѣлываютъ?

— Теперь у насъ такого знатока нѣтъ, отвѣчалъ игуменъ.—Быль, да годовъ съ десятокъ померъ. — А нонѣ, любезненькой ты мой Патапъ Максимычъ, вотъ какъ мы дѣлаемъ. Я, грѣшный, да еще двое изъ братіи только и знаемъ про это дѣло. Лѣтней порой, тайкомъ отъ другихъ, мы и собираемъ сколько Богъ приведетъ песочку, да по зимѣ въ Москву его и справляемъ... А на Москвѣ есть у насъ други пріятели, въ этомъ дѣлѣ силу они разумѣютъ. Господь ихъ вѣдаетъ какою хитростью дѣлаютъ они изъ нашего песку золото, а на нашу долю сколько его причтется, деньгами высылаютъ... По наукѣ, касатикъ ты мой, по наукѣ, до этого доходятъ, а мы что? Люди слѣпые, темные, куда намъ разумѣть такую силу!...

Задумался Чапуринъ.... Обращаясь къ отцу Михаилу, сказалъ онъ:

— Вотъ и я тоже говорю Якиму Прохорычу: прежде испытать надо, а потомъ за дѣло браться.

— Справедлива рѣчь твоя, любезненькой ты мой, отвѣчалъ игуменъ,—справедливая рѣчь!... „Искуси и познай“, въ Писаніи сказано. Безъ испытанія нельзя.

— Вотъ и думаю я съѣздить въ городъ, сказалъ Патапъ Максимычъ,—тамъ дружокъ у меня есть, по этой самой наукѣ доточный. На царскихъ золотыхъ промыслахъ служилъ.... Дамъ ему песочку, чтобъ испробовалъ можно ль изъ него золото дѣлать.

— Что жь, съѣди, съѣди, любезненькой ты мой!... Увѣрься!... Не соваться же и въ самомъ дѣлѣ въ воду, не спросясь броду? говорилъ игумень.

Паломникъ съ досады опять вскочилъ, пройдясь раза два по кельѣ, сердито онъ взглянулъ на отца Михаила и вышелъ.

— А много ль примѣрно каждый годъ наберете вы этого песку? спросилъ Патапъ Максимычъ игумна.

— Да что наше дѣло! Совсѣмъ пустое, отвѣчалъ отецъ Михаилъ.—Ино лѣто чуть не полпуда наберешь, а пользы всего цѣлковыхъ на сто, либо на полтора ста получишь....

— Что такъ мало? спросилъ Патапъ Максимычъ. — Вѣдь золота пудъ на плохой конецъ двѣнадцать тысячъ цѣлковыхъ.

— Ахъ, ты любезненькой мой!... Что же намъ дѣлать-то? отвѣчалъ игумень. — Дѣло наше заглазное. Кто знаетъ много ль у нихъ золота изъ пуда выходитъ?... Какъ повѣрить?... Что дадутъ, и за то спаси ихъ Христосъ Царь Небесный!... А вотъ какъ бы намъ съ тобой да настоящіе промысла завести, да дѣло-то бы дѣлать не тайкомъ, а съ вѣдома начальства, куда бы много пользы получили.... Можетъ-статься не одну бы сотню пудовъ чистаго золота каждый годъ получали...

Смелкъ Патапъ Максимычъ. Погрузился онъ въ расчеты. Между тѣмъ вошелъ Стуколовъ и еще суровѣй взглянулъ на отца Михаила. Тотъ вздохнулъ тяжело, опустилъ на лобъ камилавку и потупилъ глаза.

— Что же? Какое теперь будетъ твое рѣшеніе? спросилъ у Патапа Максимыча Стуколовъ.

— Да я не прочь, только напередъ съѣзжу увѣриться, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.

— Когда поѣдешь? спросилъ паломникъ.

— Откуда прямо, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.

Пѣтухи запѣли, отецъ Михаилъ съ мѣста поднялся.

— Ахти, закалялся я съ тобой, разлюбезной ты мой Патапъ Максимычъ, сказалъ онъ.—Слышь вторы кочета поютъ, а мнѣ къ утрени надо вставать.... Простите, гости дорогіе, усните, успокойтесь.... Отецъ Спиридоній все изготавилъ про васъ: тебѣ, любезенькой мой Патапъ Максимычъ вотъ въ этой келійкѣ постлано, а здѣсь налѣво Якиму Прохорычу съ Самсономъ Михайлычемъ. Усни во здравіе, касатикъ мой, а завтра съ утра въ баньку пожалуй.... А что, на сонъ-отъ градуцій, мадерцы рюмочку не искушаешь ли?

Патапъ Максимычъ съ Дюковымъ выпили по рюмкѣ, выпилъ и гостепріимный хозяинъ. Паломникъ мрачно простился съ отцомъ Михаиломъ.

Крѣпко полюбился игуменъ Патапу Максимычу. Больно по нраву,пришлись и его простодушное добросердечіе, его на каждомъ шагу замѣтная домовитость и умѣнье вести хозяйство, а пуще всего то что умѣеть людей отличать и почетъ воздавать кому слѣдуетъ. „На все гораздъ, думалъ онъ, укладываясь спать на высоко взбитой перинѣ: молебень ли справить, за чарочкой ли побесѣдовать.... Посто-янный старецъ!... Надо наградить его хорошенъко!“

Увѣренія игумна насчетъ золота пошатнули нѣсколько въ Патапѣ Максимычѣ сомнѣнье, возбужденное разгово-рами Силантъя. „Не станетъ же врать старецъ Божій, не станетъ же душу свою ломать—не таковъ онъ человекъ“, думалъ про себя Чапуринъ и рѣшилъ непремѣнно при-няться за золотое дѣло, только испробуетъ купленный песокъ. „Самъ игуменъ совѣтуетъ, а онъ человекъ обсто-

ательный, не то что Якимъ торопыга. Ему бы все тотчасъ вынь да положижь“.

Въ думахъ о ветлужскихъ сокровищахъ сладко заснулъ Патапъ Максимычъ, богатырскій храпъ его скоро раздался по гостиницѣ. Паломникъ и Дюковъ еще не спали, и слышавъ храпъ сосѣда, тихонько межъ собой заговорили.

— Экъ его старого хрѣна дернуло! шепталъ паломникъ.— Чѣмъ бы завѣрять да уговаривать, а онъ въ городъ совѣтуетъ: „Повѣжай, увѣрься!“ Кажется все толкомъ писалъ къ нему съ Силантьевымъ сыномъ—такъ вотъ поди же ты съ нимъ.... Совсѣмъ изъ ума выступилъ!

— Что жъ, пушай его съѣздить, молвилъ Дюковъ.

— Пушай съѣздить! передразнилъ паломникъ пріятеля.—А что Силантій-отъ продалъ ему? Какой у него песокъ-отъ?

— Мяконькой? улыбнувшись спросилъ Дюковъ.

— То-то я есть, отвѣтилъ Якимъ Прохорычъ. — Надо дѣло поправлять.

— Надо, согласился Дюковъ.

— Ты вотъ что сдѣлай, говорилъ паломникъ.—Въ баню съ нимъ виѣстѣ ступай, подольше его задерживай, я управлюсь тѣмъ временемъ. Смекаешь?

— Ладно, сказалъ Дюковъ.

— Сибирскимъ подиѣню, настоящимъ.

— Понимаю.

— Цѣлковыхъ на триста отсыпать придется, ворчалъ Стуколовъ.—Ишь оно пустое-то мелево чего стоить!... Триста цѣлковыхъ не щедки.... Поди-ка выручай потомъ.

— Выручишь! сказалъ Дюковъ.

— Выручимъ ли съ Патапа, нѣтъ ли, а завтра же я триста цѣлковыхъ со стараго болтуна справлю... Эка языкъ-отъ не держится.... Слышалъ?... Вѣдь онъ чуть-чуть про картинки не брякнулъ....

— Да.... Я, признаться, струхнулъ, молвилъ Дюковъ.

— Писано было ему, старому псу, подробно все писано: и какъ у воротъ подольше держать, и какую службу справить, и какъ принять, и что говорить, и про рыбную пищу писано и про баню, про все. Прямехонько писано, чтобъ окромя золотого песку никакихъ рѣчей не заводилъ.—А онъ гляди-ка ты!

— Да, согласился Дюковъ.

— Хоть бы тысченокъ десять съ Патапа слупить, молвилъ паломникъ.—И за то бы можно было благодарить Создателя.... Ну, да утро вечера мудренѣе—прощай, Самсонъ Михайлычъ.

— Спокойной ночи, отвѣчалъ зѣвая полусонный Дюковъ и повернувшись на бокъ заснулъ.

Но паломникъ еще долго ворочался на тюфакъ—жалъ было ему разставаться съ сибирскимъ пескомъ.

Поднялись ранехонько, на зарѣ, часу въ шестомъ. Только узналъ игумень что гости поднимаются, самъ поспѣшилъ въ гостиницу, а тамъ отецъ Спиридоній ужъ возится вокругъ самовара.

— Что, гости дорогіе, какво спали-ночевали, весело ль вставали? радушно улыбаясь привѣтствовалъ Патапа Максимыча съ товарищами отецъ Михаилъ.

— Важно спали, честный отче! отвѣтилъ Патапъ Максимычъ.—Ужъ такъ ты насъ упокоилъ, такъ уважилъ что во-вѣки не забуду.

— Ахъ, ты любезненькой мой!... говорилъ игумень, обнимая Патапа Максимыча.—Касатикъ ты мой!... Клопы-то не искушали ли?... Давно гостей-то не бывало, поди голодны, собаки.... Да не мало ль у васъ сугрѣву въ кельѣ-то было?... Никакъ студено?... Отецъ Спиридоній, вели-ка мальцу печи поскорѣе вытопить, да чтобы скуталь ихъ во-время, угару не напустилъ бы.

Молча поклонился гостинникъ и поспѣшилъ исполнить велѣніе настоятеля.

— А въ баньку-то? спросилъ игуменъ Патапа Максимыча.—Ужь опарили.... Коли жарко любишь, теперь бы шель. Мы грѣшныя за часы поидемъ, а ты тѣмъ временемъ попарься.

По строгому монастырскому уставу, что содержится въ скитахъ, баня не дозволяется. Мыться въ банѣ, купаться въ рѣкѣ, обнажать свое тѣло — великій грѣхъ; а ходить въѣкъ свой въ грязи и всякой нечистотѣ—богоугодный подвигъ, подъятый ради умерщвленія плоти. Возненавидѣ тѣло свое, смирай его постомъ, бдѣніемъ, безчестными земными поклонами, наложи на себя тяжелыя вериги, веселись о каждой ранѣ, о каждой болѣзни, держи себя въ грязи и съ радостью отдавай тѣло на кормленіе насѣкомымъ—вотъ завѣтъ византійскихъ монаховъ, перенесенный святошами и въ нашу страну. Но не весь этотъ завѣтъ исполняется. Старые народные обычаи крѣпко держатся, и баня съ вѣниками, которыми, говорятъ, еще апостолъ Андрей дивовался на Ильмени, удержалась и въ пустыняхъ, и въ монастыряхъ, несмотря на греческія проклятыя. Не ходятъ въ баню лишь тѣ скитскіе жители, что самое подвижное житіе провождаютъ, да и тѣ ину пору не могутъ устоять противъ „демонскаго стрѣлянія“ — парятся.

Въ Красноярскомъ скиту отъ бани никто не отрекался, а самъ игуменъ ждать бывало не дожидается субботы, чтобъ хорошенько пропарить грѣшную плоть свою. Отъ того банька и была у него построена на славу: большая, свѣтлая, просторная, съ липовыми полками и лавками, мѣнявшимися чуть не каждый годъ.

Узнавъ изъ письма присланнаго паломникомъ изъ Лукерьи, что Патапа Максимыча хоть обѣдомъ не корми, только выпарь хорошенько, отецъ Михайлъ тотчасъ по-

слать въ баню троихъ трудниковъ съ скобелями и рубанками, и велѣлъ имъ какъ можно чище и глаже выстрогать всю баню—и полки, и лавки, и полъ, и стѣны, чтобы вся была какъ новая. Чуть не съ полночи жарили баню, варили щелоки, кипятили квасъ съ мятой для распариванья вѣшниковъ и поддаванья на каменку.

Диву дался Патапъ Максимычъ войдя въ баню, уваженіе его къ отцу Михаилу удвоилось. Такой баней сроду никто не угощалъ его. Въ передбанникѣ на лавкахъ высокó, въ нѣсколько рядовъ, наложены были кошмы, покрытыя бѣлыми простынями, весь полъ устланъ войлоками, а на нихъ раскидано пахучее сѣно, крѣпкое тоже простынями. Въ банѣ на полкахъ и на лавкахъ насланы были обданные кипяткомъ калуферъ, мята, чаберъ, донникъ \* и другія пахучія травы. На лавкахъ лежали вѣшники, стояли мѣдные луженые тазы со щелокомъ и взбитымъ мыломъ, а рядомъ съ ними большіе тесы, \*\* налитые подогрѣтымъ на мятѣ квасомъ для окачиванія передъ тѣмъ какъ лѣзть на полокъ. На особомъ, крытомъ скатертью столикѣ разложены были суконки, мелко расчесанныя вехотки \*\*\* и куски казанскаго яичнаго мыла.

— Сумѣлъ банькой употчивать отецъ игуменъ, молвилъ Патапъ Максимычъ дюжимъ бѣльцамъ, посланнымъ его парить.—Вотъ баня такъ баня, хотъ царю въ такой париться. Ай да отецъ Михаилъ!

Двѣ пары вѣшниковъ охлытали бѣльцы о Патапа Максимыча, а онъ таялъ въ восторгѣ да покрикивалъ:

---

\* Калуферъ или кануферъ—*balsamita vulgaris*; чаберъ—*satyria hortensis*; донникъ—*melilotus officinalis*.

\*\* Буракъ сдѣланный изъ бересты съ тугою деревянною крышкою.

\*\*\* Вехотка—пучокъ расчесаннаго мочала. Суконка—лоскутъ сукна или байки, которыми мылятся.



— Поддавай, поддавай еще!... Прибавь парку, миленькіе!... У, жарко!... Поддавай, а ты поддавай!...

И дюжіе бѣльцы, не жалѣя мятнаго квасу, плескали на спорникъ \* тѹсєъ за тѹсєомъ, и не жалѣя Патапа Максимыча, изо всей силы хлытали его какъ огонь жаркими вѣниками.

Вдругъ Патапъ Максимычъ прыгнулъ съ полка и стремглавъ кинулся къ дверямъ. Распахнувъ ихъ, вылетѣлъ вонъ изъ бани и бросился въ сугробъ. Снѣгъ обжегъ раскаленное тѣло, и съ громкимъ гоготаньемъ началъ Чапуринъ валяться по сугробу. Минуты черезъ двѣ вбѣжалъ назадъ и прямо на полѣкъ.

— Хлыщи жарче, ребятушки!... Поддавай, поддавай, миленькіе!... кричалъ онъ во всю мочь, и бѣльцы принялись хлытать его пуще прежняго.

Три раза валялся въ сугробъ Патапъ Максимычъ, дюжину вѣниковъ охлытали объ него здоровенные бѣльцы, цѣлый жбанъ холоднаго квасу выпилъ онъ, запивая банный паръ, насилу-то насилу отпарился.

И когда легъ въ передбанникъ на разостланныя кошмы, совсѣмъ умилился душой, вспоминая гостепріимнаго игумна.

— На все гораздъ отецъ Михайлъ, говорилъ онъ Дюкову,—а ужъ насчетъ бани, просто сказать, первый чело-вѣкъ на свѣтѣ.

— Старецъ хорошій, чуть слышно промычалъ Дюковъ и задремалъ на кошмѣ. Онъ тоже упарился.

Между тѣмъ какъ Патапъ Максимычъ наслаждался къ банѣ, паломникъ, рассчитавъ время, тихими стопами вышелъ изъ часовни и отправился въ гостиницу. Тамъ за-

---

\* Крупный булжникъ въ банной каменкѣ; мелкій зовется „конопляникомъ“.

перся изнутри и вошелъ въ келью гдѣ ночевалъ Патапъ Максимычъ. Порывшись въ его пожиткахъ, скоро нашелъ пузырекъ взятый у Силантыя. Стуколовъ поспѣшно его опорожнилъ и насыпалъ своимъ пескомъ. Положивъ пузырекъ на прежнее мѣсто, паломникъ преспокойно отправился въ часовню и тамъ усердно сталъ перебирать лѣстовку, искоса взглядывая на игумна. Взоры ихъ наконецъ встрѣтились. Смутившійся игуменъ возвелъ очи горѣ.

Въ келарнѣ потрапезовали, когда Патапъ Максимычъ съ Дюковымъ воротились изъ бани. Игуменъ поспѣшилъ въ гостиницу.

— Ну, банька же у тебя, отче!... сказалъ Патапъ Максимычъ, низко кланаясь отцу Михаилу. — Спасибо.... Вотъ уважилъ, такъ уважилъ!...

— Ахъ, ты любезненькой мой! Ахъ, ты касатикъ мой! восклицалъ игуменъ, обнимая Патапа Максимыча. — Уже не взыщи Христа ради на убогихъ нашихъ недостаткахъ... Мы ото всей души, родненькой... Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады.

— Не ложно скажу тебѣ, отче, сроду такъ не паривался. Ужъ такая у тебя банька, такая банька, что рассказать невозможно... говорилъ Патапъ Максимычъ.

— Послѣ баньки-то выкупать надо, молвилъ игуменъ, наливая рюмку сорокотравчатой, — да и за столъ милости просимъ. Не взыщи только, любезненькой ты мой Патапъ Максимычъ.

Обѣдъ былъ поданъ обильный, кушаньямъ счету не было. На первую перемину поставили разные пироги постные и рыбные. Была кулебяка съ пшеномъ и грибами, была другая съ визигой, жирами, молоками и сибирской осетриной. Кругомъ ихъ, ровно малыя дѣтки вокругъ родителей, стояли блюда съ разными пирогами и пряженцами. Какихъ тутъ не было!... И кислые подовые на орѣховомъ маслѣ, и пряженцы съ семгой, и ватрушки съ грибами,

и оладьи съ зернистой икрой, и пироги съ тѣльнымъ изъ щуки. Управились гости съ первой перемѣной, за вторую принялись: для постника Стуколова поставлены были лапша соковая да щи съ грибами, а разрѣшившимъ постъ уха изъ жирныхъ ветлужскихъ стерлядей.

— Покушай ушійцы-то, любезненькой ты мой, угощаль отецъ Михайль Патапа Максимыча,—стерлядки кажись ничего себѣ, подходящія, говорилъ онъ, кладя въ тарелку дорогому гостю два огромныя звена янтарной стерляди и налимьи печенки. За ночь нарочно гонялъ на Ветлугу къ ловцамъ. Отъ насъ вѣдь рукой подать, верстъ двадцать. Заходятъ и въ нашу Усту стерлядки, да не часто.... Растегайчиковъ къ ушійцѣ-то!... Кушайте, гости дорогіе.

Отработалъ Патапъ Максимычъ и ветлужскую уху и растегайчики. Потрудились и сотрапезники, не успѣли оглянуться какъ блюдо растегаевъ исчезло, а въ мискѣ на доньшкѣ лежали однѣ стерляжьи головки.

— Винца-то, любезненькой ты мой, винца-то благослови, подчиваль игумень, наливая рюмки портвейна. — Толку-то я мало въ заморскихъ винахъ понимаю, а люди пили да похваливали.

Портвейнъ оказался въ самомъ дѣлѣ хорошимъ, Патапъ Максимычъ не заставилъ гостепріимнаго хозяина много просить себя.

Новая перемѣна явилась на столъ—блюда россольныя.... Тутъ опять явились стерляди разварныя съ солеными огурцами, да морковью, кромѣ того поставлены были осетрина холодная съ хрѣномъ, да бѣлужья тѣшка съ квасомъ и капустой, тавранчукъ осетрій, щука подъ чеснокомъ и хрѣномъ, нельма съ солеными подновскими огурцами, а постнику грибы разварные съ хрѣномъ, да тертый горохъ съ орѣховымъ масломъ, да каша соковая съ маковымъ масломъ.

За россольной переѣвной были поданы жареная осетрина, леши начиненные грибами и непомѣрной величины карасы. Затѣмъ сладкій пирогъ съ вареньемъ, левашники, оладьи съ сотовымъ медомъ, сладкіе кисели, кievское варенье, ржевская пастела, и отваренные въ патоку дыни, арбузы, груши и яблоки.

Такой обѣдъ закатилъ отецъ Михаилъ.. [А пригото-влено все было хоть бы Никитишнѣ въ пору. А наливки одна другой лучше: и вишневка, и ананасная, поляникова, и морошка, и царица всѣхъ наливокъ, благовонная сибирская облепиха. \* А какое пиво монастырское, какіе меда ставленные—чудо. Таково было „учрежденіе“ гостямъ въ Красноярскомъ скиту.

Насилу перетаскились отъ стола до постелей, Паташъ Максимычъ какъ завелъ глаза такъ и пустилъ храпъ и свистъ на всю гостиницу. Отецъ Михей да отецъ Спиридоній едва въ силу убрались по кельямъ, возсылая хвалу Создателю за дарованіе гостя, ради коего разрѣшили они надокучившее сухоядѣніе, смѣнили гороховую лапшу на диковинныя стерляди и другія лакомыя яства. Отецъ Михаилъ, угощая другихъ, и себя не забывалъ. Не пошелъ онъ къ себѣ въ келью, а кой-какъ дотащившись до постели паломника, заснулъ богатырскимъ сномъ, поочавъ передъ тѣмъ маленько и сотворивъ не одинъ разъ молитву: „согрѣшихъ предъ Тобою Господи чревоугодіемъ, пiанственнаго питiя вкушеніемъ, объяденіемъ, невоздержаніемъ“....

Дюковъ тоже завалился на боковую. Одинъ только постникъ Стуколовъ остался свѣжимъ и бодрымъ.... Когда сотрапезники потащились къ постелямъ, презрительно

---

\* Поляника или княженика—*rubus arcticus*; облепиха—*hippophæa rhamnoides*, растетъ только за Уральскими горами.

поглядѣлъ онъ на объѣвшихся, сѣлъ за столъ и принялся писать письма.

Часа черезъ полтора игуменъ и гости проснулись. Отецъ Спиридонъ притащилъ огромный мѣдный кунганъ съ холоднымъ игристымъ малиновымъ медомъ, его не замедлили опорожнить. Послѣ того отецъ Михаилъ сталъ показывать Патапу Максимычу скитъ свой....

И братскія кельи, и хозяйственныя постройки срублены были изъ толстаго кондоваго лѣса, а часовня, келарня и настоятельская „стая“ изъ такой лиственницы, что ее облюбовалъ бы каждый строитель корабля. Все было пригнано въ плотную, ничего не покосилось, ничего не выдалось ни впередъ, ни назадъ. Не было на кельяхъ ни вышекъ, ни теремковъ, никакихъ другихъ украшеній, за то глядѣли онѣ богатырскими покаями. Внутри келій не было такъ приглядно и нарядно какъ въ женскихъ скитахъ: большіе, тяжелые столы, широкія лавки на толстыхъ, въ цѣлое бревно ножкахъ, изразцовыя печи и деревянныя столярной работы божницы въ углахъ, вотъ и все внутреннее убранство. Ни зеркальца, ни картинки на стѣнѣ, ни занавѣски, ни горшковъ съ бальзаминомъ и розанелью на окнахъ, столь обычныхъ въ Комаровѣ и другихъ Чернораменскихъ обителяхъ, въ заводѣ не было у красноярской братіи. Только и было сходства съ женскими скитами въ опрятности и удушливомъ запахѣ ладана и восковыхъ свѣчъ. Въ сѣняхъ между кельями понастроено было несчетное число чулановъ, отдѣлявшихся не жиденькими перегородками, а толстыми ипшениными срубами. И вездѣ такъ широко и просторно. Не то что въ кельѣ, въ каждомъ чуланѣ съ привольемъ могла бы помѣститься любая крестьянская семья изъ степныхъ, безлѣсныхъ нашихъ губерній.

У отца Михаила заведенъ былъ особый порядокъ: об-

щежитіе шло на ряду съ собственнымъ хозяйствомъ старцевъ. И монахи, и бѣльцы получали отъ обители пищу и одежду, но каждый имѣлъ и свои деньги. На эти деньги и ѣли послаще въ своихъ кельяхъ и платье носили получше того какое каждый годъ раздавалъ имъ казначей. Большею частью старцы Божьи изводили свои денежки на „утѣшеніе“, то-есть на чай да на хмѣльное и разныя къ нему закуски. Рѣдкій день бывало пройдетъ чтобъ честныя отцы не сбирались у кого-нибудь вкупѣ: чайку попить, пображничать, да отъ Писанія побесѣдовать; а праздникъ придетъ, у игумна утѣшаются, либо у казначея. Такъ и коротали дни свои небесные ангелы, земные же человѣки, проводя время то на молитвѣ, то на работѣ, то за утѣшеніемъ. Монастырь былъ богатый, и братія весело поживала во всякомъ довольствѣ и даже избыткѣ.

На конный дворъ пошли, тамъ стояли лошади рослыя, жирныя, откормленныя, шерсть на нихъ такъ и лоснится. Сыплютъ имъ овса, задаютъ сѣна безъ счету, безъ мѣры, за то и кони были не чета деревенскимъ, мужичьимъ клячамъ, слоны слонами. На что хороши разгонныя лошади у Патапа Максимыча, да нѣтъ, далеко имъ до игуменскихъ. Заглянули въ сарай, тамъ телѣги здоровенныя, кибитки съ кожаными верхами и юфтовыми запонами, казанскіе тарантасы, и все это на желѣзныхъ осяхъ съ шинами въ два пальца толщиной, все таково крѣпко да плотно сработано и все такое новое, ровно сегодня изъ мастерской.... Отправились на скотный дворъ, тамъ десятка четыре рослыхъ, жирныхъ холмогорскихъ коровъ, любо дорого посмотреть, каждая корова Тамбовской барыней смотритъ. А на птичьемъ дворѣ куры всѣхъ возможныхъ породъ, отъ великановъ голландовъ до крошекъ шпановъ. Въ особомъ помѣщеніи содержались гуси, утки,

индѣйки, цесарки, это ужь такъ для охоты, и ради „утѣшенъ“ мірскихъ гостей, посѣщавшихъ честную обитель во время мясоѣдовъ.

Въ работныя кельи зашли, тамъ на монастырскій обиходъ всякое дѣло дѣлають: въ одной кельѣ столярничаютъ и точать, въ другой бондарь работаетъ, въ третьей слесарня устроена, въ четвертой иконописцы пишутъ, а тамъ пекарня, за ней квасная. Въ сторонѣ кузница поставлена. И вездѣ кипитъ безустанная работа на обительскую потребу, а иное что и на продажу.... Еще была мастерская у отца Михаила, только онъ ея не показаль.

— Домовитый же ты хозяинъ, отецъ Михаилъ, сказалъ Патапъ Максимычъ, возвращаясь въ гостиницу. — Къ тебѣ учиться ѣздить нашему брату.

— Охъ, ты любезненькой мой! восклицаль игумень. — Какой ты, право! Ужъ куда тебѣ у нашего брата, убогаго чернца, учиться. Это ты такъ, только ради любви говоришь... Конечно, живемъ подъ святымъ покровомъ Владычицы, нужды по милости христолюбцевъ, нашихъ благодѣтелей, не терпимъ, а чтобъ учиться тебѣ у насъ хозяйствовать, это ты напрасное слово молвилъ.

— Не обыкъ я, зря, съ вѣтру говорить, отецъ Михаилъ, рѣзко подхватилъ Патапъ Максимычъ. — Коли говорю, значить дѣло говорю.

— Ну, ну, касатикъ ты мой! ублажалъ его игумень, замѣтивъ подавленную вспышку недовольства. — Ну, Христосъ съ тобой... На утѣшительномъ словѣ благодаримъ.

И низко, пренизко поклонился Патапу Максимычу.

— Живетъ у меня молодой парень, на всѣ дѣла руки у него золотыя, спокойнымъ голосомъ продолжалъ Патапъ Максимычъ — Прикащикомъ его сдѣлать по токарнямъ, отчасти по хозяйству. Больно приглянулся онъ мнѣ — башка разумная. А я старъ становлюсь, сыновьями

Восподь не благословилъ, помощниковъ нѣтъ, вотъ и хочу я этому самому прикащику не вдругъ, а такъ, знаешь исподоволь, помаленьку домовое хозяйство на руки сдать... А тамъ что Богъ дастъ....

— Что жь, дѣло доброе, коли человекъ надежный. Облегченіе отъ трудовъ получишь, болѣзненный ты мой, говорилъ отецъ Михаилъ.

— Надежный человекъ, молвилъ Патапъ Максимычъ.— А говорю это тебѣ, отче, къ тому, что если Богъ дастъ, увѣрюсь я въ нашемъ дѣлѣ, такъ я этого самого Алексѣя къ тебѣ съ извѣстиемъ пришлю. Онъ про это дѣло знаетъ, передъ нимъ не таишь. А какъ будетъ онъ у тебя въ монастырѣ, покажи ты ему все свое хозяйство, поучи парня-то... И ему пригодится, и мнѣ на пользу будетъ.

— Ладно, хорошо, любезненькой ты мой, все покажу, обо всякомъ дѣлѣ расскажу, отвѣчалъ игуменъ.—Что жь какъ ты располагаешься?.... Въ городъ откуда?

— Сегодня же въ городъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Погости у насъ убогихъ, гость нежданный да желанный, побудь съ нами денекъ-другой, дай наглядѣться на себя, любезненькой ты мой, уговаривалъ отецъ Михаилъ.

Но Патапъ Максимычъ не внималъ уговорамъ и велѣлъ запрягать лошадей.

На разставаньи, написалъ онъ записочку и подаль ея отцу Михаилу.

— Пошли ты, отче, съ этой запиской работника ко мнѣ въ Красную Рамень на мельницу, сказалъ онъ,—тамъ ему отпустить десять мѣшковъ крупчатки... Это честной брати ко Христову дню на куличи, а вотъ это на сыръ да на красны яйца.

И вручилъ отцу Михаилу четыре сотенныхъ.

— Ахъ, ты любезненькой мой!... Ахъ, ты кормилецъ нашъ! восклицалъ отецъ Михаилъ, обнимая Патапа Ма-



ксимыча и цѣлуя его въ плечи.—Пошли тебѣ Господи добраго здоровья и успѣха во всѣхъ дѣлахъ твоихъ за то что памятуешь сира и убога.... Ахъ, ты касатикъ мой!... Да чтѣ это право мало ты погостилъ у насъ. Проглянулъ какъ молодой мѣсяцъ, глядь, анъ ужъ и нѣтъ его....

— Нельзя, отче, нельзя, пора мнѣ, и то замѣшкался... Дома есть нужныя дѣла, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.

— Не забудь же насъ, убогихъ, не покинь святую обитель.... Охъ, ты любезненькой мой!... Постой-ка, я на дорогу бутылочку тебѣ въ сани-то положу... Эй, отецъ Спиридоній!... Положи-ка въ кулечекъ облепихи бутылочки двѣ, либо три, полюбилась давеча она благодѣтелю-то, да поляниковки положъ да морошки.

— Напрасно, отче, право напрасно, отговаривался Патапъ Максимычъ, но долженъ былъ принять напутственные дары отца игумна.

Паломникъ съ утра еще жаловался что ему не здоровится. За обѣдомъ почти ничего не ѣлъ и вовсе не пилъ. Когда отецъ Михаилъ водилъ Патапа Максимыча по скиту, онъ прилежъ, а теперь слабымъ, едва слышнымъ голосомъ увѣрялъ Патапа Максимыча, что совсѣмъ разнемогся: головы не можетъ поднять.

— Поѣзжай ты въ городъ съ Самсономъ Михайлычемъ, говорилъ онъ,—а я здѣсь, Богъ дастъ, пообмогусь какъ-нибудь.... Авось эта хворь не къ великой болѣзни.

— Да какъ же мы безъ тебя, Якимъ Прохорычъ?... заговорилъ было Патапъ Максимычъ.—Съ тобой-то бы лучше, ты бы и самъ увѣрился.... Дѣло-то было тогда безъ всякаго сумнѣнія.

— И теперь знаю что оно безо всякаго сумнѣнія, ты вѣдь только Тома невѣрный, сказалъ Стуловъ.—Нѣтъ, не поѣду.... не смогу ѣхать, головушки не поднять.... Охъ!...

Такъ и горить на сердцѣ, а въ голову ровно молотомъ бьетъ....

— Когда жь свидимся? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Да ужь видно надо будетъ въ Осиповку пріѣхать къ тебѣ, со стопами отвѣчалъ Стуколовъ.— Коли Господь подниметь, праздникъ-отъ я у отца Михаила возьму.... Охъ!... Господи помилуй!... Стрѣльба-то какая!... Хворому человѣку какъ теперь по распутицѣ ѣхать?.., Охъ.... Заступнице усердная!... А тамъ на Оминой къ тебѣ буду..., Охъ!... Уксусу бы мнѣ что ли къ головѣ-то, либо капустки кочанной?...

Отецъ Спиридоній и уксусу и кочанной капусты принесъ. Стуколову обложили голову, но онъ начиналъ бредить, заговорилъ объ Опоньскомъ царствѣ, объ Египтѣ, о Бѣлой-Криницѣ.

— Эка бѣдняга! какъ его размочалило. Глядика-сь! тузилъ стоя Патапъ Максимычъ.

Дѣлать нечего, поѣхалъ съ однимъ Дюковымъ.

Отецъ игумень со всею братіей соборіи провожалъ новаго монастырскаго благодѣтеля. Сначала въ часовню пошли, тамъ канонъ въ путь шествующихъ справили, а оттуда до воротъ шли пѣши. За воротами еще разъ перепрощался Патапъ Максимычъ съ отцомъ Михаиломъ и со старшими иноками. Напутствуемый громкими благословеньями старцевъ и громкимъ лаемъ бросавшихся за повозками монастырскихъ псовъ, рѣзво покатылъ онъ по знакомой уже дорожкѣ.

Проводивъ гостя, отецъ Михаилъ пошелъ въ гостиницу къ разболѣвшемуся паломнику.

— Ахъ ты старшій дуракъ! вскричалъ больной, вскочивъ съ мѣста и швырнувъ съ головы капусту.—И рѣчью гово-

рено тебѣ и на письмѣ тебѣ писано, а ты, кисельная твоя голова, что надѣлалъ?... А?...

— Что жъ я такого надѣлалъ, Якимущка?... Кажись дѣло-то клеится, трусливо говорилъ отецъ Михайлъ.

— Клеится! передразнилъ игумна Стуколовъ.—Клеится! Шайтанъ что ли тебѣ въ уши-то дунулъ уговаривать его въ городъ ѣхать? Для того развѣ я привозилъ его? Ахъ ты безумный, безумный, шитая твоя рожа, вязанный носъ!

— Да что жъ ты ругаешься, Якимущка?... Вѣдь онъ и безъ того хотѣлъ въ городъ ѣхать, оправдывался игумень.—Какъ же бы я перечить-то сталъ ему, самъ разсуди.

— Твое дѣло было увѣрять его, тебѣ надо было говорить, что въ городъ нѣ по что ѣздить.... А ты что понесъ?... Эхъ ты, фофанъ, въ землю вкопанъ!... Ну еслибъ онъ сунулся въ городъ съ Силантьевскимъ-то пескомъ?... Самъ знаешь каковъ онъ.... Пропали бъ тогда всѣ мои труды и хлопоты.

— Прости Христа ради, отвѣчалъ отецъ Михайлъ.—Признаться, этого мнѣ и на умъ не впадало.

— То-то и есть. На умъ ему не впадало!... Эхъ ты сосновая голова, а еще игумень!... Поглядѣть на тебя, съ бороды какъ есть Авраамъ, а на дѣлѣ сосновый чурбанъ, продолжалъ браниться паломникъ.—Знаешь ли ты, старый хрычъ, что твоя болтовня, худо, худо, мнѣ въ триста серебромъ обошлась?... Да эти деньги у меня, братъ, не пропащія, ты мнѣ ихъ вынь да положи.... Много ли далъ Патапъ на яйца?... Подавай сюда....

— Да ты постой, погоди, не сбивай меня съ толку, молилъ отецъ Михайлъ, отмахиваясь рукою.—Скажи путемъ про какія ты деньги поминаешь?..

— Какъ бы ему не совѣтовалъ въ городъ ѣхать, онъ бы не вздумалъ этого, сказалъ Стуколовъ. — Чапуринъ совсѣмъ въ тебѣ увѣрился, стоило тебѣ слово сказать, ни

за что бы онъ не поѣхалъ.... А ты околесную понесъ.... Да чуть было и про то дѣло не проболтался.... Не толкни я тебя, ты бы такъ все ему и выложилъ.... Эхъ ты, ворона!...

Творя шепотомъ молитву и перебирая лѣстовку, смиренно слушалъ отецъ Михаилъ брань и попреки паломника. По всему видно было, что онъ ужъ не хозяинъ, а безотвѣтный рабъ Стуколова.

— Про какія же деньги ты спрашиваешь, Якимушка? робко спросилъ онъ.—Кажись мы съ тобою въ расчетѣ....

— Силантьевъ песокъ подмѣнить надо было... Понялъ?... Покамѣсть Чапуринъ парился, я ему сибирскаго на триста цѣлковыхъ засыпалъ.

— Ловко же спроворилъ ты, Якимушка, съ довольной улыбкой отвѣтилъ игумень.—Поддай тебѣ Господи добраго здоровья....

— Деньги подай, протягивая руку, сказалъ Стуколовъ.— Для того и хворымъ прикинулся я, для того и остался здѣсь, чтобы кровныя денежки мои не пропали.... Триста цѣлковыхъ!...

— Да какъ же это, Якимушка?... За что жъ мнѣ платить, касатикъ?... Полно, любезненькій мой, лебезилъ передъ паломникомъ отецъ Михаилъ....

— Жалкихъ рѣчей на меня не трать, сухо отвѣтилъ ему Стуколовъ.— Слава Богу не вечеръ другъ дружку спознали... Деньги давай!... Ты наболталъ, ты и въ отвѣтъ.

— Ну, такъ и быть, грѣхъ пополамъ—бери полтораста, Якимушка, сказалъ отецъ Михаилъ.

— А ты узоровъ-то не разводи!... Самъ знаешь цѣну сибирскаго песку. Сказано триста, и дѣло съ концомъ, рѣшительно отвѣчалъ Стуколовъ.— Спорить со мной не годится.

— Да уступи сколько-нибудь, возьми хоть двѣ сотенныхъ, торговался игумень.

— Деньги! крикнулъ паломникъ, схвативъ его за руку.

— Ну, двѣсти пятьдесятъ, молилъ игумень, жалобно глядя на Стуколова.

— Говорять тебѣ—деньги! на всю гостиницу крикнулъ паломникъ.

Дрогнувъ отецъ Михайлъ, отсчиталъ изъ денегъ, данныхъ Патапомъ Максимычемъ, триста цѣлковыхъ и подаль ихъ Стуколову. Тотъ не торопясь вынулъ изъ кармана истасканный, кожаный бумажникъ и спряталъ ихъ туда.

— Теперь о дѣлѣ потолокуемъ, сказалъ онъ спокойнымъ голосомъ, садясь на кресло.—Садись, отче!

Игумень сѣлъ и опустилъ голову.

— Съ моимъ пескомъ Чапуринъ увѣрится, началъ паломникъ. — Этотъ песокъ хоть на монетный дворъ — настоящий. Увѣрившись, Чапуринъ бумагу подпишетъ, три тысячи на ассигнаціи выдастъ мнѣ. Недѣли черезъ три послѣ того надо ему тысячъ на шесть ассигнаціями настоящего песку показать,—вотъ молъ на твою долю сколько выручено. Тогда онъ пятидесяти тысячъ цѣлковыхъ не пожалѣетъ.... Понялъ?

— Дальше-то что же? спросилъ игумень.

— Чать не впервѣй, отвѣтилъ паломникъ.

— Опасно, Якимушка, боязно.—Чапуринъ не кто другой. Со всякимъ начальствомъ знакомъ, къ губернатору вхожъ.... Не погубить бы намъ себя, говорилъ игумень.

— Обработаемъ—Богъ милостивъ, сказалъ на то Стуколовъ.

— Развѣ насчетъ картинокъ? \* Тутъ бы смирно сидѣлъ? прищурясь молвилъ игумень.

---

\* Фальшивыя ассигнаціи.

— На картинки не пойдетъ. Объ этомъ и поминать нечего, отвѣчалъ рѣшительно Стуколовъ.—Много ль у тебя землянаго-то масла?

— Не много наберется, отвѣчалъ игуменъ.—Къ Масляницѣ осетровъ привезли—полу фунта не нашлось.

— Ожидаешь еще?

— Къ празднику общались.

— Сколько?

— Вѣрно сказать не могу, отвѣчалъ игуменъ.—Съ Сибиряками-то въ послѣдній разъ я еще у Макарья видѣлся, общали за зиму фунтовъ пятокъ переслать, да вотъ что-то не шлютъ.

— По крайности шесть фунтовъ надо Чапурину предоставить, раздумывалъ Стуколовъ.

— У Дюкова можетъ есть?... сказалъ отецъ Михаилъ.

— Ни зернышка, отвѣчалъ паломникъ.

— Здѣшнимъ досыпать?

— Чтò пустяки-то городить!... Хлопочи на Ооминой бы шесть фунтовъ сибирскаго было.... А теперь ступай.—Къ вечеру подводу наряди....

— Куда жъ ты? спросилъ игуменъ.

— А тебѣ чтò за дѣло? сказалъ паломникъ. — Ступай съ Богомъ, не мѣшай... Мнѣ надо еще письмо дописать.

Отецъ Михаилъ помолился на иконы, низко поклонился сидѣвшему паломнику и пошелъ было изъ гостинной кельи. Стуколовъ воротилъ его съ полдороги.

— Картинокъ много? спросилъ онъ.

— Есть, шепотомъ отвѣтилъ отецъ Михаилъ.

— Много ль?

— Синихъ на двѣ тысячи, красныхъ на три съ половиной....

— Чтò лѣниво сталъ работать? слегка усмѣхнувшись молвилъ паломникъ.

— Боязно, Якимущка, прошепталъ игуменъ, наклонясь къ самому уху Стуколова.—Наѣзды пошли частые: намердни исправникъ двое сутокъ выжилъ, становой пріѣзжалъ.... Долго ль до бѣды?...

— Чать не каждый день наѣзжаютъ, а запоры у тебя крѣпкіе, собаки злыя—больно-то трусить, кажись бы, нечего.... Давай красныхъ, за каждую сотню по двадцати рублевъ „романовскими“. \*

— По тридцати намердни платили, молвилъ игуменъ.

— Была цѣна, стала другая. Неси скорѣй, получай семьсотъ рублей государевыхъ, сказалъ Стуколовъ.

— Обидно будетъ, Якимъ Прохорычъ, право обидно. Никогда такой цѣны не бывало.

— Мало ль чего прже не бывало, подхватилъ Стуколовъ.—Прже въ монастыряхъ и картинокъ не писали, а новѣ вотъ пишутъ. Всякому дневи довлѣтъ злба сго.

— Прикинь хошь пять рубликовъ, жалобно просилъ отецъ Михаилъ.

— Сказано двадцать, копѣйки не прикину.

— Ну, три рублевика!

— Ахъ, отче, отче, покачивая головой, сказалъ отцу Михаилу паломникъ.—Люди говорятъ—человѣкъ ты умный, на свѣтѣ живешь довслно, а того не разумѣешь, что на твоємъ товарѣ торговаться тебѣ не приходится. Ну, не возьму я твоихъ картинокъ, кому сбудешь?... Не на базаръ везти!... Бери, да не хнычь.... По рублику пристегну беззубому на орѣхи.... Неси скорѣе.

— По два бы прибавилъ, касатикъ, кланчилъ игуменъ.—Любезненькой ты мой!... Право обидно!

— Не ври, отче, надоѣлъ—неси скорѣе.

---

\* Такъ фальшивые монетчики зовутъ настоящія ассигнаціи, по родовой фамиліи Государя.

— А синихъ не надо? спросилъ отецъ Михаилъ.

— Синихъ не надо.

— Что такъ? Взялъ бы ужъ заодно.

— Синихъ не надо, стоялъ на своемъ паломникъ.

— Не все ль одно? Взялъ бы ужъ и синія. Я бы по двадцати отдалъ.

— Копѣйки не дамъ, рѣшительно сказалъ Стуколовъ.

— Да чѣмъ же онѣ тебѣ стали противны? Кажись картинки хорошія, уговаривалъ игумень.

— То-то и есть что не хорошія, подхватилъ Стуколовъ.—Слѣпой увидить какого завода. Тебѣ бы лучше ихъ вовсе не таять. Не ровенъ часъ, влопаешься.

— Сбывали же прежде, Якимушка, молвилъ игумень.— Авось Богъ милостивъ и теперь сбудемъ.... Дай хоть по восемнадцати.

— И въ руки такую дрянъ не возьму, отвѣчалъ паломникъ.—Погляди-ка на орла-то—хорошъ вышелъ, нечего сказать!... Курица, не орелъ, да еще одно крыло меньше другаго.... Мой совѣтъ: спусти-ка ты до грѣха весь пятирублевый струментъ въ Устѣ, кое мѣсто поглубже. Право....

— Пожалуй что и такъ, согласился игумень.... А послѣдышки-то взялъ бы, родной, право.... Не обидь старика, Якимушка.... Такъ ужъ и быть, бери по пятнадцати романовскихъ.

— Не надо.... Неси красныя....

Замаялся игумень на мѣстѣ, но Стуколовъ такъ на него крикнулъ, что тотъ почти бѣгомъ побѣжалъ изъ гостиницы.

Минуть черезъ пять отецъ Михаилъ принесъ красныя картинки и получилъ отъ паломника семьсотъ рублей. Долго опытный глазъ игумна разсматривалъ на свѣтъ каждую бумашку, мялъ между пальцами и оглядывалъ со всѣхъ сторонъ.



Якимъ Прохорычъ успѣлся дописывать письмо.

Переглядѣвъ бумажки, игуменъ заговорилъ было съ паломникомъ, называлъ его и любезненькимъ, и касатикомъ, но касатикъ, не поднимая головы, махнулъ рукой, и среброкудрый Михаилъ побрелъ изъ кельи на цыпочкахъ, а въ сѣняхъ строго на-строго наказалъ отцу Спиридонію самому не входить и никого не пускать въ гостиную келью, не помѣнать бы Якому Прохорычу.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Пріятель, къ которому изъ Красноярскаго скита проѣхалъ Патапъ Максимычъ—былъ отставной горный чиновникъ Колышкина. Громко и честно держалось на Волгѣ имя его. Два парохода у него бѣгало, съ Низу пшеницу до Рыбинска возили. Славно бѣгали, а лучше того зарабатывали. Не то что какіе-нибудь одиночные пароходчики, общества, компаніи завидовали дѣламъ Сергѣя Андреича. Тѣ сердечные бывало бьются на пристаняхъ чуть не до водополи, закликаютъ кладчиковъ, задаютъ пшеничникамъ дорогіе обѣды, дюжинами ставятъ передъ ними отборныя вина, проигрываютъ имъ въ тринку, да въ горку, а Сергѣй Андреичъ лежитъ себѣ на диванѣ, да сигаркой попыхиваетъ. Еще съ середины зимы у него ни заботъ, ни хлопотъ, на всѣ путины клади готовы и условія подписаны. Какъ же пароходчикамъ не завидовать Колышкину, какъ не стараться ему ножку подставить?... Дѣло извѣстное: счастливымъ быть—всѣмъ досадить.... А Сергѣй Андреичъ будто не замѣчаетъ, что глядятъ на него не дружески, смѣшками да шутками ото всякаго наровить отойти... А чтобъ кто Сергѣю Андреичу повредилъ хоть ка-

кою малостью, того не случалось. Охота вредить была, да спорыньи не было....

Душевный человекъ былъ этотъ Сергѣй Андреичъ. Гдѣ онъ—тамъ и смѣхъ и веселье; вонъ изъ бесѣды — хмара на всѣхъ.... — Любилъ шутку спутить, людей посмѣшить, себя позабавить. А кто людей веселить, за того свѣтъ стоитъ... И любили его, особливо простой народъ.

Съ рабочими былъ строгъ: всяко лыко у него въ строку. Зорко на дѣло глядѣлъ: малости не спускалъ. Ни прогула, ни безпорядка бывало не простить, за то ко всѣмъ справедливъ былъ. И рвались же къ нему на службу, а кто попалъ, тотъ за хозяина и за его добро радъ бывалъ и въ огонь и въ воду. Тѣмъ любъ былъ простонародью Сергѣй Андреичъ, что не было въ немъ ни спѣси, ни чванства, ни гордости.... Другой, наживя богатство, вздуется какъ тѣсто на опарѣ.... близко не подходитъ: шагаетъ журавлемъ, глядитъ козыремъ, и кромѣ своего же брата богатея знать никого не хочетъ. Сергѣй Андреичъ былъ не таковъ.... Приди къ нему въ обѣденный часъ хоть самый послѣдній кочегаръ—честь ему и мѣсто, хоть тутъ губернаторъ сиди. Говорили Колышкину пріатели: зачѣмъ такъ дѣлаетъ, хорошихъ людей обижаетъ, сажая за одинъ столъ со всякою чернотой да мелкотой. „Дѣ Бога намъ далеко, отвѣтитъ бывало Сергѣй Андреичъ. Верстаться съ Господомъ персти земной не приходится, а у Него Свѣта за небесной трапезой иной нищій выше царей сидитъ.... А я-то чтò?.. Знатнѣй Бога-то что ли?.. Аль родомъ-породой выше Его?.. Нѣтъ, братцы, самъ я не княжой, не дворянской крови, самъ изъ мужиковъ.... Родитель мой на заводѣ въ засыпкахъ \* жилъ, такъ мнѣ гордиться чѣмъ

\* Засыпкой на горныхъ заводахъ зовется рабочій, чтò въ доменную печь „товаръ“ (уголь, флюсъ, руду и толченый доменный сокъ) засыпаетъ.

статі? Дивовались Сергѣю Андреичу, за угломъ подсмѣивались, въ глаза никогда.... Да и совѣстно было смѣяться глядя на его голубые, лучистые глаза, что искрились умомъ горѣли добромъ и сіяли Божьею правдой....

Родомъ съ Урала былъ. На одномъ изъ тамошнихъ горныхъ заводовъ родитель его крѣпостнымъ мастеромъ значился. Сызмала до смерти кержачилъ онъ \*. Человѣкъ былъ домовитый, залежна копѣйка у него водилась, хоть и не гораздо большая. Была у Андрея Колышкина жена добрая, смиренная, по хозяйству заботная, — Анной звали, былъ сынъ Сергѣй, да дочка Маринушка... Жили себѣ Колышкины тихо да ладно, Бога хваля, ближняго любя. И промаячили бы вѣкъ свой на заводѣ, еслибъ юркость да затѣйность Сережи не повернули вверхъ дномъ всю ихнюю жизнь.

Шустрый мальченокъ росъ, смѣтливый, догадливый, развеселый такой. Десяти лѣтъ ему не минуло, а онъ ужъ всѣ заводскія пѣсни зналъ наизусть, такъ и заливается бывало звонкимъ голоскомъ на запольныхъ \*\* хороводахъ. Сережѣ семь лѣтъ минуло, и отецъ, помолясь пророку Науму, чтобъ отрока Сергѣя на умъ наставилъ, далъ ему въ руки букварь да указку и принялся учить его грамотѣ. По вечерамъ, какъ родитель бывало съ домны аль съ вагранки \*\*\* домой воротится, долбитъ передъ нимъ Сережа:

\* Кержачить—въ Пермской губерніи значитъ раскольниковать, кержакъ—раскольникъ. Это слово произошло отъ того что первыя раскольники поселившіеся на Уралѣ (въ дачахъ Демидовскихъ заводовъ) въ первыхъ годахъ XVIII вѣка пришли съ Керженца.

\*\* Запольными хороводами зовутся тѣ, что бывають внѣ завода (селенія при заводахъ зовутся заводами же). Запольемъ зовется на Уралѣ недалѣе поле....

\*\*\* Домна—большая чугуно-плавильная печь. Вагранкой—называется малая чугуно-литейная печь.

„Азъ, ангель, ангельскій, архангелъ, архангельскій“, а ут-ромъ тихонько отъ матери бѣжитъ въ заводское училище, куда родители его не пускали, потому что кержачили... и думали, что училище то бусурманское. Тамъ де учать бритоусы, да еще по гражданской грамотѣ, а гражданская грамота святыми отцами не благословленная, пошла въ міръ отъ Антихриста. Опять же въ заводскомъ училищѣ цифирной мудрости учать, а цифирь—наука богоотводная... Такъ судили-рядили Сережины отецъ съ матерью, а онъ бѣгаетъ себѣ да бѣгаетъ въ училище, а чему тамъ учится, отъ родителей держитъ въ тайнѣ....

Не дошелъ старикъ Колышкинъ съ сыномъ до „Святъ, святитель“, а тотъ ужъ по толкамъ и по титуламъ читаетъ. Засадила за Часословъ, а онъ перву каѳизму такъ и рѣжетъ.... Диву засыпка дался, что за сынъ такой у него уродился!.. Десяти годовъ нѣтъ, а онъ Псалтырь такъ и деретъ, хоть по мертвымъ читать посылай. „Малъ малышокъ—а мудрые пути въ себѣ кажетъ“.... думаетъ отецъ. Далъ ему Минею мѣсячную, далъ Минею цвѣтную — Сережѣ все ни почемъ.... Чему еще учить?... Одиннадцати годовъ нѣтъ, а мальчуганъ всю кержачку мудрость произошелъ.... И учиться больше нечему... „И откуда мнѣ сіе? раздумываетъ старикъ. Ужъ не въ семъ ли отрочати чаяніе нашей благочестной вѣры лежитъ?... Не отъ моего ль рожденія гласъ вѣщанія произыдетъ, не отъ него ль послѣдуетъ утвержденіе старой вѣры отцовъ нашихъ?“

А между тѣмъ Сережа, играючи съ ребятами, то меленку-вѣтрянку изъ лутошекъ соорудитъ, то круподерку либо толчею сладитъ, и все какъ надо быть: и меленка у него мелетъ, круподерка зерно деретъ, толчея сѣмя на сбойну бьетъ. Сводилъ его отецъ въ шахту \*, онъ и шахту сталъ на завалинкѣ рыть.

\* Колодезь для добыванія рудъ.

Въ то время изъ чужихъ краевъ прѣѣзжалъ на заводъ его владѣлецъ. Лѣтнимъ вечеромъ, проходя мимо дома Колышкиныхъ, замѣтилъ онъ мальчугана копавшагося подъ окнами. Это Сережа шахту закладывалъ. Понѣбилось это барину, понравилась и юркость мальчика, его свѣтлый, умный взоръ. Разговорился онъ съ Сережей, и вспало на мысль ему, что изъ засыпкина сына можетъ онъ сдѣлать знаменитаго человѣка, другаго Ломоносова — стоить только наукамъ его обучить. На утро старика Колышкина въ контору позвали, вольную для сына выдали и приказъ объявили: снаряжать его для отправки въ Питеръ съ золотухой \*.

День-деньской безъ шапки, мрачно понутивъ голову, простоялъ засыпка подъ барскими окнами, съ утра до вечера возлѣ него была и голосила Анна, Сережина мать.— Баринъ остался непреклоннымъ. Завидѣвъ его, Анна ринулась ницъ, и судорожно охвативъ за ноги барина, зачала причитать отчаяннымъ, нечеловѣческимъ голосомъ. Баринъ очень удивился, но не могъ понять материнскаго вопля; по-русски немного гораздъ былъ.... А мать молила его, заклинала всѣми святыми не басурманить ея рожденія, не поганить безгрѣшную душу непорочнаго отрока нечестивымъ ученьемъ, что отъ Бога отводитъ, къ бѣсомъ же на пагубу приводитъ.... Насилу оттащили.... Не обошлось безъ пинковъ и потасовки, а когда старикъ хотѣлъ отнять жену у десятскихъ и ему велѣно было десятка два засыпать.... Столь горячо радѣлъ заводскій баринъ о насажденіи наукъ въ Россіи.... Взглядывая на озлобленные глаза засыпки, на раскосмаченную Анну и плакавшаго навзрыдъ Сережу, утѣшалъ онъ мальчика сладкими рѣчами, подарилъ ему

---

\* Обозъ (транспортъ) съ золотомъ, серебромъ и драгоценными камнями, отправляемый раза по два въ годъ.

парижскихъ конфетъ и мнилъ о себѣ, что самому Петру Великому будетъ онъ въ вѣрсту, что онъ прямой продолжатель славныхъ его дѣяній—ввожу дескать разума свѣтъ въ темный, дикій народъ.

Раннимъ утромъ другаго дня тронулась съ завода золотуха. Сережу увезли. Къ вечеру старикъ Колышкинъ съ женой и четырнадцатилѣтнею Маринушкой безъ вѣсти пропали....

Межъ тѣмъ заводскій баринъ, убоясь русской стужи, убрался въ чужіе края, на теплыя воды, забывъ про петровскую свою работу и про маленькаго Колышкина. Забылъ бы и Русь, да не могъ: изъ нѣдръ ея зябкій баринъ получалъ свои доходы.

Попавъ на дорогу, Сережа съ пути не свернулъ. Вышелъ изъ него человѣкъ умный, сильный духомъ, работающій. Кончивъ ученье, поступилъ онъ на службу на сибирскіе казенные заводы, а потомъ работалъ на золотыхъ промыслахъ одной богатой компаніи.

Проѣзжая въ Сибирь, цѣлый мѣсяцъ Сергѣй Андреичъ прожилъ на родномъ Уралѣ... Про отца съ матерью все развѣдывалъ: куда дѣлись, что съ ними случилось.... Но ровно вихремъ снесло съ людей память про Колышкиныхъ.

Потужилъ Сергѣй Андреичъ, что не привелъ его Богъ поклониться сѣдинамъ родительскимъ, поплакать на изсохшей груди матери, привѣтить любовью сестру родимую, и поѣхалъ на старое пепелище, на родной заводъ—хоть взглянуть на мѣста гдѣ протекло дѣтство его....

И на заводѣ про его стариковъ ни слуху ни духу. Не нашелъ Сергѣй Андреичъ и дома, гдѣ родился онъ, гдѣ позналъ первыя ласки матери, гдѣ явилось въ душѣ его первое сознаніе бытія.... На мѣстѣ стараго домика стоялъ высокій каменный домъ. Изъ раскрытыхъ оконъ его неслись пѣсни, звуки торбана, дикіе клики пьяной гульбы....

Вверхъ дномъ поворотило душу Сергѣя Андреича, бѣжалъ онъ отъ трактира и тотчасъ же уѣхалъ изъ завода.

Въ Сибири Колышкинъ работалъ умно, неустанно и откладывалъ изъ трудовыхъ денегъ копѣйку на черный день. Но не мимо пословица молвится: „отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ“... Свѣковать бы въ денно-нощныхъ трудахъ Сергѣю Андреичу, еслибъ неожиданно-негаданно не повернула его судьба на иной путь. Вспомнили про сына родители, за гробомъ его вспомнили.

Какъ-то разъ зимнимъ вечеромъ сидѣлъ Колышкинъ одинъ въ своей рабочей комнатѣ, тишина была мертвая, только изъ сосѣдней горницы раздавались мѣрные удары маятника.... Вдругъ кто-то каплянулъ сзади его. Обернулся Сергѣй Андреичъ—видитъ старика въ длиннополой, осыпанной снѣгомъ сибиркѣ, съ заиндевелой отъ мороза густой бородой. У него въ рукахъ сундучокъ тагильскаго дѣла \* окованный росписною жестью.

— Что тебѣ? съ мѣста вскочивъ, спросилъ старика Колышкинъ.

— До твоей милости, Сергѣй Андреичъ, хриплымъ, едва слышнымъ голосомъ отвѣчалъ старикъ.

— Кто ты, откуда?

— Старикъ о Христѣ Ісусѣ, отозвался невѣдомый гость.—Посылочку принеся, прибавилъ онъ, ставя передъ Колышкинымъ сундучокъ и кладя возлѣ него ключъ.

— Отъ кого? спросилъ Сергѣй Андреичъ.

— Изъ лѣсовъ, отвѣчалъ странникъ.

---

\* Въ Тагилѣ (Верхотурскаго уѣзда) дѣлаютъ желѣзные подносы и сундуки изъ кедроваго дерева, обиваютъ желѣзомъ или жестью, раскрашиваютъ яркими красками и кроютъ прочнымъ лакомъ. Эти произведенія зовутся „тагильскимъ дѣломъ“.

— Изъ какихъ лѣсовъ?... Отъ кого?... спрашивалъ Колышкинъ, а самъ наклонясь сталъ разсматривать сундучокъ.

Отвѣта не было. Оглянулся Сергѣй Андреичъ, странника слѣдъ простылъ. Ни на дворѣ, ни на улицѣ не нашли его. Прислуга Колышкина не видала даже ни какъ онъ въ домъ вошелъ, ни какъ вышелъ.

Отперъ сундучокъ Сергѣй Андреичъ. Въ немъ свертокъ и письмо писанное уставомъ.

Сталъ читать:

„Его благородію господину Сергѣю Андреичу Колышкину грѣшнаго инока Серапіона землекасательное поклоненіе съ пожеланіемъ добраго здравія и всякаго земнаго благополучія. За извѣстіе даемъ вашему благородію, что мимошедшаго септемврія въ седьмый день, проживавшій въ нашемъ убогомъ братствѣ болѣе тридцати годовъ инокъ схимникъ Агапить отъ сея временныя жизни въ вѣчныя крovy преселися... А отходя сего свѣта, заповѣдалъ мнѣ, недостойному, молитися о немъ, къ вашему благородію, яко сыну по плоти, справиться сію посылку. Засимъ прекратя письмо сіе, остаемся доброжелатели вашего благородія, грѣшный инокъ Серапіонъ съ братією“.

Ни числа, ни мѣсяца, ни мѣста откуда письмо.

Въ сверткѣ лежало пятнадцать тысячъ рублей. Шесть тысячъ были завернуты въ особую бумажку, съ надписью: „лѣта 7343, іулія въ 21 день преставися инокъ Агнія.... Лѣта 7345, януарія 15 дня преставися дѣвица Марина“.

Только!... Вотъ и всѣ вѣсти полученныя Сергѣемъ Андреичемъ отъ отца съ матерью, отъ любимой сестры Маринушки. Много воды утекло съ той поры какъ оторвали его отъ родной семьи, лѣтъ пятнадцать и больше не видался онъ со сродниками, давно привыкъ къ одиночеству, но когда прочиталъ письмо Серапіона и записочку



на свертикѣ, въ сердцѣ у него захолонуло и Божій міръ пустымъ показался.... Кровь не вода.

Гдѣ, въ какихъ лѣсахъ, въ какихъ пустыняхъ, дожили свой вѣкъ старики?... Въ какихъ обителяхъ вѣчный сонъ смежилъ ихъ очи? На склонѣ ли Уральскихъ горъ, въ пустыняхъ ли Невьянскихъ и Тагильскихъ, иль между Осинскими сходцами \*, иль на славномъ по всему старообрядству Иргизѣ, или въ лѣсахъ Керженскихъ-Чернораменскихъ?... Никому не узнать!... Далекѣ и въ ширь и въ даль раскинулась земля Святорусская.... Кто изочтетъ въ ней дебри, лѣса и пустыни? Кто извѣдалъ въ ней всѣ „сокровенныя мѣста“, гдѣ живутъ и долго еще будутъ жить „люди подъ скрытіемъ“, кинувшіе постылую родину „сходцы“, доживающіе вѣкъ свой въ незнаемыхъ міру дебряхъ, вдали отъ людей, отъ большихъ городовъ и селеній?... Развѣ вольный вѣтеръ, что летаетъ отъ моря до моря, да солнце ясное знаютъ про всѣ мѣста сокровенныя!.. Да; они только вѣдали гдѣ кончили жизнь старики Колышкины....

Но отчего жъ они, посылая единородному сыну наследство, не послали ему ни привѣтнаго слова, ни родительской ласки, ни даже благословенья?... Понималъ это Сергѣй Андреичъ.... Схимнику Агапиту, инокиѣ Агніи горный чиновникъ былъ чужъ человѣкъ. Не рознь сословія — рознь вѣры разлучила стариковъ съ любимымъ сыномъ.... Суровъ, жестокъ завѣтъ старообрядскій: „не подобаетъ родительское благословеніе преподати сыну никоніанину“. Коротенькой запиской отецъ, съ матерью

---

\* Такъ на востокѣ Европейской Россіи и въ Сибири зовутъ выходцевъ изъ разныхъ губерній поселившихся въ обширныхъ, не извѣданныхъ еще лѣсахъ. Они живутъ не только въ разбросанныхъ по лѣсу зимницахъ и кельяхъ, но иногда цѣлыми деревеньками, не зная ни ревизій, ни податей, и никакихъ новинностей.

какъ будто говорили Сергѣю Андреичу: „прими отъ родившихъ тебя тѣльное земное наслѣдіе, но за гробомъ нѣтъ тебѣ части съ нами.—И блудникъ, и тать, и убійца наслѣдуютъ жизнь вѣчную, еретика же самая кровь мученическая очистить не можетъ. Нѣтъ тебѣ части съ нами.... Кое убо общеніе Христу съ Веліаромъ?“ Такія жестокія понятія казались бы несовмѣстными съ добродушіемъ мягкосердаго, любвеобильнаго нашего народа. Русскому человѣку нѣтъ ничего на свѣтѣ дороже любви родительской, нѣтъ ничего краше семейнаго лада... Откуда жъ взялась такая жестокость, столь обычная между старообрядцами?... Изъ чужихъ краевъ она принесена, чуждыми учителями на Русь навѣяна.... Безсердечные Византійцы, суровые слагатели отшельническихъ уставовъ, дышущіе злобой обличители еретичества древнихъ лѣтъ, мертвыми буквами своихъ писаній навѣяли на нашу добрую страну тлетворный духъ ненависти.... Лукавый духъ злобы подъ видомъ свѣтлаго благочестія успѣлъ проникнуть даже въ такую крѣпкую, въ такую твердую и любительную семейную среду, какова русская.... Сильна была Византія коварствомъ, лестью да хитростью... „Суть же Греци лстиви даже до сего дни“—давно сказано и вѣрно сказано первымъ русскимъ писателемъ. Только за то и спасибо Византіи, что по ея милости Русская земля съ римскимъ напою не зналась....

---

Прошелъ годъ-другой, послѣ полученія наслѣдства, Сергѣй Андреичъ живетъ не попрежнему, онъ былъ ужъ человѣкъ съ достаткомъ и вошелъ въ пай по золотымъ приискамъ... Счастье повезло ему... Въ тайгахъ—нашлись богатые россыпи, и онъ, какъ участникъ въ дѣлѣ, въ ко-

роткое время сталъ богачомъ.... Его товарищи по золотому дѣлу были все кабацкіе богатыри, набившіе карманы спиваньемъ народа смѣсью водки съ водой и дурманомъ.... Не лежало къ этимъ людямъ сердце Сергѣя Андреича, сталъ онъ смотрѣть какъ бы подобру поздорову да прочь отъ нихъ.... Раскóльничья кровь заговорила.... Извѣстно что во все время винныхъ откуповъ ни одинъ раскольникъ (а между ними много богачей) не осквернилъ рукъ прибыткомъ отъ народной порчи. Былъ одинъ... но того старообрядцы почитали за прокаженнаго.

Женился Сергѣй Андреичъ на дочери кяхтинскаго “компанейщика”, и взявъ за женой цѣнное приданое, отошелъ отъ кабацкихъ витязей. Наскучила ему угрюмая Сибирь, выѣхалъ въ Россію, поселился на привольныхъ берегахъ широкой Волги и занялся торговыми дѣлами, больше по казеннымъ подрядамъ.

Къ торговому дѣлу былъ онъ охочъ, да не больно гораздъ. Приѣхалъ на Волгу добра наживать, пришлось залезныя деньги проживать. Не пошли ему Господь добраго человѣка, ухнули бъ у Сергѣя Андреича и родительское наслѣдство, и трудомъ да удачей нажитыя деньги, и приданое женой принесенное. Все бы въ одну яму.

Тотъ добрый человѣкъ былъ Патапъ Максимычъ Чапуринъ. Спозналъ онъ Сергѣя Андреича, видитъ — человѣкъ хорошій, добрый, да хоть ретивъ и уменъ—а взялся не за свое дѣло, оттого оно у него не клеится, и вонъ изъ рукъ валится. Жалко стало ему безчастнаго Колышкина и вывелъ онъ его изъ темной трущобы на широкую дорогу.

— Наплюй ты, Сергѣй Андреичъ, на эти анаеѣмскіе подряды, послушайся меня, стараго торговца, говорилъ Патапъ Максимычъ.—Не ради себя, ради махонькихъ дѣтокъ своихъ послушайся, не пусти ты ихъ съ сумой подъ

оконья.... Вѣрь моему слову—году не минётъ, какъ вззоетъ у тебя мошна—и вонъ изъ кармана пойдетъ.... Тебѣ ли, другъ, съ казенными подрядами возжаться?... Тутъ, милый человѣкъ, надо плутомъ быть, а колъ не быть плутомъ, такъ всякое плутовство знать до ниточки, чтобы самого не оплели, не пустили бы пд-міру. Кинь, ради Христа, подряды.... Хоть убытки понесешь—наплевать, развяжись только съ этимъ проклятымъ дѣломъ скорѣй... Знаю я его вдоль и поперекъ.... Испробовалъ!... А вотъ построй-ка ты лучше пароводишко, это будетъ тебѣ съ руки, на этомъ дѣлѣ не сорвешься. Право такъ.

Послушался Колышкинъ, бросилъ подряды, купилъ пароходъ. Патапъ Максимычъ на первыхъ порахъ училъ его распоряжкамъ, пріискалъ ему хорошаго капитана, прикащиковъ, водоливовъ, лоцмановъ, свелъ съ кладчиками: самъ даже давалъ клади на его пароходъ, хоть и было ему на чемъ возить добро свое... Съ легкой руки Чапурина разжился Колышкинъ лучше прежняго. Года черезъ два покрылъ неустойку за неисполненный подрядъ, и воротилъ убытки... Прошло еще три года, у Колышкина по Волгѣ два парохода стало бѣгать.

Толстый, дородный, цвѣтуцій здоровьемъ и житейскимъ довольствомъ, Сергѣй Андреичъ сидѣлъ, развалившись въ широкихъ, покойныхъ креслахъ, читая письма пароходныхъ прикащиковъ, когда сказали ему о приходѣ Чапурина. Бросивъ недочитанные письма, рѣзвымъ ребенкомъ толстякъ кинулся на встрѣчу дорогому гостю. Звонко, радостно цѣлуя Патапа Максимыча, кричалъ онъ на весь домъ:

— Крѣстный!.. Ты ль, родной?.. Здорово!.. Здорово!.. Чтѣ запропалъ?... Видѣмъ не видать, слыхѣмъ не слыхать!.. Все ли въ добромъ здоровѣ?

— Ничего—живемъ да хлѣбъ жуемъ, отвѣчалъ улыбаясь Чапуринъ.—Тебя какъ Господь милуетъ?... Хозяюшка здорова ль?... Дѣточки?

Послѣ обычныхъ привѣтствій и разспросовъ, послѣ длиннаго разговора о кладяхъ на низовыхъ пристаняхъ, о томъ гдѣ больше оказалось пшеницы на свалѣ: въ Баронскѣ аль въ Балаковѣ, о томъ каково будетъ лѣтомъ на Харчевинскомъ перекаѣ да на Телячемъ бродѣ, о краснораменскихъ мельницахъ и горящинуѣ, послѣ чая и плотной закуски, Патапъ Максимычъ молвилъ Колышкину:

— А вѣдь я къ тебѣ съ докукой, Сергѣй Андреичъ. Нарочно для того и въ городъ меня примчало.

— Приказывай, крёстный, что ни велишь, мигомъ исполнимъ, только бы мочи да умѣнья хватило, отвѣчалъ Колышкинъ.

— Мое дѣло во всей твоей мочи, Сергѣй Андреичъ, сказалъ Патапъ Максимычъ.— Окромя тебя по этому дѣлу на всей Волгѣ другаго человѣка пожалуй и нѣтъ. Только ужъ Христа ради не яви въ проносъ тайное мое слово.

— Эка что ляпнулъ! вскрикнулъ Колышкинъ.— Не ухороню я тайнаго слова своего крестнаго!.. Да не грѣхъ ли тебѣ толстоброхому такое дѣло помыслить?... Аль забылъ что живу и дышу тобой?.... Теперь мои ребятки бродили бъ подъ бѣльемъ какъ бы Господь не послалъ тебя ко мнѣ съ добрымъ словомъ.... Обидво даже, крёстный, такія рѣчи слушать—право.

— Ну, ну, не сердчай, говорилъ Патапъ Максимычъ.— Не въ ту силу говорено, что не вѣрю тебѣ.... На всякій случай, опаски ради слово молвилось, потому дѣло такое—проносу не любить, надо по тайности.

— Ну, сказывай какое дѣло? молвилъ Колышкинъ.

— Дѣло такое, Сергѣй Андреичъ, что тебѣ, по твоей наукѣ, оно солнца яснѣй, а нашему брату, человѣку слѣпому, неученому—потемки—какъ есть потемки... Научи умуразуму....

— Что жъ такое?

— Видишь ли: у насъ въ лѣсахъ, за Волгой, рѣка есть, Ветлугой зовется.... Слыхалъ?

— Знаю, отвѣчалъ Колышкинъ. — Какъ Ветлугу не знать?... Не разъ бывалъ и у Макарья на Притыкѣ, и въ Бакахъ. \* И сюда какъ изъ Сибири ѣхали—къ жениной роднѣ на Вятку заѣзжали, а оттоль дорога на Ветлугу....

— Ладно, хорошо, сказалъ Патапъ Максимычъ. — Такъ въ эту самую рѣку Ветлугу пала рѣка Устѣ.

— И Устѣ знаю, и изъ Устѣ воду пивалъ, отозвался Колышкинъ.

— Такъ вотъ чтѣ: межъ Ветлуги и Устѣ золото объявилось, золотой песокъ, полусшепотомъ молвилъ Патапъ Максимычъ.

Хоть и вѣрилъ онъ Сергѣю Андрѣичу, хоть не боялся передать ему тайны, а все-таки слово про золото не по маслу съ языка сошло. И когда онъ съ тайной своей распростался, ровно кулъ у него съ плечъ скатился.... Вздохнулъ даже—до того вдругъ такъ облегчало....

А Колышкинъ такъ и помираетъ съ смѣху. Полныя розовыя щеки дороднаго пароходчика задрожали какъ студень, грудь надрывалась отъ хохота, высокій круглый животъ такъ и подпрыгивалъ. Сергѣй Андреичъ закашлялся даже.

— Ветлужское золото!... Ха, ха, ха!... Розсыпи за Волгой!... Ха, ха, ха!... Не растутъ ли тамъ яблоки на беревѣ, груши на соснѣ?... Рѣки молочныя въ кисельныхъ берегахъ не текутъ ли?... Ахъ ты, крѣстный, крестный—уморилъ совсѣмъ!... Ха, ха, ха!....

— Зачѣмъ гоготать? молвилъ нахмураясь Чапуринъ. — Не выпросивъ дѣла путемъ, гогочешь ровно гусь на проталинѣ!... Не слѣдъ такъ, Сергѣй Андреичъ, не ладно.... Ты

---

\* Селенія на Ветлугѣ, въ Варнавинскомъ уѣздѣ, Костромской губерніи.

напередъ выпроси, узнай по порядку, вѣсталь, да потомъ и гогочи.... А то на-ка поди!... Не пустяя рѣчи говорю—самъ видѣлъ....

Видя досаду Чапурина, Колышкинъ сдержалъ свой смѣхъ — Нестаточное дѣло, Патапъ Максимычъ, молвилъ онъ.—Покажи мнѣ пѣгаго коня чтобъ одной масти былъ, тогда развѣ повѣрю, что на Ветлугѣ нашлось золото.

— А это что? рѣзко сказалъ Патапъ Максимычъ, ставя передъ Сергѣемъ Андреичемъ пузырькъ.

Колышкинъ взялъ и только что успѣлъ приподнять, какъ смѣющееся лицо его душой подернулось. Необычный вѣсъ изумилъ его. Попробовавъ песокъ на оселкѣ, пуще задумался.

— Чтò? спросилъ Патапъ Максимычъ.

Колышкинъ ни слова въ отвѣтъ.

Гласъ не спускаетъ съ него Патапъ Максимычъ. Вынулъ Колышкинъ изъ стола вѣски какіе-то, свѣсилъ песокъ, потомъ на тѣхъ же вѣскахъ свѣсилъ его въ водѣ.

— Чтò? спросилъ Патапъ Максимычъ, вставая съ дивана. Колышкинъ опять ни слова.

Видитъ Патапъ Максимычъ—, крестникъ “взялъ какую-то кострюльку, налилъ въ нее чего-то, песку подсыпалъ, еще что-то подѣлалъ, и отдавая пузырькъ, сказалъ:

— Золото.

Просіялъ Патапъ Максимычъ.

— Видишь! сказалъ онъ.—А гогочешь!... Теперь, баринъ, кому надъ кѣмъ смѣяться-то?... Ась?...

— Гдѣ жъ его промывали? спросилъ Колышкинъ.—Промыто хорошо.

— Какъ промывали? молвилъ Патапъ Максимычъ. — Никто не мылъ.... Изъ земли такое берутъ.

— Не можетъ этого быть, рѣшительно сказалъ Сергѣй Андреичъ.

— Какъ не можетъ быть? возразилъ Патапъ Максимычъ.—Я тебѣ говорю, что песокъ изъ земли накопанъ...

— Самъ видѣлъ? спросилъ прищурившись Колышкинъ.

— Хвастать не хочу—самъ не видалъ, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.

— Значить люди сказывали что они такой песокъ прямо изъ земли берутъ? перервалъ его Колышкинъ.

— Такъ говорили, отвѣтилъ Патапъ Максимычъ.

— Такъ-таки и сказывали что въ этомъ самомъ видѣ песокъ изъ земли копанъ? продолжалъ свои спросы Колышкинъ.—Ни про какую промывку не было рѣчи?

— Да, подтвердилъ Патапъ Максимычъ.

— Мошенники это тебѣ говорили—вотъ чтѣ!... съ сердцемъ крикнулъ Сергѣй Андреичъ.

— Какъ мошенники? вскочивъ съ мѣста, еще громче вскрикнулъ Патапъ Максимычъ.—Развѣ стану я водиться съ мошенниками?

— Не туда, крѣстный, гнешь.... молвилъ Колышкинъ.— Не кипятись, слушай чтѣ скажу. Сдается мнѣ, на плутѣ ты попалъ.... Денегъ просили?

— Мое дѣло, нехотя отозвался Патапъ Максимычъ.

— Не таи, тебя жъ отъ обмана хочу оберечь, говорилъ Колышкинъ.—Много ли далъ?

— За пузырекъ-отъ? послѣ нѣкотораго молчанія спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Ну, да.

— Сорокъ цѣлковыхъ дадено, сквозь зубы процѣдилъ Чапурия.

— Съ барышомъ поздравляю! весело усмѣхнувшись молвилъ Колышкинъ.—Пять сѣренскихъ въ карманъ попалъ!.... Э-эхъ, Патапъ Максимычъ!... Кто таковы знакомцы твои не вѣдаю, а что плуты они, то знаю вѣрно.... И плуты они не простые, а большіе, козырные.... Маленькій плутъ двухсотъ пятидесяти цѣлковыхъ зря не кинстъ.



— Какіе двѣсти пятьдесятъ цѣлковыхъ? спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Да вѣдь въ этой стеклянкѣ безъ малаго фунтъ чистаго золота, сказалъ Колышкинъ,—а фунтъ казенна цѣна триста цѣлковыхъ.... Какъ же тебѣ за сорокъ-то его продали?... Смекаешь, каковы подкобы ведутъ подъ тебя?

— Не въ domeкъ! почесывая затылокъ, мсгвиль Патапъ Максимычъ. — Эка въ самомъ дѣлѣ!... Да нѣтъ, постой, погоди, зря съ толку меня не спшибай. . спохватился онъ. — На Ветлугѣ говорили, что этотъ песокъ не справское золото; изъ него дескать надо еще черезъ огонь топить настоящее-то золото.... Такіе люди въ Москвѣ, слышь, есть. А неумѣлыми руками зачнешь тотъ песокъ перекачивать, одна гарь останется.... Я и гари той добылъ, прибавилъ Патапъ Максимычъ, подавая Колышкину взятую у Силантъя изгарь.

Икнулось ли на этотъ разъ Стуколову, нѣтъ ли, зачесалась ли у него лѣвая бровь; загорѣлось ли лѣвое ухо — про то не вѣдаемъ. А подошла такая минута, что Силантьевская гарь повернула затѣи паломника внизъ по крышкой. Не даромъ шарилъ онъ ее въ чемоданѣ, когда Патапъ Максимычъ въ банѣ нѣжился, не даромъ пытался подмѣнить ее кускомъ изгари съ обительской кузницы.... Но нельзя было всѣхъ концовъ въ воду упрятать — Силантьевская гарь у Патапа Максимыча о ту пору въ карманѣ была....

Колышкинъ испробовалъ гарь и сказалъ:

— Не отъ того песку.... Это отъ сѣрнаго колчедана.... Теперь ихнюю плутню насквозь вижу.... Знаешь сѣрный колчеданъ?

— Не знаю чтò за колчеданъ такой, не слыхивалъ.... отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.

— Дресву знаешь?

— Какъ дресвы не знать! молвилъ Чапуринъ.—По нашимъ мѣстамъ бабы дресвой полы моютъ.

— А какъ ее дѣлаютъ? спрашивалъ Колышкинъ.

— Спорникъ съ каменки \* берутъ.... потолкутъ въ ступѣ, вотъ тебѣ и дресва, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Ладно, а замѣчалъ ты когда, что въ дресвѣ-то ровно золотыя искорки свѣтятся? продолжалъ спрашивать Колышкинъ.

— Какъ не замѣчать!... „Мышинымъ золотомъ“ тѣ блески зовутъ.

— Ну вотъ это „мышиное золото“ и есть колчеданъ, сказалъ Колышкинъ. — Ветлужское золото тоже „мышиное“.... Понялъ?

— Чудно что-то заговорилъ ты, Сергѣй Андреичъ, молвилъ Патапъ Максимычъ. — Мышино золото искорками живетъ, блесками такими, а это гляди-ка что.... прибавилъ онъ, указывая на пузырьки.

— Не про это тебѣ говорю, это золото настоящее и брато не на Ветлугѣ, сказалъ Колышкинъ.—Говорю тебѣ про сѣрный колчеданъ, про тотъ что у васъ „мышинымъ золотомъ“ зовется. Мѣстами онъ гнѣздами въ землѣ лежитъ и съ виду какъ есть золотой песокъ. Только золота изъ него не добудешь, а коли хочешь купоросно масло дѣлать—иная статья—можно выгоду получить... Эта гарь отъ колчедана, а по-вашему отъ мышинаго золота; а песокъ, въ стеклянкѣ, не здѣшній. То съ пріисковъ краденое настоящее промытое золото.... Берегись, крѣстный, подъ твои кошель подкопы ведутъ....

Задумался Патапъ Максимычъ. Не клеится у него въ головѣ, чтобъ отецъ Михаилъ сталъ обманомъ да плутнями жить, а онъ вѣдь тоже увѣрялъ.... „Ну пушай Дюковъ, пушай Стуколовъ — кто ихъ знаетъ, можетъ и

---

\* Въ банѣ.

впрямь нечистыми дѣлами занимаются, раздумывалъ Патапъ Максимычъ, — а отецъ-отъ Михаилъ?... Нѣтъ, невозможно тому быть.... старецъ благочестивый, игумень домовитый... Какъ ему на мошенствѣ стоять?.... “

— А богатъ человѣкъ что песокъ тебѣ продавалъ? спросилъ Колышкинъ.

— Мужикъ справный, отвѣтилъ Патапъ Максимычъ.

— Какъ однако?

— Денежный человѣкъ, — изба хорошая, кони, коровы, все въ порядкѣ.... Баклушами кормится—баклушникъ.

— Не тысячникъ? спросилъ Колышкинъ.

— Какое тысячникъ! молвилъ Патапъ Максимычъ. — Баклушами въ тысячники не влѣзешь.... Сотъ семь либо восемь—залежныхъ можетъ быть есть, больше наврядъ....

— Двѣсти пятьдесятъ цѣлковыхъ ему деньги?

— Еще бы не деньги!—Да Сплантю цѣлый годъ такихъ денегъ не выручить. За сорокъ-то цѣлковыхъ онъ мнѣ кланялся, кланялся.

— А давно ль ты его знаешь? спросилъ Колышкинъ.

— Впервой видѣлъ, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ. — Ночь у него ночевалъ, пообѣдалъ, вотъ и знакомства всего....

— А въ дѣло тебя звали?... На золото денегъ просили?... приставалъ Колышкинъ.

— Было дѣло, нехотя молвилъ Патапъ Максимычъ.

— Теперь мнѣ все какъ на ладонкѣ, сказалъ Колышкинъ. — Подумаи, Патапъ Максимычъ, статочно ли дѣло, баклушнику бобра замѣсто свиньи продать?... Фунтъ золота за сорокъ цѣлковыхъ!... Самъ посуди!... Заманить тебя хотѣтъ—вотъ что!... Много ль просили?... Сказывай, не таи....

— Да на первый разъ не больно много: три тысячи на монету.

— А потомъ?

— А потомъ, коли дѣло на ладъ пойдетъ, пятьдесятъ

тысячъ цѣлковыхъ обѣщался имъ дать, сказалъ Патапъ Максимычъ.

— Э!... Народъ тѣртый!... На свои руки топора не уронить.... молвилъ Колышкинъ.—Сибиряки надо быть?

— Народъ здѣшній, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.— Одинъ, правда, живаль въ Сибири и на пріискахъ золотыхъ, сказываетъ, живаль....

— Такъ и есть, подхватилъ Колышкинъ. — Жиль въ Сибири, да выѣхаль въ Россію „землянымъ масломъ“ торговать... Знаю этихъ проходимцевъ!... Не мало народу по-міру они пустили, не мало и въ острогъ да въ ссылку упрятали.... Нѣтъ, крестный, воля твоя—это дѣло надо бросить.

Задумался Патапъ Максимычъ. Отецъ Михаилъ съ ума нейдетъ... Какъ же это игумну въ плутовскихъ дѣлахъ бывать?

— А ты бы, крестный, разказаль ужъ мнѣ все по порядку, какъ зачиналось дѣло, и какъ шло до сихъ поръ, сказалъ Колышкинъ. — Подумали бы вмѣстѣ — гнилаго совѣта отъ меня не услышишь.

Молчить Чапуринъ. Хмурится, кусаетъ нижнюю губу и слегка почесываетъ затылокъ. Начинаетъ понимать что проходимцы его обошли, что онъ, стыдно сказать, ровно малый ребенокъ повѣрилъ розказнямъ паломника.... Но какъ сознаться?... Другъ-пріятель — Колышкинъ, и тому какъ сказать, что плуты стараго воробья на кривыхъ обѣхали? Не три тысячи, тридцать бы въ печку кинулъ, только бы не сознаться какъ его ровно Филю въ лапти обули.

— Отчего не сказать всего по ряду? приставажь Колышкинъ.—Вдвоемъ посовѣтуемъ, какъ бы тѣхъ плутовъ изловить?

— А чего ради въ ихнее дѣло обѣщаль я идти? вдругъ вскрикнулъ Патапъ Максимычъ. — Какъ мнѣ сразу не увидать было ихняго мошенства?... Затѣмъ а на Ветлугу

ѣздилъ, затѣмъ и маяту принималъ.... чтобъ развѣдать про нихъ, чтобъ на чистую воду плутовъ вывести.... А къ тебѣ въ городъ зачѣмъ бы пріѣзжать?... По золоту ты человѣкъ знающій, съ кѣмъ же какъ не съ тобой размотать ихнюю плутню.... Думаешь, вѣрилъ имъ?... Держи карманъ!... Нѣтъ, другъ, еще тотъ человѣкъ на свѣтъ не рожденъ что проведетъ Патапа Чапурина.

— А я-то про что тебѣ говорю? сказалъ Колышкинъ, вдоль и поперекъ знавшій своего крестнаго. — Про что толкую?... Съ перваго слова я смекнулъ что у тебя на умѣ... Вижу, хочетъ маленько поглумиться, затѣйное дѣло правскимъ показать... Ну что жъ, думаю, пуцай его потѣшитъ.... Другому не спущу, а крестному какъ не спустить?...

— А! понялъ же значить, что шутку хотѣлъ надъ тобой спутить! самодовольно улыбаясь молвилъ Патапъ Максимычъ. — Ишь ты!... На саврасой, братъ, тебя не объѣдешь!

— Не сразу, Патапъ Максимычъ, не вдругъ, шутливо отвѣтилъ Колышкинъ. — Сами съ усами, на своемъ вѣку тоже кое-какіе виды видали.

— Да ты у меня умный!.. Золотая головушка!.. сказалъ Патапъ Максимычъ, глядя Сергѣя Андреича по головѣ. — Съ тобой говорить не наскучить.

— Ну ладно, ладно. Будетъ шутку шутить.... Разсказывай какъ въ самомъ-то дѣлѣ ихня затѣя варилась, перервалъ Колышкинъ. — Глазкомъ бы посмотрѣть какъ плуты моего крестнаго оплетать задумали, съ усмѣшкой прибавилъ онъ. — Сидятъ небось важно, глядятъ думчиво, не улыбнутся, толкуютъ чинно, степенно.... А крестный себѣ на умѣ, попираетъ смѣхъ на сердцѣ, а самъ бровью не моргнетъ: „толкуйте, молъ, голубчики, распоясывайтесь, выкладывайте что у васъ на умѣ сидитъ, а мнѣ какъ васъ насквозь не видѣть?“... Ха, ха, ха!...

И звонкій хохоть Колышкина раскатился по высокимъ комнатамъ.

— Экой догадливый! тоже смѣясь молвилъ повеселѣвшій Чапуринъ.— Ровно ты, Сергѣй Андреичъ, ту пору промежь насъ сидѣлъ... Такъ ужъ вѣрно ты рассказываешь.

— Такъ какъ же, какъ дѣло-то было? спрашивалъ Колышкинъ.

И разсказалъ Патапъ Максимычъ Колышкину какъ пріѣхали къ нему Стуколовъ съ Дюковымъ, какъ паломникъ при всѣхъ гостяхъ, чтò случились, расписывалъ про дальнія свои странствія, а когда не стало въ горницѣ женскаго духа, вынулъ изъ кармана мѣшокъ и посыпалъ изъ него золотой песокъ....

— И такіе пошелъ онъ моты разматывать, только слушай, говорилъ Патапъ Максимычъ.—И стелеть и мететь, и вретъ и плететь, а самъ глазомъ не смигнѣтъ, ровно нѣтъ и людей передъ нимъ... Занятно мнѣ стало... Думаю: „постой ты, баламутъ, точи лясы, морочь людей, вываливай изъ себя все до тла, а затѣкъ твоихъ какъ намъ не видать?...“ Сродственникъ на ту пору былъ у меня, да пріятель старинный—удѣльнаго голову Захлыстина Михайлу Васильевича не слыхалъ ли?... Мы тому проходимцу будто и повѣрили, а онъ и говорить: „золотой дескать песокъ неподалеку отъ вашихъ мѣстъ объявился — на Ветлугѣ.“ И давай насъ умасливать: золоты пріиски заявляйте, компанію заводите, миллионы, говорить, наживете. А мы: отчего жъ, молъ, не завести компаніи, Якимъ Прохорычъ,—дначе отъ счастья отказываться? Денегъ-то, скажи, много ль потребуется? „На первый разъ, говорить, тысячи три бумажками, а станетъ дѣло на своихъ ногахъ, тысячь пятьдесятъ серебромъ будетъ надобно.“ Для видимости согласились мы, по рукамъ ударили. А мнѣ о ту пору требовалось на Ветлугѣ побывать. Ёдемъ, говорю

Стуколову, кажи гдѣ такой песокъ водится. Поѣхали... Мѣста не показалъ, а на Силантъя, баклушника, навелъ.

— Ну? спросилъ Колышкинъ смолкшаго было Патапа Максимыча.

— Силантій и продалъ песокъ, отвѣчалъ Патапъ Максимычъ.—Въ лѣсу нарылъ, говорить.... И другіе завѣряли, что въ лѣсу роютъ.

Кто эти другіе не сказалъ Патапъ Максимычъ. Вертѣлся на губахъ отецъ Михаилъ, но какъ вспомнятся красноярскія стерляди, почетъ возданный въ обители, молебный канонъ, баня липовая съ калуферомъ — языкъ у Патапа Максимыча такъ и заморозить.... „Возможно ль такого старца къ пролазу Якимкѣ приравнивать, къ бездѣльнику Дюкову?“ думалъ Патапъ Максимычъ. „Обошли, плутцы, честнаго игумна... Да нѣтъ постой, погоди—выведу я васъ на свѣжую воду!...“

— Всѣ кто тебя ни завѣрялъ,—одна плутовская ватага, сказалъ наконецъ Колышкинъ,—всѣ одной шайки. Знаю я этихъ воровъ — наглядѣлся на нихъ въ Сибири. Ловки добрыхъ людей облапошивать: кого по-міру пустять, а кого въ поганое свое дѣло до той мѣры затянуть что пойдетъ послѣ въ казенныхъ рудникахъ копать настоящее золото.

— Изловить бы ихъ, молвилъ Патапъ Максимычъ.

— Ловить плутовъ—дѣло доброе, замѣтилъ Колышкинъ.—Не одного чай облупили, на твоёмъ только кошелѣ пришлось напороться.... Цѣлы теперь не уйдутъ....

— Не уйдутъ!... Нѣтъ, съ моей уди карасямъ не сорваться!... Шалишь, кума,—не съ той ноги плясать пошла, говорилъ Патапъ Максимычъ, ходя по комнатамъ и потирая руки.—Съ меня не разживутся!... Да нѣтъ, ты то посуди, Сергѣй Андреичъ, живу я слава тебѣ Господи и дѣла веду не первый годъ... А они со мной ровно съ малымъ ребенкомъ вздумали шутки шутить!... Я жъ имъ отшучу!...

— А ты, крёстный, виду не подай, что разумѣешь ихнюю

плутню, сказалъ Колышкинъ. — Улещай ихъ да умасли: ай, а самъ мани какъ пташку на силокъ. — Да смотри — ловкѣ вѣдь мошенники-то, какъ разъ въюпомъ изъ рукъ выскользнуть. — Вильнетъ хвостомъ, поминай какъ звали.

— Не сорвутся! молвилъ Патапъ Максимычъ. — Нѣтъ, не сорвутся! А какъ подумаешь про народъ-отъ!... прибавилъ онъ, глубоко вздохнувъ и разваливаясь на диванѣ. — Слабость-то какая по людямъ пошла!...

— На скорые прибытки стали падки, отвѣтилъ Колышкинъ. — А слышалъ ты какъ ветлужскіе же плуты Максима Алексѣича Зубкова обработали?... Знаешь Зубкова-то?

— Какъ не знать Максима Алексѣича! отвѣтилъ Патапъ Максимычъ. — Ума палата....

— Да денежка щербата, перебилъ Колышкинъ. — Мягкую бумажку возлюбилъ — переводить.... И огрѣли жъ его ветлужски мастера — въ острогѣ теперь сидитъ.

— Полно! Какъ такъ? съ удивленьемъ спросилъ Патапъ Максимычъ.

— Приходить къ нему какой-то проходимецъ изъ вашего скита — Красноярскій никакъ прозывается?...

— Красноярскій! вскрикнулъ Патапъ Максимычъ. — Есть такой.... Знаю тотъ скитъ.... Чтѣ жъ такое? спрашивалъ онъ съ нетерпѣньемъ.

— Приходить къ Зубкову изъ того скита молодой парень, продолжалъ Колышкинъ. — О томъ о семъ они покалякали, знамо — темныя дѣла разомъ не дѣлаются. Подъ конецъ парень двѣ сѣренскихъ Максиму Алексѣичу показываетъ: „купите дескать, ваше степенство, дешево уступлю, по пятнадцати цѣлковыхъ казенными“. Разгорѣлись глаза у Максима Алексѣича — взялъ. Сбылъ безъ сумнѣнія. Да только сбылъ, парень опять лѣзетъ съ сѣренскими, только дешевле двадцати пяти за каждую не беретъ. Максимъ Алексѣичъ и эти взялъ — видитъ товаръ хорошій. Да для нищаго увѣренья понесъ одну въ казначейство.... Приняли....



Онъ другую, и ту приняли.... Максимъ Алексѣичъ и остальные понесъ — всѣ взяли. „Эка работа-то важнецкая“, думаетъ, „да съ такой работой можно поскорости миллионъ зашибить“. Самъ сталъ красноярскаго парня разыскивать, а тотъ какъ листъ передъ травой. „Такія дѣла говорить, выпали что надо безпремѣнно на Низъ съѣхать на долгое время, а у меня, говорить, на двадцать тысячъ сѣренскихъ водится—не возьмете ли?“ Максимъ Алексѣичъ радехопекъ, да десять тысячъ настоящими въ замѣнъ и отсчиталъ.... Да на первой же бумажкѣ и попался—всѣ фальшивыя.... Дѣло завязалось — обыскъ.... Красноярскія денежки сыскались у Зубкова въ сундукъ, а парня и слѣдъ простылъ—ищи его какъ вѣтра въ полѣ.... И сидитъ теперъ Максимъ Алексѣичъ въ каменныхъ палатахъ за желѣзными дверями....

— Поди же вотъ тутъ! молвилъ Патапъ Максимычъ.

— Первы-то бумажки парень давалъ ему настоящія, продолжалъ Колышкинъ,—а какъ увѣрился Зубковъ, онъ и подсунулъ ему самодѣльщины.... Вотъ каковы они, ветлужскіе-то!...

Патапъ Максимычъ задумался. „Какъ же такъ? было у него на умѣ. Степъ-отъ Михайль чего смотритъ?... Морочать его, старца Божія!...“

— Да, избаловался народъ, избаловался, сказалъ онъ, покачивая головой.—Слабость да шатость пдъ людямъ пошла—отца обманутъ во грѣхъ не поставятъ.

— Навострились, крѣстный, навострились, отозвался съ усмѣшкой Колышкинъ.—Всякъ норовитъ на грошъ пятаковъ намѣнять.

— Ослѣпила корысть, думчиво молвилъ Чапуринъ. — Ослѣпила она всѣхъ отъ большаго до малаго, отъ перваго до послѣдняго. Зависть на чужое добро свѣтъ кольцомъ обвила.... Послѣдни времена!

— Ну! Заговори съ тобой, тѣмчасъ доберешься до антихриста, сказалъ Колышкинъ.—Каки послѣдни времена?... До насъ люди жили не ангелы, и послѣ насъ не черти будутъ. Правда съ кривдой споконъ вѣка однимъ колесомъ по міру катится.

Замолчалъ Патапъ Максимычъ, а самъ все про отца Михаила размышляетъ. „Неужель и впрямь у него такія дѣла въ скиту дѣлаются“? Но Колышкину даже имени игумна не помянулъ.

Воротаясь на квартиру, Патапъ Максимычъ нашель Дюкова на боковой. Измаявшись въ дорогѣ, молчаливый купецъ спалъ непробуднымъ сномъ и такіе храпы запускалъ по горницѣ, что сосѣди хотѣли ужъ посылать въ полицію.... Нескоро дотолкался его Патапъ Максимычъ. Когда наконецъ Дюковъ проснулся, Чапуринъ объявилъ ему, что песокъ оказался добротнымъ.

— Какъ же теперь дѣло будетъ? спросилъ, зѣвая во весь ротъ, Дюковъ.

— Какъ лажено такъ и будетъ, рѣшилъ Патапъ Максимычъ.—Получай три тысячи. „Куда ни шли три тысячи ассигнаціями, думалъ онъ, а ужъ изловлю же я васъ, мошенники!“

— Ладно, отозвался Дюковъ, взялъ деньги, сунулъ въ карманъ и повернувшись на другой бокъ захрапѣлъ пуще прежняго.

Вечеромъ выѣхали изъ города. Отѣхавъ верстъ двадцать, Патапъ Максимычъ разстался съ Дюковымъ. Молчаливый купецъ поѣхалъ во свояси, а Патапъ Максимычъ поспѣшилъ въ Городецъ на субботній базаръ. Да надо еще было ему хозяйскимъ глазомъ взглянуть какъ готовятъ на пристани къ погрузкѣ „горящину“.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

# О П Е Ч А Т К И

1-й частн.

<i>стр.</i>	<i>строк.</i>	<i>напечатано:</i>	<i>должно читать:</i>
15	18	къ дѣвушкамн посмѣяться	съ дѣвушкамн посмѣяться
19	11	пожалуетъ	прїѣдетъ
35	10	смиренная	смиренная
—	19	щеплетъ	щепаетъ
45	18	грѣхъ-то	грѣхъ отъ
46	16	клякъ	какъ
47	22	падушку	подушку
48	16	„Прологъ-отъ“	„Прологъ“-отъ
50	3	Дунашу	Варварушку
51	3	Ты же же	Ты же
52	30	подначальныхъ „крестьянъ“	„подначальныхъ крестьянъ“
57	28	и выступила	выступила
59	31	богъ	Богъ
60	7	Съ тѣхъ къ	Съ тѣхъ поръ какъ
69	19	ея	ее
71	30	сзываютъ	сзываются
75	1	Алѣксѣю	Алѣксѣю
76	5 и 6	Рукобѣтѣю	Рукобѣтѣю
79	22	бездѣдница	бездѣдница
87	13	мѣются	смѣются
—	14	умретъ	умрутъ
99	29	починить	починить
100	13	Алѣксѣюшка,	Алѣксѣюшка,
102	7	положилъ потомъ. Настѣ,	положилъ, потомъ Настѣ
106	11	рѣшилъ	рѣшили
119	15	спозналъ.	спозналъ,
126	23	хожденье	хожденье
133	20	на обѣдъ-то	на обѣдъ-отъ
136	25	лядящимъ	лядящимъ
147	10	утирала	утирая
152	19	Не единая	Ни единая
160	4	глазь-то	глазь-отъ
163	29	мовила	отвѣтила
170	32	Братецъ-то	Братецъ-отъ
172	24	Обѣзумѣлъ	Обезумѣлъ
177	2	Чуцуринъ	Чацуринъ
—	9 и 14	Дьяковъ	Дюковъ

## II

185	3	клюкахъ	каюкахъ
—	30	эашитою	запштою
186	5	и дѣла	а дѣла
188	19	островы	острова
194	11	всѣхъ богаче буду мил- ліонщиковъ	всѣхъ милліонщиковъ буду богаче
203	19	самъ-то	самъ-отъ
205	31	Дьяковъ	Дюковъ
206	32	Дьяковымъ	Дюковымъ
222	13	денечка	денечку
225	22	красовата	красовита
—	25	оглоблю	оглобли
229	14	Матрену	Матрону
230	19	преемную	пріемную
253	8 и 13	ея	ее
265	30	<i>tabuni</i>	<i>tabanus</i>
267	15	вадьи	вадьи
284	7	знають,	знають...
288	19	это же келейницы	это келейницы же
297	6 и 7	бумажку да семь гривенъ на серебро дядѣ Онуфрію	бумажку дядѣ Онуфрію
302	22	безтолочи-то, что	безтолочи-то что,
303	11	годовня	галдовня
310	16	а вольные	да вольные
327	5	нѣвишь	нѣвьсь
328	17	сѣѣдимъ	сѣѣдимъ
330	26	богатъ то	богатъ-отъ
346	28	Михантъ	Михантъ
360	16	уже	ужь
362	31 и 32	<i>horrorhea</i>	<i>horrorhea</i>
367	28	Дѣло-то было тогда	Дѣло-то было бы тогда
369	31	Какъ бы ему	Какъ бы ты ему
375	25	Колышеппа	Колышкня
381	24	Старикъ	Странникъ
382	15	тридцати	тринадцати
386	10	пароводинко	пароходинко
389	16	Гласъ	Глазь
399	5	дѣла говоритъ,	дѣла, говоритъ,





Stanford University Libraries

3 6105 124 446 381



DATE DUE


STANFORD UNIVERSITY LIBRARY

STANFORD, CALIFORNIA 94305

